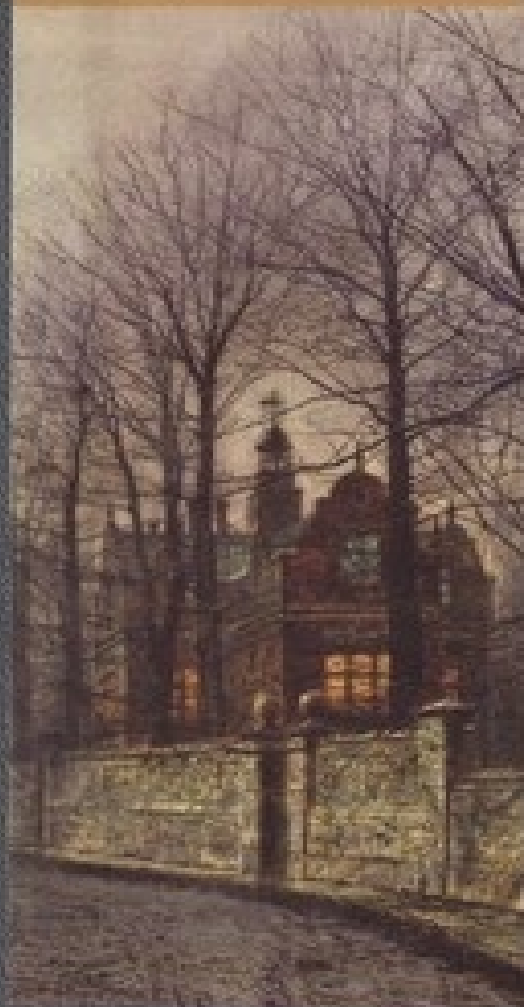


ДИККЕНС



Максим
Чертанов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

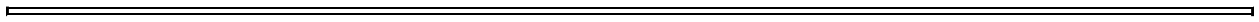
Этого замечательного писателя лучше читать не на бегу и не в транспорте, а, как советует автор, укутавшись пледом, сев у камина (если, конечно, он у вас есть), отрешившись от забот и суеты. Автор посоветует также, с какого романа лучше начать (или продолжить) знакомство с этим писателем, потому что все они замечательны, полны знаменитого английского юмора и самых разнообразных героев. А еще автор расскажет о том, как в туманной стране, в самом сердце тумана, жил человек, который писал увлекательнейшие на свете книги, уговорил одного богача устроить приют для несчастных женщин, посылал на фронт не лозунги, а сушилки для бинтов; как по мановению его пера закрывались плохие школы и открывались хорошие больницы, как этот писатель всю жизнь ругал правительство и парламент последними словами, а его носили на руках и похоронили в Вестминстерском аббатстве.

знак информационной продукции 16+

- [Максим Чертанов](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЧАРЛЗА ДИККЕНСА](#)
 - [ЛИТЕРАТУРА](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)



Максим Чертанов
Диккенс

Глава первая

СЫН ДЖЕНТЛЬМЕНА



Charles Dickens

Промозгло, серо, дождик, еще лучше — зима, метель; кресло — хорошо бы кожаное, большое. Над чашкой чаю вьется пар. Какая-нибудь замысловатая тарелочка с пирожными, но сойдут и бутерброды. Пламя камина, увы, ничем не заменишь, но на худой конец включаем обогреватель. Свернемся клубком, если габариты позволяют. Пушистый плед строго обязателен...

«Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана — такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки...» «На фоне ослепительно-белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного — лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна — и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошечном талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом — и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело, — так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист».

Честертон^[1]: «Его [Диккенса] героям так удобно, что они засыпают и что-то бормочут во сне. Читателю так удобно, что засыпает и он...» И все же современный русскоязычный любитель английского уюта, млея под пледом, скорее всего, выберет что-нибудь другое. «Я открыл дверь в гостиную и перепугался — уж не пожар ли у нас? — ибо в комнате стоял такой дым, что сквозь него еле брезжил огонь лампы. Но мои опасения были напрасны: мне ударило в нос едким запахом крепчайшего дешевого табака, отчего у меня немедленно запершило в горле. Сквозь дымовую завесу я еле разглядел Холмса, удобно устроившегося в кресле. Он был в халате и держал в зубах свою темную глиняную трубку». Не хочется читать — что ж, есть много чего посмотреть, английским детективным сериалам несть числа, идет ли в них речь о XIX или о XXI веке: все тот же уют, чашечка крепкого чая, горящий камин, игрушечные домики, увитые розами, старушка с вязаньем...

Конечно, есть диккенсофилы, что все тексты в переводе и подлиннике знают назубок и перечитывают всякий раз, как захочется уюта, и знают, кто такие Подснепы и Пекснифы, и чем отличается Джонас из одного романа от Дженааса из другого, и каковы речевые особенности миссис Камп и мисс

Гемп, — ну вот как мы знаем все про Коробочку, Манилова и Собакевича... Но обычный наш читатель, скорее всего, знаком с Диккенсом так: в детстве (особенно если оно — советское) прочел «Оливера Твиста» и «Дэвида Копперфильда», может быть, «Домби и сына»; быть может, взрослым перечел их же, ожидая получить забытое удовольствие, быть может, и получил его. Он, возможно, и не слышал, что у Диккенса аж 15 романов плюс множество других работ, а если знает, то, во всяком случае, не решил, стоит ли за них браться — такие толстые! — и не решил, стоит ли детей и внуков побуждать читать все это или ни к чему... Да надо, надо, мы понимаем, что надо читать... Из нобелевской речи Бродского: «Я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего». Но...

Громадный объем текстов писателей XIX века — это, конечно, для нас препятствие. Непонятно вообще, как они ухитрились столько писать — без компьютера, от руки, стальным пером (а когда-то и гусиным), некоторые (и Диккенс в том числе) даже без секретарей-переписчиков... Впрочем, объемы Толкина и Джоан Роулинг тоже ничего себе; и далеко не все мы так ужасно заняты, как любим говорить — на телевизор и Интернет время-то находим? — так что препятствие не только в объеме.

Устарела тематика? Что нам Диккенс? Про что это? Нет давно никаких долговых тюрем, работных домов, служаночек, которых морят голодом, людей, что за весь день съели «хлебца на пенни». Нет — правда же? — богатых и бедных, нет беспризорных, нищих, побирушек, проституток, воровских притонов, нет невинных в тюрьмах, нет домишек без воды и электричества, нет детей, которых мучают в детдомах, нет больниц-развалюх, министров-коррупционеров, депутатов-кретинов, тупых нуворишей, фальшивых филантропов, богатых священников и бедных прихожан — ну конечно же нет...

Диккенс несовременен, даже если сравнивать с его же современниками Бальзаком или Стендалем: у его хороших людей на лбу написано, какие они хорошие, и все они в финале друг на дружке женятся, у злодеев непременно горящие глаза и перекошенные рты, и они разговаривают сами с собой о своих злодеяниях, проститутки слезливо каются, заламывая руки, кроткие детишки лепечут молитвы, умирая. Аполлон Григорьев: «...его [Диккенса] идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней мере для нас, русских, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло: его...

добрые герои для нас приторны». Не только для нас: Оскар Уайльд сказал, что над сценой смерти героини «Лавки древностей» (девочки-подростка) только бессердечный человек не может не... расхохотаться.

В романе современника Диккенса Энтони Троллопа «Смотритель» есть персонаж — писатель Сентиментальный Народник: «Неисчислимо количество злодейств, которые он разоблачил; боюсь, скоро он начнет испытывать недостаток предметов, и когда он добьется, чтобы пиво разливали в бутылки надлежащего объема, ему больше будет решительно нечего делать... О, г-н Сентиментальный Народник сильный автор, и мы верим, что его добродетельные бедняки вправду столь добродетельны и честные люди так необычайно честны... светские дамы нам прискучили, но образцовый крестьянин или добродетельный нищий все еще может разглагольствовать напыщенно, как в романах г-жи Радклиф, и его будут слушать. Вот его новый роман „Богадельня“: „Демон Богадельни был управляющим этого учреждения. Он был человек в годах, но все еще силен, его налитые кровью глаза испускали страстные взоры, у него был огромный красный нос с шишкой и двойной дряблый подбородок, раздувавшийся как у индюка, когда внезапный гнев охватывал его... Он, само собой, был вдовцом, и у него было две дочери...“ Теперь об обитателях богадельни... Условия жизни этих нищих были трогательно ужасны: в сутки их кормили на шесть пенсов при основании богадельни и кормили на те же шесть пенсов, когда цены выросли вчетверо... Ужасен был контраст между спаленкой этих стариков и богато убранной комнатой священника. Слова, которые они произносили, возможно, были какие-то не вполне английские, но красота чувства вполне искупала дефект языка; и как жаль, что этих стариков нельзя было послать проповедовать по всей стране вместо того, чтобы морить в несчастной богадельне...»

Самая жестокая атака на Диккенса случилась в 1859 году, когда журналист Джеймс Стивен в рецензии назвал «Повесть о двух городах» «помесью пирога с собачатиной и тушеной кошки»; он писал, что Диккенс «выработал рецепт зелья, которым заразил литературу». «От первого до последнего слова он старается выжать из читателя слезы или смех, и невежественная часть публики считает, что это и есть вся обязанность романиста...» Тогда же, Уолтер Бейджот, политический обозреватель: «...у Диккенса нет мужских способностей к рассуждению, а лишь поток эмоций, карикатуры и напыщенность». Джордж Льюис замечал в 1872-м: «Мысль странно отсутствует в его работах».

Оруэлл^[2]: «Почему способность понимания Толстого кажется куда большей, почему кажется, что он может куда больше, чем Диккенс,

поведать нам о нас самих?.. Толстой пишет о людях, которые растут, развиваются, его герои обретают свои души в борьбе, в то время как диккенсовские раз и навсегда отшлифованы и совершенны. Диккенсовские типы встречаются гораздо чаще и выглядят ярче, чем толстовские, но они всегда однозначны, неизменны, как картины или предметы мебели. С диккенсовским героем невозможно вести воображаемый диалог, как, скажем, с Пьером Безуховым... Все дело в том, что у героев Диккенса нет духовной жизни. Они говорят именно то, что им следует говорить, их нельзя представить беседующими о чем-то ином. Они никогда не учатся, никогда не размышляют...

Значит ли это, что романы Толстого „лучше“, чем Диккенса? Истина в том, что абсурдно делать такие сравнения в терминах „лучше“ и „хуже“. Доводись мне сравнивать Толстого с Диккенсом, я бы сказал: притягательность Толстого во времени будет расти и шириться, Диккенс же за пределами англоязычной культуры едва доступен; с другой стороны, Диккенс способен доходить до простых людей, а Толстой — нет. Герои Толстого могут раздвигать границы, диккенсовских можно изобразить на сигаретной пачке. Ни один взрослый при чтении Диккенса не может не почувствовать его ограниченности...»

А вот (из интернет-форума) отзыв «простой читательницы» XXI века: «Когда у меня плохое настроение или хочется отдохнуть после очередной серьезной книги, в данном случае после „1984“, я сажусь в кресло и беру книгу Диккенса... Чем отличается Диккенс от других писателей, так это тем, что почти все его романы хорошо заканчиваются и вселяют в тебя оптимизм. От них веет таким теплом и домом...» Честертон: «Даже несчастные и невеселые люди, которые не могут читать его без раздражения, употребят это слово [„великий“], не задумываясь. Они чувствуют, что Диккенс — великий писатель, даже если он плохо писал».

Оптимизм, все добрые люди женятся, поцелуй в последнем кадре, злодей убит — да это же кино! Эйзенштейн одним из первых заметил, насколько Диккенс кинематографичен, написав об этом целый трактат. Биограф Диккенса Хескет Пирсон ^[3]: «Он не пишет, а ставит бурю, как поставил бы ее на сцене режиссер; его злодеи мелодраматичны, его герои так и просятся на подмости... В наши дни он стал бы королем киносценаристов...» Сам Диккенс 29 марта 1858 года в Королевском театральном фонде сказал: «Каждый писатель-беллетрист, если даже он не избирает драматическую форму, в сущности, пишет для сцены» ^[4]. Его статья от 30 марта 1859 года «Развлечения для народа»: «Джо Уэлкс из

Ламбета читает мало, ибо не обладает ни большим запасом книг, ни удобной для чтения комнатой, ни склонностью к чтению, а главное — не обладает способностью живо представлять себе то, о чем он читает. Но посадите Джо на галерею театра Виктории, покажите ему на сцене открывающиеся окна и двери, через которые могут появляться и исчезать люди, расскажите ему что-нибудь с помощью живых мужчин и женщин, поверяющих ему свои тайны голосом, слышным за полмили, и Джо превосходно разберется в самых сложных перипетиях сюжета и просидит там хоть всю ночь, лишь бы ему что-нибудь показывали».

За два века этот Джо из Ламбета ничуть не изменился и ничем не отличается от Васи из Челябинска. Так что наследие Диккенса более или менее востребовано, в том числе и у нас — на экране. И его всегда экранизируют удачно. Не будем силком заставлять детей читать его — но пусть посмотрят...

Но мы-то, привыкшие перелистывать страницы, все еще хотим читать, только не знаем, за что взяться, с чего начать. Тут ведь и проблема с переводами, причем особенно самых популярных произведений Диккенса. В большом «зеленом» собрании сочинений его ранние романы переведены А. Кривцовой и Е. Ланном; Чуковский их раскритиковал. Чуковский о «Пиквикском клубе»: «Получилась тяжеловесная, нудная книга, которую нет сил дочитать до конца... Вместо того чтобы переводить смех — смехом, улыбку — улыбкой, Ланн вкуче с А. В. Кривцовой перевел, как старательный школьник, только слова, фразы, не заботясь о воспроизведении живых интонаций речи, ее эмоциональной окраски». Переводчик Нора Галь: «Где уж там взволноваться мыслями и чувствами героев, изъясняющихся этим чудовищным языком, где уж там почувствовать сострадание, уловить прославленный юмор Диккенса... „Кто это выдумал, что он хороший писатель? Почему ты говоришь, что про Домби (или Оливера, или Копперфильда) интересно? Ничего не интересно, а очень даже скучно. И про Пиквика ни капельки не смешно!“ — такое приходилось и еще придется слышать не только автору этих строк». Иван Кашкин, блистательный переводчик Хемингуэя: «...*sweet* — значит сладкий; и вот уже в переводах произведений Диккенса в садике выращивают сладкий горошек (*sweet-pea*), а не душистый горошек. Таким же образом возникают выражения: пароксизм поклонов, летаргический юноша, симметрическое телосложение, я дьявольский негодяй, публичная карьера, медицинский джентльмен. Так, в этих переводах пьют тень маленького стаканчика, наливают в чернильницу глоток чернил, сидят в ортодоксально спортивном стиле и т. п.».

И правда жуткие фразы: «Не трудясь осведомляться, показался ли Николасу следующий день состоящим из полагающегося ему числа часов надлежащей длительности, можно отметить, что для сторон, непосредственно заинтересованных, он пролетел с удивительной быстротой, в результате чего мисс Питоукер, проснувшись утром в спальне мисс Снивелличчи, заявила, что ничего не убедит ее в том, что это тот самый день, при свете коего должна произойти перемена в ее жизни». Есть мнение, что как раз эти переводы лучшие, но так обычно считают англофилы, которые и подлинник могут прочесть, а нам, обыкновенным, что делать? Правда, большая часть переводов Диккенса сделана уже представителями новой советской школы (О. П. Холмской, М. Ф. Лорие, В. М. Топер, Е. Д. Калашниковой), и они великолепны, но человек-то обычно берется читать с начала, то есть с «Пиквика» или «Твиста», и «обламывается». Вдобавок ранние вещи Диккенса — не самые лучшие (как почти у любого писателя), и вот из-за какого-то мистера Пиквика мы теряем целый мир... Так попробуем, читая вместе, выстроить такой порядок чтения, чтобы современному человеку Диккенс давался комфортно?

Правил Англией в годы, когда родители Диккенса были молоды, король Георг IV (регент при невменяемом отце). Большая была страна, все время где-то далеко от дома «ограниченным контингентом» воевала, присоединяла новые земли, всем это нравилось. Победила вместе с другими зарвавшуюся страну-соседку; с большим трудом пережила свободу, обретенную страной-сестрой, и до сих пор на нее сердилась. Взятки брали все сверху донизу. Люди, думавшие, что все их беды от фабрик, разрушали станки. Друг другу противостояли тори, предшественники консерваторов, и виги — будущие либералы и лейбористы. Выборы в парламент происходили занятно: право голоса имело только земельное дворянство, а участки были нарезаны так, что «гнилые местечки» с двумя десятками избирателей посылали двух членов в палату общин, а, к примеру, в местечке Олд-Сэрум жили два избирателя и избирали они тоже двоих (то есть себя); полумиллионный же Лондон посылал всего четырех человек, а промышленные Манчестер, Бирмингем, Лидс — ни одного. В итоге никакого «среднего класса», не говоря уже о рабочих, не только в парламент не попадало — они даже голосовать не могли.

В этой стране, которую так любят называть «доброй старой», родился человек со странной фамилией — иногда пишут, что Диккенс буквально

значит «черт», на самом деле это часть эвфемизма *like the dickens*, заменяющего *like the devil* (чертовски). Фамилию эту носил человек, о котором почти ничего не известно — Уильям Диккенс (1720–1785), дворецкий в семье чеширского землевладельца Джона Крю, пэра Англии, вига по убеждениям, светского образованного человека, дружившего с художниками и писателями. В 1781 году дворецкий женился на 36-летней (1745–1824) Элизабет Болл, горничной леди Бледфорд в Лондоне, и она перешла работать к Крю. Их сын Уильям (1782–1825) содержал кафе и был бездетен. Второй сын, Джон (1785–1851), родился, когда Уильям уже умер, и, возможно, его отцом на самом деле был Джон Крю или кто-то из гостей, например, по предположению некоторых исследователей, великий драматург Ричард Шеридан. Вдовая Элизабет стала домоправительницей и пережила мужа на 39 лет; члены семьи Крю вспоминали ее как умницу, хотя и неграмотную, умелую рассказчицу с живым воображением. Если Чарлз Диккенс был внуком этой женщины и Шеридана или даже Джона Крю, происхождение его литературного дара не удивительно; но даже если он был внуком дворецкого, бабушкиных генов вполне могло хватить...

Ничего не известно об образовании Джона Диккенса и первых двадцати годах его жизни. Но на мысль о том, что он был сыном джентльмена, наводит тот факт, что его в отличие от брата Крю постоянно опекали, а в апреле 1805 года то ли они, то ли Шеридан (тогда — главный казначей флота) устроили в финансовое управление Морского управления; Джон получал 110 фунтов в год (это почти 10 тысяч по нынешним временам, хотя так прямо сравнивать нельзя: структура расходов очень разная, слуги стоили дешевле, чем ботинки или уголь), в его доме была отличная библиотека, он считал себя джентльменом и проявлял способности журналиста, хотя и незначительные. В 1809 году он женился на дочери главного кассира управления Чарлза Барроу (1759–1826) — Элизабет (1789–1863); семья была «благородная», братья Элизабет получили прекрасное образование, один стал писателем, другой журналистом, сама она ценила музыку и книги и, по словам сына, «обладала необыкновенным чувством смешного, а ее дар подражания являл собой нечто удивительное» — так что и с этой стороны все вело Чарлза к литературе.

Молодые поселились в Портсмуте, где тогда служил Джон; за год его оклад вырос до 200 фунтов, к ноябрю 1809 года жена была беременна, семья более чем пристойная, вот только в январе 1810-го вскрылось, что почтенный тесть Джона обворовывает управление уже много лет; он бежал на остров Мэн, где был недосыгаем для британских законов. В атмосфере

скандала родилась дочь Фрэнсис (Фанни), а 7 февраля 1812 года, когда все несколько утихло, — сын Чарлз, ничем не примечательный ребенок, только очень хорошенький.

Летом Джона перевели служить в Лондон, потом в Саутси, где родился сын Альфред и умер в полгода; отец семейства уже начинал проявлять склонность жить широко и занимать деньги у встречных и поперечных... Зимой 1814 года его вновь перевели в Лондон, семья поселилась на Норфолк-стрит, 10, там же жила Фанни, вдовья сестра Элизабет. В 1816-м у Диккенсов родилась еще дочь, Летиция, а семья вновь переехала (Джон получил назначение на верфь в устье реки Медуэй в Кенте) — в городок Чатем, соединенный с другим городком — Рочестером. Получал Джон уже 350 фунтов, но и их ему не хватало.

Жили они на Орднанс-террас, 2, — район полудеревенский, довольно престижный, соседи милые, все идиллично (хотя потом Диккенс назовет Чатем «Скукотауном»); там Чарлз впервые полюбил девочку, Люси Строухилл (сестру приятеля), и под руководством матери стал читать. Из речи в пенсионном обществе печатников 6 апреля 1864 года: «С первых моих школьных дней (когда я находился под властью некоей старой леди, которая, как мне представлялось, правила миром с помощью розги) я от души ненавидел печатников и печатное слово. Мне казалось, что буквы печатают и присылают в школу нарочно для того, чтобы мучить меня... Однако со временем, когда меня увлек „Джек — Победитель великанов“ и другие сказочные герои, ненависть моя пошла на убыль; еще больше она ослабела, когда я дорос до „Сказок 1001 ночи“ и до Робинзона Крузо с его Пятницей». Приврал для красоты: в других источниках он упоминал, что не учительница, а именно мать учила его читать и все давалось легко. Как-то, гуляя с отцом, он увидел красивый дом — поместье Гэдсхилл и возмечтал там жить. Запомним это.

У него была нянька Мерси, которая его безумно страдала; возможно, она — крестная мать бесчисленных диккенсовских чудищ, уродов и злодеев. Из книги «Путешественник не по торговым делам»: «Делом капитана Душегуба было все время жениться и удовлетворять каннибальский аппетит нежным мясом невест. В утро свадьбы он всякий раз велел сажать по обе стороны дороги в церковь какие-то странные цветы, и когда невеста спрашивала его: „Дорогой капитан Душегуб, как называются эти цветы? Я никогда прежде таких не видела“, он свирепо шутил: „Они называются гарниром“. Тогда прелестная молодая жена спрашивала его: „Дорогой капитан Душегуб, какой мне сделать пирог?“ — и он отвечал: „Мясной“. Тогда прелестная молодая жена говорила ему:

„Дорогой капитан Душегуб, я не вижу здесь мяса“, и он шутливо отвечал: „А ты погляди-ка в зеркало“. Молодая женщина, познакомившая меня с капитаном Душегубом, злорадно наслаждалась моими страхами и, помнится, обычно начинала рассказ с того, что принималась царапать руками воздух и протяжно, глухо стонать — это было своего рода музыкальным вступлением...»

«Та же женщина-бард... прибегала все время к одной уловке, которая сыграла немалую роль в моем постоянном стремлении возвращаться в разные жуткие места, которых я, будь на то моя воля, всячески старался бы избегать. Она утверждала, будто все эти страшные истории случались с ее родней. Мое уважение к этому достойному семейству не позволяло мне усомниться в истинности этих историй, и они сделались для меня настолько правдоподобными, что навсегда испортили мне пищеварение. Она, например, рассказывала о некоем сверхъестественном звере, предвещавшем смерть, который явился как-то раз среди улицы горничной, когда она шла за пивом на ужин, и предстал ей сперва (насколько я помню) в виде черной собаки, а потом мало-помалу начал подниматься на задние лапы и раздуваться, пока не превратился в четвероногое во много раз больше гиппопотама».

Мерси сменила другая няня, четырнадцатилетняя Мэри Уэллер, немного подороже; неясно, правда, к какой из нянек относится фрагмент воспоминаний: «...в детстве меня таскали к такому количеству рожениц, что я сам не пойму, как избежал опасности стать акушером. У меня, должно быть, была очень участливая няня с огромным количеством замужних приятельниц... я припомнил, что навещал некую даму, родившую сразу четверых детей... Эта достославная особа устроила у себя в то утро, когда меня туда привели, настоящий светский прием, и... четверо усопших младенцев лежали рядышком на чистой скатерти, посланной на комод; по детской моей простоте они казались мне — вероятно, благодаря своему цвету — похожими на свиные ножки, которые выкладывают на витрине в чистеньких лавочках, торгующих требухой». Жутковатое воображение, не правда ли?

Семья Диккенса, формально принадлежавшая к англиканской (грубо говоря, занимающей промежуточное положение между католицизмом и протестантизмом) конфессии, совсем не была религиозной, так что в церковь его, похоже, водила опять-таки няня: «Меня таскали на религиозные собрания, на которых ни одно дитя человеческое, исполнено ли оно благодати или порока, не способно не смежить очи; я чувствовал, как подкрадывается и подкрадывается ко мне предательский сон, а оратор

все гудел и жужжал, словно огромный волчок, а потом начинал крутиться и в изнеможении падал — но тут, к великому своему страху и стыду, я обнаруживал, что упал вовсе не он, а я. Я присутствовал на проповеди Воанергеса, когда он специально адресовался к нам — к детям; как сейчас слышу его тяжеловесные шутки (которые ни разу нас не рассмешили, хотя мы лицемерно делали вид, будто нам очень смешно); как сейчас вижу его большое круглое лицо; и мне кажется, что я все еще гляжу в рукав его вытянутой руки, словно это большой телескоп с заслонкой, и все эти два часа безгранично его ненавижу». Мэри Уэллер, однако, в интервью диккенсоведу Роберту Лэнгтону церковь не поминала — только игры подопечного с Люси и ее братом Джорджем, «волшебный фонарь» и игрушечные представления.

Чарли хотел и мог бы стать актером. Завзятым театралом он сделался в десять лет благодаря семнадцатилетнему Джеймсу Лэмерту, сыну ухаживавшего за теткой Фанни врача: подросток квартировал у Диккенсов (у них к тому времени с деньгами стало худо, и они переехали в другой, более бедный район). Дома ставились под режиссурой Лэмерта любительские спектакли; сестра (Фанни-младшая) прекрасно пела, Чарлз похуже, зато ему удавались комические куплеты, и отец таскал его по знакомым — демонстрировать талант. Тем временем страна завоевала Цейлон и заодно впала в экономический кризис, родивший продержавшиеся чуть не весь XIX век «Хлебные законы», зафиксировавшие высокие цены на хлеб: землевладельцам и их арендаторам это было выгодно, городам — смерть; голодные бунты, войска на улицах, петиции в парламент... А в парламенте — одни землевладельцы, как будто на дворе Средние века. Сами понимаете, каков был результат петиций. Что-то надо было делать. Горожане тоже должны иметь право голоса и своих представителей.

Лидер радикалов Уильям Коббет распространил программу реформ: избирательное право всем, кто платит налоги, и выборы каждый год, чтобы депутаты не засиживались. К зиме 1816 года во всех промышленных центрах сердитые горожане выходили на митинги; в ответ палата митинги запретила и приостановила действие почти священного для англичан акта Хабеас Корпус (согласно которому арестовать человека можно только с соблюдением законных формальностей). Верхушку оппозиционеров посадили, всех разогнали, потом (в 1817–1818 годах) экономика полезла вверх и все утихло, но к 1819-му началось вновь. А некому было даже внести в палату проект закона о выборной реформе — там ни одного реформатора. Собрался грандиозный митинг в Манчестере, войска открыли

огонь, были убитые и раненые, осенью 1819 года чрезвычайная сессия парламента утвердила расширение ассигнований на военные расходы и приняла законы, которые вводили запрет на проведение массовых митингов и ограничивали возможности печати. (Впоследствии эти законы получили название «шесть законов для затыкания рта».) До детей это все доходило в самом искаженном виде, и они боялись «бунтовщиков». «Путешественник не по торговым делам»: «Здесь же я узнал по секрету от человека, чей отец находился на государственной службе и потому обладал обширными связями, о существовании ужасных бандитов, именуемых „радикалами“, которые считали, что принц-регент должен носить корсет, никто не должен получать жалованье, флот и армию следует распустить, и я, лежа в постели, дрожал от ужаса и молил, чтоб их поскорее переловили и перевешали».

Летом 1819 года Джон Диккенс занял у знакомого 200 фунтов, выплатить не мог (он не был пьяницей или игроком — деньги утекали как-то так, на джентльменский образ жизни) и втянул в это шурина — Томаса Барроу; шурина с ним порвал. Катастрофа становилась все ближе. Тем не менее родили еще дочку Гарриет, на следующий год — сына Фредерика, а в 1822-м — сына Альфреда. Старших, Фанни и Чарли, в 1820 году отдали в крошечную школу на соседней улице, где учили с помощью розог в общем-то ничему, в 1821-м перевели в такую же маленькую школу (на полтора десятка детей), но более приличную, которой управлял молодой баптистский священник Уильям Джайлз: ораторское искусство, арифметика, история, география, латынь. Учителю Чарли нравился, и он много занимался с ним отдельно, заодно научив его нюхать табак; к пятнадцати годам Чарлз был уже заядлым курильщиком. Ничего удивительного: тогда младенцев поголовно поили портером.

Сестра Джайлза вспоминала, что Чарли был мал, худ, ангельски красив и обладал хорошим характером, открытым и мягким; у него начались страшные почечные колики, и он почти не мог играть, зато стал еще больше читать: «Дон Кихота», «Жилия Блаза», романы Генри Филдинга. «Они продолжают жить в моем воображении, — сказал он как-то своему прижизненному биографу Джону Форстеру, — и в них моя надежда на что-то, что за пределами этого места и времени...»^[5]

Тетя Фанни вышла замуж за доктора Лэмерта и уехала в Ирландию, а Джеймс Лэмерт остался у Диккенсов и в июне 1822 года перебрался с ними в Лондон, где Джон Диккенс получил очередное назначение; Чарли оставили заканчивать четверть в школе. Он приехал к своим один: «Сколько прожито лет, а разве забыл я запах мокрой соломы, в которую упаковали меня, словно дичь, чтобы отправить — проезд оплачен — в

Кросс Киз на Вуд-стрит, Чипсайд, Лондон. Кроме меня в карете не было других пассажиров, и я поглощал свои бутерброды в страхе и одиночестве, и всю дорогу шел сильный дождь, и я думал о том, что в жизни гораздо больше грязи, чем я ожидал».

Семья жила на Бейхем-стрит, 16, в новом растущем районе Кэмденаун: неудобный дом в три этажа, но всего с четырьмя комнатами, в которых надо было расположить родителей, шестерых детей, квартиранта, горничную и «черную» служанку. Одинок, скучно: впоследствии Чарлз едва смог вспомнить двоих соседей и друзей не завел. Мать водила к дяде, Томасу Барроу, брать почитать книги, с Джеймсом Лэмертом дома устраивали театр, отец посылал с хозяйственными поручениями (отдать вещи в чистку, починку, ломбард, купить что-нибудь), лето кончилось, а в школу Чарли не отдали. Он не мог понять почему.

Из автобиографии, написанной предположительно в 1845 или 1846 году: «Отца я всегда считал добрейшим и благороднейшим из смертных. Я не вспомню ни одного его поступка по отношению к жене, детям или друзьям в дни болезни или бед, который не заслуживал бы высочайшей похвалы. Он просиживал со мной, когда я болел, дни и ночи напролет, всегда неутомимый, всегда терпеливый, и так не день и не два... Он гордился мною на свой особый манер и с восхищением слушал мои комические куплеты. Однако по беззаботности своего нрава и в силу денежных трудностей он, очевидно, совсем позабыл тогда о моей учебе и даже в мыслях не имел, что я вообще могу что-то требовать от него в этом отношении. И вот мне осталось чистить по утрам ботинки ему и себе, помогать в чем нужно по дому, присматривать за меньшими братьями и сестрами (нас к тому времени было шестеро) и бегать по разным жалким делам, связанным с нашим жалким бытом».

Зимой 1823 года молодой Лэмерт съехал, найдя себе работу и жилье, а весной Фанни приняли в Королевскую академию музыки по классу фортепиано. Плата была высокой. Это было очень необычно по тем временам — деньги идут на обучение дочери, а не сына; может, если бы родители видели в Чарли какой-нибудь явный талант, все было бы иначе. А так он продолжал сидеть дома или болтаться по Лондону. Глаз у него был необычайно острый, воображение — бешеное; эта смесь породила городские очерки, написанные позднее. О лавках «секонд-хенд»: «На какое-нибудь порождение нашей фантазии мы примериваем то усопший сюртук, то мертвые панталоны, то бранные останки роскошного жилета и по фасону и покрою одежды стараемся вообразить прежнего ее владельца. Мы так увлекались порою этим занятием, что сюртуки десятками соскакивали

со своих вешалок и сами собой застегивались на фигурах воображаемых людей, а навстречу сюртукам десятками устремлялись панталоны... Вот и на днях мы развлекались таким образом, пытаясь обути в башмаки на шнуровке несуществующего мужчину, которому они, правду сказать, были номера на два малы, когда взгляд наш упал невзначай на несколько костюмов, развешанных снаружи лавки, и нам тут же пришло в голову, что в разное время все они принадлежали одному и тому же человеку, а теперь, по странному стечению обстоятельств, оказались вместе выставлены на продажу. Нелепость этой мысли смутила нас, и мы внимательнее взгляделись в одежду, твердо решив, что не дадим так легко ввести себя в заблуждение. Но нет, мы были правы: чем больше мы смотрели, тем больше убеждались, что первое впечатление нас не обмануло. Вся жизнь человека была написана на этих костюмах так же ясно, как если бы он показал нам автобиографию, крупными буквами начертанную на пергаменте».

О дверных молотках: «Посещая человека впервые, мы с величайшим любопытством всматриваемся в черты молотка на двери его дома, ибо хорошо знаем, что между хозяином и молотком всегда есть большее или меньшее сходство и единоподушие. Вот, например, образчик дверного молотка, весьма распространенный в прежние времена, но быстро исчезающий: большой круглый молоток в виде добродушной львиной морды, которая приветливо улыбается вам, пока вы, дожидаясь, чтобы вам открыли, завиваете покруче кудри на висках или поправляете воротнички; нам ни разу не случалось увидеть такой молоток на дверях скряги, как мы убедились на собственном опыте, он неизменно сулит радушный прием и лишнюю бутылочку винца.

Никто не видывал такого молотка у входа в жилище мелкого стряпчего или биржевого маклера; они отдают предпочтение другому льву — мрачному, свирепому, с выражением тупым и злобным; это своего рода глава ордена дверных молотков, он в чести у людей себялюбивых и жестоких. Есть еще маленький бойкий египетский молоток с длинной худой рожицей, вздернутым носом и острым подбородком; этот в моде у наших чиновников, тех, что носят светло-коричневые сюртуки и накрахмаленные галстуки, у мелких, ограниченных и самоуверенных людишек, которые ужасно важничают и неизменно довольны собой».

Осенью Бейхем-стрит была оставлена с грудой неоплаченных счетов, и семья сняла просторный дом на более respectable Норт-Гауэр-стрит: Элизабет Диккенс решила открыть школу для девочек, чьи родители жили в Индии, а детей отсылали на родину. Чарли расклеивал по городу

объявления, но ученицы не шли, а являлись только кредиторы, вынуждая отца прятаться на чердаке. Так что когда в январе 1824 года Джеймс Лэмерт, получивший должность управляющего на фабрике ваксы, предложил Чарли работу, родители согласились. 9 февраля он вместе с другими мальчишками и взрослыми мужчинами начал упаковывать и обклеивать этикетками баночки ваксы за плату шесть шиллингов в неделю. «Никто не возражал. Отец и мать были вполне удовлетворены. Они, возможно, не были бы рады больше, если бы я, двадцатилетний, поступил в Кембридж».

«Дэвид Копперфильд»: «Меня и сейчас еще немного удивляет та легкость, с которой я, совсем еще мальчик, был отвергнут. Ребенок очень способный и наблюдательный, подвижный, пытливый, чувствительный, легкоранимый и физически и душевно, я, как чудом, был изумлен тем, что никто и не подумал выручить меня». Лэмерт сперва обещал по часу в день заниматься с Чарли латынью и историей, но это быстро сошло на нет. Чарли никто не обижал, напротив, у него появился покровитель, подросток Боб Феджин, но и это покровительство было оскорблением. Автобиография: «Никакими словами нельзя выразить затаенных в моей душе страданий... Я чувствовал, что мои прежние надежды стать образованным и воспитанным человеком погребены в моей груди. Даже воспоминание о чувстве, которое я испытывал от того, что был совершенно заброшен и оставлен без всяких надежд; о стыде, который вызывало у меня сознание моего положения; о терзаниях, какие доставляла моему юному сердцу мысль, что день за днем все, чему я учился, о чем думал, чем восхищался, что возбуждало мои мечты и честолюбие, ушло от меня и мне никогда этого не вернуть, — неописуемо тягостно. Все мое существо было проникнуто такой горечью и унижением от этих мыслей, что даже теперь, прославленный, опекаемый, счастливый, я часто забываю в своих грезах, что у меня есть милая жена и дети, даже о том, что я взрослый человек, и с отчаянием возвращаюсь к тому времени своей жизни». Он признавался, что не мог без слез пройти мимо места, где когда-то находилась фабрика, «уже и после того, как мой старший сын научился говорить».

Честертон: «Мне кажется, не надо и пояснять, что взрослый преувеличил страдания ребенка. Диккенс вообще грешил преувеличениями, если это грех. В нем было немало тщеславия, и он любил подбавить горечи к рассказу... он еще не возвысился духом, не знал даже нежности и преданности. Если не ошибаюсь, он отличался — и раньше, и тогда — искренним, упорным, тяжким тщеславием». Честертон, сам человек благополучнейший, любил писать о том, как на самом деле

счастливы бедняки и рабочие, но и многие современные биографы считают, что Диккенс свое отчаяние преувеличил, тем более что проработал он на фабрике всего три месяца. Энгус Уилсон: «Таким он в какой-то мере и был — чуточку помешанным на событиях своего детства, заносчивым, несправедливым и равнодушным к близким»^[6].

Но, на наш взгляд, здесь есть ошибка. Нам кажется, что если в те времена маленькие дети работали на фабриках, то и для любого ребенка было нормально работать на фабрике. Но, наверное, Диккенсу самому виднее, что он чувствовал, и вспомните страдания маленького принца Уэльского из «Принца и нищего» Твена: мальчику из интеллигентной семьи, до этого учившему латынь и рассчитывавшему на Кембридж, вдруг свалиться в «нижний» мир было так же ужасно, как было бы ужасно такому же современному ребенку. Биографы отмечают также, что в конечном итоге фабрика пошла Диккенсу на пользу: он «обучился» страданию. Любые муки идут писателям на пользу — так мы обычно говорим. Но если спросить их самих — может, они и без мук обошлись бы и не стали от этого хуже?

Ситуация ухудшалась: 20 февраля Джона Диккенса арестовали за долги. Первые два дня он, как полагалось, находился в доме судебного исполнителя — за это время должник мог отыскать деньги и не отправиться в тюрьму. Чарли — а кого еще? — послали распродавать книги и мебель и бегать по знакомым, вымаливая в долг. Ничего не вышло, хватило только на обустройство отца в долговой тюрьме Маршалси. Странное место эти долговые тюрьмы: живи как хочешь, сам покупай себе постель, питайся как знаешь, принимай любых гостей и ищи деньги.

«Посмертные записки Пиквикского клуба»: «В одной из камер четверо или пятеро рослых неуклюжих молодцов, которых едва можно было разглядеть сквозь облако табачного дыма, шумно беседовали за недопитыми кружками пива или играли во „все четыре“ колодой засаленных карт. В смежной камере какой-то одинокий жилец, склонившийся при свете жалкой сальной свечи над пачкой грязных, изорванных бумаг, пожелтевших от пыли и полусгнивших от времени, писал в сотый раз какую-то бесконечную жалобу какому-то великому человеку, чьи глаза никогда ее не увидят и чье сердце она никогда не тронет. В третьей камере можно было видеть мужа с женой и целой оравой детей, устраивавших на полу или на стульях убогую постель, чтобы уложить самых маленьких. И в четвертой, и в пятой, и в шестой, и в седьмой все тот же шум, и пиво, и табачный дым, и карты... В галереях, и в особенности по лестницам, слонялось множество людей, которые пришли

сюда: одни — потому, что их камеры были пусты и неудобны, другие — потому, что их камеры битком набиты и жарки; большинство — потому, что не находило тишины и покоя и не знало, чем себя занять. Здесь было очень много людей самых разнообразных категорий — от рабочего в бумазейной куртке до разорившегося кутилы в халате, разумеется с продранными локтями; но у всех было нечто общее — вялое тюремное беспечное чванство, наглый, заносчивый вид, который немислимо описать словами, но который мгновенно уловит всякий, пусть только зайдет в ближайшую долговую тюрьму...»

Жалованье Джону продолжало поступать, но на выплату долга его не хватало. Чтобы сэкономить, 25 марта Элизабет с четырьмя детьми переехала к мужу в тюрьму; Фанни жила в общежитии при академии, а для Чарли сняли койку в трехместной комнате дешевого пансиона. По воскресеньям он заходил за Фанни и они шли обедать к родителям. Пансион был далеко от тюрьмы, и в одно из воскресений, когда Чарли расплакался, отец разрешил ему снять комнату поближе: теперь он каждый день завтракал и ужинал с семьей. Неясно, почему ему не позволили жить в тюрьме: ему-то было бы легче. На работе его мучили почечные колики так, что он катался по полу от боли; обедал где придется, иногда — ведь он был уже взрослый в 12 лет — в трактире спрашивал стакан пива и отчаянно скрывал от всех, что его семья в тюрьме.

Случилось чудо, как в романах Диккенса: 26 апреля умерла бабушка Элизабет, и Джон получил наследство в 450 фунтов. Его брат оплатил его долг, Джон в конце мая покинул Маршалси и вернулся на работу, но сразу подал ходатайство о пенсии по инвалидности, сославшись на болезнь мочевого пузыря. Неясно, то ли он действительно не мог работать, то ли думал, что отлично проживет на пенсию (145 фунтов) и наследство (хотя еще не получил его — из этих денег продолжались выплаты разным кредиторам). Сняли более или менее пристойную квартиру на Джонсон-стрит, 29, и все пошло по-старому: Чарли работал на фабрике, причем та переехала в другое здание и ему теперь приходилось клеить свои баночки прямо перед окном, через которое на него глазели прохожие. Однажды отец проходил мимо со своим знакомым и продемонстрировал тому ловкую работу Чарли; знакомый зашел внутрь и дал мальчику немного денег. «Я задавался вопросом: как он [отец] мог перенести это?» Джон, видимо, перенести не смог и написал Лэмерту какое-то оскорбительное письмо, а тот мгновенно уволил Чарли.

«Моя мать решила уладить ссору и сделала это на следующий день.

Она принесла домой записку, что я могу вернуться на следующее утро, и отругала меня, чего, я уверен, я не заслужил... Я говорю без озлобления и без гнева, ибо я знаю, как все это помогло мне стать тем, чем я стал, но я никогда не забывал, не забуду, не могу забыть, что мать настаивала на моем возвращении на фабрику». Но тут отец вдруг решил настоять на своем и заявил, что не позволит Чарли туда вернуться.

Самое удивительное во всей этой истории — ни отец, ни мать Чарли никогда в жизни больше не упоминали фабрику, «как будто этого и не было». Он и сам молчал и лишь 20 лет спустя рассказал Форстеру. Больше никому. Из воспоминаний сына Генри, относящихся к последнему году жизни Чарльза Диккенса: «...в то время у меня не было ни малейшего представления, через что он прошел в те страшные дни, когда, совсем малышом, он за бесценок обертывал банки с ваксой. Я знал, что в „Дэвиде Копперфильде“ в определенной степени содержится что-то из его реальной жизни, но мне не приходило в голову, что он прошел через такие муки, пока не была опубликована книга Форстера»^[7].

Муки не кончились: Чарли было по-прежнему неясно, будет ли он учиться или останется на побегушках. 29 июня мать взяла его на концерт в Королевскую академию, где Фанни вручали приз. «Нестерпимо было сознавать, что все это — благородное соперничество, признание, успех — не для меня. Я чувствовал, что у меня разрывается сердце. Прежде чем лечь спать в тот вечер, я молился, чтобы Бог избавил меня от унижительного прозябания. Никогда еще я так не страдал, но зависть тут была ни при чем». Биографы считают, что без зависти все-таки не обошлось. Но, может, мальчик просто не мог завидовать девочке?

Наконец отец отдал его в стандартную школу для мальчиков «Веллингтонская домашняя академия»: латынь, французский, английский языки и литература, математика, история с географией, уроки танцев, розги. Из очерка «Наша школа»: «Все мы были твердо убеждены, что наш директор не знает ничего, а один из младших учителей знает все. И я по сию пору склонен думать, что первое наше предположение было совершенно правильным». Директор был еще и садист, судя по «Копперфильду» — не без сексуального оттенка, но Чарли били редко: он был проходящим учеником и хорошо учился. Став из взрослого снова ребенком, он ожил (хотя ничего не забыл и не простил): мыши в карманах, кнопки на стуле учителя, игры, переодевание в нищих и попрошайничество, прятки, фокусы, крикет, кукольные представления, ученическая газета; как почти все будущие писатели, он развлекал мальчишек историями и был популярен. Оуэн Томас, одноклассник,

вспоминал его как «здорового с виду мальчика, невысокого, но хорошо сложенного, с большей, чем обычно, склонностью к безобидным шалостям, но безвредного»... «Он держал голову выше, чем другие ребята, и был необычно подтянут и хорошо одевался... Он изобрел жаргон, производимый за счет добавления нескольких букв в каждое слово, и мы ходили по улицам и разговаривали так, чтобы нас принимали за иностранцев».

В стране за эти годы пост министра иностранных дел занял Джордж Каннинг, внутренних — Роберт Пиль, оба — реформаторы; парламент отменил законы, запрещавшие создание рабочих союзов, а также смертную казнь за некоторые виды преступлений. Джон Диккенс решил заняться журналистикой и в 1826 году опубликовал ряд статей на околополитические темы, но семью это не спасало: с ноября вновь пошли кредиторы. В феврале 1827-го Чарли исполнилось пятнадцать, и отец прекратил платить за его и Фанни учебу (Фанни за ее талант бесплатно оставили на частичном обучении); семью выселили за долги, пришлось снимать совсем плохонькую квартиру, а тут еще Элизабет забеременела в 38 лет (это считалось уже неприличным), и в августе родился мальчик — Огастес. Пятилетний Альфред и семилетний Фредерик ходили в дешевую начальную школу на соседней улице. Повезло одиннадцатилетней Летиции: старый знакомый из Чатема оставил ей (одной) наследство, но она никаких талантов не проявляла и училась дома с матерью. Чарли же должен был искать работу.

В мае мать по знакомству устроила его клерком (по сути — курьером) в адвокатскую фирму «Эллис и Блэкмор» за 15 шиллингов в неделю. Из статьи «Грошовый патриотизм»: «Я делал все, что обычно делают клерки. Переводил как можно больше писчей бумаги. Снабжал всех своих младших братьев казенными перочинными ножами... мы простаивали перед камином, до потери сознания поджаривая спины; читали газеты; а в теплую погоду выжимали лимоны и пили лимонад. Мы без конца зевали, и без конца звонили в колокольчик, и без конца болтали и бездельничали, и часто надолго отлучались из конторы и очень редко возвращались назад. Мы то и дело рассуждали о том, что сидим в конторе на положении рабов, что на наше жалованье и хлеба с сыром не купишь, что публика нами помыкает, и мы вымещали все наши обиды на клиентах, заставляя их подолгу дожидаться и давая им непонятные односложные ответы, когда им случалось заходить в наше присутствие. Я всегда несказанно удивлялся тому, что никто из посетителей ни разу не схватил меня за шиворот...»

Он старался одеваться как денди, курил хорошие сигары, пил бренди;

другой клерк, Джордж Лир, описал его: «Его наружность была очень располагающей. Он был довольно мал ростом, но чудно сложен и держался так прямо, что я думал, будто его воспитал военный... У него было чудесно розовое, светящееся круглое лицо, ясный лоб, красивые выразительные глаза, хорошо очерченный рот, прямой нос... Его волосы были красивого каштанового цвета и очень длинные по тогдашней моде... Он был популярен среди клерков и несказанно умел подражать речи любого лондонца от нищего до продавца фруктов... Он также имитировал популярных певцов и актеров и читал нам из Шекспира». Все жалованье Чарли тратил на одежду (которой придавал чрезвычайно большое значение, с возрастом проявляя все больше страсти к ярким цветам и умопомрачительным жилетам) и на театр, брал уроки декламации у актера Роберта Кили. «Я обдумывал возможность стать актером с чисто деловой точки зрения. В течение по меньшей мере трех лет я почти каждый вечер отправлялся в какой-нибудь театр... Я без конца муштровал себя (учился даже таким мелочам, как лучше войти, выйти или сесть на стул) иной раз по четыре, пять, а то и шесть часов в день, запершись у себя в комнате или гуляя по лугам». Жил он то с родителями, то снимал комнату — в зависимости от состояния своего кошелька.

В 1828 году Джону Диккенсу пришла в голову удачная идея изучить стенографию и стать парламентским репортером. Его взял в штат шурин, Джон Барроу, основавший газету «Парламентское зеркало». Чарли тоже выучил стенографию, причем гораздо лучше. В ноябре Чарли перешел работать в другую адвокатскую фирму, к Чарльзу Моллоу: там клеркам чуть больше платили, и там работал его друг (бывший сосед) Томас Миттон, добродушный толстяк, — он впоследствии станет поверенным Диккенса. Самого Чарльза адвокатура не привлекала, он с ума сходил от скуки и хотел в актеры, но для приработка по протекции семьи Барроу стал репортером в суде по гражданским делам — и пробыл им четыре года.

Тоскливый, безумный мир — не лучше Маршалси. Роман «Холодный дом»: «...в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах, по колено увязая в технических затруднениях, колотясь головами в париках из козьей шерсти о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие... сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков,

постановлений, свидетельских показаний, судебных решений и референтских докладов, словом — целую гору чепухи, что обошлась очень дорого. Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бессильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка...»

Диккенс устарел, чужд, ничего этого в наших судах нет — ведь правда? Париков из козьей шерсти нет — значит, и ничего нет?

Глава вторая

ЖЕНИТЬБА ПО ОШИБКЕ

Он оставил работу у Моллоя в 1829 году, когда смог стенографировать настолько хорошо, что этого заработка хватало на жизнь; в феврале 1830-го получил читательский билет в Британский музей и часами пропадал там: читал книги по истории и подглядывал за людьми. За одним мужчиной в отчаянно потрепанной одежде он наблюдал месяцами, потом тот исчез — умер? Но через неделю тот появился в новом костюме. Удача? Но костюм с каждым днем потихоньку линял... Бедняга просто выкрасил его чернилами.

Привычка присматриваться и подсматривать сохранится у Диккенса на всю жизнь, привычка много и бессистемно ходить по улицам (особенно лондонским) — тоже. «Путешественник не по торговым делам»: «Я столько прошел пешком во время своих путешествий, что, если бы я питал склонность к состязаниям, меня, наверно, разрекламировали бы во всех спортивных газетах, как какие-нибудь „Неутомимые башмаки“, бросающие вызов всем представителям рода человеческого весом в сто пятьдесят четыре фунта. Последнее мое достижение состояло в том, что я поднялся в два часа ночи после тяжелого дня, часть которого провел на ногах, и отправился пешком за тридцать миль завтракать в деревню. Ночная дорога была так пустынна, что я заснул под монотонный звук своих шагов, отмерявших ровно четыре мили в час. Я без труда вышагивал милю за милей в тяжелой дремоте и все время видел сны. Я приходил в себя и озирался вокруг только тогда, когда начинал спотыкаться, как пьяный, или когда бросался на середину дороги, чтобы меня не сшиб несуществующий встречный всадник, примерещившийся мне совсем рядом... Эти сонные грезы казались мне настолько реальнее таких реальных вещей, как деревни и стога сена, что, когда уже засияло солнце и я стряхнул с себя сон и мог оценить красоту пейзажа, я все еще ловил себя на том, что ищу деревянных указателей, обозначающих, какая тропа ведет к вершине, и удивляюсь, по-прежнему не видя снега. Любопытно, что в этом полузабытьи, охватившем меня во время моей пешей прогулки, я сочинил огромное количество стихов (я, разумеется, не сочиняю стихов наяву) и бегло говорил на иностранном языке, некогда хорошо мне знакомом, но теперь позабытом за отсутствием практики. В состоянии полусна со мной это бывает очень

часто, и я нередко сам говорю себе, что, значит, я не проснулся, если способен все это проделывать в два раза лучше, чем наяву. Эта моя способность не воображаемая, ибо, проснувшись, я часто припоминаю помногу строк стихов и многие отрывки моих речей».

По вечерам Чарлз стал подрабатывать парламентским репортером: тогда как раз в политике происходило много интересного. Умер Георг IV, престол перешел к его более либеральному брату Вильгельму IV, король распустил парламент, а в июле в соседней Франции случилась революция. Консерваторы в ужасе, оппозиция ликует и предупреждает: не дадите ход избирательной реформе — будет как у соседей. Новый парламент собрался в ноябре 1830 года: с первой речью в палате лордов, посвященной реформе, выступил лорд Чарлз Грей. Опять пошли петиции, митинги, мелкие бунты, Грей докладывал королю, что без реформы не выжить. Чарлз реформе горячо сочувствовал, но голова его скоро стала занята другим: он влюбился. Как он сказал потом Форстеру, в течение четырех лет он ни о чем другом не думал.

В мае 1830 года его приятель Генри Колле ввел его в дом своей невесты Энн Биднелл, дочери банковского менеджера, а у той была сестра Мария. Ей 20 лет, Чарли — 18. Она — младшая дочь в обеспеченной семье, избалованная, красивая. Он — никто. Ее родители были против него. Тем не менее поначалу она, видимо, его ухаживаний не отвергала. В одном из немногих сохранившихся писем Чарлза есть указание на возможный брак: он пишет, как они проходили мимо одной церкви и он сказал, что хочет, чтобы их ребенка крестили здесь, и Мария согласилась.

Это несчастье, что их переписка не выжила — есть лишь несколько малоинтересных писем, относящихся к 1833 году, мы потом к ним обратимся, а вот что он писал ей, уже давно замужней, в 1855 году: «Если мне присущи фантазии и чувствительность, энергия и страстность, дерзание и решимость, то все это всегда было и всегда будет неразрывно связано с Вами — с жестокосердой маленькой женщиной, ради которой я с величайшей радостью готов был отдать свою жизнь! Никогда не встречал я другого юношу, который был бы так поглощен единым стремлением и так долго и искренне предан своей мечте. Я глубоко уверен в том, что если я начал пробивать себе дорогу, чтобы выйти из бедности и безвестности, то с единственной целью — стать достойным Вас. Эта уверенность так владела мной, что в течение всех этих долгих лет, до той самой минуты, когда я в прошлую пятницу вечером распечатал Ваше письмо, я никогда не мог слышать Ваше имя без дрожи в сердце». «В те времена, когда возникало

отчуждение между нами, я часто, возвращаясь поздно ночью (порой около двух-трех часов ночи) из палаты общин, шел пешком, чтобы только пройти мимо окон дома, где спали Вы...»

В 1831 году роман с Марией вроде бы развивался, все было неплохо, Чарлз продолжал дружить с Колле и Миттоном, нашел нового друга, журналиста Томаса Берда, щедрого, восторженного; театры, холостяцкие вечеринки, музыкальные вечера у Биднеллов. В начале года его неофициально взяли к отцу и дяде в штат «Парламентского зеркала»; лорд Рассел 1 марта внес проект реформы в палату общин, обсуждение длилось больше года: предлагалось ликвидировать 60 (меньше половины) «гнилых местечек» и чуть-чуть увеличить представительство городов, но тори и против этого возражали. Вскоре Чарлза приняли в штат: его ценили за изумительную быстроту в расшифровке стенограмм. В 1865 году он вспоминал, выступая в Газетном фонде: «Мне часто приходилось переписывать для типографии по своим стенографическим записям важные речи государственных деятелей — а это требовало строжайшей точности, одна-единственная ошибка могла серьезно скомпрометировать столь юного репортера, — держа бумагу на ладони, при свете тусклого фонаря, в почтовой карете четверкой, которая неслась по диким пустынным местам с поразительной по тем временам скоростью — пятнадцать миль в час... Я протер себе колени, столько я писал, положив на них бумагу, когда сидел в заднем ряду старой галереи старой Палаты Общин, я протер себе подошвы, столько я писал, стоя в каком-то нелепом закутке в старой Палате Лордов, куда нас загоняли как овец...»

Обе палаты уважения в нем не вызывали: «скопление шума и беспорядка, хуже, чем на рынке рогатого скота в Смитфилде». Там, однако, были яркие люди, с которыми он познакомится позже — Уильям Коббет, ирландский лидер Даниэль О'Коннелл, Эдвард Стэнли, впоследствии четырнадцатый граф Дерби, премьер-министр в 1850-х лорд Джон Рассел. Но если Диккенс в юности что-то и думал о них, свидетельств тому не осталось.

Парламент заседал и днем, и поздно вечером: в такие дни было не попасть к Биднеллам, единственное, что Чарлз мог себе позволить, — утро просидеть в Британском музее. Когда парламентских сессий не было, он искал приработка в суде. (Отец вторично объявил себя несостоятельным должником, но на сей раз его не посадили.) Почему Чарли не попытался пойти в актеры, как хотел, — непонятно: то ли опасался неудачи, то ли боялся, что Биднеллам это совсем не понравится. Но он им и так не нравился, и в 1832 году они отослали Марию в Париж «для завершения

образования»: переписка между ней и Чарли в тот период, вероятно, существовала, но не сохранилась. В марте Чарлза приняли парламентским репортером в штат радикальной газеты «Тру сан», при этом он продолжал стенографировать для «Зеркала». Реформаторы собирали митинги, шантажировали короля отказом платить налоги, и 7 июня 1832 года билль о реформе вступил в силу. Уничтожили 56 «гнилых местечек», 146 мест передали городам, графствам и регионам — Шотландии, Ирландии и Уэльсу; избирателями стали собственники и арендаторы земли или жилья с доходом не меньше 10 фунтов в год в городах — собственники и арендаторы домов с тем же годовым доходом, правда, еще надо было жить на одном месте не менее пяти лет; количество избирателей возросло на треть.

Еще до этого, в марте, Чарли все-таки решился и написал директору театра Ковент-Гарден, прося о прослушивании. Фанни (она к тому времени стала преподавателем музыки) готовилась вместе с ним — будет аккомпанировать. «Но в назначенный день я свалился с ужасной простудой и воспалением лица, — кстати, тогда-то и начались эти боли в ухе, от которых я страдаю до сих пор. Я написал им об этом, добавив, что обращусь к ним в следующем сезоне». Это похоже на нервное заболевание — от страха...

Потом, как Диккенс сказал Форстеру, к мысли стать актером он больше не возвращался, так как стал зарабатывать пером, а на сцену хотел только ради денег. Не очень верится. Из письма коллеге Э. Бульвер-Литтону, 1851 год: «Характерные роли (в силу уж и не знаю каких диковинных причин) доставляют мне наслаждение до того пленительное, что я остро, не могу даже выразить как остро, переживаю чувство утраты, возникающее во мне от потери возможности так чудесно позабавиться всякий раз, когда я теряю шанс стать кем-то другим, иметь другой голос и т. д., словом, стать человеком совсем непохожим на меня самого...» Уильям Макриди, тогдашний великий актер, с которым Чарли позже познакомится, писал, впервые его услышав: «Он читает как опытный актер». Но, кажется, Чарлзу еще больше хотелось быть режиссером, и он тотчас после неудачи организовал любительский театр у себя дома (он жил в тот период с родителями на Бентинк-стрит, 18). Летом «Тру сан» обанкротилась, зато к зиме Чарлза взяли в штат «Зеркала», и еще он подрабатывал помощником депутата-вига Чарлза Теннисона. Вернулась Мария и 11 февраля 1833 года пришла к нему на день рождения. Он ждал от этого вечера многого.

«Путешественник не по торговым делам»: «Ни одного из окружающих одушевленных или неодушевленных предметов (кроме приглашенных и

себя самого) я прежде никогда и в глаза не видел. Все было взято напрокат; наемные лакеи были мне совершенно неизвестны. За дверью, в предутренний час, когда бокалы можно было обнаружить в самых неожиданных местах, я сказал Ей... я высказал Ей все. Того, что произошло между нами, я — как порядочный человек — открыть не могу. Она была воплощением ангельской нежности, но было произнесено слово — коротенькое страшное слово... Вскоре после этого она уехала, и, когда праздная толпа рассеялась, я, в компании с презиравшим все на свете кутилой, отправился по злачным местам, желая, как я объяснил ему, „обрести Забвение“. Забвение было обретено — и отчаянная головная боль в придачу». Страшное слово, как он признался Форстеру, было — «мальчик». Не мужчина...

Дальше идут несколько недатированных (видимо, мартовских) писем к любимой, из которых ясно, что в роман вмешалась подруга Марии Энн Ли, которая пыталась с Чарли заигрывать. Мария его будто бы приревновала, но, возможно, просто хотела от него избавиться. Энн Ли выпытывала о его чувствах, пыталась посредничать, сестра Фанни — тоже; в итоге эти несколько писем — сплошь нудные оправдания и какие-то женские выяснения, кто что кому сказал (из двадцати сохранившихся страниц в общей сложности около семнадцати отведены выпадам в адрес Энн Ли). «Господь знает, что мне никогда не доставляло удовольствия говорить с нею и с любой девушкой на свете. Должен ли я добавлять, что Вы — единственное исключение... Я никогда, ни словом ни делом, ни в малейшей степени, непосредственно или косвенно, не делал Энн Ли своей наперсницей...» Мария, видно, отреагировала как-то не так — 18 марта он решил на разрыв и отослал ей все ее письма.

«Ваши собственные чувства позволят Вам вообразить намного лучше, чем любая моя попытка описать это, ту болезненную борьбу, которой мне стоило сделать то, что я делаю — это прямо противоположно моим желаниям и чувствам, но необходимость этого с каждым днем очевиднее для меня. Каждое наше свидание за последнее время было новым свидетельством Вашего бессердечного равнодушия, тогда как для меня каждое из них становилось обильным источником тоски и страдания, и я выглядел как преследователь, гонящийся за Вами с более чем безнадежной настойчивостью, которая выставляла меня посмешищем...» Об отосланных письмах: «Мои чувства на этот счет, как и на любой другой, очевидно, неважны для Вас, но они говорят мне, что я был бы презренным скупцом, если бы продолжал удерживать у себя что-то полученное от Вас, и мне только жаль, что я не могу забыть, как когда-то получил это... На

смену прежним чувствам явилось уныние, более того, крайнее отчаяние — слишком долго я их терпел. Слава Богу, могу сказать, что за время нашего знакомства я всегда старался поступать справедливо, разумно и достойно. Со мною обращались то ласково и благосклонно, то совершенно иначе; я неизменно оставался все тем же... Поверьте, ничто не сможет доставить мне большего наслаждения, чем весть о том, что Вы, моя первая и последняя любовь, счастливы».

Тем не менее он, видимо, рассчитывал на примирение и не лежал в агонии, а весь март и апрель занимался устройством домашнего театра. Освободили комнату, построили декорации, участвовали члены семьи и все приятели, включая Генри Колле (через него, вероятно, Чарли надеялся как-то поддерживать отношения с Биднеллами) и нового товарища, жениха сестры Летиции архитектора Генри Остина. Ставили оперу «Девушка из Милана» и два фарса (в одном из которых фигурировал бедный мальчик из сиротского дома), Чарльз делал все: проводил репетиции, распределял роли, находил костюмы, ставил освещение и играл главных героев. За апрель дали три представления. А ОНА не пришла.

Следующее письмо Марии написано предположительно в мае, накануне свадьбы Энн Биднелл и Генри Колле, — Чарльз снова оправдывается и клянется, что у него ничего не было с Энн Ли и что он вообще не писал бы этого письма, если бы не какая-то очередная подлость проклятой Ли. «Я не буду больше отвлекать Вас или вторгаться в Вашу жизнь. Боюсь, мне нечего сказать, чтобы заинтересовать Вас или понравиться Вам. У меня нет никаких надежд, никакого желания общаться: я уже оставил первое и не должен думать о втором...» А зачем тогда писал? И все же он попросил от нее «последнего ответа» — пусть скажет, что не винит его ни в чем. Неизвестно, ответила ли она. Через несколько дней — новое письмо: «Я часто говорил прежде и повторяю сейчас, что я перенес от Вас больше, чем какой-либо человек переносил от женщины. Однако даже теперь нет ни малейшего намека на то, что мои чувства изменились». Еще шесть скучнейших страниц об Энн Ли и финал: «К Вам я никогда не имел и не могу иметь злого чувства. Если Вы когда-либо чувствовали ко мне хоть сотую долю того, что я к Вам чувствовал, меж нами не может быть холодности и недоброжелательства. Моя сосредоточенность на одном предмете была рано пробуждена; она была сильна и будет длиться».

А через пару дней он вдруг снова умоляет: «Я рассмотрел и пересмотрел все и пришел к выводу, что не позволю гордости повлиять на возможность нашего примирения. Я забуду все, что прошло; я не буду снова искать извинений и оправданий ни Вам, ни себе, я не помяну ничего,

что когда-либо происходило меж нами — я лишь открыто и раз навсегда скажу: нет ничего, чего бы я желал больше, чем быть с Вами. Бесплезно повторять все, что я так часто говорил прежде; так же бесплезно ждать и надеяться — все, что мог, я сделал. Господь свидетель, у меня нет никаких идей о том, как можно повлиять на Ваши чувства, чтобы они склонились в мою пользу. Я никогда не любил и не полюблю ни одно живое человеческое существо, кроме Вас». На этом бы закончить, но он всегда ужасно многословен и продолжает вспоминать какие-то недоразумения и претензии Энн Ли и молит об ответе. Видимо, ответа не было. 22 мая он видел Марию на свадьбе ее сестры, где был шафером жениха. И — всё.

Из писем, написанных ей много лет спустя: «Помнится, прошло уже много времени с тех пор, как я стал совсем взрослым (было ли это в действительности или мне только казалось тогда?), и я написал Вам последнее, решающее письмо, смутно сознавая, что могу говорить с Вами как мужчина с женщиной. Я предложил Вам предать забвению наши мелкие размолвки и разногласия и начать все сначала. Однако Вы ответили мне холодными упреками, и я пошел своим путем. Но если б Вы знали, с какой болью, с каким отчаяньем в сердце, после какой тяжелой борьбы я отказался от Вас! Эти годы отвергнутой любви и преданности, годы, преследовавшие меня мучительной сладостью воспоминаний, оставили такой глубокий след в моей душе, что у меня появилась дотоле чуждая мне склонность подавлять свои чувства, бояться проявления нежности даже к собственным детям, лишь стоит им подрасти...» Какое страшное признание!

Но он выжил — возможно, продолжая все еще на что-то надеяться, ведь так обычно и выживает отвергнутый человек, — и искал нового заработка. 23 июля дядя Джон Барроу познакомил его с Джоном Кольером, редактором отдела в ведущей либеральной газете «Морнинг кроникл», и в августе он в «Кроникл» был принят, правда, по рекомендации не Кольера, а своего друга Томаса Берда. Оклад — пять фунтов в неделю, работа без перерывов на парламентские каникулы: во время них он должен был ездить по стране и освещать местные выборные кампании.

В октябре Чарлз написал первый (во всяком случае, первый опубликованный) рассказ «Обед на Поплар-Уок» (он же — «Мистер Минс и его двоюродный брат»). «Мистер Огастес Минс был холостяк; по его словам, ему стукнуло сорок лет, а по словам друзей — все сорок восемь. Мистер Минс был всегда чрезвычайно опрятен, точен и исполнительен, пожалуй — даже несколько педантичен, и застенчив до крайности... Он получал недурное жалованье с постоянными прибавками, обладал, кроме

того, капитальцем в десять тысяч фунтов, помещенных в процентные бумаги, и снимал второй этаж дома на Тэвисток-стрит, в Ковент-Гардене, где он прожил двадцать лет, непрерывно ссорясь с домовладельцем, — в первый день каждого квартала мистер Минс неизменно уведомлял его, что съезжает с квартиры, а на следующий день неизменно передумывал и оставался. Два рода живых существ внушали мистеру Минсу глубокую и непреодолимую ненависть — дети и собаки. Он вовсе не отличался жестокостью, но если бы на его глазах топили собаку или убивали ребенка, он наблюдал бы это зрелище с живейшим удовлетворением. Повадки детей и собак шли вразрез с его страстью к порядку; а страсть к порядку была в нем так же сильна, как инстинкт самосохранения».

Простоватый кузен приходит к этому типу в гости, надеясь завязать дружбу, и приводит с собой собаку... В общем, совершеннейшая чепуха, хоть и хорошим языком написанная. Диккенс позже вспоминал: «Эти очерки были написаны и опубликованы, один за другим, когда я был очень молод... Они включают в себя мои первые попытки авторства... я осознаю, что многие из них чрезвычайно сыры и непродуманны и носят очевидные следы спешки и неопытности».

Рассказ он решился отослать не сразу, в августе писал в «Кроникл» о новом законе, который сокращал работу детей младше 13 лет на ткацких фабриках до 48 часов в неделю (дети от 13 до 16 лет работали 69 часов в неделю), и о жутких злоупотреблениях, выявленных комиссией, готовившей закон. Лишь в октябре отправил «Минса» в маленькую газетку «Мансли мэгэзин», доложив Колле, что руки у него тряслись от ужаса; в декабре рассказ опубликовали, только без подписи и гонорара, а через неделю его без спросу (обычная тогдашняя практика) перепечатала другая газета, «Лондон уикли»; автор был счастлив. В январе 1834 года он послал в «Мансли» второй рассказик, о семье, ставящей пьесу, потом — еще, и весь год его печатали, не называя его имени и ничего не платя. Это считалось нормой.

А деньги бы очень не помешали: Фанни зарабатывала немного, остальные дети были еще малы, отец уволился из «Зеркала», семье грозило новое банкротство. Летом Чарли освещал для трех разных газет ход дебатов о поправках к новому скандальному закону о бедных: закон ограничивал выдачу неимущим приходских пособий, а всех работоспособных отправлял в рабочие дома, где порядок мало отличался от тюремного: семьи там разделяли, как рабов, и требовали носить униформу. Уильям Коббет и другие либералы яростно протестовали, но без

толку. Репортеры сидели на задней галерее, где было темно, душно и плохо слышно; Чарлз Маккей, коллега по «Кроникл», писал, что Диккенс «имел репутацию самого быстрого, точного и надежного из лондонских репортеров». В августе он впервые подписал один из своих рассказиков для «Мансли» — «Боз»; это было сокращенное и искаженное выговором в нос домашнее прозвище его самого младшего брата Огастеса Ньюхема — Мозес^[8]. Сентябрь — первая командировка: надо написать о политическом банкете в Эдинбурге. «Кроникл» начала публиковать его рассказы; Джон Блэк, редактор, пророчил ему большое будущее.

Издатели «Морнинг кроникл» учредили приложение к газете — «Ивнинг кроникл», редактором которого стал политический и музыкальный обозреватель «Морнинг кроникл», журналист и критик Джордж Хогарт, сразу предложивший Бозу регулярно писать рассказы или очерки за два фунта в неделю. К этому времени Чарлз с выдуманных историй перешел к документальным зарисовкам — их потом издадут под общим названием «Очерки Боза». У него прочно выработалась привычка часами бродить по Лондону, иногда ночью: «Большой город неутомнен, и смотреть на то, как он ворочается и мечется на своем ложе, прежде чем отойдет ко сну, — одно из первых развлечений для нас, бесприютных», — об этом он и рассказывал, и у него уже складывался свой стиль.

«Холодом печали и запустения веет от безлюдных улиц, которые мы привыкли в другое время видеть заполненными шумной, бурливой толпой, от притихших, наглухо закрытых зданий, где день-деньской кипит жизнь, — и уже это одно поражает воображение. Последний пьяница, который еще доберется до света домой, только что прошел мимо заплетающейся походкой, горланя припев вчерашней застольной песни; последний бездомный бродяга, которого нищета выгнала на улицу, а полиция не удосужилась оттуда убрать, забился, дрожа от холода, в какой-нибудь угол между каменных стен, чтобы хоть во сне увидеть тепло и пищу. Пьяные, распутные, отверженные скрылись от человеческих взоров; более трезвые и добропорядочные жители столицы еще не восстали для дневных трудов, и на улицах царит безмолвие смерти; она как будто сообщила им даже свою окраску, до того холодными и безжизненными кажутся они в сером, мутном предутреннем свете. Пусты стоянки карет на перекрестках; закрылись ночные трактиры; и ни души на панелях, где выставляет себя напоказ жалкий разврат. Лишь кое-где на углу стоит полицейский, вперив скучающий взгляд в пустую даль проспекта; да какой-нибудь гуляка-кот, украдкой перебежав через улицу, спускается в свой подвал — прыг на кадку с водой, оттуда на мусорное ведро и, наконец, на каменную плиту

перед черным ходом — и все так осторожно и хитро, точно его репутация навеки погибнет, если кто узнает о ночных его похождениях. Там и сям приотворено окошко в спальне — погода стоит жаркая и от духоты плохо спится; да изредка мигнет за шторой ночник в комнате томимого бессонницей или больного».

Ближе к концу года Хогарт стал приглашать Чарлза к себе на музыкальные вечера и ужины. Хогарты, как и Биднеллы, стояли на социальной лестнице гораздо выше Диккенсов, но в их интеллигентной семье этому значения не придавали. У них было десять детей, самую младшую девочку сорокалетняя Джорджина Хогарт только что родила, а другим дочерям было 19, 15 и 7 лет: громадную роль в жизни Диккенса сыграют все три, но ухаживать он стал, естественно, за старшей, Кэтрин.

Биографы единодушны: он ее «по-настоящему» не любил. Фред Каплан^[9]: «Сформированный холодностью его матери, затем отказом Марии, Чарлз искал женщину, для которой он будет центром мира, женщину, чьи чувства и действия вращались бы вокруг его потребностей. Он также хотел семью, которая обеспечит близость и стабильность, каковых в его собственной семье недоставало». Клэр Томалин^[10]: «Он видел в Кэтрин привязчивость, покладистость и физическую привлекательность и вообразил, что любил ее. Она не была умна, как его сестра Фанни, но это, возможно, было частью ее очарования: глупенькие женщины в его книгах обычно желаннее, чем умные, компетентные. Он хотел быть женатым. Он не хотел иметь жену, которая разбудит его воображение».

Уилсон: «Ухаживания Диккенса, нет сомнения, активизировали ее [Кэтрин] духовную жизнь больше, чем он или она могли ожидать. Она оказалась способной шутить, выдумывать каламбуры, изобрести порой что-нибудь абсурдное и неожиданное... Однако по мере того как проходила влюбленность, их веселая дружба постепенно слабела и, напротив, выявлялось различие характеров. Многие с самого начала говорили, что их брак не будет удачным. Хогарты, конечно, были интеллигентны, но хозяйство велось у них беспорядочно, чистоты в доме не было; Диккенс же совершенно иначе представлял себе свою жизнь в период, когда добьется успеха, и терпеть все это был не намерен. Он положил много сил на то, чтобы обрести внутреннюю дисциплину, которая навсегда исключала опасность жить подобно родителям — транжирить без зазрения совести, а потом кое-как сводить концы с концами. Он и жене готов был помочь

добиться подобной же самодисциплины и расстаться с богемными привычками родного дома. И он этого добился — но не столько помог ей, сколько заставил ее, подавил, и заодно — это была дорогая расплата — вытравил в ней индивидуальность, которая когда-то его привлекла».

Пирсон: «Марию Биднелл он любил неистово, как человек, который томится по любви. Когда Мария отвернулась от него, можно было почти наверняка предположить, что первая женщина, которая ответит на его чувство, станет его женой. Из дочерей Хогарта на выданье была только Кэтрин, а так как никакими яркими особенностями она не отличалась, то именно ей и было суждено сделаться миссис Чарлз Диккенс...» И еще от Томалин: «...решение о браке было принято из соображений сексуальной гигиены, внутреннего комфорта и приятельских отношений».

Все это выглядит вполне убедительно: отвергла любимая — взял первую попавшуюся, тем более что, возможно, Кэтрин первая к нему потянулась. Но мы почти ничего не знаем о Кэтрин: большинство писем опять-таки не выжило. Может, она вовсе и не была глупа. С чего бы девушке из такой интеллектуальной семьи быть глупой? Ее биограф Лилиан Найдер^[11] утверждает, что она была очень развита. И Чарлз ее глупой не считал: посылая ей книги, например написанное знаменитым биографистом Сэмюэлом Джонсоном жизнеописание поэта Ричарда Сэведжа, писал: «Не сомневаюсь, что тебе с твоим вкусом это должно очень понравиться». Но, в конце концов, какая разница, глупа девушка или умна? Для любви это все равно... И почему мы так уверены, что он не мог вскоре после одной девушки сильно влюбиться в другую? Молодой парень, кровь горячая, так очень часто бывает и с обыкновенными людьми, и с великими... Впоследствии он говорил, что несходство его и Кэтрин характеров обнаружилось сразу после свадьбы, но это скорее довод в пользу того, что он женился по влюбленности, а не расчетливо искал «подходящую».

Карьера обычно строится так: одна полезная связь тянет за собой другие. Автор исторических романов Уильям Эйнсворт пришел в офис «Кроникл», познакомился с Диккенсом и в свою очередь познакомил его с издателем Джоном Макроуном — тот пленился очерками Боза и захотел их издать; Эйнсворт же свел его с художником Крукшенком, писателем Бульвер-Литтоном... Все идет в гору, вот только отец опять арестован за долги; на сей раз Чарлз сумел собрать деньги, чтобы того не посадили. Он уладил отношения с кредиторами, снял для семьи квартиру по средствам, но жить с ними больше не захотел и вдвоем с любимым братом

Фредериком переехал в доходный дом на Фернивалс-Инн: 35 фунтов в год, три комнаты и чулан. С деньгами в тот период было так скверно — нормальной обуви не купить.

В январе 1835 года он ездил по командировкам, в конце месяца поступил к Хогарту в штат «Ивнинг кроникл» и следующие очерки печатал там: описывал лавки, театры, стоянки, кабаки, дилижансы, все без пафоса, с очаровательным юмором. «По-видимому, никто никогда не устанавливал точного числа пассажиров, на которое рассчитан наш омнибус. Но у кондуктора явно сложилось представление, что он с легкостью может вместить столько людей, сколько удастся заманить в него. „Места есть?“ — кричит потный, запыхавшийся джентльмен. „Мест много, сэр“, — отвечает кондуктор, чуть приоткрывая дверь и утаивая истинное положение вещей до тех пор, пока несчастный не вскочит на подножку. „Где же они?“ — спрашивает одуроченный пассажир, делая слабую попытку спрыгнуть на землю. „Да где угодно, сэр, — говорит кондуктор, вталкивая его в омнибус и захлопывая дверь. — Трогай, Билл!“ Отступление отрезано; новый пассажир долго тычется во все стороны, потом привалится где-нибудь да так и едет... Один желчный старичок с пудренными волосами всегда сидит у самой двери, справа, сложив ладони на ручке зонтика. Он очень сердитый и садится на это место нарочно для того, чтобы не спускать глаз с кондуктора и всю дорогу препираться с ним. Он услужливо помогает пассажирам войти и выйти и всегда рад потыкать зонтиком в кондуктора, если кто-нибудь хочет сойти. Дамам он обычно советует сразу протягивать заранее приготовленные шесть пенсов, чтобы не задерживать отправку; а если сосед опускает окно, до которого старичок может дотянуться, он тут же снова подымает его».

В начале мая Чарлз сделал предложение, и Кэтрин его приняла. «По-настоящему» он ее любил или нет, но ему явно хотелось проводить с ней как можно больше времени. Несмотря на безденежье, он снял еще одну квартиру — в нескольких минутах ходьбы от дома Хогартов. Когда он проводил поздние вечера за работой в парламенте, то просил, чтобы она с утра к нему приходила — приготовить ему чай и позавтракать вместе. (Она для приличия брала с собой младшую сестру Мэри.) «Моя дорогая мышка, моя милая родная свинка, приходи, когда я закончу работу, я понимаю, что это ребяческое желание, но мне так хочется видеть и слышать тебя, как только я проснусь...» «Ты будешь завтракать со мной — я не буду вставать, пока ты не разбудишь меня...» «Я уверен, что ты и Мэри позавтракаете со мной этим утром — отговорки не принимаются». Эту последнюю записку

приводят как доказательство его властности и даже грубости по отношению к Кэтрин, но, на наш взгляд, ничего крамольного тут нет: может, он и Марии Биднелл, согласись она стать его женой и будь он в ней уверен, писал бы «отговорки не принимаются...».

Через несколько недель после обручения^[12] ему показалось, что она его разлюбила. «Внезапная и ничем не вызванная холодность, которую ты проявила в обращении со мною, удивила и больно ранила меня — удивила оттого, что нельзя представить себе, как в одном сердце могут соединиться любовь и такое мрачное, железное упорство; а ранила потому, что теперь ты значишь для меня несравненно больше, чем прежде».

«То, что можно подчас скрыть от влюбленного, всегда разглядит или угадает муж... Если ты действительно меня любишь, мне бы хотелось, чтоб ты была достойна себя. Твоя любовь должна, подобно моей, быть выше банальных уловок и вздорного кокетства, оскверняющих, делающих посмешищем само слово „любовь“. Я столько раз бросал своих друзей ради тебя и делаю все, чтобы ты была счастлива... Нет, я не сержусь, я огорчен, и это уже второй раз». Она, видимо, могла «показать зубки», так как он часто жаловался на ее холодность; меж ними возникали размолвки. «Твоя приписка, любовь моя, доказывает, что ты способна на доброту и привязанность... если бы ты только согласилась показывать ту же самую привязанность и доброту ко мне, я без всякого преувеличения мог бы сказать, что не нахожу в тебе ни единого недостатка. Ты просишь „снова“ полюбить тебя, но в этом нет нужды — я ни на мгновение не переставал любить тебя с тех пор, как узнал, и никогда не перестану». «Очень жаль, милая моя девочка, что мое давешнее письмо показалось тебе натянутым и холодным... Это получилось вовсе не преднамеренно». «Мне кажется, что ты еще не сумела подавить недоверчивость, мнительность, свойственную тебе...» Из писем декабря 1835 года: «Ты была так неуместно неприветлива сегодня, лучше признайся откровенно, что я тебе надоел». «Пожалуйста, не делай из меня игрушку и объект для насмешек ... я не хочу предупреждать тебя об этом во второй раз». Эти высказывания обычно трактуют так, что он «ставил ее на место», но ведь можно понять и так, что боялся потерять ее любовь. Раз обжегшись на молоке, дуешь на воду.

Он просиживал в палате общин до полвторого ночи, потом расшифровывал записи и еще должен был постоянно писать очерки (а они длинные — Диккенс даже для своего века был многословен); очень часто приходилось отменять свидания с Кэтрин. «Если бы ты знала, как нетерпеливо я жажду твоего общества этим вечером, и как восхитительно было бы сидеть с тобой у камина, когда я закончу работу, ты поверила бы,

что я искренен, говоря, что лишь нужда побуждает меня отказаться от удовольствия общения с тобой... Но ты мне никогда не веришь... мне остается думать о том, что (слава Богу) у нас с тобой еще много лет впереди и у меня будет немало случаев доказать тебе, как ты была несправедлива ко мне, и убедить тебя — к сожалению, пока мне это не удастся — что твое будущее счастье — главная движущая сила всего». «Если бы я попытался выразить словами хотя бы самую малую долю чувств, которые питаю к тебе, это была бы напрасная и безнадежная попытка». «Благослови тебя Бог, жизнь моя — нет, более чем жизнь».

В октябре 1835 года у Кэтрин была скарлатина — в те времена смертельно опасная болезнь, зачастую навек обезображивавшая выживших, — Чарлз приходил к ней каждый день, не боясь заразиться, подавал питье, вытирал ее лицо и писал, что хочет сам заболеть, чтобы ничем от нее не отличаться, — он, который придавал такое значение своей красивой наружности...

В ноябре он подписал с Макроуном договор на издание «Очерков Боза» в двух томах, гонорар — 100 фунтов. Книга вышла 8 февраля 1836 года, критики ее хвалили, в основном за верность натуре, в «Морнинг посткардс» говорилось, что «живописные описания Боза передают все, что он описывает, с невообразимой точностью», «Санди геральд» писала о «неподражаемой точности», рецензент «Экземинера» даже утверждал, что Боз открыл новую область литературы. Однако у Боза был конкурент: его иллюстратор Джордж Крукшенк (тогда книг без «картинок» не существовало, иллюстрации считались такими же важными, как текст), и он ревновал. «Санди геральд»: «Мы не знаем, чем восхищаемся более: остроумием очерков или неподражаемым мастерством Крукшенка». (Вдобавок Крукшенк был алкоголик и человек тяжелый, Чарлзу было трудно работать с ним.)

Очерки были сгруппированы в четыре раздела: «Наш приход», «Картинки с натуры», «Лондонские типы» и «Рассказы». В некоторых из них никакого милого юмора нет, а открывается другая сторона диккенсовского дара, та, за которую его называют сентиментальным, — умение показать обнаженное человеческое страдание. 5 ноября 1835 года он с Джоном Блэком побывал в Ньюгетской тюрьме; очерк о ней венчает весь сборник. Судите сами, сентиментально это — или просто сильно.

«Если бы можно было по волшебству поднять в воздух Бедлам и перенести его, как дворец Аладдина, на то место, где сейчас находится Ньюгетская тюрьма, то из каждых ста человек, чей путь на работу лежит по Олд-Бейли или Ньюгет-стрит, едва ли один не бросил бы взгляда на его

маленькие зарешеченные окна и не подумал о несчастных существах, запертых в его унылых камерах; а между тем эти же самые люди изо дня в день, из часа в час, непрерывной, шумливой рекою жизни текут мимо этого мрачного вместилища порока и страданий Лондона, не уделяя ни единой мысли сонмищу заключенных здесь несчастных созданий, — мало того, даже не зная и уж во всяком случае не смущаясь тем обстоятельством, что, когда они, смеясь или посвистывая, доходят до одного из углов тюремной стены, всего какой-нибудь ярд отделяет их от такого же, как они сами, человеческого существа, связанного и беспомощного, чьи часы сочтены, от кого навсегда отлетела последняя искра надежды, чью жалкую жизнь скоро оборвет позорная, насильственная смерть».

Смертник: «Он так ослабел от волнения и бессонницы, что засыпает, но видения преследуют его и во сне. С его груди сняли невыносимый груз; он идет с женой по цветущему зеленому лугу, над ними ясное небо, кругом неоглядный простор — совсем, совсем не похоже на каменные стены Ньюгета! Жена его — не такая, какой он видел ее в последний раз в этом ужасном месте, а какой она была, когда он любил ее, много-много лет назад, до того как бедность и жестокое обращение убили ее красоту, а порок изменил его нрав, — жена опирается на его руку, смотрит ему в лицо нежно и ласково, и он теперь не бьет ее, не отталкивает от себя, и как же он рад, что может сказать ей все, что забыл сказать в то последнее свидание, когда они так спешили, и может упасть перед ней на колени и горячо просить у нее прощения за грубость и злобу, которые иссушили ее тело и разбили сердце! Вдруг картина меняется. Он опять перед судом: вот судья, прокурор, свидетели, присяжные — всё, как было тогда. Сколько народу в зале — море голов — и тут же виселица, и эшафот — и как все эти люди глазят на него! „Виновен“. Ничего, он убежит. Ночь темная, холодная, ворота не заперты, мгновение — и он уже на улице и как ветер несется прочь от места своего заточения. Улицы остались позади, вот и деревня, широкое открытое поле расстилается вокруг. Он мчится вперед в темноте, через изгороди и каналы, по грязи и лужам, большими скачками, так быстро и легко, что сам удивляется. И вот, наконец, он замедляет шаг. Ну конечно, он ушел от погони, теперь можно растянуться вот здесь на берегу и поспать до рассвета.

Приходит крепкий сон: без сновидений. Но вот он просыпается, ему холодно. Серый утренний свет, просочившись в камеру, озаряет фигуру надзирателя. Еще не очнувшись, он вскакивает со своего беспокойного ложа и минуту остается в сомнении. Только минуту! Тесная камера и все, что в ней есть, слишком знакомо и реально, ошибки быть не может. Опять

он преступник, осужденный на казнь, виновный, во всем отчаявшийся. А еще через два часа он будет мертв».

Глава третья

СМЕРТЬ АНГЕЛА

1836 год, год славы и год женитьбы, был сумасшедшим годом, и Чарлз едва выдерживал. «Этим утром я так болен, что не могу работать, — писал он Кэтрин. — Я писал до трех ночи, и всю ночь меня мучили судороги в боку, такого со мной еще никогда не было. Мне все еще ужасно плохо, и от этой боли болит и голова, и я так хочу отдохнуть... а в восемь мне нужно садиться за работу». Несколько раз он падал в обморок. Длиннейшие вечера в парламенте, очерки, театральные рецензии, либретто для оперы, которое его попросили написать; он каждый день учил стенографии младшего брата Кэтрин и улаживал проблемы своих непутевых родителей. Но этого мало. 10 февраля Уильям Холл и Эдвард Чепмен, только что основавшие издательство, обратились к писателю Чарлзу Уайтхеду с предложением выпускать ежемесячный комикс: рисунки знаменитого художника Роберта Сеймура и юмористические рассказы к ним, тема — приключения спортсменов-рыболовов. Уайтхед не захотел и рекомендовал вместо себя Диккенса, которого знал по его журналистской работе, тот дал согласие. Не было никакого контракта, о плате договорились на словах. Друзья отговаривали: «...это вид издания дешевый и несолидный, и участие в нем погубит все мои планы». Чарлз и сам уже подумывал писать роман, а это какая-то чепуха... Но — деньги!

Он оказался упрям, а Чепмен и Холл покладисты: согласились, когда он заявил, что о спортсменах-рыболовах и о спорте вообще ничего не знает и писать о них не будет, а придумает персонажей по своему усмотрению, и пусть Сеймур под него подстраивается, а не наоборот. Главного героя родили, очевидно, совместно с издателем: Сэмюэл Пиквик, состоятельный джентльмен на покое, был, по свидетельствам современников, изрядно похож на знакомого Чепмена, клубмена Мозеса Пиквика из Бата. (Как заметил Оруэлл, у Диккенса положительные герои, как правило, нигде никогда не работают, проводя жизнь в блаженной праздности или по крайней мере стремясь к этому.) Чарлз начал работать через несколько дней после своего двадцать четвертого дня рождения и за месяц написал 24 тысячи слов — на два выпуска. Первый (всего их будет 20) вышел из печати в конце марта: зеленая обложка, 32 страницы текста и четыре рисунка, цена — шиллинг, заглавие — «Посмертные записки Пиквикского

клуба, содержащие правдивый отчет об изысканиях, опасных предприятиях, путешествиях, приключениях и охотничьих похождениях членов Общества корреспондентов, под редакцией „Боза“». Продали, по одним источникам, 400 экземпляров, по другим — 1000. Для такого расхожего жанра это считалось мало.

Евгений Ланн: «Едва ли у него [Диккенса] было даже общее представление о том, что такое писатель, — в лучшем случае ему припоминались хорошо знакомые немногочисленные образцы XVIII века — Филдинг (1707–1754), Смоллетт (1721–1771), Голдсмит (1728–1774), Стерн (1713–1768). Трудно думать, чтобы он рассчитывал равняться по ним и тем менее по новеллистам, близким ему хронологически, частью современным, но слишком для него сложным, вроде Вальтера Скотта (1771–1832) или даже М. Эджуорт (1767–1849). Скорее примером ему служили далеко не столь значительные старшие современники, вроде того же Уайтхеда или Теодора Хука... или Дугласа Джеролда, очеркиста, драматурга, каламбуриста, с которым у Диккенса установились дружеские отношения, когда они вместе работали в ежемесячнике, редактором которого был Уайтхед. Диккенс приступил к „Пиквику“ с навыками и приемами очеркиста — ему, по-видимому, казалось, что достаточно соединить ряд очерков, и получится роман».

Пожалуйста, если вы не слишком уверены в своем терпении, не начинайте чтение (перечитывание) Диккенса с «Пиквикского клуба» — первая глава удушит вас непереносимой скукой. Поживее, но ненамного, станет дальше, когда Пиквик с тремя спутниками отправится путешествовать. Диккенс взял нарочито старомодный стиль — пародию на стиль XVIII века, — а потом втянулся да так и стал писать. «Солнце этот исполнительный слуга — едва только вошло и озарило утро тринадцатого мая тысяча восемьсот двадцать седьмого года, когда мистер Сэмюэл Пиквик наподобие другого солнца воспрянул ото сна, открыл окно в комнате и воззрелся на мир, распростертый внизу. Госуэлл-стрит лежала у ног его, Госуэлл-стрит протянулась направо, Госуэлл-стрит простиралась налево, и противоположная сторона Госуэлл-стрит была перед ним. „Таковы, — размышлял мистер Пиквик, — и узкие горизонты мыслителей, которые довольствуются изучением того, что находится перед ними, и не заботятся о том, чтобы проникнуть вглубь вещей к скрытой там истине. Могу ли я удовольствоваться вечным созерцанием Госуэлл-стрит и не приложить усилий к тому, чтобы проникнуть в неведомые для меня области, которые ее со всех сторон окружают?“».

Он открыто подражал Филдингу и Смоллетту: персонажи меняются спальнями, ломятся не в те двери, попадают в дурацкие положения. Всякое их действие — встают ли они утром, садятся ли вечером, пытаются ли ехать в экипаже, — комично; вот только нас не оставляет мысль, что все это можно было бы описать как-то покороче. «Мистер Уинкль, следуя инструкции, уселся в седло, но с таким трудом, словно ему пришлось карабкаться на борт первого класса военного судна.

— Всё в порядке? — осведомился мистер Пиквик, предчувствуя в глубине души, что о порядке и речи быть не может.

— Всё в порядке, — слабым голосом ответил мистер Уинкль.

— Пошел! — крикнул конюх. — Держите вожжи, сэр.

И вот на потеху всего двора повозка и верховой конь помчались: одна — с мистером Пиквиком на козлах, другой — с мистером Уинклем на спине.

— Отчего это она идет как-то боком? — обратился мистер Снодграсс из ящика к мистеру Уинклю в седле.

— Понятия не имею, — ответил мистер Уинкль.

Его лошадь несло по улице самым загадочным образом: боком вперед, головой к одной стороне улицы и хвостом — к другой.

Мистер Пиквик этого не видел и не имел времени заметить что бы то ни было, так как все его внимание было сосредоточено на лошади, впряженной в повозку и проявлявшей своеобразные наклонности, весьма интересные для постороннего наблюдателя, но отнюдь не столь занимательные для лиц, сидевших в экипаже. Не говоря уже о весьма неприятной и раздражающей привычке задирать голову и натягивать вожжи так, что мистеру Пиквику великого труда стоило удерживать их в руке, лошадь проявляла странную склонность внезапно бросаться в сторону, останавливаться, а затем в течение нескольких минут мчаться вперед с быстротой, исключавшей всякую возможность управлять экипажем.

— Что она хочет показать этим? — спросил мистер Снодграсс, когда лошадь в двадцатый раз проделала этот маневр».

Но если у Филдинга и Смоллетта можно было найти слово «задница» и герои спали с девицами на сеновалах, то у Диккенса все идеально благопристойно и бесполо, как в «Робинзоне Крузо». (Трудно сказать, почему молодой автор решил написать бесполою книгу — возможно, выбор героя это определил.) В «Пиквике» еще даже нет знаменитых диккенсовских портретов, просто характеристики — «жирный парень», «мрачный субъект». Иногда Диккенс давал волю яду — когда писал о

политике (основываясь на своих наблюдениях во время командировок):

«— Да здравствует Сламки! — вторил мистер Пикник, снимая шляпу.

— Долой Физкина! — орала толпа.

— Долой! — кричал мистер Пикник.

— Ура!

И снова поднялся такой рев, словно ревел целый зверинец, как ревет он, когда слон звонит в колокол, требуя завтрак.

— Кто этот Сламки? — прошептал мистер Тапмен.

— Понятия не имею, — отозвался так же тихо мистер Пиквик. — Тсс... Не задавайте вопросов. В таких случаях надо делать то, что делает толпа.

— Но, по-видимому, здесь две толпы, — заметил мистер Снодграсс.

— Кричите с той, которая больше, — ответил мистер Пиквик».

Но одного юмора Диккенсу — после очерка о Ньюгетской тюрьме — было мало, и он, предвосхищая будущие романы, напихал в текст вставных историй совсем в другом духе. Вот опустившийся человек, который избивал жену, а теперь боится, что она его убьет: «А я вам говорю, Джем, что она обижает меня, — тихо сказал он. — Глаза у нее такие, что меня охватывает смертельный страх, я чуть с ума не схожу. Всю прошлую ночь ее большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо преследовали меня, я отворачивался, они были передо мною, и каждый раз, когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня. — Он притянул меня к себе и прошептал глухо и тревожно: — Джем, должно быть, это злой дух... дьявол. Тише! Я это знаю. Будь она женщиной, она бы давным-давно умерла». (Эти женские глаза скоро появятся в другой его книге — не помните, в какой?)

Галлюцинации умирающего: «Он был болен, очень болен, ну а сейчас он здоров и счастлив. Наполните ему стакан. Кто выбил у него стакан из рук? Опять тот же, кто и раньше его преследовал. Он упал на подушку и громко застонал. Краткий период забытья, а затем начались его скитания по нескончаемому лабиринту низких сводчатых комнат, таких низких, что иногда приходилось пробираться на четвереньках; было душно и темно, и куда бы он ни сворачивал — всюду натыкался на препятствия. Вот какие-то насекомые, мерзкие извивающиеся твари, таращат на него глаза и кишат в воздухе, жутко поблескивая в глубоком мраке. Стены и потолок словно движутся — так много на них пресмыкающихся... склеп раздвигается до необъятных размеров... мелькают страшные тени, а среди них люди, которых он когда-то знал, но лица их отвратительно искажены усмешками и гримасами; они прижигают его раскаленным железом, стягивают ему

голову веревками, пока не хлынула кровь...»

История убийцы: «Очнувшись, я увидел, что нахожусь здесь — здесь, в этой серой палате, куда редко проникает солнечный свет, куда лунные лучи просачиваются для того только, чтобы осветить темные тени вокруг меня и эту безмолвную фигуру в углу. Бодрствуя, я слышу иногда странные вопли и крики, оглашающие этот большой дом. Что это за крики, я не знаю, но не эта бледная фигура испускает их, и она их не слышит. Ибо, как только спускаются сумерки и до первых проблесков рассвета, она стоит недвижимо, всегда на одном и том же месте, прислушиваясь к музыкальному звону моей железной цепи и следя за моими прыжками на соломенной подстилке».

Меж тем Хогарт познакомил его с издателем Ричардом Бентли: Чарлз не заинтересовался, но Бентли твердо решил его заполучить.

На 2 апреля назначили свадьбу. Его предсвадебные письма к невесте полны жалоб на болезнь и усталость и извинений, что он не может с нею увидеться, что едва нашел силы написать ей: «Я надеюсь сменить одиночество на вечера у домашнего очага, которые твоя доброта и нежность сделают счастливыми». Венчались в церкви Святого Луки в Челси, шафер жениха — Том Берд, гостей — кот наплакал, отец жениха не пришел.

Десять «медовых» дней провели в деревне Чок близ Чатема, много ходили пешком, обнаружилось, что Кэтрин неловкая, быстро бегать и ходить не умеет и вечно вся в синяках. Пирсон: «Постоянное присутствие жены стало тяготить его». Ничем это пока не доказано. Вернувшись в Лондон, обосновались у Чарлза в Фернивалс-Инн, там же жил его брат Фред и постоянно бывала сестра Кэтрин, шестнадцатилетняя Мэри. Диккенс вспоминал: «Со дня нашей свадьбы дорогая девочка была благодатью и жизнью нашего дома, нашей постоянной спутницей, разделяющей все наши маленькие удовольствия». Мэри — своей кухне Мэри Скотт Хогарт о Кэтрин: «Она настоящая хозяйка... с утра до вечера вьет гнездо и счастлива... Я думаю, что они совершенно преданны друг другу в браке, я уверена, ах, если б ты знала его, он такое чудесное создание и такой умный, и его обхаживают все литературные господа, и поэтому он страшно занят». А 9 мая 1858 года Диккенс напишет другу, Анджеле Бердетт-Куттс, что юная свояченица «сразу поняла, что наш брак был абсолютно несчастлив».

Была ли Мэри влюблена в Чарлза и он в нее? Благоговеющие перед Диккенсом англичане даже сейчас эту версию всерьез не рассматривают,

отделяясь возвышенными эвфемизмами, наши были бесцеремоннее. Луначарский, «Жизнь Чарлза Диккенса», 1912 год: «Очень скоро Диккенс рассмотрел Мери, сравнил ее с женой и ужаснулся. Подругой его по духу была Мери. Кэт же ежегодно рожала ему детей. Как складывалась жизнь этих трех существ, поселившихся вместе, мы не знаем. Были, конечно, и сцены и слезы». Мы говорим об этом, уже зная, что с женой Диккенс разойдется. И он писал Анджеле Бердетт-Куттс и жаловался Форстеру задним числом — так, к примеру, Эйнштейн после развода с первой женой говорил друзьям, что всегда ее терпеть не мог, хотя его же собственные письма и свидетельства друзей доказывают, что поначалу все было не так уж плохо...

18 апреля Чарлз встречался с Сеймуром. Питер Акرويد^[13]: «Диккенс утверждал свои права хозяина в их предприятии, требуя, чтобы Сеймур изменил одну из иллюстраций — задача, которую Сеймур, без сомнения против воли, выполнил». Два дня спустя Сеймур застрелился. Версия, что он сделал это из-за конфликта с Диккенсом, всерьез не рассматривается, и сам Диккенс никакой вины за собой не чувствовал, но причина поступка художника так и не выяснена. Впоследствии Диккенс ссорился с вдовой Сеймура, утверждавшей, что авторское право на «Пиквика» принадлежит ее мужу: «Мистер Сеймур не создавал и не предлагал ни одного эпизода, ни одной фразы и ни единого слова, которые можно найти в этой книге».

Третий выпуск «Пиквика» вышел с иллюстрациями художника Р. Басса, но они никому не нравились и продажи еще больше упали. Свои услуги предлагали многие, в том числе Уильям Теккерей, но выбор пал на Хэблота Найта Брауна (1815–1882), псевдоним — Физ. Человек мягкий, податливый, не пьяница (редкость среди иллюстраторов), он четко следовал указаниям Диккенса, и ониладили. А уже в мае Диккенс заключил договор с Макроуном на исторический роман «Габриель Вардон, лондонский слесарь». Он еще и «Очерки Боза» продолжал писать, и работу на полную ставку в «Морнинг кроникл» не бросил, и опубликовал (под псевдонимом Тимоти Спаркс) свой первый социальный памфлет — критику законопроекта, внесенного в парламент сэром Эндрю Эню, о том, чтобы по воскресеньям запретить работать и развлекаться, а разрешить только молиться. Мрачная ирония этого законопроекта заключалась в том, что богатые люди могли развлекаться все остальные шесть дней недели, а для работающих воскресенье было единственной возможностью. «Вы требуете закона, который превратит день, предназначенный для отдыха и веселья, в день мрака, фанатизма и гонений». (Если авторы закона не хотят, чтобы народ по воскресеньям пил, — писал Диккенс, — пусть открывают

для него музеи и библиотеки.)

25 июля опубликовали пятый выпуск «Пиквика» — туда Диккенс ввел новый персонаж, Сэма Уэллера, слугу-кокни (коренного лондонца из простонародья), который сам напросился к Пиквику; образовалась классическая трогательно-комическая пара «Дон Кихот — Санчо Панса», лондонцы наконец заинтересовались и стали активно покупать книгу: разглагольствующий Сэм пришелся им по душе.

«— Чудесный вид, Сэм, — сказал мистер Пиквик.

— Почтище дымовых труб, сэр, — отвечал мистер Уэллер, притронувшись к шляпе.

— Пожалуй, вы за всю свою жизнь, Сэм, только и видели, что дымовые трубы, кирпичи да известку, — с улыбкой произнес мистер Пиквик.

— Я не всегда был коридорным, сэр, — покачав головой, возразил мистер Уэллер. — Когда-то я работал у ломовика.

— Давно это было? — любопытствовал мистер Пиквик.

— А вот как вышвырнуло меня вверх тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями, — ответил Сэм. — Поначалу я работал у разносчика, потом у ломовика, потом был рассыльным, потом коридорным. А теперь я — слуга джентльмена. Может быть, настанет когда-нибудь время, и сам буду джентльменом с трубкой во рту и беседкой в саду. Кто знает? Я бы не удивился.

— Да вы философ, Сэм, — сказал мистер Пиквик.

— Должно быть, это у нас в роду, сэр, — ответил мистер Уэллер. — Мой отец очень налегает теперь на это занятие. Мачеха ругается, а он свистит. Она приходит в раж и ломает ему трубку, а он выходит и приносит другую. Она визжит во всю глотку и — в истерику, а он преспокойно курит, пока она не придет в себя. Это философия, сэр, не правда ли?»

Англичане Уэллера обожают, нам это понять трудно — смешные особенности его речи от нас совершенно ускользают, тип слуги-резонера для нас не нов, а средневековая преданность «хозяину» скорее раздражает, чем умиляет. Пожалуй, куда любопытнее отец Сэма, «старый греховодник», чья жена ударилась в религию: «В пятницу вечером, в шесть часов, я нарядился, и мы отправились со старухой; поднимаемся на второй этаж, там стол накрыт на тридцать человек и целая куча женщин... Сидим. Вдруг поднимается суматоха на лестнице, вбегают долговязый парень с красным носом и в белом галстуке и кричит: „Се грядет пастырь навестить свое верное стадо!“ — и входит жирный молодец в черном, с широкой белой физиономией, улыбается — прямо циферблат. Ну и пошла потеха, Сэмми!

„Поцелуй мира“, — говорит пастырь и пошел целовать женщин всех подряд, а когда кончил, за дело принялся красноносый. Только я подумал, не начать ли и мне, — нужно сказать, со мной рядом сидела очень приятная леди, — как вдруг появляется твоя мачеха с чаем, — она внизу кипятила чайник. За дело принялись не на шутку. Какой гомон, Сэмми, пока заваривали чай, какая молитва перед едой, как ели и пили! А поглядел бы ты, как пастор набросился на ветчину и пышки! В жизни не видал такого мастера по части еды и питья... никогда не видал!.. Ну, напились чаю, спели еще гимн, и пастырь начал проповедь, и очень хорошо проповедовал, если вспомнить, как он набил себе живот пышками. Вдруг он приосанился да как заорет: „Где грешник? Где жалкий грешник?“ Тут все женщины воззрились на меня и давай стонать, точно вот-вот помрут. Довольно-таки странно, но я все-таки молчу. Вдруг он снова приосанивается, смотрит на меня во все глаза и говорит: „Где грешник? Где жалкий грешник?“ А все женщины опять застонали, в десять раз громче. Я тогда малость рассвирепел, шагнул вперед и говорю: „Друг мой, говорю, это замечание вы сделали на мой счет?“ Вместо того чтобы извиниться, как полагается джентльмену, он начал браниться еще пуще: назвал меня сосудом, Сэмми, сосудом гнева и всякими такими именами. Тут кровь у меня, регулярно, вскипела, и сперва я вlepил две-три оплеухи ему самому, потом еще две-три для передачи красноносому, с тем и ушел. Послушал бы ты, Сэмми, как визжали женщины, когда вытаскивали пастыря из-под стола...»

Уэллеру-старшему Диккенс поручил издеваться над вещами, которых сам не выносил: обществами трезвости (протокол такого общества: «Бетси Мартин, вдова, один ребенок, один глаз. Занимается поденной работой и стиркой; об одном глазе — от рождения, но знает, что ее мать пила портер, и не удивилась бы, если бы оказалось, что это послужило причиной ее одноглазия. (Восторженные возгласы.) Не исключает возможности, что если бы сама всегда воздерживалась от спиртных напитков, у нее могло бы быть в настоящее время два глаза. (Громкие рукоплескания.) Прежде получала за работу восемнадцать пенсов в день, пинту портера и стакан водки, но с той поры, как стала членом Бриклейнского отделения, требует вместо этого три шиллинга и шесть пенсов») и особенно миссионерами (Диккенс считал, что чем лезть благодетельствовать чужие страны, лучше со своими бедняками разобраться):

«— Вы так и не подписались на фланелевые жилеты? — спросил Сэм после новой паузы, посвященной курению.

— Конечно нет! — ответил мистер Уэллер. — На что нужны фланелевые жилеты юным неграм за океаном? Но вот что я тебе скажу,

Сэмми, — добавил мистер Уэллер, понижая голос и перегибаясь через каминную решетку, — я бы подписался с удовольствием на смиренные рубахи кой для кого здесь, на родине... Самое худшее в этих вот пастырях, мой мальчик, что они, регулярно, сбивают здесь с толку всех молодых леди... и вот что меня раздражает, Сэмивел: видеть, как они тратят все свое время и силы, шьют платья для краснокожих, которым оно не нужно, и не обращают внимания на христиан телесного цвета, которым оно нужно. Будь моя воля, Сэмивел, я приставил бы этих вот ленивых пастырей к тяжелой тачке да гонял бы целый день взад и вперед по доске шириной в четырнадцать дюймов. Уж что-что, а это повытрясло бы из них дурь!»

Издевки над священниками были очень жестокие, и Диккенсу в предисловии к следующему изданию пришлось защищаться: «Есть люди, которые не различают религии, благочестия и притворного ханжества». Но читателям нравилось. Он становился востребован, но в успех еще не верил и боялся говорить «нет» кому бы то ни было: согласился вдобавок к «Пиквику», «Очеркам» и историческому роману (на котором еще и конь не валялся) написать к Рождеству детскую книгу для издателя Томаса Терра. Рассчитывать свои силы он тоже не умел и в августе дал согласие Ричарду Бентли написать два романа с гонораром 400 фунтов каждый и жестким условием не писать ничего другого, пока не сдаст эти романы. Как он собирался примирить этот договор со своим обещанием исторического романа Макроуну, который издавал его «Очерки», непонятно; а ведь были еще Чепмен и Холл... Но он, кажется, с самого начала считал издателей ворами, которых «кинуть» не грех. Мало того, он согласился с января будущего года редактировать издаваемую Бентли газету («Альманах Бентли») за 20 фунтов в месяц (и ежемесячно публиковать в ней что-нибудь). Макроун, первым выведший молодого автора в свет, был в отчаянии, но Диккенс сослался на то, что в их договоре не указан срок: пусть ждет. Бентли-то был издатель пошкарнее и пощеднее, чем другие.

Кэтрин почти сразу после свадьбы забеременела; на август и сентябрь муж увез ее в городок Питершем в Суррее, близ Темзы, сам постоянно отлучался в Лондон: помимо всего прочего, он с композитором Джоном Хуллой работал над оперой и писал фарс «Чудак» для своего знакомого актера Джона Харли из театра Сент-Джеймс. Фарс поставили в октябре, а 4 ноября Диккенс приступил к своим обязанностям в «Альманахе Бентли». Если собрать все его оклады и гонорары, должно было выходить чуть не 800 фунтов в год — бешеные деньги. Так что можно было отказаться хотя бы от одной работы — в «Морнинг кроникл»; возможно, впрочем, что

Диккенс не отказался бы и от этого, если бы не конфликт (причины которого остались невыясненными) с редактором и владельцем газеты Джоном Истхопом, которому он написал горделиво: «...к большому моему удовлетворению, мне стало известно, что всюду, в редакциях всех лондонских газет, знают о моей деятельности, все мои коллеги одобряют ее и готовы о ней поведать всему свету; таким образом, имея опору в уважении и расположении к себе редакторов, а также репортеров, я в состоянии обойтись и без благодарности хозяев, хотя и чувствую себя глубоко уязвленным их неожиданным обращением со мной». Макроуна он называл теперь «подлецом и грабителем». А вскоре «подлым, адским еврейским грабителем» станет и Бентли.

Чепмена и Холла он пока любил, даже извинялся, если им что-то не нравилось в «Пиквике»: «Я отлично сознаю, что у мистера Пиквика в последнее время наметилась какая-то затяжная болезнь, симптомы которой продолжают грозно нарастать. Смею вас заверить, что в болезни наступил кризис и что отныне она пойдет на убыль... Умоляю вас не забывать двух обстоятельств: первое, что у меня много других дел, и второе, что не каждый день удастся заставить свой дух взмыть на пиквикианскую высоту... Я был бы бесчувственным и тупым писакой, если бы у меня могла зародиться хотя бы отдаленнейшая мысль расторгнуть нашу приятную и дружескую связь. Итак, я настоящим назначаю и избираю Уильяма Холла и Эдварда Чепмена... а также их наследников, душеприказчиков, управляющих и правопреемников издателями всей моей продукции...»

Это написано 1 ноября 1836 года — а ведь он только что заключил эксклюзивный договор с Бентли! Путаницу создал жуткую — так потом будет поступать Герберт Уэллс, во многом на него похожий; и, возможно, благодаря им издатели начали с авторами хоть немного считаться... С другой стороны, он, если уж начинал работу, был невероятно пунктуален. Тут издателям не на что жаловаться.

6 декабря в театре Сент-Джеймс состоялась премьера оперы Хуллы «Деревенские кокетки», зрителям понравилось, но специалисты разругали либретто; восходящая звезда критики Джон Форстер сказал, что это «недостойно Боза». Несчастный Макроун, верный своему слову, в декабре издал новую серию «Очерков Боза», которую, как и предыдущую, завершала трагическая история — «Смерть алкоголика». Диккенса обычно считают неважным психологом, но предсмертные ощущения он умел передавать как никто: «Он отступил на два-три шага, разбежался, сделал отчаянный прыжок и погрузился в воду. Пяти секунд не прошло, как он

вынырнул на поверхность, но за эти пять секунд как переменялись все его мысли и чувства! Жить — жить во что бы то ни стало! Пусть голод, нищета, невзгоды — только не смерть! Вода уже смыкалась над его головой, ужас охватил его, он кричал и отчаянно бился. Сыновнее проклятие звенело в его ушах. Берег... клочок суши... вот он сейчас протянет руку и ухватится за нижнюю ступеньку!.. Еще бы немного ближе подойти... чуть-чуть... и он спасен. Но течение несет его все дальше, под темные своды моста, и он идет ко дну...»

К «Очеркам Боза» иногда относят и опубликованные в 1837–1838 годах в «Альманахе Бентли» «Мадфогские записки», сатиру на Чатем и на Британскую ассоциацию прогресса науки, основанную в 1831 году физиком Дэвидом Брустером, — сатиру немного странную, потому что науки Диккенс, по крайней мере в молодости, очень уважал. Но его раздражала наука статистика, из которой следовало, что живут британцы «в среднем» хорошо.

«М-р К. Ледбрэйн прочитал весьма замечательное сообщение, из которого явствовало, что общее число ног, принадлежащих рабочему населению одного большого города в Йоркшире, составляет, в круглых цифрах, сорок тысяч, тогда как общее число ножек стульев и табуретов в их домах равно только тридцати тысячам, так что, если даже положить, с самой щедрой накидкой, в среднем по три ножки на каждый стул или табурет, получается всего десять тысяч сидений. Из этих вычислений, — не принимая в расчет деревянных и пробковых ног и допуская по две ноги на каждого человека, — следует, что десять тысяч человек (половина всего населения) лишены возможности вообще дать покой своим ногам или проводят весь свой досуг, сидя на ящиках... М-р Уигсби представил собранию кочан цветной капусты, несколько больший по размерам, чем зонт коляски, который был выведен им не каким-нибудь особым искусственным способом, а только путем применения в качестве удобрения сильно карбонированной содовой воды. Он объяснил, что если выскрести из него сердцевину, которая сама по себе составила бы новый и прекрасный питательный продукт для бедняков, — мы получим парашют, в принципе сходный с парашютом конструкции м-ра Гарнерина; держать его надо будет, конечно, кочерыжкой вниз... Один из членов секции просил сообщить, нельзя ли вводить, скажем, двадцатую часть грана хлеба и сыра во взрослых бедняков и сороковую часть в их детей, с тем же удовлетворительным результатом, какой дают отпускаемые им ныне порции».

Одни писатели «воспроизводят» действительность, другие ее поэтизируют, третьи без нее обходятся, четвертые ставят себе целью улучшить ее: Диккенс сразу отнес себя к последним и этого не скрывал. Преподобному Т. Робинсону, 8 апреля 1841 года: «В то время как Вы на своем поприще обучаете людей милосердию... я на своем буду бороться с жестокостью и деспотизмом, этими врагами всех Божьих созданий, всех вероучений и моральных устоев, буду бороться, пока мысль моя не утерять силу, а сам я — способность ее выражать». Выступая 7 февраля 1842 года на банкете в США: «Я верю... что наш долг — освещать ярким лучом презрения и ненависти, так чтобы все могли их видеть, любую подлость, фальшь, жестокость и угнетение, в чем бы они ни выражались». В год 1837-й, когда на престол взошла королева Виктория, он начал публиковать в «Альманахе Бентли» первый настоящий роман — «Приключения Оливера Твиста». Исследователи считают, что сюжет он взял из опубликованных историком Томасом Карлейлем воспоминаний Роберта Блинко, воспитывавшегося в работном доме. Нельзя обращаться с детьми как с вещами — об этом он и хотел сказать. «Твист» не был первой книгой, критикующей социальные институты и демонстрирующей богатым читателям нищету и «дно» в надежде пробудить их совесть — уже существовали «Молль Флендерс» Дефо и «Эмилия» Филдинга, — но Диккенс, как считается, написал первый викторианский роман с героем-ребенком.

Сироту Оливера — он, конечно, потом окажется сыном джентльмена, куда ж без этого (дань старинным романам), — попечители «пристраивают» то туда, то сюда.

«Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья — впрочем, последнее случалось не часто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, — присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства бидла; первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил — это было в высшей степени правдоподобно, а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу, — это было в высшей степени благочестиво. <...>

— Мальчик, — сказал джентльмен в высоком кресле, — слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота?

— Что это такое, сэр? — спросил бедный Оливер.

— Мальчик — дурак! Я так и думал, — сказал джентльмен в белом жилете.

— Тише! — сказал джентльмен, который говорил первым. — Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери и что тебя воспитал приход, не так ли?

— Да, сэр, — ответил Оливер, горько плача.

— О чем ты плачешь? — спросил джентльмен в белом жилете.

И в самом деле — очень странно! О чем мог плакать этот мальчик?

— Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву, — суровым голосом сказал другой джентльмен, — и молишься — как надлежит христианину — за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится?..

— Прекрасно! Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу, — сказал краснолицый джентльмен, сидевший в высоком кресле.

— И завтра же, с шести часов утра, ты начнешь трепать пеньку, — добавил угрюмый джентльмен в белом жилете. <...>

Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал: — Мистер Лимкинс, прошу прощения, сэр! Оливер Твист попросил еще каши!

Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.

— Еще каши?! — переспросил мистер Лимкинс. — Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил еще, после того как съел полагающийся ему ужин?

— Так оно и было, сэр, — ответил Бамбл.

— Этот мальчик кончит жизнь на виселице, — сказал джентльмен в белом жилете. — Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице».

От этих сцен чувствительная викторианская совесть — а образованный викторианец с радостью умилялся добродетели и скорбел о поруганной невинности — начинала в муках корчиться...

По сравнению с «Пиквиком» Диккенс сильно шагнул вперед в изобразительном мастерстве — в «Твисте» впервые появились его причудливые портреты.

«— Я мистер Ноэ Клейпол, — сказал приютский мальчик, — а ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь!

С этими словами мистер Клейпол угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому, толстому юнцу с маленькими глазками и

тупой физиономией нелегко принять достойный вид, и тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны». «Мальчик, обратившийся с этим вопросом к юному путешественнику, был примерно одних с ним лет, но казался самым удивительным из всех мальчиков, каких случалось встречать Оливеру. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца, но напускал на себя важность и держался как взрослый. Для своих лет он был мал ростом, ноги у него были кривые, а глазки острые и противные. Шляпа едва держалась у него на макушке, ежеминутно грозя слететь; это случилось бы с ней не раз, если бы ее владелец не имел привычки то и дело встряхивать головой, после чего шляпа водворялась на прежнее место».

Эти мальчишки, между прочим, тоже сироты, но жалости у автора к ним нет. Диккенс никогда не любил тех, кого называют «хулиганами», не умилялся над ними и ссылок на трудное детство не принимал.

С Макроуном под Новый год достигли компромисса: тот отказывается от исторического романа, зато уменьшает с 250 до 100 фунтов гонорар за «Очерки». А 6 января 1837 года Кэтрин родила первенца, Чарлза Каллифорда Боза. Помогали с родами ее мать и свекровь, а муж — вместе с Мэри — ушел из дому покупать жене подарок. Мэри — кузине: «...каждый раз, когда она [Кэтрин] видит своего ребенка, она плачет и говорит, что она не в состоянии нянчить его... Она должна помнить, что у нее есть все на свете, чтобы сделать ее счастливой, в том числе Чарлз, который так бесконечно добр к ней...» Кэтрин страдала послеродовой депрессией, тогда таких слов не знали и что делать тоже не знали; великий современник Диккенса Чарлз Дарвин в аналогичной ситуации догадался, что надо отвлечь жену музыкой, Диккенсы до такого не додумались и просто передали ребенка няньке, а Мэри переехала к ним насовсем — помогать управляться с хозяйством. Чьей инициативой был ее переезд, неясно. Жизнь девушек с замужними сестрами (братьями) была довольно обычным делом, но и дома Мэри вполне могла остаться: она не была старой девой, и дом ее родителей был открыт для ухажеров. Вероятно, главную роль в переезде сыграла взаимная симпатия (или нечто большее) между Чарлзом и Мэри. Год спустя Диккенс вспоминал: «Я никогда не был так счастлив, как там, в Фернивалс-Инн... я снял бы эти комнаты и сохранял их пустыми, если бы мог...» (запись в дневнике от 6 января 1838 года).

Весь 1837 год Диккенс писал параллельно «Пиквика» и «Твиста» и редактировал «Альманах Бентли» — тогда его здоровья еще хватало на все. После рождения сына он нанял маклера искать семье новый дом и уехал с

женой и свояченицей в Чок, там написал для сцены фарс «Жена ли она ему?». Любопытно, что при необычайной сценичности его романов он так никогда ни одной толковой пьесы и не написал. А ведь он даже работал так, как работают драматурги и вообще мастера диалогов (Дюма, например). Дочь Диккенса Мэйми однажды случайно подглядела, как он пишет (обычно он требовал полной тишины и никому не позволял вторгаться в его кабинет, но, когда она была больна, позволил ей лежать в кабинете на диване): «Отец очень быстро и деловито писал за столом и вдруг вскочил со стула и бросился к зеркалу, которое висело рядом и в котором я могла увидеть отражение нескольких сумасшедших гримас, которые он проделывал. Он быстро вернулся к столу, писал яростно в течение нескольких минут, а затем подскочил снова к зеркалу. Пантомима была возобновлена, а затем, повернувшись в мою сторону, но, видимо, не замечая меня, он начал быстро говорить вполголоса. Вскоре это прекратилось и он возвратился к своему столу, где продолжал молча и спокойно писать до самого обеда»^[14]. Надо думать, его как драматурга губили отсутствие лаконизма, неумение сосредоточиться на одной сюжетной линии и чрезмерная любовь к деталям — литературное рококо; позднее, когда его романы стали четче и суше, он, может, и создал бы первоклассную пьесу, но тогда он их уже почти не пробовал писать.

25 марта Диккенсы переехали в дом на Даути-стрит, 48: 80 фунтов в год, три этажа, 12 комнат, подвал, чердак, садик, наняли хорошего повара, горничную, без лакея глава семьи пока обходился. «Пиквик» к маю расходился в 20 тысячах экземпляров. Успех! Джентльмен! По рекомендации Бентли его избрали в Клуб Гаррика, где собирались писатели и актеры; он оказался очень «клубным» человеком, умел поддерживать легкий разговор и привлекал всеобщее внимание, хотя, по словам современников, застольные истории брал из собственных книг и писем. Других слушал внимательно, все подмечал и потом пародировал, но не зло.

Он делал все, чтобы его образ жизни не был похож на родительский. Был пунктуален, как король, помешан на чистоте и порядке: каждая безделушка должна стоять на том месте, какое он ей определил. Из воспоминаний его сына Генри: «У каждого мальчика был свой особый колышек для шляпы и пальто: раз в неделю проводился капитальный осмотр нашей одежды, и один из нас назначался хранителем игрушек, которые он должен был собрать в конце каждого дня и разложить по своим местам... не очень удивительно, что мы встречали это со смешанным чувством неприязни и сопротивления. Правда, мы не позволяли себе высказываться открыто. Наша обида принимала другую форму, более

коварную: мы шептались между собой, жалуясь на наше „рабство“».

Его дом всегда держался на нем: сам заказывал мебель, шторы, продукты, заботился о ремонте — Кэтрин то ли не могла этого делать, то ли он ей не позволял. Считается, что в «Дэвиде Копперфильде» в образе прелестной, но неумелой хозяйшки он «вывел» Марию Биднелл, — но откуда ему знать, какой она была бы хозяйкой? Писатели на самом деле редко что-то с кого-то напрямую «списывают» (грош цена была бы тогда искусству), но, может, образ Доры хотя бы отчасти навеян женой.

«В первый же мой приход я принес поваренную книгу, — предварительно мне ее красиво переплели, чтобы придать ей более привлекательный вид. Во время прогулки с Дорой по лугам я показал ей бабушкину старую расходную книгу и по ней объяснил, как вести счета. Я тут же дал ей альбом из тонких аспидных дощечек и хорошенький пенал с карандашами и грифелями, чтобы она могла упражняться в домашнем счетоводстве. Но поваренная книга вызвала у Доры головную боль, а цифры — слезы. „Они не хотят складываться“, уверяла она. И милая девочка стерла цифры, а в новом альбомчике принялась рисовать букетики и меня с Джипом. Потом я пытался было во время наших субботних прогулок в шуточной форме преподать Доре способы ведения домашнего хозяйства. Так, иногда, проходя мимо лавки мясника, я, бывало, скажу ей:

— Ну, представьте, детка, что мы уже поженились и вам надо купить к обеду баранью лопатку. Как бы вы за это взялись?

Личико моей хорошенькой Доры немедленно омрачалось, и она, сложив губки бутончиком, показывала, что предпочитает закрыть мне рот поцелуем.

— Ну, так как же, моя дорогая, стали бы вы покупать баранью лопатку? — допрашивал я, если бывал в особенно непреклонном настроении.

Подумав немного, Дора с торжествующим видом отвечала:

— Но мясник же будет знать, что надо дать. А мне зачем знать это? Ах вы, глупыш этакий!»

С другой стороны, Лилиан Найдер в книге о Кэтрин приводит хозяйственные счета и записки и доказывает, что та была толковой женщиной, не зря друзья Диккенса ее, как правило, любили; она в молодости опекала младших сестер и была достаточно резким и способным на решения человеком (что мы потом и увидим).

Внезапно у Кэтрин появился серьезный соперник — и то была не Мэри. Завязалась пожизненная дружба Диккенса с пожурившим его критиком Джоном Форстером. 2 июня 1837 года Диккенс писал Форстеру,

что отношения их «будут длиться, пока смерть не разлучит нас», а 12 декабря 1939-го — что его чувство к другу «таково, какого никогда не могли пробудить никакие кровные узы или иные отношения». Политические взгляды у них были одинаковые, эстетические предпочтения — тоже, они были ровесниками, Форстер родился в небогатой семье, но его дядя-скотопромышленник дал ему образование; в 1828-м Форстер стал адвокатом, а через четыре года бросил службу ради литературы. Он писал статьи в левые газеты, биографии деятелей английской революции, включая Кромвеля, театральные обзоры, вскоре стал главным литературным и театральным критиком газеты «Экземинер».

Пирсон, очень к нему недоброжелательный: «К двадцати пяти годам Форстер уже отлично знал каждого, кто был хоть чем-то знаменит в мире искусства, — поразительное достижение! По-видимому, это был не просто человек, решившийся во что бы то ни стало пробиться на самый верх, но и готовый воспользоваться при этом любыми средствами. Мало того, он мог хладнокровно, не моргнув глазом, отделаться от тех, кто был когда-то ему полезен, но в чьих услугах он больше не нуждался. Немудрено, что ему везло в дружбе с важными персонами: с каким усердием он угождал им, как был внимателен, с каким жаром их перевозносил!.. Мир искусства он, если можно так выразиться, вполне прибрал к рукам... он отрекался от собственных взглядов с той же легкостью, что и от приятелей, которые больше были не нужны... Вцепившись в того, с кем он хотел завести знакомство — как правило, человека известного или стоявшего на пороге известности, — он дней за десять умудрялся сблизиться с ним так, как это не удалось бы другому и в десять лет. Едва эти отношения устанавливались более или менее прочно, друг становился его собственностью...»

Больше никто из серьезных биографов так Форстера не оценивает, дружба, похоже, была обоюдно искренней. Томалин: «Диккенс иногда дразнил Форстера и неистово с ним ссорился, но Форстер был единственным человеком, которому он поверял свои чувства, и он никогда не прекращал доверять ему и полагаться на него. Дружба не была совершенно равной, и Диккенс иногда считал Форстера чем-то само собой разумеющимся, переживая периоды охлаждения к нему и увлечения другими людьми; но когда он нуждался в помощи, то всегда шел к Форстеру. И хотя у Форстера были и другие друзья — Макриди, Бульвер, Браунинг, Карлейль, — только Диккенс стал солнцем и центром его жизни, от которого зависело его счастье... Это была одна из тех меняющих жизнь дружб, что возникают, когда два молодых человека или девушки знакомятся и каждый вдруг обретает идеально родственную душу. Это форма

влюбленности... И Диккенс и Форстер любили женщин, но ни одна женщина не могла дать им того общения, какое им требовалось».

Форстер знал «всех» и знакомил Диккенса со знаменитостями — Теккереем, Бульвер-Литтоном, эссеистом Чарлзом Лэмбом, журналистом Ли Хантом, поэтом Робертом Браунингом, художником Даниэлем Макклизом, актером Уильямом Макриди (двое последних станут Диккенсу довольно близкими друзьями), звездой либеральной адвокатуры Томасом Тальфуром (которому посвящен «Пиквик»). Форстер также стал литературным агентом Диккенса и частично его адвокатом, улаживая проблемы с издателями; возможно, он посоветовал ему открыть публике свое настоящее имя, и 29 апреля газета «Чемберс джорнал» сообщила народу, кто такой «Боз».

3 мая Диккенс произнес первую публичную речь — на годовщину Королевского литературного фонда, 7 мая пошел с женой и свояченицей в театр на премьеру своего фарса, вернулись в прекрасном настроении, спать пошли под утро, а несколько минут спустя Диккенс услышал из комнаты Мэри стон. Они с Кэтрин вошли — Мэри лежала на кровати одетая. Вызвали ее мать и врача — тот никакого диагноза не поставил. Из письма Диккенса неустановленному лицу; «Четырнадцать часов прошло... прежде чем она затихла и умерла — умерла в таком спокойном и нежном сне, что, хотя я держал ее на руках незадолго до этого, без сомнения, живую (поскольку она выпила немного бренди из моих рук), я продолжал поддерживать ее безжизненное тело и после того, как ее душа отлетела к небесам». Сейчас полагают, что у Мэри был порок сердца. От того, что ее держали на руках и поили бренди (универсальным лекарством тогдашних англичан), выжить она, конечно, не могла.

Он почти обезумел от горя; снял кольцо с ее пальца и надел на свой (носил до конца жизни). Джорджу Томпсону (дедушке Мэри), 8 мая: «Я не хотел бы обидеть более близких родных и старых друзей, но смерть этой девушки, чьей красотой и редкими душевными качествами восхищались все, кто ее знал, — невозместимая потеря для нас, оставившая в душе пустоту, которую ее друзьям никогда не удастся заполнить». Тому Берду, 17 мая: «Слава Богу, она умерла на моих руках, и самые последние слова, которые она шептала, были обо мне... Первый приступ горя прошел, и я могу спокойно, без отчаяния думать и говорить о ней. Я убежден, что на свете не было существа столь совершенного. Я знал ее душевную красоту, знал, каким бесценным сокровищем была эта девушка. У нее не было ни единого недостатка». Эйнсворту, 17 мая: «...меня так глубоко потрясла смерть девушки, которой была отдана моя самая глубокая и нежная (после

жены) привязанность, что мне, конечно, пришлось отказаться от мысли закончить все, что я намечал на этот месяц, и попытаться отдохнуть...»

Здесь он благоразумно написал «после жены». Большинство биографов туманно пишут, что он чувствовал к Мэри «ангельскую» или «братскую» любовь. Но сила и продолжительность его горя заставляют думать, что он любил Мэри в самом обыкновенном смысле, как мужчина любит женщину. В 1855 году в рассказе «Остролист» он писал: «...каждую ночь, где бы я ни спал, я видел ее во сне — причем иногда она снилась мне еще живой, а иногда вернувшейся из царства теней, чтобы утешить меня, — но я неизменно видел ее прекрасной, спокойной, счастливой и ни разу не чувствовал страха». На ее похоронах 13 мая он заявил, что желает быть похороненным в ее могиле (которую сам заказал и оплатил). Дневник, 1 января 1838 года: «Если бы она была сейчас с нами, во всем ее обаянии, радостная, приветливая, понимающая, как никто, все мои мысли и чувства, — друг, подобного которому у меня никогда не было и не будет! Я бы, кажется, ничего более не желал, лишь бы всегда продолжалось это счастье». Из письма жене, февраль 1838 года: «С тех пор как я уехал из дому, она мне все время снится и, несомненно, будет сниться, пока я не вернусь».

Теща по его просьбе дала ему прядь волос Мэри (интересно, как теща и жена воспринимали все его признания и безумства?), он писал ей растроганно: «С ее кольцом я не расстанусь ни днем ни ночью и снимаю его с пальца, лишь когда мою руки. Воспоминания о ее прелести и совершенстве не оставляют меня даже и на эти краткие мгновенья. Я должен сказать, положив руку на сердце, что ни во сне, ни наяву не могу забыть о нашем жестоком испытании и горе и чувствую, что не смогу никогда... Если бы Вы знали, с какой тоской я вспоминаю теперь три комнатки в Фернивалс-Инн, как мне недостает этой милой улыбки, этих сердечных слов, скрашивавших часы нашей вечерней работы или досуга, когда мы весело подшучивали друг над другом, сидя у камина, — слов, более драгоценных для меня, чем поклонение целого мира. Я помню все, что бы она ни говорила, что бы ни делала в те счастливые дни. Я мог бы назвать Вам каждый отрывок, каждую строчку, прочитанную вместе с нею...» еще теще, в 1840 году: «...иногда она являлась ко мне как дух, иногда — как живое существо, но никогда в этих грезах не было и капли той горечи, которая наполняет мою земную печаль; скорее, это было какое-то тихое счастье, настолько важное для меня, что я всегда шел спать с надеждой снова увидеть ее в этих образах... Мысль о ней стала неотъемлемой частью моей жизни и неотделима от нее, как биение моего

сердца».

Форстеру, 25 октября 1841 года: «Не могу выразить Вам печали, какую испытываю при мысли, что другой, а не я, разделит с Мэри могилу. Я хотел бы раскопать ее, спуститься в склеп, где никто не должен видеть ее, кроме меня. Желание быть похороненным рядом с нею так же сильно во мне теперь, как и пять лет назад. Я знаю (ибо уверен, что подобной любви не было и не будет), что это желание никогда не исчезнет. Ах, мне хотелось бы теперь похитить ее оттуда, хотя я знаю, что ее мать, братья и сестры имеют больше формальных прав на близость к ней». Питер Акرويد: «Высказываются предположения, что все это время Диккенс чувствовал страстную привязанность к ней и что ее смерть казалась ему некоей формой возмездия за его сексуальное желание — что он, в некотором смысле, убил ее». Глупо спорить со специалистом по викторианству, но нельзя исключить, что все было приземленнее: просто Диккенс ее любил, надеясь когда-нибудь как-нибудь (мало ли что может произойти в жизни) на ней жениться, — и вот ее не стало...

Он сообщил издателям, что очередных выпусков «Пиквика» и «Твиста» не будет (такое никогда в его жизни не повторится), и уехал с Кэтрин на ферму в Хэмпстеде; пошли слухи, что он сошел с ума, умер или сидит в долговой тюрьме, и издатели были вынуждены разъяснять, что он «оплакивает смерть дорогой юной родственницы». Кэтрин была на третьем месяце беременности; у нее случился выкидыш. Какие чувства она испытывала к сестре и как вообще перенесла всю ситуацию — никто не знает. «Поддержать» ее мужа приехали Эйнсворт, Берд, Форстер. Она в поддержке как будто и не нуждалась. В начале июня они вернулись на Даути-стрит и Диккенс продолжил работать. Служащему лондонского муниципалитета, выдававшему журналистам разрешение присутствовать на судебных процессах, 3 июня: «В следующем выпуске „Оливера Твиста“ я намерен вывести судью; в поисках судьи, который своей жестокостью и грубостью заслужил бы того, чтобы его „показать“, я, разумеется, набрел на мистера Лейнга, прогремевшего на весь Хеттон-гарден. Я достаточно о нем слышан, но я хочу описать его наружность, для чего мне необходимо его повидать... И вот мне пришло в голову, что, может быть, под Вашим покровительством мне посчастливилось бы проникнуть на минуту в суд».

Оливера пристраивают в лавку гробовщика, он убегает от жестокого обращения и попадает в шайку воров: хитрый еврей Феджин, грубый Билл Сайкс, мальчишки-подручные и непотребные девицы. Из предисловия к позднему изданию романа:

«В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградировавших представителей лондонского населения... У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах: славные ребята, одеты безукоризненно, кошелек туго набит, преуспевают в галантных интригах... Но я нигде не встречался... с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь... значит попытаться сделать то, что необходимо и что сослужит службу обществу... Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и вонючие логовища — обитель всех пороков; притоны голода и болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплутся, — что в этом соблазнительного? Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступник, чтобы прийтись им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой... Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже когда она выступает в обличье тех людей, которые столь превознесены в романах... В то же время возражали против Сайкса, — довольно непоследовательно, как смею я думать, — утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаясь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены».

Никакой романтической, как в «Бригаде», взаимной любви и поддержки нет, Сайкс и Феджин ненавидят и презирают друг друга, у них угрюмые лица, горящие глаза — зло у Диккенса всегда написано у злодея на лице и видно во всех его движениях, вдобавок они постоянно сами с собой вслух болтают о своих злодействах.

«Я этого добьюсь, — прошептал Феджин. — Тогда она не посмеет мне отказать. Ни за что, ни за что не посмеет. Я все обдумал. Средства под рукой и будут пущены в ход. Я еще до тебя доберусь!»

Он бросил мрачный взгляд назад, сделал угрожающий жест, глядя в ту сторону, где оставил негодяя, более храброго, чем он сам, и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага».

Еще один злодей: «...он как будто не ходит, а крадется и при ходьбе

поминутно оглядывается через плечо сначала в одну сторону, потом в другую. Не забудьте об этом, потому что глаза у него так глубоко посажены, как я ни у кого еще не видела... Губы у него бледные и искусанные, потому что с ним случаются ужасные припадки, а иногда он даже до крови кусает себе руки».

Феджин особенно омерзителен, у него на руках не пальцы, а когти, весь он скрюченный — это чудовище создано в соответствии с шаблоном изображения евреев в литературе и на сцене в XIX веке. (В 1830-х годах евреям запрещалось владеть магазинами в черте Лондона, они не могли быть адвокатами, учиться в университетах, избираться в парламент.) Некоторые читательницы были возмущены, газета «Джудиш кроникл» позднее недоумевала, почему «одни евреи исключены из тех, кому сочувствует великий писатель и друг угнетенных», Диккенс отвечал, что писал в соответствии с исторической правдой — именно евреи были чаще всего скупщиками краденого, — но ко второму изданию «Твиста» текст откорректировал, более двухсот раз заменив слово «еврей» на «Феджин» или «он». (В 1949 году семья Розенберг из Бруклина требовала запретить изучение «Твиста» в школе, но суд проиграла.)

«На театре существует обычай во всех порядочных кровавых мелодрамах перемежать в строгом порядке трагические сцены с комическими, подобно тому как в свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастьями; в следующей сцене его верный, но ничего не подозревающий оруженосец угощает слушателей комической песенкой». Диккенс вроде бы иронизировал над этой традицией, но отойти от нее не посмел: «Твист» полон затягивающих действие и ничего интересного не добавляющих комических сцен со второстепенными персонажами из тех, кто калечил детство Оливера. А тот попадает к доброму богатому джентльмену, снова к ворам, и опять в приличную семью, где есть прекрасная девушка Роз, — никто не сомневается, что это портрет Мэри Хогарт: «Ей было не больше семнадцати лет. Облик ее был так хрупок и безупречен, так нежен и кроток, так чист и прекрасен, что казалось, земля — не ее стихия, а грубые земные существа — не подходящие для нее спутники».

16 июня Форстер после спектакля «Отелло» свел Диккенса с исполнителем главной роли Макриди, удивительным человеком, который ненавидел актерскую профессию, с молодости мечтал о покое и при этом революционизировал английский театр, склонив его в сторону сценического натурализма; он был на двадцать лет старше Диккенса, и

дружба их скорее напоминала отношения отца с сыном. Макриди и Форстер ввели Диккенса в еженедельно собиравшийся Клуб Шекспира. Форстер взял на себя оформление окончательного разрыва отношений с Макроуном, тот вскоре заболел и умер в 28 лет. Делает честь Диккенсу то, что он, вероятно, испытывая угрызения совести, не просто забыл свой гнев против бедного издателя, но основал фонд в пользу его семьи. Зато издателя Бентли он теперь ненавидел, звал «шакалом» и пытался добиться либо увеличения гонораров (в полтора раза), либо разрыва. Но Бентли был тверд.

Летом 1837 года Летиция и Фанни вышли замуж: одна за архитектора Генри Остина, вторая за оперного певца Генри Бернетта; оба зятя Диккенсу нравились. Фредерика, которого он давно опекал как отец, удалось устроить клерком в министерство финансов. Пятнадцатилетнего Альфреда отдали в обучение к архитектору (и он впоследствии стал инженером). С родителями жил один Огастес, но денег им почему-то все время не хватало, Джон Диккенс продолжал занимать, выписывая векселя на имя Чарлза; по этому поводу был большой скандал. В июле Диккенс с женой и Хэблотом Брауном съездил посмотреть на за границу — в Бельгию, потом снял на конец лета дом в Бродстерсе, прибрежном городке в 80 милях от Лондона, с населением в тысячу человек и множеством туристов: это будет одно из его любимых мест. Вернулись в Лондон 28 сентября, и Диккенс, шантажируя Бентли, объявил, что уйдет из его «Альманаха».

Издателю пришлось уступить, повысив гонорар за «Твиста» и следующий роман до 700 фунтов, — за это он дополнительно всучил Диккенсу редактировать мемуары актера Гримальди, работу нудную, отнявшую три месяца. Чепмен и Холл кротко просили хоть что-нибудь, когда завершится «Пиквик», — Диккенс пообещал им юмористическую книгу «Очерки о молодых джентльменах» и роман. Он еще не окончил ни «Пиквика», ни «Твиста», но был уверен в себе и не обратил внимания на предостережение Хейуорда Эбрахема, критика из газеты «Куотерли ревью»: «М-р Диккенс пишет слишком быстро и слишком много... взвившись вверх подобно ракете, он может шлепнуться на землю как бревно». В конце октября еще раз съездили с женой отдохнуть (Диккенс во время любого «отдыха» работал) — в Брайтон, откуда он писал Форстеру, что сойдет с ума, если тот к нему не присоединится. Он любил клубы, театральные репетиции, обожал долгие, быстрым шагом, пешие прогулки — Кэтрин, даже не будь она вечно беременной, товарищем ему быть не могла.

Тем временем в «Пиквике», когда тот уже далеко перевалил за

половину, появился сюжет. В тексте уже был мрачный вставной рассказ о долговой тюрьме Маршалси — теперь в неприятности попал и главный герой: квартирная хозяйка подала на него в суд за обещание жениться (чего у него и в мыслях не было). Суд (этот эпизод Диккенс потом особенно любил читать со сцены):

«— Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — не будете ли вы столь любезны сообщить его лордству и присяжным свою фамилию?»

И мистер Скимпин склонил голову набок, дабы выслушать с большим вниманием ответ, и взглянул в то же время на присяжных, как бы предупреждая, что он не будет удивлен, если прирожденная склонность мистера Уинкля к лжесвидетельству побудит его назвать фамилию, ему не принадлежащую.

— Уинкль, — ответил свидетель.

— Как ваше имя, сэр? — сердито спросил маленький судья.

— Натэниел, сэр.

— Дениэл... второе имя есть?

— Натэниел, сэр... то есть милорд.

— Натэниел-Дэниел или Дэниел-Натэниел?

— Нет, милорд, только Натэниел, Дэниела совсем нет.

— В таком случае, зачем же вы сказали Дэниел? — осведомился судья.

— Я не говорил, милорд, — отвечал мистер Уинкль.

— Вы сказали, сэр! — возразил судья, сурово нахмурившись. — Как бы я мог записать Дэниел, если вы мне не говорили этого, сэр?

Довод был, конечно, неоспорим.

— У мистера Уинкля довольно короткая память, милорд, — вмешался мистер Скимпин, снова взглянув на присяжных. — Надеюсь, мы найдем средства освежить ее раньше, чем покончим с ним.

— Советую вам быть осторожнее, сэр! — сказал маленький судья, бросив злобный взгляд на свидетеля.

Бедный мистер Уинкль поклонился и старался держать себя развязно, но он был взволнован, и эта развязность придавала ему сходство с застигнутым врасплох воришкой.

— Итак, мистер Уинкль, — сказал мистер Скимпин, — пожалуйста, слушайте меня внимательно, сэр, и разрешите мне посоветовать вам, в ваших же интересах, хранить в памяти предостережение его лордства. Если я не ошибаюсь, вы близкий друг Пиквика, ответчика, не так ли?

— Я знаю мистера Пиквика, насколько я сейчас могу припомнить, почти...

— Пожалуйста, мистер Уинкль, не уклоняйтесь от ответа. Вы близкий

друг ответчика или нет?

— Я только хотел сказать, что...

— Ответите вы или не ответите на мой вопрос, сэр?

— Если вы не ответите на вопрос, вы будете арестованы, сэр — вмешался маленький судья, отрываясь от своей записной книжки.

— Итак, сэр, — сказал мистер Скимпин, — будьте любезны: да или нет?

— Да, — ответил мистер Уинкль.

— Итак, вы его друг. А почему же вы не могли сказать это сразу, сэр?»

Пиквик платить по иску отказался и попал в одну из долговых тюрем — и одновременно с сюжетом в характере героя наконец появились сострадание и печаль, и он из картонной фигуры стал человеком:

«Нельзя скрыть того факта, что на душе у мистера Пиквика было очень грустно и тревожно — не от недостатка в людях, ибо тюрьма была переполнена, а бутылка вина немедленно, без формальных церемоний знакомства, снискала бы самое дружеское расположение немногих избранных. Но он был одинок в этой грубой, вульгарной толпе и чувствовал уныние и тоску, естественно вытекающие из размышлений о том, что он посажен в клетку и лишен надежды на освобождение. Однако решение освободиться ценой потворства мошенникам Додсону и Фоггу ни на секунду у него не возникало.

В таком расположении духа он вернулся в галерею, где была столовая, и стал медленно прогуливаться. Помещение было нестерпимо грязное, а запах табачного дыма буквально удушливый. Беспреданно захлопывались с шумом и стуком двери, когда люди входили и выходили, и гул голосов и шагов неумолчно звучал в коридорах. Молодая женщина с ребенком на руках, которая, казалось, едва могла передвигать ноги от истощения и нищеты, бродила по коридору, беседуя со своим мужем, которому больше нигде было ее принять. Когда они проходили мимо мистера Пиквика, он слышал, как женщина плакала, а один раз она отдалась такому приступу отчаяния, что должна была прислониться к стене, чтобы не упасть, и мужчина взял на руки ребенка, стараясь ее успокоить... Грязные женщины в стоптанных башмаках сновали взад и вперед, направляясь в кухню, находившуюся в углу двора; дети кричали, дрались и играли в другом углу. Стук кеглей и возгласы игроков сливались с сотней других звуков, везде шум и суета — везде, за исключением маленького, жалкого сарая в нескольких ярдах от этого места, где в ожидании пародии на следствие лежало неподвижное и посиневшее тело канцлерского арестанта, который умер прошлой ночью! Тело!»

Сэм Уэллер добровольно идет в тюрьму, чтобы не разлучаться с хозяином, а когда Пиквика освобождают, остается при нем навеки:

«...»,вы и должны держать при себе человека, который нас понимает и позаботится о ваших удобствах. Если вам нужен парень более вылощенный, чем я, ладно, берите его, но за жалованье или без жалованья, с предупреждением об увольнении или без предупреждения, со столом или без стола, с квартирой или без квартиры, а Сэм Уэллер, которого вы выбрали в старой гостинице в Боро, от вас не отойдет, что бы ни случилось. И пусть кто хочет старается, все равно никто этому помешать не может!“ И свободолюбивый старший мистер Уэллер встал и, забыв о времени, месте и приличиях, замахал шляпой над головой и оглушительно крикнул три раза „ура“».

Как-то малоубедительно, что свободолюбивый «греховодник» Уэллер был в таком восторге от добровольного рабства сына. Оруэлл: «Сэм Уэллер, Марк Тапли, Клара Пеготи — все они персонажи феодальных времен, все они в жанре „старинного слуги дома“, кто не отделяет себя от хозяйской семьи, кто и предан по-собачьи, и одновременно фамильярен по-свойски. Несомненно, Марк Тапли и Сэм Уэллер в определенном смысле вышли из Смоллетта, а следовательно, и из Сервантеса, но то, что этот тип и Диккенса привлекал к себе, очень интересно». Диккенс вообще-то, как мы далее увидим, ни малейшего уважения к патриархальности и средневековью не питал, так что, возможно, здесь он скорее выразил идеал прекрасной мужской дружбы — как у него с Форстером, или же просто бездумно следовал Сервантесу.

И началось вечное счастье: «Мистер Пиквик живет в своем новом доме, посвящая часы досуга приведению в порядок своих записок, — впоследствии он презентовал их секретарю некогда знаменитого клуба, — или слушая, как Сэм Уэллер читает вслух и сопровождает чтение проходящими ему на ум замечаниями, которые неизменно доставляют мистеру Пиквику величайшее удовольствие... Нередко можно видеть, как он любит картины в даличской галерее или прогуливается в ясный день по живописным окрестностям... и куда бы он ни ездил, его неизменно сопровождает верный Сэм, связанный со своим хозяином крепкой взаимной любовью, конец которой может положить только смерть».

Какая-то «обломовщина», правда? Сладкое, даже слащавое ничегонеделание — немного удивительно, что такой способ завершения почти всех своих книг выбирал человек, сам живший одной работой, крутившийся как белка в колесе и не раз говоривший, что лишь такой образ жизни ему подходит. (Из письма Форстеру 13 апреля 1856 года: «...

работать не покладая рук, никогда не быть довольным собой, постоянно ставить перед собой все новые и новые цели, вечно вынашивать новые замыслы и планы, искать, терзаться и снова искать, — разве не ясно, что так оно и должно быть! Ведь когда тебя гонит вперед какая-то непреодолимая сила, тут уж не остановиться до самого конца».)

Честертон: «Диккенс был скорее мифотворцем, чем писателем, — последним и, должно быть, величайшим. Ему не всегда удавалось создать человека, но всегда удавалось создать божество. Его персонажи — как Петрушка или Рождественский Дед. Они живут, не меняясь, в вечном лете истинного бытия. Диккенс и не думал показывать влияние времени и обстоятельств на человеческую душу; он не показывал даже, как душа влияет на время и обстоятельства... Конечно, „Пиквик“ нельзя назвать хорошим романом, нельзя назвать и плохим — это вообще не роман. В определенном смысле он лучше, чем роман. Ни одному роману с сюжетом и развязкой не передать этого духа вечной юности, этого ощущения, что по Англии бродят боги. Это не роман, у романов есть конец, а у „Пиквика“ его нет, как у ангелов».

Да, наверное... а все же Илья Ильич Обломов нам как-то роднее и симпатичнее, хоть и не ангел и не бог... С ним бы мы посидели и поболтали, а с мистером Пиквиком — вряд ли, уж очень он какой-то «закругленный», благополучный, гладкий... И с «вечной юностью» уж никак не ассоциируется... Так читать нам «Пиквика» или не стоит? Надо бы, конечно, но в нашем списке мы, пожалуй, поставим его ближе к концу. Современному человеку привыкать к Диккенсу лучше с других вещей.

Ближе к завершению книги продавалось более 40 тысяч экземпляров за каждый выпуск; Диккенсу причиталось две тысячи фунтов, Чепмен и Холл получали 14 тысяч фунтов. 18 ноября они устроили банкет в честь завершения «Пиквика», выплатили автору гонорар и еще две тысячи фунтов аванса за следующий роман; Диккенс открыл первый в своей жизни банковский счет. Он тут же начал писать «Очерки о молодых джентльменах» и обдумывать новый роман «Жизнь и приключения Николаса Никльби», одновременно продолжая «Твиста». Форстеру, 3 ноября 1837 года: «Я возлагаю большие надежды на Нэнси. Если только мне удастся написать ее так, как я задумал, и если еще один персонаж, который должен служить ей контрастом, получится, тогда мне уже, пожалуй, не страшен ни мистер... ни его дела. По вечерам я с трудом удерживаюсь — так и тянет расправиться с Феджином и компанией...»

Нэнси — опустившаяся девушка, воровка, за которую Диккенса вечно пинали (и продолжают пинать): неправдоподобная. Тогда

неправдоподобным казалось то, что женщина, даже такая, может любить Сайкса, который ее бьет. Но Диккенс женскую психологию, видимо, отлично понимал. Да, бьет и обращается как с собакой (у Сайкса и собака есть, тоже подвергающаяся побоям и столь же преданная — великолепная деталь), но для любящей женщины он милый и дорогой.

«— Подожди минутку! — воскликнула девушка. — Я бы не стала спешить, если бы это тебе, Билл, предстояло болтаться на виселице, когда в следующий раз пробьет восемь часов. Я бы ходила вокруг да около того места, пока бы не свалилась, даже если бы на земле лежал снег, а у меня не было шали, чтобы прикрыться.

— А какой был бы от этого толк? — спросил чуждый сентиментальности мистер Сайкс. — Раз ты не можешь передать напильник и двадцать ярдов прочной веревки, то бродила бы ты за пятьдесят миль или стояла бы на месте, все равно никакой пользы мне это не принесло бы. Идем, нечего стоять здесь и читать проповеди!»

И хотя Нэнси приходит к хорошим людям и рассказывает им о замысле шайки в отношении Оливера, она не только отказывается выдать любимого, но и не хочет быть «спасенной» без него; она даже Феджина не выдает — какой-никакой, а был друг и «свой». Это как раз у Диккенса сделано вполне убедительно, с точки зрения современного читателя натяжка в другом. Сравните абсолютно естественный диалог Нэнси с Сайксом:

«— Скулишь? — спросил Сайкс. — Хватит! Нечего стоять и хныкать! Если ты только на это и способна, проваливай! Слышишь?»

— Слышу, — ответила девушка, отворачиваясь и пытаясь рассмеяться. — Что это еще взбрело тебе в голову?

— Э, так ты, стало быть, одумалась? — проворчал Сайкс, заметив слезы, навернувшиеся ей на глаза. — Тем лучше для тебя.

— Но ведь не хочешь же ты сказать, Билл, что и сегодня будешь жесток со мной, — произнесла девушка, положив руку ему на плечо.

— А почему бы и нет?! — воскликнул мистер Сайкс. — Почему?..

— Столько ночей, — сказала девушка с еле заметной женственной нежностью, от которой даже в ее голосе послышались ласковые нотки, — столько ночей я терпеливо ухаживала за тобой, заботилась о тебе, как о ребенке, а сегодня я впервые вижу, что ты пришел в себя. Ведь не будешь же ты обращаться со мной как только что, правда ведь? Ну скажи, что не будешь!»

И ее же выпревший, ненатуральный разговор с хорошей девушкой Роз:

«— Ах, сударыня! — воскликнула она страстно, заломив руки. — Если бы больше было таких, как вы, — меньше было бы таких, как я... меньше... меньше... Разрешите мне постоять, леди, — сказала девушка, все еще плача, — и не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая... Я та самая бесчестная женщина, о которой вы слыхали, живущая среди воров, и — да поможет мне бог! — с того времени, как я себя помню, и когда глазам моим и чувствам открылись улицы Лондона, я не знала лучшей жизни и не слышала более ласковых слов, чем те, какими она меня награждала. Не бойтесь, можете отшатнуться от меня, леди. Я моложе, чем кажусь, но я к этому привыкла. Самые бедные женщины отшатываются от меня, когда я прохожу по людной улице... На коленях благодарите бога, дорогая леди, — воскликнула девушка, — что у вас были друзья, которые с самого раннего детства о вас заботились и оберегали вас, и вы никогда не знали холода и голода, буйства и пьянства и... и еще кое-чего похуже, что знала я с самой колыбели. Я могу сказать это слово, потому что моей колыбелью были глухой закоулок да канава... они будут и моим смертным ложем.

— Вот кошелек! — воскликнула молодая леди. — Возьмите его ради меня, чтобы у вас были какие-то средства в час нужды и горя.

— Нет! — сказала девушка. — Я это сделала не для денег. Я хочу помнить об этом. Но... дайте мне какую-нибудь вещь, которую вы носили, — я бы хотела иметь что-нибудь... Нет, нет, не кольцо... ваши перчатки или носовой платок... что-нибудь такое, что я могла бы хранить в память о вас, милая леди...»

Эта сцена слегка напоминает нам другую, хорошо знакомую: Грушенька и Катя в «Карамазовых»:

«— Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня, — нежно попросила она [Грушенька] и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. — Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться...»

Вот только завершаются сцены совсем по-разному:

«Грушенька меж тем как бы в восхищении от „милрой ручки“ медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала на два, на три мгновения, как бы раздумывая о чем-то.

— А знаете что, ангел-барышня, — вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском, — знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. — И она засмеялась маленьким развеселым смешком.

— Как хотите... Что с вами? — вздрогнула вдруг Катерина Ивановна.

— А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет. — Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах. Она ужасно пристально глядела на Катерину Ивановну».

Диккенсу так написать сцену никогда бы в голову не пришло — падшая должна искренне раскаяться, а иначе и говорить о ней не стоит, и Нэнси уходит от Роз со словами «Будьте счастливы! Да благословит вас бог!» — уходит, при всем ее жизнеподобии, лишь бледной тенью в сравнении с невероятно живой, хотя и нежизнеподобной Грушенькой... Но демонических женщин того типа, что могли вдохновлять Достоевского, Диккенс еще напишет — дайте срок.

Глава четвертая

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

1 января 1838 года он начал вести дневник, но уже 15-го завершил его записью: «Слишком грустно отмечать дни, я не могу»; тем не менее 6-го очень весело, с множеством гостей, шарадами и фокусами, отпраздновали день рождения Чарли: это станет традицией, дни рождения других детей так пышно не отмечались. Продолжал «Очерки о молодых джентльменах» — так, милый пустичок. «Застенчивый молодой джентльмен»: «То был румяный молодой джентльмен с легчайшим намеком на усики и бархатно-мягким выражением лица... Все лицо его было залито вишневым румянцем и выражало скуку, удрученность и робость, — лицо человека, которому неловко даже в своем собственном обществе». Потом он еще напишет «Очерки молодых пар» («Пара, сосредоточенная на взаимном обожании», «Пара, сосредоточенная на мыслях о судьбах народов» и т. п.). Эйнсворт предлагал вместе написать книгу «Лондонские львы», но на этот проект сил не хватило: еще не дописав «Твиста», Диккенс начал работу над «Николасом Никльби».

Он продолжал бить в одну точку: надо привлечь внимание к плохому обращению с детьми. В газетах иногда появлялись отчеты об ужасных школах для бедных, где дети умирали от недоедания и болезней; один из них был посвящен школе Уильяма Шоу в Йоркшире, в итоге Шоу выплатил штраф и продолжал над учениками измываться. 30 января Диккенс с Хэблотом Брауном отправился в Йоркшир — увидеть все своими глазами. (1 февраля он писал жене: с юмором рассказывал, как устроился, просил не оставлять сына одного «слишком долго» — видимо, Кэтрин до сих пор не была, или ему казалось, что не была, хорошей матерью — и говорил о Мэри: «Несмотря на смену обстановки и усталость, она грезилась мне... и, без сомнения, так же будет, когда я возвращусь... Я буду сожалеть, если лишусь этих видений...») Обошли несколько школ, прикидываясь, будто хотят отдать туда детей, наконец попали к Шоу, тот показывать свое хозяйство отказался, но Диккенсу увиденного было достаточно. Шоу и не подозревал, что уже стал омерзительнейшим Сквирсом из романа; правда, сам автор писал, что «Мистер Сквирс и его школа — только бледные и тусклые отражения действительности, намеренно затушеванные и неяркие, иначе их сочли бы неправдоподобными».

«Никльби», как и «Пиквик», должен был выходить из печати ежемесячными выпусками; уже к концу февраля Диккенс написал несколько глав. 6 марта Кэтрин родила девочку, Мэри (в честь покойной) Анджелу, домашнее имя — Мэйми. Мать опять впала в депрессию, и у нее не было молока — ребенка сдали кормилице и няне. 27 марта Диккенс был на премьере спектакля по «Твисту», такого плохого, что он «от стыда прятался, лежа под стульями, начиная с середины первого акта», 29-го увез жену (без детей) в Ричмонд — поправляться. В принципе он мыслил в верном направлении: жене нужна смена обстановки. Но что-то она ей не помогала. Мы не знаем, что происходило между супругами в периоды таких «отпусков», устраивавшихся для Кэтрин почти после каждого родов; в чем заключалось ее лечение, кроме изоляции от ребенка, неясно. Форстер приехал к ним 2 апреля, на годовщину свадьбы, и, возможно, именно тогда Диккенс впервые сказал ему (он упоминал такой эпизод в письме Форстеру от 3 сентября 1857 года), что с женой у него все неладно.

1 апреля вышел первый выпуск «Никльби», за месяц продали 50 тысяч экземпляров — такого успеха автор еще не знал. Однако «Никльби» (это и общепринятая, и наша точка зрения) — далеко не лучшее произведение Диккенса, хотя в нем и полным-полно отдельных шедевров.

После смерти разорившегося мужа миссис Никльби с сыном Николасом и дочерью Кэт приехала искать счастья в Лондон; как считается, она — карикатура на мать Диккенса: бестолковая, наивная, мечтательная, разглагольствующая о том, как «благородно» она жила прежде, не умеющая отличить хорошее от плохого для своих детей: «Мы привыкли ложиться так поздно! Двенадцать, час, два, три часа для нас пустяки. Балы, обеды, карты! Нигде еще не бывало таких повес, как люди в тех краях, где мы жили. Право же, теперь я часто изумляюсь, как мы могли все это вынести, и какое это несчастье, когда имеешь такой большой круг знакомых и все тебя приглашают!» Дочь определяют в ученицы к модистке: «К тому времени, как Кэт вернулась домой, славная леди воскресила в памяти два достоверных случая, когда модистки имели значительное состояние, но было ли оно целиком приобретено их трудами, или они обладали капиталом для начала, или же им посчастливилось, и они удачно вышли замуж, она не могла хорошенько припомнить. Впрочем, как она весьма логически заметила, должна же была существовать какая-нибудь молодая особа, которая, не имея ничего на первых порах, все-таки разбогатела, а если признать этот факт, то почему не может достигнуть того же и Кэт?

— Боюсь, это занятие вредно для здоровья, — сказала мисс Ла-Криви. — Помню, мне позировали три молоденькие модистки, когда я только что

начала заниматься живописью, и я припоминаю, что все они были очень бледные и хилые.

— О, это отнюдь не общее правило, — заметила миссис Никльби. — Я помню так, как будто это было вчера, что я наняла модистку, которую мне особо рекомендовали, сшить пунцовый плащ — в те времена, когда пунцовые плащи были в моде, и у нее было очень красное лицо, да, очень красное лицо.

— Может быть, она выпивала? — предположила мисс Ла-Криви.

— Вряд ли это могло быть, — возразила миссис Никльби, — но я знаю, что у нее было очень красное лицо, стало быть, ваш довод ничего не стоит...

Счастливица миссис Никльби! Достаточно, чтобы проект был новым, и он уже представлялся ее мысленному взору ослепительно-ярким и позолоченным, как блестящая игрушка».

Семья просит помощи у богатого родственника, Ральфа Никльби. Тот занимается «делами», правда, не понятно какими, «деловой» человек у Диккенса обычно негодяй, и Ральф не исключение. Он возненавидел Николаса — почему? Да потому что злодей, вот и все. «Лицо у старика было суровое, грубое, жестокое и отталкивающее, у молодого человека — открытое, красивое и честное; у старика глаза были острые, говорящие о скупости и лукавстве, у молодого человека — горящие умом и воодушевлением. Он был худощав, но мужествен и хорошо сложен; помимо юношеской грации и привлекательности, взгляд его и осанка свидетельствовали о горячем юном сердце. Сравнение было не в пользу старика. Сколь ни разителен подобный контраст для наблюдателя, но никто не чувствует его так остро и резко, как тот, чью низость он подчеркивает, проникая в его душу. Это уязвило сердце Ральфа, и с той минуты он возненавидел Николаса».

В отличие от Сайкса и Феджина Ральф на вид нормальный человек и кому-то кажется благональным, но это такой же чистый злодей, разговаривающий сам с собою («Вот какой я злодей!»): «...он почти не трудился скрывать от мира свое подлинное лицо и в глубине души радовался каждому своему дурному замыслу и лелеял его с момента зарождения... Когда мой брат был в его [Николаса] возрасте, — говорил себе Ральф, — меня впервые начали сравнивать с братом, и всегда не в мою пользу. Он был прямодушным, смелым, щедрым, веселым, а я — хитрым скрягой с холодной кровью, у которого одна страсть — любовь к сбережениям, и одно желание — жажда наживы».

Сюжетную линию перебивают вставные истории с призраками,

абсолютно не идущие к делу — тут Диккенс вернулся к манере «Пиквика», — но в конце концов Ральф устраивает Николаса учителем в школу Сквирса. Первый же разговор Сквирса с женой открывает Николасу глаза:

«— Ну как, Сквирс, — осведомилась леди игриво и очень хриплым голосом.

— Прекрасно, моя милочка, — отозвался Сквирс. — А как коровы?

— Все до единой здоровы, — ответила леди.

— А свиньи? — спросил Сквирс.

— Не хуже, чем когда ты уехал.

— Вот это отрадно! — сказал Сквирс, снимая пальто. — И мальчишки, полагаю, тоже в порядке?

— Здоровехоньки! — резко ответила миссис Сквирс. — У Питчера была лихорадка.

— Да что ты! — воскликнул Сквирс. — Черт побери этого мальчишку! Всегда с ним что-нибудь случается.

— Я убеждена, что второго такого мальчишки никогда не бывало на свете, — сказала миссис Сквирс, — чем бы он ни болел, это всегда заразительно. По-моему, это упрямство, и никто меня не разубедит. Я это из него выколочу...»

Дети — самое слабое место романа: они абсолютно «никакие», и их поэтому даже не жалко, может быть, за исключением слабоумного нищего (но разговаривающего почему-то как благородный джентльмен) юноши Смайка, к которому привязывается Николас. Дальше несколько глав посвящены тому, как дочь Сквирса, глупая и некрасивая, пытается соблазнить Николаса, — этот фрагмент романа ужасно смешной и при этом психологически тонкий, но, как и рассказы о призраках, к делу не идущий. Оруэлл: «Его воображение глушит все, словно сорняк какой-то. Сквирс обращается к ученикам — и мы тут же слышим об отце Болдера, которому не хватало двух фунтов с лишним, о мачехе Моббса, которая слезла в постель, узнав, что Моббс не ест жиров, и которая надеялась, что мистер Сквирс розгой вправит ему мозги. Миссис Лео Хантер пишет поэму „Лягушка испускает дух“ — приводятся полные две строфы... Диккенс такой писатель, у которого отрывки значительно прекраснее целого. Он весь — во фрагментах, весь — в деталях: архитектура никудышная, зато как чудесны обводы водосточных труб». (Диккенс и сам за собой это знал. Форстеру, 30 августа 1846 года: «...мне то и дело приходится удерживаться от нелепых гротесков, которые доставляют мне истинное наслаждение».)

Сквирс ударил Смайка, Николас избил Сквирса, его уволили, и он вместе со Смайком бежал, а его создатель вступил в престижнейший клуб

«Атенеум» и снял на лето дом в Твикенгеме, престижнейшем пригороде Лондона; 28 июня он присутствовал на коронации Виктории. О чем писать «Никльби» дальше, он хорошенько не знал: тема со школой была исчерпана. Начался типичный роман — странствие в духе Филдинга: герой чуть не стал секретарем депутата-жулика, потом устроился в бродячий театр. Вот тут Диккенс напал на золотую жилу: ни о чем он не умел писать так смешно, как о театре.

«— Много и много турне совершил этот пони, — сказал мистер Крамльс, ловко хлестнув его по глазу в знак старого знакомства. — Он все равно что один из членов нашей труппы. Его мать выступала на сцене.

— Вот как! — отозвался Николас.

— Свыше четырнадцати лет она ела в цирке яблочный пирог, — сообщил директор, — стреляла из пистолета, ложилась спать в ночном чепце — короче говоря, вела весь водевиль. А отец его был танцором.

— Он как-нибудь отличился?

— Не сказал бы, — ответил директор. — Он был довольно вульгарным пони. Дело в том, что поначалу его брали напрокат поденно, и он так до конца и не отвык от старых привычек. Он был хорош в мелодраме, но слишком груб, слишком груб. Когда умерла мать, он перешел на портвейн.

— На портвейн?! — воскликнул Николас.

— Распивал портвейн с клоуном, — пояснил директор. — Но он был жаден и однажды вечером разгрыз стеклянную чашу и подавился; таким образом, его вульгарность в конце концов привела его к гибели».

«Директор хлопнул в ладоши, давая сигнал приступить, и дикарь, рассвирепев, сделал глisse в сторону девушки, но девушка ускользнула от него при помощи шести пируэтов и в конце последнего замерла на самых кончиках пальцев. Это как будто произвело некоторое впечатление на дикаря, потому что, побесновавшись еще немного и погоняв девушку из угла в угол, он начал смягчаться и несколько раз погладил себя по лицу всеми пятью пальцами правой руки, давая этим понять, что приведен в восторг ее красотой. Действуя под влиянием страсти, он (дикарь) принялся колотить себя кулаком в грудь и обнаруживать другие признаки влюбленности, но эта процедура, будучи довольно прозаической, по всей вероятности, привела к тому, что девушка заснула. Это ли послужило причиной или что другое, но она заснула крепко, как сурок, на отлогом склоне насыпи, а дикарь, заметив это, прижал левую ладонь к левому уху и покивал головой, давая понять всем, кого это могло касаться, что она действительно спит, а не притворяется. Предоставленный самому себе, дикарь один-одинешенек исполнил танец. Не успел он кончить, как

девушка проснулась, протерла глаза, поднялась с насыпи и тоже исполнила танец одна-одинешенька — такой танец, что дикарь все время смотрел на нее в экстазе, а по окончании его сорвал с ближайшего дерева какую-то ботаническую диковинку, похожую на маленький кочан кислой капусты, и поднес ее девушке, которая сначала не хотела брать, но при виде проливающего слезы дикаря смягчилась. Потом дикарь подпрыгнул от радости; потом девушка подпрыгнула от восторга, вдыхая сладкий аромат кислой капусты. Потом дикарь и девушка исполнили вдвоем бешеный танец, и, наконец, дикарь упал на одно колено, а девушка стала одной ногой на другое его колено, закончив таким образом балет и оставив зрителей в состоянии приятной неуверенности, выйдет ли она замуж за дикаря или вернется к своим друзьям».

«Некий изгнанник что-то и где-то совершил с большим успехом и вернулся домой с триумфом, встреченный приветственными кликами и звуками скрипок, вернулся, дабы приветствовать свою жену — леди с мужским складом ума, очень много говорившую о костях своего отца, которые, по-видимому, остались непогребенными, то ли по своеобразной причуде самого старого джентльмена, то ли вследствие предосудительной небрежности его родственников — это осталось невыясненным. Жена изгнанника находилась в каких-то отношениях с патриархом, жившим очень далеко в замке, а этот патриарх был отцом многих из действующих лиц, но он хорошенько не знал, кого именно, и не был уверен, своих ли детей воспитал у себя в замке или не своих. Он склонился к последнему и, находясь в замешательстве, развлек себя банкетом, во время коего некто в плаще сказал: „Берегись!“ — но ни один человек (кроме зрителей) не знал, что этот некто и был сам изгнанник, который явился сюда по невыясненным причинам, но, может быть, с целью стащить ложки».

Мы не включаем «Никльби» в число первых — даже первых десяти — романов Диккенса, которые современному читателю стоит прочесть, потому что там слишком много напыщенной сентиментальности, злодей абсолютно вторичен по отношению к злодеям в «Твисте», герой бледен, а в целом текст чересчур уж напоминает романы-странствия XVIII века, — но вы вполне можете без ущерба для себя прочитать лишь главы, связанные с театром. Диккенс обожал атмосферу театра, причем не столько профессионального, сколько дешевого полу-любительского, и его прямой как палка и наивный Николас вопреки литературной логике легко вписывается в этот развеселый бедлам, став и актером, и сценаристом:

«— Вчера вечером я просмотрел французский текст, — сказал Николас. — Мне кажется, роль очень хороша.

— А для меня что вы думаете сделать, старина? — осведомился мистер Ленвил, потыкав тростью в разгорающийся огонь, а затем вытерев трость полой сюртука. — Что-нибудь такое грубое и ворчливое?

— Вы выгоняете из дому жену с ребенком, — сообщил Николас, — и в припадке бешенства и ревности закалываете в кабинете своего старшего сына.

— Да неужели! — воскликнул мистер Ленвил. — Вот это здорово!

— Затем, — сказал Николас, — вас терзают угрызения совести вплоть до последнего акта, и тогда вы решаете покончить с собой. Но как раз в тот момент, когда вы приставляете пистолет к голове, часы бьют десять...

— Понимаю! — закричал Ленвил. — Очень хорошо!

— Вы замираете, — продолжал Николас. — Вы припоминаете, что еще в младенчестве слышали, как часы били десять. Пистолет падает из вашей руки... Вы обессилены... Вы раздражаетесь рыданиями и становитесь добродетельным и примерным человеком.

— А для меня есть что-нибудь хорошее? — с беспокойством спросил мистер Фолер.

— Позвольте-ка припомнить... — сказал Николас. — Вы играете роль верного и преданного слуги, вас выгоняют из дому вместе с вашей хозяйкой и ее ребенком.

— Вечно я в паре с этим проклятым феноменом! — вздохнул мистер Фолер. — И, не правда ли, мы идем в убогое жилище, где я не хочу получать никакого жалованья и говорю чувствительные слова?

— Мм... да, — ответил Николас, — так получается по ходу пьесы.

— Мне, знаете ли, нужен какой-нибудь танец, — сказал мистер Фолер. — Вам все равно придется ввести танец для феномена, так что лучше вам сделать *pas de deux* и сберечь время».

В сентябре началась первая из бесконечных войн Англии в Афганистане, а лидер чартистов Фергюс О'Коннор произносил речь на митинге в Лондоне: «Народ слишком долго и слишком покорно выносил притеснения; я никогда не советовал народу прибегать к физической силе, потому что это может исходить только от безумцев, но в то же время надо сказать, что те, которые кричат против насилия, поддерживают свою власть исключительно физической силой... Я не советую вам прибегать ни к восстанию, ни к гражданской войне, но я все же скажу — и пусть слышит это палата общин, — что если народ будут угнетать, если конституция будет нарушаться, если народ будет жить в постоянной нужде, тогда — если никто другой не отважится на это — я сам поведу народ к смерти или к славе...»

Чартисты — сторонники «Народной хартии» — довольно агрессивно требовали новой выборной реформы: всеобщее избирательное право, отмена имущественного ценза, деление на равные по числу жителей избирательные округа. Диккенсу О'Коннор казался слишком радикальным: «злополучный и некогда популярный горе-вождь» (О'Коннор закончил свои дни в психиатрической больнице) и чартистам он никогда не сочувствовал. Он неделю отдохнул с женой на острове Уайт, а 22 сентября подписал с Бентли договор на давно задуманный исторический роман, где одним из героев должен был стать человек, подобный О'Коннору; теперь эта вещь называлась «Барнеби Радж». А на нем ведь еще два романа висят, «Твист», правда, подходит к финалу...

Форстеру, в августе: «Работаю по-прежнему вовсю. Нэнси больше нет. Вчера вечером я показал то, что сделал, Кэт, и она пришла в неопишное „расстройство чувств“; это подтверждает мое собственное ощущение и дает мне надежду на успех. Как только отправлю Сайкса в преисподнюю, представлю эту часть на Ваш суд...»

Сайкс узнает о предательстве Нэнси и...

«— Билл, — сказала девушка тихим, встревоженным голосом, — почему ты на меня так смотришь?»

Несколько секунд грабитель сидел с раздувавшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз; потом, схватив ее за голову и за шею, потащил на середину комнаты и, оглянувшись на дверь, зажал ей рот тяжелой рукой.

— Билл, Билл, — хрипела девушка, отбиваясь с силой, рожденной смертельным страхом. — Я... я не буду ни вопить, ни кричать... ни разу не вскрикну... Выслушай меня... поговори со мной... скажи мне, что я сделала!

— Сама знаешь, чертовка! — ответил грабитель, переводя дыхание. — Этой ночью за тобой следили. Слышали каждое твое слово.

— Так пощади же, ради неба, мою жизнь, как я пощадила твою! — воскликнула девушка, прижимаясь к нему. — Билл, милый Билл, у тебя не хватит духа убить меня. О, подумай обо всем, от чего я отказалась ради тебя хотя бы только этой ночью. Подумай об этом и спаси себя от преступления; я не разожму рук, тебе не удастся меня отшвырнуть. Билл, Билл, ради господа бога, ради самого себя, ради меня, подожди, прежде чем прольешь мою кровь! Я была тебе верна, клянусь моей грешной душой, я была верна!

Мужчина отчаянно боролся, чтобы освободить руки, но вокруг них обвилились руки девушки, и, как он ни старался, он не мог оторвать ее от

себя.

— Билл! — воскликнула девушка, пытаясь положить голову ему на грудь. — Джентльмен и эта милая леди предлагали мне сегодня пристанище в какой-нибудь чужой стране, где бы я могла доживать свои дни в уединении и покое. Позволь мне повидать их еще раз и на коленях молить, чтобы они с такой же добротой и милосердием отнеслись и к тебе, и тогда мы оба покинем это ужасное место и далеко друг от друга начнем лучшую жизнь, забудем, как мы жили раньше, вспоминая об этом только в молитвах, и больше не встретимся. Никогда не поздно раскаяться. Так они мне сказали... я это чувствую теперь... но нам нужно время... хоть немножко времени.

Взломщик освободил одну руку и схватил пистолет. Несмотря на взрыв ярости, в голове его пронеслась мысль, что он будет немедленно пойман, если выстрелит. И, собрав силы, он дважды ударил им по обращенному к нему лицу, почти касавшемуся его лица.

Она пошатнулась и упала, полуослепленная кровью, стекавшей из глубокой раны на лбу; поднявшись с трудом на колени, она вынула из-за пазухи белый носовой платок — платок Роз Мэйли — и, подняв его в сложенных руках к небу, так высоко, как только позволяли ее слабые силы, прошептала молитву, взывая к создателю о милосердии.

Страшно было смотреть на нее. Убийца, отшатнувшись к стене и заслоняя глаза рукой, схватил тяжелую дубинку и одним ударом сбил ее с ног».

Сцена сильная даже по нынешним временам, а дальше Диккенс награждает убийцу муками, описанными бесподобно — не слабее, чем муки Свидригайлова в «Преступлении и наказании», а может, и «круче»:

«Он шел упрямо вперед. Но, оставив позади город и очутившись на безлюдной и темной дороге, он почувствовал, как подкрадываются к нему страх и ужас, проникая до сокровенных его глубин. Все, что находилось впереди — реальный предмет или тень, что-то неподвижное или движущееся, — превращалось в чудовищные образы, но эти страхи были ничто по сравнению с не покидавшим его чувством, будто за ним по пятам идет призрачная фигура, которую он видел этим утром. Он мог проследить ее тень во мраке, точно восстановить очертания и видеть, как непреклонно и торжественно шествует она. Он слышал шелест ее одежды в листве, и каждое дыхание ветра приносило ее последний тихий стон. Если он останавливался, останавливалась и она. Если он бежал, она следовала за ним — не бежала, что было бы для него облегчением, но двигалась как труп, наделенный какой-то механической жизнью и гонимый ровным,

унылым ветром, не усиливавшимся и не стихавшим. Иногда он поворачивался с отчаянным решением отогнать привидение, даже если бы один его взгляд принес смерть; но волосы поднимались у него дыбом и кровь стыла в жилах, потому что оно поворачивалось вместе с ним и оставалось у него за спиной. Утром он удерживал его перед собой, но теперь оно было за спиной — всегда. <...>

В поле, где он проходил, был сарай, который мог служить пристанищем на ночь. Перед дверью росли три высоких тополя, отчего внутри было очень темно, и ветер жалобно завывал в ветвях. Он не мог идти дальше, пока не рассветет, и здесь он улегся у самой стены, чтобы подвергнуться новой пытке. Ибо теперь видение предстало перед ним такое же неотвязное, но еще более страшное, чем то, от которого он спасся. Эти широко раскрытые глаза, такие тусклые и такие остекленевшие, что ему легче было бы их видеть, чем о них думать, появились во мраке; свет был в них, но они не освещали ничего. Только два глаза, но они были всюду. Если он смыкал веки, перед ним возникала комната со всеми хорошо знакомыми предметами — конечно, об иных он бы не вспомнил, если бы восстанавливал обстановку по памяти, — каждая вещь на своем привычном месте. И труп был на своем месте и глаза, какими он их видел, когда бесшумно уходил. Он вскочил и побежал в поле. Фигура была у него за спиной. Он вернулся в сарай и снова съежился там. Глаза появились раньше, чем он успел лечь».

Диккенс с его морализаторской мстительностью, может, и хотел позлорадствовать над Сайксом, но его же изобразительный дар его поборол: страдание показано «изнутри», и читатель отождествляет себя со страдающим, хотя тот и подонок. Удивительная психологическая деталь: лежа в сарае, Сайкс видит поблизости пожар и, так как ему необходимо чем-то себя занять и быть среди людей, бежит со всеми его тушить, работает как проклятый и тем отвлекается — но потом вновь наступают муки; он возвращается в Лондон и погибает, преследуемый толпой, нечаянно удушив себя веревкой, с помощью которой надеялся бежать. И снова гениальная деталь: «Собака, до той поры где-то прятаясь, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету и вдруг прыгнула на плечи мертвеца. Промახнувшись, она полетела в ров, перекувырнулась в воздухе и, ударившись о камень, размозжила себе голову».

Но есть еще один злодей, он тоже должен получить свои муки, и получает их, и мы ощущаем эти муки также «изнутри», как собственные:

«Он [Феджин] стоял в лучах света, одну руку опустив на деревянную перекладину перед собой, другую — поднеся к уху и вытягивая шею,

чтобы отчетливее слышать каждое слово, срывавшееся с уст председательствующего судьи, который обращался с речью к присяжным. Иногда он быстро переводил на них взгляд, стараясь подметить впечатление, произведенное каким-нибудь незначительным, почти невесомым доводом в его пользу, а когда обвинительные пункты излагались с ужасающей ясностью, посматривал на своего адвоката с немой мольбой, чтобы тот хоть теперь сказал что-нибудь в его защиту... Он пристально всматривался в их лица, когда один за другим они выходили, как будто надеялся узнать, к чему склоняется большинство; но это было тщетно. Тюремщик тронул его за плечо. Он машинально последовал за ним с помоста и сел на стул. Стул указал ему тюремщик, иначе он бы его не увидел. Снова он поднял глаза к галерее. Кое-кто из публики закусывал, а некоторые обмахивались носовыми платками, так как в переполненном зале было очень жарко. Какой-то молодой человек зарисовывал его лицо в маленькую записную книжку. Он задал себе вопрос, есть ли сходство, и, словно был праздным зрителем, смотрел на художника, когда тот сломал карандаш и очинил его перочинным ножом. Когда он перевел взгляд на судью, в голове у него закопошились мысли о покрое его одежды, о том, сколько она стоит и как он ее надевает. Одно из судейских кресел занимал старый толстый джентльмен, который с полчаса назад вышел и сейчас вернулся. Он задавал себе вопрос, уходил ли этот человек обедать, что было у него на обед и где он обедал, и предавался этим пустым размышлениям, пока какой-то другой человек не привлек его внимания и не вызвал новых размышлений. Однако в течение всего этого времени его мозг ни на секунду не мог избавиться от гнетущего, ошеломляющего сознания, что у ног его разверзлась могила; оно не покидало его, но это было смутное, неопределенное представление, и он не мог на нем сосредоточиться. Но даже сейчас, когда он дрожал и его бросало в жар при мысли о близкой смерти, он принялся считать железные прутья перед собой и размышлять о том, как могла отломиться верхушка одного из них и починят ли ее или оставят такой, какая есть. Потом он вспомнил обо всех ужасах виселицы и эшафота и вдруг отвлекся, следя за человеком, кропившим пол водой, чтобы охладить его...»

А для хороших людей все кончается хорошо, все, кому надо, женятся, у Оливера появляется опекун, и наступает желанная «обломовщина»:

«Я неохотно расстаюсь с некоторыми из тех, с кем так долго общался, и с радостью разделю бы их счастье, пытаюсь его описать. Я показал бы Роз Мэйли в полном расцвете и очаровании юной женственности, показал бы ее излучающей на свою тихую жизненную тропу мягкий и нежный свет,

который падал на всех, шедших вместе с нею, и проникал в их сердца. Я изобразил бы ее как воплощение жизни и радости в семейном кругу зимой, у очага, и в веселой компании летом; я последовал бы за нею по знойным полям в полдень и слушал бы ее тихий, милый голос во время вечерней прогулки при лунном свете; я наблюдал бы ее вне дома, всегда добрую и милосердную и с улыбкой неумоимо исполняющую свои обязанности у домашнего очага...»

Уилсон: «...они так бесцветны и пусты, все эти прелестные Роз Мэйли и добродушные старые весельчаки Браунлоу... Читатели хотят жалеть Оливера, значит, ему нельзя быть реальным существом, ведь реальный Оливер обратился бы в развращенного и огрубевшего Феджина, который должен быть нам отвратителен... А потому — и это неизбежно, — хотя Диккенс всем своим талантом оратора и рассказчика заставляет нас после того, как раскрылось убийство, присоединиться к погоне за Сайксом и Феджином, мы на протяжении почти всей второй половины романа душой на стороне шайки, сколь ни отталкивает нас жестокость, вероломство и безнравственность этих людей. Ибо только они здесь живые, только они, подобно автору, умеют смеяться, пусть даже дьявольским смехом».

Трудно точно определить, сколько людей в Англии XIX века умели читать, но в 1830-х годах их число явно увеличилось: школ, хотя и плохоньких, стало больше, технология книгопечатания изменилась, и книги сделались дешевле. Домохозяйки и мелкие клерки, а за ними и некоторые рабочие пополняли ряды читателей: Диккенс, хоть обращался и не к ним, пришелся им по сердцу. И публицисты заволновались: а ну как он подтолкнет всех этих людей к недовольству не только плохими школами и работными домами, а правительством и системой вообще? Критик Джон Маккарти писал, что Диккенс «сделал политический капитал на сантиментах» и «его несправедливость к институтам английского общества еще более вопиюща, чем его враждебность к определенным классам». Критик Ричард Форд: «Низшие классы и дети могут позволить себе купить истории Диккенса в больших количествах... Не может не беспокоить восприимчивость таких читателей к его эмоциональности... Они так наивны, что верят, будто в работном доме мог вырасти ребенок, подобный Оливеру...»

В октябре Диккенс договорился о новой постановке «Твиста» с театром «Адельфи», 16-го на улице увидел, как извозчик бьет лошадь, и на следующий день выступал свидетелем по этому делу в суде (о животных англичане заботились уже тогда), 20-го отослал иллюстратору Крукшенку

последние главы «Твиста». С согласия Бентли роман был выпущен в трех томах еще до того, как завершилась публикация в «Альманахе»; он был подписан уже не Бозом, а Чарлзом Диккенсом. 29-го с Хэблотом Брауном поехали путешествовать по Англии: Лимингтон, Кенилсворт, Стрэтфорд-на-Эйвоне, там у Диккенса возобновились почечные колики, и он, кажется впервые, прибегнул к белене. Жене, 1 ноября: «Моя драгоценная любовь... Результат получился восхитительный. Спал безмятежно, крепко и покойно. Сегодня утром чувствую себя значительно лучше. И голова ясная — на нее белена никак не повлияла. Я, по правде сказать, боялся: очень уж сильное действие она произвела на меня — подхлестнула мои силы чрезвычайно и в то же время усыпила... Благослови тебя Господь, любимая. Я уже жажду вернуться и быть с тобой снова и видеть нашу милую крошку. Твой преданный и как никогда любящий муж». И вправду, еще никогда после свадьбы он не посылал Кэтрин столько признаний в любви, как из этой поездки: все наладилось? или белена так подействовала?

Диккенсу стало лучше, поехали дальше в Шрусбери, Манчестер, Ливерпуль; в Манчестере он познакомился с либеральными бизнесменами братьями Грант, создавшими хорошие условия для своих служащих, и придумал, чем закончить «Никльби». Николаса принимают в фирму добрых богачей Чириблов, его сестра выходит за племянника Чириблов, сам он тоже женится на прекрасной девушке. (Вот только бедный Смайк умер.)

«Став богатым и преуспевающим торговцем, Николас первым делом купил старый отцовский дом. Время плавно текло, постепенно он оказался окружен детьми, дом был перестроен и расширен, но ни одна из старых комнат не была порушена, ни одно старое дерево не выкорчевано, ничто, сколько-нибудь напоминавшее о былых временах, не убиралось и не менялось... Рядом — камнем можно добросить — находился еще один приют радости, тоже оживляемый милыми и детскими голосами. Там жила Кэт... такое же честное, нежное создание, такая же любящая сестра, такая же всеми любимая, как и в дни ее девичества».

Честертон прав, Диккенс писал не романы, а сказки: «И стали жить-поживать, добра наживать...»

Оруэлл эту милую «обломовщину» назвал «елейно-кровосмесительной»: «Его [Диккенса] герои, добравшись до денег и „обустроившись“, перестают ездить верхом, охотиться, сражаться на дуэлях, путаться с актрисами или терять деньги на скачках. Они просто пребывают по домам на пуховой перине респектабельности, желательно — прямо по соседству с родственниками, ведущими точно такую же жизнь...

Страсть, превращающая людей разного темперамента в ученых, изобретателей, художников, землеоткрывателей и революционеров и выраженная в словах: „Вот для чего я пришел на этот свет. Все остальное неинтересно. Я сделаю это, даже если буду умирать с голоду“, — такая страсть совершенно отсутствует в книгах Диккенса. Сам он работал как каторжный и верил в свой труд, как немногие из писателей. Видимо, иного приложения сил, кроме писательства (и, пожалуй, актерства), которое бы отвечало его страсти, он вообразить не мог... Идеал, к которому надо стремиться, выглядит примерно так: сто тысяч фунтов, причудливый старинный дом, обильно увитый плющом, нежная женственная супруга, орда детишек и никакой работы... рождественские праздники с шарадами, но никогда никаких происшествий, кроме ежегодного рождения ребенка. Забавно: а ведь картина и в самом деле счастливая, не правда ли? Уже этого достаточно, чтобы понять: с тех пор как написана первая книга Диккенса, прошло больше ста лет. Никто из ныне живущих не в силах слить воедино такую бесцельность с такой кипенью жизни».

А как там злодей? Покаран, разумеется, но на сей раз посочувствовать его мукам, как мукам Сайкса и Феджина, не получается, потому что автор написал их слабо, небрежно, высокопарным языком:

«Он заскрежетал зубами, ударил кулаком в пустоту и, дико озираясь, сверкая глазами во тьме, громко воскликнул:

— Я растоптан и погиб! Правду сказал мне негодяй: спустилась ночь! Неужели нет средства лишить их нового торжества и презреть их милосердие и сострадание? Неужели нет дьявола, который помог бы мне?»

И в финале злой Ральф повесился. Хотя Диккенса называют христианским писателем, никаких раскаяний на смертном одре он не признает (во всяком случае, пока) и подходит опасно близко к недопустимому для любого писателя чувству — злорадству по поводу смерти (чего категорически не допускал такой вроде бы «не тонкий» писатель, как Дюма).

Уилсон: «„Никльби“, непомерно перегруженный сырым, необработанным материалом, так и остался громоздкой, бессвязной вещью, иначе говоря, блистательной неудачей, и это, конечно же, можно было предвидеть». Нет, нет, не с этой книги мы начнем открывать для себя Диккенса. Та книга впереди. Белинский тоже так думал: «Диккенс принадлежит к числу второстепенных писателей, а это значит, что он имеет значительное дарование. Толпа, как водится, видит в нем больше, нежели сколько должно в нем видеть, и романы его читает с большим удовольствием, чем романы Вальтера Скотта и Купера: это понятно, потому

что первые более по плечу ей, чем последние, до которых ей не дотянуться и на цыпочках...» (До Фенимора Купера! — М. Ч.) «Чудом» он назовет Диккенса только после «Домби и сына». Это будет и наша «книга номер один»? Может быть...

В ноябре Диккенс написал для Макриди пьесу «Фонарщик» (она не была поставлена), посетил сеанс гипноза доктора Джона Элайотсона, одного из основателей больницы Юниверсити-Колледж, был навек очарован, попросил доктора быть его домашним врачом и сам начал практиковаться в гипнозе — на жене. Познакомился с Эдвардом Бульвер-Литтоном: конкурентных отношений, как позже с Теккереем, между коллегами не возникло. Вообще Диккенсу в какой-то степени повезло: когда он начинал входить в славу, серьезных соперников у него почти не было. Не говоря о том, что в те времена писателей вообще было мало, он попал в «пересменку». Филдинга, Смоллетта, Ричардсона, Дефо уже не было. Теккерея, Треллопа, Джордж Элиот, Чарлз Рид, Джордж Мередит начали входить в силу позже. (Во Франции ему пришлось бы куда тяжелее — соперничать с Бальзаком, Стендалем, Мериме и Гюго!) Бульвер-Литтон (писавший в основном криминальные или исторические романы) был, пожалуй, единственным его литературным одногодком той же весовой категории, а двоим уж как-нибудь место найдется. Так что они подружились.

Диккенс стал знаменит, и на него набросились начинающие авторы; всю жизнь он терпеливо отвечал им, раздавая советы, из которых отлично видны его кредо и его слабости. Миссис Годфри, приславшей свои рассказы, 25 июля 1839 года: «Я решительнейшим образом возражаю против обращений к Всевышнему по самым незначительным поводам; многие превосходные люди считают такие призывы необходимыми в воспитании детей — у меня же они вызывают непреодолимое отвращение. На мой взгляд, чудовищно преподносить детям источник бесконечной доброты и милосердия в виде мстительного и грозного бога, готового обрушить на них страшную кару за малейшие проступки, по существу неизбежные в их возрасте, — а ведь это он сам в великой мудрости своей предназначал им быть детьми, прежде чем они сделаются мужчинами и женщинами! Я решительно возражаю против стремления внушать страх смерти детям, еще не достигшим сознательного возраста, и испытываю ужас перед суровыми догматами, которые им преподносят, — ведь у них хватит разума только на то, чтобы сообразить, что если бог в самом деле так неумолим, как его изображают, то и родители их и большая часть

родственников и знакомых обречены на вечную погибель; и если бы мне предложили выбирать из двух зол, я бы не задумываясь предпочел, чтобы мои дети ни разу не раскрывали Библию, ни разу не вступили бы в храм божий и усвоили бы основы веры, созерцая природу и всю доброту и милосердие великого творца ее, нежели чтобы они восприняли религию в столь суровом толковании».

Джону Оверсу, столяру, выпустившему при помощи Диккенса сборник стихов, 27 сентября 1839 года: «Отец — такой дурак, злодей — такой уж злодей, героиня так невероятно доверчива, а обман так бесхитростно прозрачен, что читатель никак не может сочувствовать Вашим персонажам в их беде... Девица и злодей; из них первая слишком добродетельна, а второй — обычный злодей, говорящий многоточиями и междометиями и постоянно сам себя перебивающий». Неужели он у себя этого не замечал? Тому же Оверсу: «Для того чтобы читатель заинтересовался Вашими героями, необходимо заставить его либо полюбить, либо возненавидеть их. У Вас же главное действующее лицо — совершенное ничтожество». Тот же упрек справедливо предъявляется ему самому: и Оливер и Николас — абсолютно «никакие». Знакомому, Фрэнку Стоуну, 1 июня 1857 года: «Ее (писательницы, приславшей текст в газету, которую Диккенс в ту пору редактировал. — М. Ч.) заметки губит избыток остроумия. Создается впечатление какого-то постоянного усилия, которое наносит удар в самое сердце повествования, утомляя читателя не тем, что сказано, а тем, как все это сказано. Этот недостаток — один из самых распространенных в мире». Да, и Диккенс сам им страдал...

Р. Хореллу, клерку-поэту: «Поэту не следует вечно толковать о своем недовольстве жизнью и внушать другим, что они должны быть недовольны ею. Предоставьте Байрону его мрачное величие, а сами стремитесь услышать: „В деревьях — речь, в ручье журчащем — книги, в камнях — науку, и во всем — добро“». Некоей мисс Кинг, 9 февраля 1855 года: «...на мой взгляд, мальчик (ребенок от второго брака) какой-то слишком „жаргонный“. Мне знаком мальчишеский жаргон, присущий мальчуганам такого типа и такого возраста; но если принять во внимание роль этого персонажа во всей истории, то, на мой взгляд, автору следовало возвысить и смягчить этот образ, более ярко выделив в нем пылкость и жизнерадостность юности, романтическую ее сторону». К некоей мисс Джолли, 11 июля того же года: «Вы, разумеется, пишете для того, чтобы Вашу книгу читали. Между тем излишне мрачная развязка оттолкнет от нее многих... Кроме того, чрезмерное нагромождение ужасов будет губительным и для замысла книги. Весь мой опыт и знания настойчиво

велят мне посоветовать Вам сохранить жизнь мужу и одному из детей. Таким образом, вместо того чтобы ожесточить читателя, Вы смягчите его, и из многих глаз польются слезы, исторгнуть которые возможно лишь нежным и бережным прикосновением к сердцу».

Он выбрал для себя «исторгнуть слезы», сознавал, что можно писать и иначе, никаких слез не исторгая, и будет тоже неплохо, но до конца принять этого не мог. Поэту Уолтеру Лэндеру, 5 июля 1856 года: «...каким замечательным доказательством силы чистой правды является тот факт, что одна из самых популярных книг на свете никого не заставила ни смеяться, ни плакать. Думаю, я не ошибусь, сказав, что в „Робинзоне Крузо“ нет ни одного места, которое вызывало бы смех или слезы. В частности, я считаю, что еще не было написано ничего бесчувственнее (в прямом смысле этого слова) сцены смерти Пятницы. Я часто перечитываю эту книгу, и чем больше я задумываюсь над упомянутым фактом, тем больше меня удивляет, что „Робинзон“ производит и на меня, и на всех такое сильное впечатление».

«Исторгнуть слезы» можно только нежным прикосновением, не грубо. У. Г. Уиллсу (своему заместителю в газете, которую Диккенс будет редактировать позднее) об одной из предложенных для публикации повестей, 22 июля 1855 года: «...боюсь, как бы эта повесть не причинила много горя, если мы предложим ее нашим многочисленным читателям. Я страшусь взять на себя ответственность и пробудить ужас и отчаяние, дремлющие, быть может, в стольких сердцах». И надо, чтобы пристойность была соблюдена. Уилки Коллинзу по поводу его романа, 24 января 1862 года: «Безнравственность всех остальных персонажей ничем не уравнивается, и риск возрастает прямо пропорционально ее искусному нагромождению». Ему же о романе Чарлза Рида, 20 февраля 1867 года: «...если бы в суде мне прочитали сцены, в которых описывается, как пьяный Гонт явился в постель к своей жене и как был зачат последний ребенок, и спросили, пропустил ли бы я, как редактор, эти сцены (независимо от того, были они написаны истцом или кем-либо другим), я был бы вынужден ответить: нет. Если бы меня спросили почему, я бы сказал: то, что кажется нравственным художнику, может внушить безнравственные мысли менее возвышенным умам... Если бы меня спросили, пропустил ли бы я отрывок, в котором Кэти и Мэри держат на коленях незаконного ребенка и рассматривают его тельце, я бы снова по той же причине вынужден был бы ответить: нет...»

Писатели XIX века не только отличались нечеловеческой

производительностью труда и еще каждый день писали десятки писем, вежливо отвечая любым встречным, они как-то успевали и развлекаться. Диккенс стал светским львом, завсегдаем самых блестящих лондонских салонов — у леди Холланд, у леди Блессингтон (свел там знакомство с Бенджамином Дизраэли, будущим главой правительства, с проповедником и политиком Сиднеем Смитом, с банкиром-поэтом Сэмюэлом Роджерсом); а в это время его отец продолжал делать долги и позорить сына по всему городу.

Надо было, наконец, браться за исторический роман, там по замыслу были персонажи — промышленные рабочие, Диккенс в начале января 1839 года с Эйнсвортом и Форстером поехал наблюдать их в Манчестер, но, видимо, не вдохновился и потребовал у Бентли очередной отсрочки. Форстеру он 21 января жаловался: «Огромная прибыль, которую „Оливер“ доставил и продолжает доставлять издателям; жалкая, нищенская сумма, которую я за него получил... мысль об этом и сознание, что мне предстоит такой же тяжелый рабский труд на тех же условиях поденщика; сознание, что мои книги обогащают всех, кто с ними связан, кроме меня самого, и что в самом зените своей славы и в расцвете сил я вынужден барахтаться все в тех же цепях и тратить свою энергию понапрасну для того, чтобы другие могли набить себе карманы... все это удручает меня и лишает бодрости; зажатый в подобные тиски, я не могу — не могу и не стану — начинать новую повесть; я должен перевести дух; дожждаться лета, провести какое-то время на свежем воздухе, без забот, и тогда, может быть, я приду в более спокойное и подходящее состояние. Словом, „Барнеби Раджу“ придется обождать с полгода. Если бы не Вы, я и вовсе бы его бросил».

Он подал в отставку с поста редактора «Альманаха Бентли», издатель мог подать в суд за нарушение условий контракта и наверняка бы выиграл, но это считалось неприличным, к тому же должность согласился занять Эйнсворт, и Бентли сдался. Зато не сдавался Джон Диккенс, который не только занимал у издателей от имени сына, но и торговал его автографами; терпеть это было далее невозможно. В первых числах марта Чарлз поехал в Альфертон близ Эксетера, снял там дом, сам меблировал его и перевез туда родителей. Он отсутствовал неделю и за это время послал жене пять писем, очень нежных: «Нелепо было бы даже пытаться выразить, насколько я по тебе скучаю... По утрам очень тоскую по детям, по их милым голоскам...» Кэтрин вновь была беременна. Зачем, если она так плохо переносила роды и не могла как следует ухаживать за детьми? Муж сознательно хотел много детей, не считаясь с ее нежеланием? Ведь не может быть, чтобы он, такой «ушлый», друживший с докторами, не знал, как... Да нет, знал, похоже:

Макриди он писал, что они к осени ждут «последнего, заключительного члена благородной семьи с тремя детками». Посмотрим, что там дальше будет...

13 марта он был избран в комитет Королевского литературного фонда, 20-го председательствовал на обеде в честь Макриди, заканчивал «Никльби», 30 апреля снял дом в Питершеме, пригороде Лондона, и перевез туда семью на все лето; поездки (без жены) в Лондон на спектакли Макриди, гости (Форстер, Берд, Маклиз), скачки, пешие прогулки, крикет, метание колец; физически чувствовал себя очень хорошо и изумлял друзей, поднимаясь в шесть утра, чтобы поплавать в Темзе перед завтраком. К июлю в голове у него созрел новый проект, который он хотел предложить Чепмену и Холлу.

Форстеру, 12 июля: «Я бы не прочь начать... периодическое издание, в котором весь материал печатался бы впервые и которое бы выходило раз в неделю, причем цена за выпуск была бы три пенса, а известное количество выпусков, собранное в книжку, продавалось бы отдельно в регулярные промежутки времени... Я думаю, что начать нужно, по примеру „Спектейтора“, с какой-нибудь шутливой истории, которая объяснила бы, каким образом возникло наше издание; ввести читателя в небольшой клуб или просто представить горсточку персонажей и затем развивать историю их жизни из выпуска в выпуск, постоянно вводя новые персонажи; воскресить мистера Пиквика и Сэма Уэллера, причем последний может с успехом время от времени делать какие-либо сообщения от своего имени; помещать забавные очерки на злобу дня... внести как можно большее разнообразие жанров — статьи, очерки, приключения, письма от вымышленных корреспондентов и так далее... еще я бы предложил начать... сатирическую серию под видом перевода летописи какого-нибудь варварского государства, с описанием судопроизводства в этой вымышленной стране и отчетом о деяниях ее мудрецов. Назначение этой серии... взять под обстрел наших судей, деревенских и городских, и не давать сим достойным мужам ни отдыха, ни сроку. Я взялся бы за это предприятие на следующих условиях: я буду издателем этого труда и буду получать долю прибыли. Сверх этого, за ту часть каждого выпуска, которую я напишу сам, я буду получать вознаграждение...»

Журналу он придумал название «Часы мистера Хамфри»: будто бы гости этого Хамфри, старого чудака, располагались вокруг старинных часов и, доставая из их футляра рукописи, читали друг другу истории. Но с Чепменом и Холлом пока замыслом не делился — возможно, не был уверен, что войдет в долю именно с ними.

В том же месяце он завел, быть может, самое важное после Форстера знакомство: его пригласила на обед в свой лондонский особняк Анджела Бердетт-Куттс, наследница громадного состояния (в ее банке у Диккенса был счет), самая богатая после королевы женщина Великобритании и известная филантропка: ровесница Диккенса, она была некрасива, болезненно застенчива, сурово религиозна, холодна, одинока, всю жизнь провела вдвоем со своей бывшей гувернанткой, властной Ханной Мередит; Диккенсу удастся растопить лед ее сердца, и они совершат вдвоем массу великих дел.

Из Питершема 3 сентября он увез семью на море — в городок Бродстерс в Кенте, там прожили месяц в обществе Форстера, 20 сентября был закончен «Никльби», выход последнего выпуска отмечали уже в Лондоне большим банкетом. Уильям Шоу — Сквирс — грозился подать в суд. Но книга подняла волну газетных расследований, приведших к тому, что школа Шоу закрылась навсегда. Более того, через несколько лет после выхода романа почти все школы для бедняков в Йоркшире (а они все были такие же, как у Шоу) были закрыты или реорганизованы. В этом смысле «Никльби» — самая великая книга Диккенса. Только представьте: Людмила Петрушевская, Дмитрий Быков или Захар Прилепин пишут роман о каком-то мерзком учреждении, и вся страна поднимается на дыбы, и учреждению каюк... Эх!

В октябре Диккенс с трудом, без души и кое-как написал две главы своего злосчастного исторического романа («Барнеби Радж»). 29-го родилась вторая дочь, Кэтрин (Кейти) Макриди, названная в честь крестного; крестный писал другу, что на празднике по случаю крещения отец ребенка и Форстер напились и насмерть разругались, а мать в слезах убежала из комнаты. Несмотря на этот эпизод и тяжелые двенадцатичасовые роды, на сей раз, возможно, депрессии у Кэтрин-старшей не было: «поправляться» ее никуда не повезли. Но обстановку все же сменили: Диккенс снял на 12 лет за 800 фунтов новое жилье на Девоншир-террас, 1, рядом с Риджентс-парком: красивый, просторный, изящный двухэтажный дом с витражами, французскими окнами, высоченными потолками, большим старым садом и конюшнями. Кэтрин, наверное, было бы приятно развлечь себя «витьем гнезда», но в этой паре гнездо всегда вил самец: выбирал шторы, зеркала, обои, заказывал мебель. На чердаках устроили детские, в подвале — кухню и комнаты для слуг (одних нянек было три), сделали необычную по тем временам вещь: теплый туалет в доме (плюс два на улице — для слуг, надо полагать).

Библиотека и кабинет главы семейства — на первом этаже, с выходом прямо в сад. Это был достойный дом большого писателя.

В декабре переезжали, писать некогда, Бентли тряс Диккенса, требуя исторический роман, но получал одни отговорки, зато с Чепменом и Холлом все идеально: заплатили сверх договора 1500 фунтов за «Никльби» и с радостью согласились издавать «Часы мистера Хамфри»: Диккенс получал долю в прибыли, оклад 50 фунтов в неделю за редактуру и гонорары за публикуемые тексты. Первый выпуск в апреле, отдыхать особо некогда, после Нового года он сразу начал готовить истории для «Часов». 14 января 1840 года работа была прервана: его вызвали в суд присяжным.

Элиза Берджесс, 25 лет, сирота, выросшая в работном доме, в кухне дома, где она служила, родила внебрачного ребенка и спрятала его, мертвого, в коробку; его нашли. Она уверяла, что ребенок родился мертвым. Ее обвиняли в детоубийстве — за это смертная казнь. Надо понимать, что в те времена почти не рассматривались материальные улики (способов таких не знали) и людей осуждали на основании слов — какая сторона сумела красноречием убедить присяжных, та и выигрывала. (Представьте, сколько невиновных сидело.) Большинство присяжных были за виновность. Диккенс и еще один присяжный, Уокли, Элизе поверили и сумели переубедить остальных. Когда огласили оправдательный приговор, она упала на колени, а потом лишилась чувств. Ее тем не менее оставили в тюрьме — за сокрытие рождения она должна была быть наказана, но незначительно. Диккенс, придя домой, распорядился отправить ей еду и теплые вещи. Он нашел ей знаменитого адвоката, Ричарда Доуна. 9 марта ее судили и признали виновной, но со смягчающими обстоятельствами, и выпустили из тюрьмы. В ночь после первого суда Диккенс писал Форстеру, что не мог ни есть, ни спать, у него болел желудок: «По этому случаю мы с Кэт тоскливо сидели и бодрствовали всю ночь напролет». 23 года спустя он не забыл Элизу Берджесс, записав: «Ее дальнейшее поведение доказало, что мы поступили правильно».

Глава пятая

СТРАШНЫЕ КУКЛЫ

В феврале с женой, Форстером и Брауном ездили в Бат, в конце марта — в Бирмингем и Стратфорд, а 1 апреля вышли «Часы мистера Хамфри» — разошлось 70 тысяч экземпляров. Но уже второй выпуск купило чуть не вдвое меньше народу, и продажи продолжали падать. Ни Пиквик, ни Сэм Уэллер, как ни странно, читателей не интересовали. Рассказы им вообще не нравились. Они хотели роман. Придется писать его. Задуманная сперва как рассказ, рассчитанный на шесть-семь выпусков, «Лавка древностей», в отличие от ненавистного исторического романа, полетела у автора как на крыльях. (Трижды Диккенс прерывал ее, вводя вставные эпизоды с Пиквиком и Уэллерами, но потом понял, что это не нужно.)

Если «Оливер Твист» — первый роман с «портретами», то «Лавка древностей» — первый роман с «атмосферой», пронизывающей текст от начала до конца (а также первый, в котором Диккенс немножко попробовал, и очень удачно, писать от первого лица): «...рыцарские доспехи, маячившие в темноте, словно одетые в латы привидения; причудливые резные изделия, попавшие сюда из монастырей; ржавое оружие всех видов; уродцы — фарфоровые, деревянные, слоновой кости, чугунного литья; гобелены и мебель таких странных узоров и линий, какие можно придумать только во сне. Бледный, как тень, старик удивительно подходил ко всей этой обстановке. Может быть, он сам и рыскал по старым дворам, склепам, опустевшим домам и собственными руками собирал все эти редкости. Здесь не было ни единой вещи, которая не казалась бы под стать ему, ни единой вещи, которая была бы более древней и ветхой, чем он». Так пойдет и дальше: чудища, уродцы, паутина, старость, смерть...

Старик, больной игроманией, как сказали бы сейчас, живет с двенадцатилетней внучкой, кротким, преданным существом, которая ухаживает за ним как взрослая: оба они похожи на игрушки из своей лавки, но еще больше на них похож злодей — «пожилой человек на редкость свирепого и отталкивающего вида и к тому же ростом настоящий карлик, хотя голова и лицо этого карлика своими размерами были под стать только великану. Его хитрые черные глаза так и бегали по сторонам, у рта и на подбородке топорщилась жесткая щетина, а кожа была грязная, нездорового оттенка. Но что особенно неприятно поражало в его

физиономии — это отвратительная улыбка. По-видимому, заученная и не имеющая ничего общего с веселостью и благодушием, она выставляла напоказ его редкие желтые зубы и придавала ему сходство с запыхавшейся собакой». Это чудище, Квилп (делец, не ясно, какими делами занимающийся, — как Ральф Никльби), глотает кипящий ром, пожирает яйца вместе со скорлупой, спит на столе; его абсолютно нормальная жена его любит, как Нэнси Сайкса, но тут и любовь не настоящая, а «чудищная», вроде гипноза.

«Оставшись наедине с женой, которая сидела в углу, дрожа всем телом и не поднимая глаз от пола, карлик стал в нескольких шагах от нее, сложил руки на груди и молча уставился ей в лицо.

— Сладость души моей! — воскликнул он наконец и громко причмокнул, точно эти слова относились не к жене, а к какому-то лакомству. — Прелестное создание! Очаровательница!

Миссис Квилп всхлипнула, зная по опыту, что комплименты ее милейшего супруга не менее страшны, чем самые яростные угрозы.

— Она... она такое сокровище! — с дьявольской ухмылкой продолжал карлик. — Она бриллиант, рубин, жемчужина! Она золоченый ларчик, усыпанный драгоценными камнями! Как я люблю ее!.. Я вам нравлюсь? Ах, если бы мне еще бакенбарды! Был бы я первым красавцем в мире? Впрочем, я хорош и без них! Покоритель женских сердец, да и только! Правда, миссис Квилп?

Миссис Квилп с должным смирением ответила: „Да, Квилп“. Словно околдованная, она не сводила испуганного взгляда с карлика, а он корчил ей такие гримасы, какие могут присниться лишь в страшном сне. Эта комедия, затянувшаяся довольно надолго, проходила в полном молчании, и его нарушали только сдавленные крики несчастной женщины, когда карлик неожиданным прыжком заставлял ее в ужасе откидываться на спинку стула».

Чудовище имеет виды на девочку — во всяком случае, так поймет любой современный читатель:

«Нелл посмотрела на старика, он отпустил ее кивком головы и поцеловал в щеку.

— Ах! — сказал карлик, причмокнув губами. — Какой сладкий поцелуй! И в самый румянец! Ах, какой поцелуй!.. Какой она у вас бутончик! И какая свеженькая! А уж скромница-то! — говорил он, играя глазами и покачивая своей короткой ногой. — Ну что за бутончик, симпомпончик, голубые глазки!.. Она у вас такая маленькая, — не спеша говорил он, притворяясь, будто ни о чем другом и думать не может. —

Такая стройненькая, личико беленькое, а голубые жилки так и просвечивают сквозь кожу, ножки крохотные...»

Но маловероятно, что Диккенс вкладывал в эту сцену такой смысл: он же всегда говорил, что ничего непристойного в его книгах быть не может — его чудище просто так играет.

Квилп ссужал старика деньгами, не понимая, что тот их проигрывает, когда понял — обозлился, старик с внучкой убежали от него, попали в бродячий цирк, где обитают столь же причудливые и совсем не добрые уродцы, но Квилп за ними не погнался: Диккенс не любил прямых дорог, ему словно физически необходимо было замедлить действие и отвлечь читателя от главной интриги (или же он совершенно сознательно растягивал тексты, как Дюма) — он начал изводить влюбленного в Нелли юношу Кита, разумеется беспричинно, просто потому что злодей: «Берегись и ты, славный Кит, честный Кит, добропорядочный, ни в чем не повинный Кит!»

Кит и его мать — бедняки, хорошие, добрые; Диккенс наплевал на обвинения в «игре на чувствах» и не побоялся подняться (с литературной точки зрения — опуститься) до прямой публицистики:

«О! Когда бы люди, управляющие судьбами народов, помнили это! Когда бы они призадумались над тем, как трудно бедняку, живущему в той грязи и тесноте, в которой, казалось бы, теряется (а вернее, никогда и не возникает) благопристойность человеческих отношений, как трудно ему сохранить любовь к родному очагу — эту первооснову всех добродетелей! Когда бы они отвернулись от широких проспектов и пышных дворцов и попытались хоть сколько-нибудь улучшить убогие лачуги в тех закоулках, где бродит одна Нищета, тогда многие низенькие кровли оказались бы ближе к небесам, чем величественные храмы, что горделиво вздымаются из тьмы порока, преступлений и страшных недугов, словно бросая вызов этой нищете. Вот истина, которую изо дня в день, из года в год твердят нам глухими голосами — Работный дом, Больница, Тюрьма. Это все очень серьезно — это не вопли рабочих толп, не парламентский запрос о здоровье и благоустроенности народа, и от этого не отделаешься ни к чему не обязывающей болтовней».

Этой отвлекающей линии Диккенсу мало — он пишет еще одну, совсем уже «параллельную»: у негодяя-адвоката и его сестры-стряпчего живет служаночка Маркиза. Юристы у Диккенса вообще чудища, а женщина-юрист — чудище вдвойне, садистка, причем садизм он изображает профессионально, как болезнь, над которой ее носитель не властен:

«Девочка забила в угол, а мисс Брасс вынула из кармана ключ и, отперев шкаф, достала оттуда тарелку с несколькими унылыми холодными картофелинами, не более съедобными на вид, чем руины каменного капища друидов. Тарелку эту она поставила на стол, приказала маленькой служанке сесть и, взяв большой нож, нарочито размашистыми движениями стала точить его о вилку.

— Вот видишь? — сказала мисс Брасс, отрезав после всех этих приготовлений кусочек баранины примерно в два квадратных дюйма и подцепив его на кончик вилки.

Маленькая служанка жадно, во все глаза уставилась на этот кусочек, словно стараясь разглядеть в нем каждое волоконец, и ответила „да“.

— Так не смей же говорить, будто тебя не кормят здесь мясом, — крикнула мисс Салли. — На, ешь.

Съесть это было недолго.

— Ну! Хочешь еще? — спросила мисс Салли.

Голодная девочка чуть слышно пискнула „не хочу“. Обе они, вероятно, выполняли привычную процедуру.

— Тебе дали мяса, — резюмировала мисс Брасс, — ты наелась вволю, тебе предложили еще, но ты ответила „не хочу“. Так не смей же говорить, будто тебя держат здесь впроголодь. Слышишь?

С этими словами мисс Салли убрала мясо в шкаф, заперла его на замок и, уставившись на маленькую служанку, не спускала с нее глаз до тех пор, пока та не доела картофель.

Судя по всему, нежное сердце мисс Брасс распирала жгучая ненависть, ибо что иное могло заставить ее без всякой на то причины ударять девочку ножом то по рукам, то по затылку, то по спине, точно, стоя рядом с ней, она прямо-таки не могла удержаться от колотушек. Но мистер Свивеллер изумился еще больше, увидев, как мисс Салли... медленно попятилась к двери, видимо насильно заставляя себя уйти из кухни, потом вдруг стремительно ринулась вперед и с кулаками набросилась на маленькую служанку».

Если Нелл, как подобает идеальной героине, «никакая», то Маркиза очень даже живой подросток, хотя и забитое существо, но бойкое:

«Однажды вечером мистер Свивеллер пригляделся попристальнее и в самом деле увидел чей-то глаз, поблескивавший и мерцавший в замочной скважине; убедившись в правильности своих догадок, он тихонько подкрался к двери и сцапал девочку, прежде чем она успела заметить его приближение.

— Ой! Я ничего дурного не делаю, честное слово не делаю! —

закричала маленькая служанка, отбиваясь от него с такой силой, какая была бы впору служанке более рослой. — Мне одной скучно на кухне. Только не жалуйтесь на меня хозяйке! Я вас очень прошу!

— Не жаловаться? — сказал Дик. — Ты что же, развлекаешься таким образом, ищешь общества?

— Да, да! — ответила она.

— И давно ты эдак свой глаз проветриваешь?

— С тех пор как вы стали играть в карты, и еще раньше.

Смутные воспоминания о довольно-таки фантастических пантомимах, которые освежали его в перерывах между трудами и, следовательно, проходили на виду у маленькой служанки, несколько опечалили мистера Свивеллера, но ненадолго, потому что он не принимал таких вещей близко к сердцу.

— Ну, что ж, входи, — сказал Ричард после минутного раздумья. — Садись... буду учить тебя играть в криббедж.

— Ой, что вы, разве можно! — вскричала маленькая служанка. — Мисс Салли меня убьет, если узнает, что я была наверху.

— А очаг на кухне горит? — спросил Дик.

— Самую чуточку, — ответила она.

— Меня мисс Салли не убьет, если узнает, что я был внизу, следовательно, пошли туда, — сказал Ричард, засовывая колоду в карман. — Эх! Какая ты худенькая! Это что же значит?

— Я не виновата.

— Говядину с хлебом есть будешь? — осведомился Дик, берясь за шляпу. — Да? Так я и думал. А пиво когда-нибудь пробовала?

— Разок хлебнула, — ответила маленькая служанка.

— Что тут делается! — завопил мистер Свивеллер, возводя очи к потолку. — Она не ведает вкуса пива! Разве его распробуешь с одного глотка! Да сколько тебе лет?

— Я не знаю».

Дик Свивеллер — милый беспринципный бездельник, что служит у злых адвокатов, — подружился с Маркизой и стал человеком. Дело пошло, «Часы мистера Хамфри» стали лучше продаваться, но о свободном времени пришлось забыть: выпуски-то были не ежемесячные, как раньше, а еженедельные. (Газеты «обо всем», как задумывал Диккенс, вообще не получилось: тут дай бог с одним материалом поспеть.) Уолтеру Лэндеру, поэту, с которым Диккенс только что познакомился, 26 июля 1840 года: «День и ночь в моей голове звучит сигнал тревоги, предупреждающий, что я должен гнать, гнать, гнать... Я хуже связан этим Хамфри, чем когда-либо,

— Никльби, Пиквик, Оливер были ничто в сравнении с этим...»

Желудок барахлил, в боку опять начались колики; доктора посоветовали сесть на диету и сменить обстановку, и в июне Диккенс с семьей уехал в Бродстерс: прошлый раз там очень понравилось. Но было не до отдыха. Форстеру, 17 июня: «Сейчас четыре часа дня, а я сижу за работой с полдевятого. Я совершенно иссушил себя, дошел до такого состояния, что впору хоть броситься со скалы вниз головой, но, прежде чем позволить себе эту роскошь, нужно заработать побольше...»

10 июня восемнадцатилетний Эдвард Оксфорд стрелял в королеву, Диккенс писал Форстеру: «Жаль, что они не могли задушить этого парня... и не говорить больше об этом». В конце месяца с Форстером и Маклизом позволил себе развеяться — поездки в Чатем, Рочестер и Кобэм; в июле вернулся в Лондон, посещал салоны и званые обеды, пытался отделаться от Бентли с его проклятым историческим романом и преуспел: Чепмен и Холл выплатили Бентли две тысячи фунтов за права на «Барнеби Раджа» и заодно на «Оливера Твиста» и согласились ждать «Раджа» сколь угодно долго. 6 июля Диккенс ходил смотреть на публичную казнь Курвуазье, швейцарца-камердинера, осужденного за убийство хозяина.

Казни были невероятно популярным развлечением. Мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные — все обожали смотреть, как люди умирают. Диккенс сомневался в виновности Курвуазье и писал в газеты, что адвокат был плох, тем не менее, чтобы лучше видеть, снял комнату окнами на эшафот — и он туда же, куда все? Дюма, описавший десятки казней, на самом деле не смог присутствовать ни на одной. А Диккенсу, не отличавшемуся большой литературной кровожадностью, зачем смотреть на это, тем более если казнимый мог быть невиновен? Особо крепкими нервами он не отличался... Все-таки ради литературы — вдруг когда-нибудь да напишу? Возможно, но скорее его как журналиста, пишущего на общественно-политические темы, волновала не казнь как таковая, а реакция зрителей, по которой он хотел понять: хорошо ли убивать людей публично? (Считалось ведь, что хорошо.)

Собралось 40 тысяч зрителей, среди которых был и Теккерей, потом писавший о «необыкновенном чувстве ужаса и стыда»; Диккенс тоже испытал шок — не столько от казни, сколько от поведения толпы: «Там не было ничего, кроме сквернословия, разврата, пьянства и пятидесяти других форм порока, мне казалось невозможным, чтобы где-то было столь омерзительное сборище существ одного со мной вида».

На другой день он праздновал освобождение от Бентли на обеде у

Холла и так напился — то ли с радости, то ли в ужасе от пережитого, — что жена поутру отхаживала его. (Выпить он вообще любил, хотя злоупотреблял нечасто.) В конце июля с Кэтрин навестил своих родителей. Жена опять была беременна. Как так — ведь до этого он был уверен, что они обойдутся тремя детьми? Просто «так случилось» — или мы недооцениваем его религиозность, не позволявшую вообще никаких уклонений от продолжения рода? В августе он опять посещал сеансы Элайотсона, там Чонси Таунсенд, поэт, священник и гипнотизер, хотел его загипнотизировать, но Диккенс отказался от опыта. Пассивная роль в гипнозе ему была неприятна, однако жену и служанок он, по его словам, гипнотизировал — и получалось. (Подтверждений этому нет.) На одном из обедов вдрызг разругался с Форстером. Из дневника Макриди: «Говорили о Форстере, и Диккенс сказал то же самое, что когда-то Эдвард [Бульвер-Литтон]: Форстер на людях ведет разговор высокомерным тоном, чтобы создалось впечатление, что он покровитель, *padrone*». Но помирились, конечно.

В сентябре Диккенсы опять поехали в Бродстерс, и об этом периоде оставила воспоминания^[15] Элинор Пикен — девятнадцатилетняя девушка, удочеренная семьей Чарлза Смитсона, одного из адвокатов Диккенса. Как она рассказывает, их семьи сблизилась, по вечерам играли в шарады, танцевали, днем гуляли на побережье; «я ужасно боялась его, потому что его критика была забавна, но беспощадна...». Он ей запомнился человеком с дикими перепадами настроения — то приветливый, то тоскующий и капризный; он явно ухаживал за ней, но в такой форме, что ее это пугало: хватал и тащил в воду... Она, несмотря на страх, решалась ему противоречить (защищала Байрона, которого он ругал) — это ему, видимо, не понравилось: когда она потом пришла навестить его в Лондоне, он отказался ее видеть. Может, слишком нравилась — потому отказался? А может, он просто играл в Квилпа, когда «ухаживал»?

После долгого забвения Диккенс наконец вернулся к Нелл с дедом: девочка устроилась работать в музей восковых фигур (опять призраки, уродцы, тлен...), и все было хорошо, пока старик снова не начал играть.

«Призрак скользил по коридору к той самой комнате, куда стремилась и она. Дверь этой комнаты была так близко! Девочка только хотела метнуться туда и захлопнуть ее за собой, как вдруг он снова остановился.

Страшная мысль пронеслась у нее в голове: а что, если этот человек войдет в ту комнату, что, если он собирается убить ее деда. Еще минута, и она бы лишилась чувств. Так и есть — он вошел. Там горит свет. Вон он стоит у порога, а она смотрит на него и, близкая к обмороку, не может

выговорить ни слова — ни единого слова.

Дверь была полуотворена. Сама не сознавая, что делает, и помня только одно: надо спасти деда или погибнуть самой, она шагнула вперед и заглянула в комнату. Какое же зрелище предстало ее глазам!

Она увидела пустую, несмятую постель. Кроме старика, в комнате никого не было. А он сидел у стола и, жадно поводя глазами, неестественно ярко горевшими на мертвенно-бледном, осунувшемся лице, считал деньги, только что украденные у нее.

Страх, терзавший ее каких-нибудь несколько минут назад, был несравним с тем, что она испытывала теперь. Ни грабители, ни вероломный трактирщик, который смотрит сквозь пальцы на то, что его постояльцев грабят и даже могут убить во сне, ни даже самый безжалостный душегуб разбойник — никто не пробудил бы в груди девочки того ужаса, в какой повергло ее только что сделанное открытие. Седовласый старик, словно призрак, скользнул к ней в комнату, украл у нее деньги, думая, что она крепко спит, и с омерзительной алчностью любовался своей добычей, — это было хуже, неизмеримо хуже и неизмеримо страшнее всего, что могло измыслить ее воображение. А вдруг он вернется — ведь дверь не запирается ни на ключ, ни на задвижку? Вдруг захочет проверить, все ли деньги взяты? Страшно подумать, что этот призрак неслышным шагом снова войдет в комнату, обратит взгляд к ее пустой кровати, а она притаится у него в ногах, чтобы он не коснулся ее руками. Она прислушалась. Вот!.. Шаги на лестнице, дверь медленно отворяется. Все это только чудилось ей, но действительность была не менее страшна — нет! еще страшнее, ибо настоящий призрак появился бы и исчез, а воображаемый мог мучить без конца.

Ее угнетало какое-то смутное, безотчетное чувство. До сих пор она не боялась деда, зная, что любовь к ней и породила в нем душевный недуг. Но старик, которого она увидела сегодня, старик, забывший все на свете ради карт, как вор пробравшийся в ее комнату и считавший деньги при тусклом свете огарка, казался совсем другим человеком, каким-то чудовищным двойником ее деда, двойником, который вызывал к себе чувство отвращения и страха, потому что он напоминал того, настоящего, и, так же как тот, был неразлучен с ней».

Чтобы старик не ограбил еще и хозяйку музея, Нелл его увела скитаться дальше, они чуть не умерли от голода, но попали к доброму деревенскому учителю. Но и там любимым местом Нелл стало кладбище; современный читатель давным-давно бы догадался, что она не жилец (Диккенс — Томасу Летимеру, 13 марта 1841 года: «...ни один из моих

романов так отчетливо не представлялся мне весь — по композиции и общему замыслу, — как этот, с самого начала... я хотел, чтобы на книге с первых страниц лежала тень преждевременной смерти»), но тогдашним это и в голову не приходило.

В ноябре Диккенс страдал от лицевой невралгии так, что кричал от боли, и убивал свою героиню. Форстеру: «Всю ночь меня преследовал несчастный ребенок, а сегодня я разбит и несчастен и не знаю, что делать с собой...» Джорджу Каттермолу, иллюстрировавшему «Лавку древностей»: «Эта история разбивает мне сердце, и я не могу закончить ее...» Он был из тех писателей, что обожают делиться замыслами со знакомыми, и 24 ноября докладывал Чепмену и Холлу: «Я завален мольбами пощадить бедную Нелл...» Форстеру, 7 января 1841 года: «Нет на земле существа более несчастного, чем я. Я до такой степени угнетен и подавлен, что даже передвигаюсь с трудом... Много времени потребуется, чтобы прийти в себя. Никому так не будет не доставать ее, как мне. Все это так больно, что я не могу по-настоящему выразить свою скорбь... Стоит подумать об этой печальной истории, и сразу кажется, что только вчера умерла моя дорогая Мэри...» 14 января, Каттермолу: «Пока что я еле жив от работы и от скорби по моей утраченной малютке...»

Уайльд сказал, что смерть Нелл написана так, что можно со смеху умереть, но над этой смертью плакали взрослые мужчины по обе стороны Атлантики. Заплачем ли мы сейчас? Диккенс нашел великолепный прием: он показал смерть не впрямую, а глазами Кита, который находит беглецов и видит только старика.

«— Где она? — не унимался Кит. — Хозяин, добрый мой хозяин, ответьте мне!

— Она спит... спит, вон там.

— Благодарение богу!

— Да! Благодарение богу! — повторил старик. — Ему ли не знать, как я молился долгими, бесконечно долгими ночами, пока она спала. Тсс!.. Зовет?

— Я не слышу.

— Неправда, неправда! Вот опять... И теперь не слышишь?

Он встал со стула и насторожился.

— Не слышишь? — Торжествующая улыбка скользнула у него по губам. — А я... я-то знаю этот голос! Тише! Тише!

Предостерегающе подняв руку, он тихонько прошел в соседнюю комнату, побыл там несколько минут, приговаривая что-то тихим, ласковым голосом, и вернулся назад с лампой.

— Верно! Спит! А мне почудилось, будто зовет... но, может, это она во сне? Знаете, сударь, сколько раз, бывало, сидишь около ее кровати и видишь — шевелит губами. Слов не слышно, но я и так знаю — она говорит обо мне. Я побоялся, как бы свет не разбудил ее, и принес лампу сюда.

Старик пробормотал все это, обращаясь больше к самому себе, поставил лампу на стол, тут же взял ее и поднес к самому лицу Кита, точно вспомнив о чем-то или повинувшись внезапно вспыхнувшему чувству любопытства. Потом, видимо забыв о своих намерениях, отвернулся и снова поставил лампу на прежнее место.

— Она спит крепко, — продолжал он. — И не удивительно! Ангелы устлали всю землю снегом, чтобы самые легкие шаги стали еще легче. Птицы и те улетели, чтобы не потревожить ее сна. А знаете, сударь, ведь она кормила их! Других они боялись, и ни стужа, ни голод не могли побороть этот страх... других боялись, а ее никогда!

Он снова умолк и, затаив дыхание, слушал долго, долго. Потом открыл старинный сундучок, вынул оттуда детские платья и стал расправлять, разглаживать их с такой нежностью, точно это были живые существа.

— Что же ты так заспалась, Нелл? — приговаривал он».

Уилсон: «Ясно, что в те времена, когда смерть ребенка (и притом не на улице, от несчастного случая, а дома) была обыденным явлением, история Нелл задевала в сердцах читателей те струны, которые у нас молчат».

Но мы не так уж бесчувственны к горю и, ограничи Диккенс приведенной выше сценой, — возможно, тоже заплакали бы. Но он не может не спрямить, не усилить эффект — и нам, избалованным сложной литературой XX века, кажется, что он исторгает из нас слезу чересчур настойчиво:

«Она умерла. Кроткая, терпеливая, полная благородства, Нелл умерла. Птичка — жалкое, крохотное существо, которое можно было бы раздавить одним пальцем, — весело прыгала в клетке, а мужественное сердце ее маленькой хозяйки навсегда перестало биться... Ее страдания тоже умерли, а из них родилось счастье, озаряющее сейчас эти прекрасные, безмятежно спокойные черты. И все же здесь лежала она — прежняя Нелл. Да! Родной очаг улыбался когда-то этому милому, нежному лицу; оно появлялось, словно сновидение, в мрачных пристанищах горя и нищеты, и летним вечером у дома бедного учителя, и у постели умирающего мальчика, и сырой, холодной ночью у огнедышащего горна. Вот как смерть открывает нашим глазам ангельское величие усопших!»

(Кстати, сам Уайльд, насмехавшийся над «Крошкой Доррит», не менее

сентиментален в «Кентервильском привидении», где девочка оплакивает и тем освобождает призрака: «Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

— Смотрите! — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. — Смотрите! Сухое миндальное дерево расцвело. Светит луна, и мне хорошо видны цветы.

— Бог простил его! — сказала Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом».)

Умирает и обезумевший от горя старик, и его умирание, написанное без пафоса, действует на нас сильнее:

«Мальчик, которого он беспрекословно слушался вначале, теперь потерял над ним всякую власть. Иной раз старик позволял своему прежнему спутнику сопровождать себя и даже давал ему руку, целовал его, гладил по голове. Но это случалось редко, большей же частью он, хоть и ласково, просил мальчика уйти, не перенося его присутствия. И один ли, со своим ли покорным маленьким другом, или в обществе тех, кто ничего бы не пожалел, пошел бы на любую жертву, лишь бы успокоить его, — он оставался ко всему равнодушным, ко всему безучастным, убитым горем стариком».

Какой беспросветный, совсем не «диккенсовский» конец! Но, возможно, тут мы сильно недопонимаем викторианцев. Из процитированного выше письма Диккенса Летимеру: «Умиротворенность, пронизывающая всю эту вещь, есть результат сознательно поставленной цели...» Не безысходность, а умиротворенность должны были ощутить тогдашние читатели, из которых редко кто не пережил смерти своего ребенка: «Когда смерть поражает юные, невинные существа и освобожденные души покидают земную оболочку, множество подвигов любви и милосердия возникает из мертвого праха». Во всяком случае, Диккенс надеялся, что они испытают умиротворенность. Но почему же читатели, глупые, не приняли замысел автора, почему так упрашивали, не обращая внимания на логику текста, чтобы девочка осталась жива? Не хотели такой умиротворенности, не хотели никаких катарсисов, а хотели обычный «хеппи-энд» и в этом не особо отличались от нас...

Диккенс не обошелся совсем без «хеппи-энда»: Свивеллер, как Пигмалион, слепил из служаночки настоящую маркизу и женился на ней, Кит тоже женился; автор наказал злых адвокатов и, разумеется, главного

злодея:

«Вода шумела, заливала ему уши, и все же он услышал стук в ворота, услышал громкий окрик, узнал, чей это голос. Он бил руками и ногами, но это не помешало ему сообразить, что те люди тоже плутают в темноте и теперь снова вернулись к воротам, что он тонет чуть ли не у них на виду, что они совсем близко, а спасти его не смогут, так как он сам преградил им путь сюда. Он ответил на окрик, ответил отчаянным воплем, и бесчисленные огни, от которых у него зарябило в глазах, заплясали, словно на них налетел ветер. Но все было тщетно. Набежавшая волна обрушилась на него и стремительно повлекла за собой.

Судорожным рывком всего тела он снова вынырнул из воды и, поведя по сторонам дико сверкающими глазами, увидел какую-то черную громадину, мимо которой его несло. Корпус судна! И так близко, что этой гладкой, скользкой поверхности можно коснуться пальцами! Теперь только крикнуть... Но он не успел издать ни звука, волна залила его с головой...»

Здесь тончайшая линия, отделяющая от злорадства, не нарушена, потому что Диккенс впервые заглянул в Квилпа «изнутри» — «так близко, что этой гладкой, скользкой поверхности можно коснуться пальцами! Теперь только крикнуть...» — и страшная игрушка в предсмертный миг обратилась в человека.

17 января 1841 года Диккенс закончил «Лавку древностей», страдая простудой и лицевой невралгией; к началу февраля почувствовал себя лучше и 6-го давал праздничный обед в «Атенеуме». В этот день из печати вышел последний выпуск романа. Американские читатели еще несколько дней штурмовали пирсы нью-йоркской гавани, допытываясь у прибывших из Англии, жива ли Нелл. Такой ажиотаж, как замечают современные критики, повторился лишь с последним томом «Гарри Поттера». 23 февраля Диккенс получил из Америки письмо: коллега, Вашингтон Ирвинг, хвалил «Лавку древностей» и приглашал приехать. Дома критики роман поругивали — нет, не за неправдоподобную и изначально безжизненную девочку, а опять за то, что автор «играет на чувствах», когда пишет о бедняках, опасно подталкивая народ к взрыву.

«А какая страшная была здесь ночь! Ночь, когда дым превращался в пламя, когда каждая труба полыхала огнем, а проемы дверей, зияющие весь день чернотой, озарялись багровым светом, и в их пышущей жаром пасти металась призраки, сиплыми голосами перекликавшиеся друг с другом. Ночь, когда темнота удесятяряла грохот машин, когда люди около них казались еще страшнее, еще одержимее; когда толпы безработных

маршировали по дорогам или при свете факелов теснились вокруг своих главарей, а те вели суровый рассказ о всех несправедливостях, причиненных трудовому народу, и исторгали из уст своих слушателей яростные крики и угрозы; когда доведенные до отчаяния люди, вооружившись палашами и горящими головешками и не вникая слезам и мольбам женщин, старавшихся удержать их, шли на месть и разрушение, неся гибель прежде всего самим себе...»

Критик Стивенс: «Такие романы влияют на политические убеждения молодых, невежественных и неопытных... Они порождают поспешные обобщения и ложные выводы».

Наконец-то Диккенс взялся за исторический роман «Барнеби Радж», но опять не шло. Форстеру, 29 января: «...сидел и думал весь день; ни единой строчки...» Томасу Миттону, 30 января: «Крайне сложно думать о Барнеби после „Лавки“...» И все же как-то думал. У него жил в ту пору ручной говорящий ворон — а что, если... Каттермолу, 28 января: «Я хочу знать, чувствуете ли Вы воронов вообще и понравится ли Вам, в частности, ворон Барнеби? Так как Барнеби — идиот, я задумал выпускать его только в обществе ворона, который неизмеримо мудрее его. С этой целью я изучал свою птицу и думаю, что мне удастся из нее сделать весьма любопытный персонаж».

1 февраля у Диккенсов родился четвертый ребенок, мальчик Уолтер Сэведж Лэндор (в честь знакомого поэта; отец любил называть детей в честь своих знакомых). Диккенсу было не до радости: он отчаянно пытался устроить куда-нибудь на службу брата Альфреда, тот хотел в министерство финансов, но там заправляли сплошные тори, а он мог поступиться принципами: «Мне совершенно невозможно просить тори о чем бы то ни было. Они-то, наверное, обрадовались бы, если бы я к ним обратился; но мне слишком дороги честь, принципы и правда, чтобы я стал просить о каком-то содействии тех людей, политику которых я презираю и ненавижу. Это связало бы мне руки, заткнуло бы рот, лишило бы мое перо честности, и я чувствовал бы себя опутанным самыми недостойными путами». Джон Диккенс опять наделал долгов, и пришлось размещать в газетах объявление о том, что сын не отвечает за выписанные на его имя векселя...

Англия как раз недавно захватила Новую Зеландию, была еще Австралия, многие британцы в поисках лучшей жизни эмигрировали, Диккенс уговаривал отца уехать, в обмен предлагая выплачивать матери дополнительную пенсию и содержать брата Огастеса, но тот отказался. 13 февраля в «Часах мистера Хамфри» появился первый выпуск «Барнеби

Раджа» — не нравилось даже Форстеру, а рецензент Смит написал, что «гений за три года выдохся». А между тем роман, на наш взгляд, интереснее «Лавки древностей», хотя и написан похуже — нет «атмосферы», которая придает текстам и цельность, и волшебное обаяние.

В XVI веке король Генрих VIII учредил независимую от Рима англиканскую церковь, его дочь Елизавета I лишила католиков многих гражданских и политических прав. Но в 1778 году Британии не хватало войск для войны с США — католиков освободили от религиозной клятвы при вступлении в армию и дали еще некоторые послабления. Президент Ассоциации протестантов, психически нездоровый романтик лорд Джордж Гордон требовал отменить новый закон: он уверял, что солдаты-католики перейдут на сторону врага и вообще им только дай волю — восстановят абсолютную монархию и инквизицию. Король Георг III к нему не прислушался, и Гордон — его популярность современные историки объясняют враждебностью безработных к ирландским иммигрантам, отнимающим рабочие места, — поднял в Лондоне мятеж, который был жестоко подавлен. История была тесно связана с современностью: в 1829 году католики получили право занимать государственные должности и быть избранными в парламент, многих это раздражало. Правда, с тех пор как Диккенс задумал роман, прошло пять лет и все уже давно успокоилось. Но не менять же теперь тему.

В «Барнеби Радже», как считается, Диккенс подражал уже не Филдингу и Смоллетту с их «романами-странствиями», а Вальтеру Скотту: сперва «панорама» Англии, затем переход к основному действию. Но он был не Скоттом, а собой, и написал массу сюжетных линий в своем собственном духе — не будем пересказывать, почитайте: загадочная детективная история с убийством, деспотичные отцы, не позволяющие детям жениться, уйма всевозможных персонажей (такого их количества на печатный лист Скотт не допускал); все это имеет к основному сюжету очень опосредованное отношение и легко может быть выброшенным (или составить отдельный роман). Главные тут все-таки мятежники — если у читателя достанет терпения до них добраться.

Восстаний, революций, мятежей и даже забастовок Диккенс (дома, только у себя дома) категорически не одобрял и описывал их как сплошной ад:

«У многих в руках были факелы, и при свете их хорошо видны были лица бежавших впереди вожаков. Легко было угадать, что эти люди только что громили католический храм; об этом свидетельствовали трофеи, награбленная добыча, которую они несли: облачения священников и

дорогая церковная утварь. Впереди, как бешеные, неслись Барнеби, Хью и Деннис. Вид их был ужасен — с головы до ног они были в саже, в грязи, в известке и пыли, одежда превратилась в лохмотья, волосы были всклокочены, руки и лица исцарапаны ржавыми гвоздями, покрыты кровоточащими ранами. За ними, теснясь и толкаясь, валила густая толпа. Горланили песни, оглашали воздух торжествующими криками, перебранивались и на бегу грозили зрителям... Все это — ряды сатанински свирепых лиц, освещенных кое-где дымным огнем факелов, безумные глаза, качавшийся в воздухе лес палок и железных прутьев, ошеломляющий кошмар, открывавший взору так много и вместе так мало, казавшийся таким длительным, но промелькнувший в один миг, множество фантастических видений, которые врезались в память на всю жизнь, и вместе с тем множество подробностей, которые невозможно было охватить за один этот страшный миг, — все пронеслось мимо и скрылось».

Однако к разным мятежникам у него отношение было разное. Гордона окружают жестокие и циничные люди, но сам он — безусловно искренний и благородный безумец. «...А того, что их... — начал лорд Джордж еще нервнее. — ...Но нет, ведь не может быть, чтобы они пострадали за то, что пошли за нами? Правда на нашей стороне, если бы даже сила оказалась против нас. Скажите, положив руку на сердце, вы так же в этом уверены, как я?..» Грубый конюх Хью тоже честен и отчасти симпатичен, его естественно приводит к бунту судьба: он незаконный сын жестокого помещика и девушки, которую повесили, когда она смошенничала, чтобы прокормить сына. Другое дело — подмастерье Тэппертит, вождь тайного общества Рыцарей-подмастерьев, пошлый дурак и демагог.

При всей симпатии к рабочим Диккенс рабочих вожаков любого рода — профсоюзных ли, чартистских ли — почему-то не терпел и над Тэппертитом поиздевался вволю. В данном случае он, впрочем, соблюдал историческую правду: мятеж Гордона был реакционным, и Тэппертит олицетворяет приверженность не новым, а старым порядкам: «Мистер Тэппертит объяснил ему, что... подмастерьям в былые времена жилось привольно: им очень часто предоставлялись свободные дни, они разбивали головы десяткам людей, не повиновались хозяевам и даже совершили несколько знаменитых убийств на улицах. Но постепенно все эти привилегии у них отняли, и теперь они ограничены в своих благородных стремлениях. Столь позорное и унижительное ограничение их прав, несомненно, — следствие новых веяний, и вот они объединились для борьбы против всяких новшеств и перемен, за восстановление добрых старых обычаев и будут бороться, чтобы победить или умереть».

«Старых добрых обычаев» Диккенс вообще не переносил и, опять-таки соблюдая справедливость, написал в пару к Тэппертиту антибунтовщика — судью, обижающему добрых бедняков, — который тоже тянется к старине: «Его называли и „славным провинциалом старого закала“, и „образцом джентльмена“, а иные твердили, что он — „истый британец“, „подлинный Джон Буль“. И все единодушно сходились на том, что, к сожалению, таких людей теперь мало и потому страна быстро идет к разорению и гибели. Он был горячим приверженцем церкви и государства и в свой приход допускал только таких священников, которые могли выпить три бутылки, не поморщившись, и отличались в охоте на лисиц».

Четвертым персонажем-мятяжником стал классический диккенсовский, сам с собою разговаривающий, злодей: палач-садист Деннис. «Так что понимаете, мистер Гашфорд, — тут палач свирепо потряс своей палкой, — на мое протестантское ремесло посягать нельзя, нельзя менять наши протестантские порядки, и я на все пойду, чтобы этого не допустить. Пусть паписты и не пробуют сунуться ко мне — разве что закон отдаст их мне в обработку. Рубить головы, жечь, поджаривать — всего этого быть не должно. Только вешать — и делу конец. Милорд недаром говорит, что я — парень усердный: чтобы отстоять великие протестантские законы, которые дают мне работы вволю, я готов, — он стукнул палкой о пол, — драться, жечь, убивать, делать все, что прикажете... Долой папистов! Клянусь дьяволом, я истинно верующий!»

Пятый — слабоумный юноша Барнеби, в отличие от слабоумного Смайка из романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби», почему-то изъяснявшегося как лорд, живой и невыразимо прелестный, во всяком случае с точки зрения его матери: «Ведь для Барнеби жизнь была полна радостей, каждое дерево, каждая травка, цветок, каждая птица, животное, крохотное насекомое, сброшенное на землю дуновением летнего ветерка, приводили его в восторг, — а его радости были ее радостями. Сколько разумных сыновей приносят только горе своим матерям, а этот бедный, беспечно-веселый дурачок наполнял ее сердце лишь благодарностью и любовью». И ворону Диккенса нашлось место:

«— Престранная пара, не правда ли, сэр? — сказал слесарь, качая головой и поглядывая то на ворона, то на его хозяина. — Право, эта птица умна за двоих.

— Да, любопытный у Барнеби товарищ, — согласился Эдвард и протянул указательный палец ворону, а тот, в благодарность за внимание, немедленно ткнул его железным клювом. — Как вы думаете, он уже очень стар?

— Что вы, сэр, он еще только птенец, — возразил слесарь. — Ему лет сто двадцать, не больше. Эй, Барнеби, дружок, позови его, пусть уберется с кресла.

— Позвать его? — повторил Барнеби. Сидя на полу, он откинул волосы со лба и посмотрел на Вардена блуждающим взглядом. — Разве его заставишь подойти, если он не хочет? Это он зовет меня и заставляет идти с ним, куда ему вздумается. Он идет вперед, а я за ним. Он — господин, я — его слуга. Ведь верно, Грип?

Ворон каркнул отрывисто и как-то благодушно, доверительно, словно говоря: „Не надо посвящать этих людей в наши тайны. Мы с тобой понимаем друг друга, и этого довольно“».

Как же бедняжка Барнеби попадет к мятежникам? Публика рисковала этого не узнать: начало романа читателям резко не понравилось, и продажи «Часов мистера Хамфри» упали. Автор в конце февраля свозил жену «проветриться» в Брайтон (видимо, у нее опять была послеродовая депрессия), в конце марта с ней, Форстером и Маклизом совершил путешествие по знакомому маршруту Ричмонд — Бирмингем — Стратфорд — Личфилд, 10 апреля на обеде познакомился с историком Томасом Карлейлем (перед ним слишком благоговел — дружбы тут не вышло). Жаловался Форстеру, что «Барнеби» не идет, просил его быть редактором: «Не стесняйтесь вычеркивать все, что покажется Вам преувеличенным. Мне трудно судить, где я пересолил, а где нет». В мае он посетил спиритический сеанс бельгийца Алексиса Дидье, охарактеризовал его как «восхитительный», но всерьез спиритизмом, в отличие от гипноза, не увлекся.

Адвокат Томас Тальфур, его друг, предложил ему баллотироваться в парламент от либералов в округе Рединг (Тальфур сам был избран от этого округа). Расходы кандидат нес сам, вдобавок по раскладам консерваторы должны были победить (так и случилось), так что Диккенс не захотел и пытаться, опубликовав официальный отказ: «Я не в состоянии убедить себя в том, что, вступив в парламент при подобных обстоятельствах, смогу действовать с той благородной независимостью, без которой я не мог бы сохранить и самоуважение, и уважение моих избирателей».

19 июня он с женой, лакеем Томом (вот уже у него есть и лакей...) и адвокатом Ангусом Флетчером поехал в Шотландию по приглашению муниципалитета Эдинбурга, там обеда с лордами, издателями, историками, филантропами, опять получил предложение выдвинуться в парламент и тоже отклонил. Пытался работать. Форстеру, 28 июня: «Вчера вечером был непередаваемо несчастен: мысли расплывались и никак не желали принять

четкие очертания... не написал ни строчки, ни одного „t“ не перечеркнул, ни точки над „i“ не поставил...» 4 июля начали тур по горам Шотландии, там Диккенс почувствовал себя плохо, от ужина в его честь в Глазго отказался и 18 июля вернулся в Лондон.

Писалось по-прежнему плохо. Форстеру: «Моя работа держит меня как воск, как клей, как цемент». Спорил с ним о Гордоне. 4 июня: «Что бы Вы ни говорили... он, должно быть, в глубине души был добрый человек и по-своему любил отверженных и презренных... Он всегда выступал на стороне народа и в той мере, в какой ему позволял туман, царивший в его голове, пытался разоблачать коррупцию и цинизм, процветающие в обеих партиях. От своего безумия он не получал никаких выгод, да он их и не искал. Современники, даже в самых свирепых нападках на него, признают за ним эти достоинства: и моя совесть не позволила бы не воздать ему должного, тем более что нельзя забывать, в какое гнусное (политически) время он жил». 13 августа: «Каким я, однако, становлюсь радикалом!»

Остаток лета и сентябрь провели в Бродстерсе, Диккенс мучился от желудочных болей и приступов раздражения, но уже начал планировать поездку в Штаты в 1842 году. Он убедил Чепмена и Холла платить ему по 150 фунтов в месяц в течение года, а потом он вернется и привезет им книгу об Америке. Кроткие, они соглашались на все. Впрочем, они знали, что не прогадают. Жанр путевых заметок был востребован. Телевизоров-то не было, так что единственный способ узнать, где как люди живут, как одеваются, ходят и говорят, и какие там города и природа, и как печки в домах устроены, — это прочесть детальный отчет путешественника.

Книги об Америке пользовались в Англии особой популярностью, желательно только, чтобы Америку как следует отругали. Сестра отвоевала себе независимость, то есть нахально вырвалась из-под нашей ласковой опеки — как приятно читать, что она несчастна! Отношения были натянутыми и из-за недавних событий: Штаты помогали канадским мятежникам, Британия отлавливала американские корабли, подозреваемые в перевозке рабов (в Англии и на подконтрольных ей территориях рабство было отменено в 1838 году). Все это ничуть не мешало американцам обожать Диккенса, напротив, они считали: раз критикует британские порядки — значит наш. «Нью-Йорк геральд» писала: «Умом он американец — душой республиканец — сердцем демократ». Обожание, в свою очередь, не мешало его грабить: в Штатах не соблюдалось авторское право даже по отношению к своим, не говоря уж об англичанах. Отчасти из-за этого Диккенс и хотел ехать: поднять вопрос об авторском праве в конгрессе.

Кэтрин, на удивление давно уже не беременевшая (возможно, между

супругами было заключено какое-то временное соглашение на эту тему), сперва отказалась ехать и бросить детей (не такая уж плохая мать, значит), тащить их с собой было невозможно. Макриди решил проблему: рядом с его домом снимут дом для детей, няnek и слуг, с ними поселятся брат Диккенса Фред и сестра Кэтрин Джорджина. Заказали каюты для троих: четы Диккенс и горничной, лакея не взяли, чтобы сэкономить и, возможно, чтобы не произвести дурного впечатления на американцев. В конце сентября Диккенс на несколько дней съездил с Форстером в Рочестер и Кобэм, в октябре занемог и ему сделали крайне болезненную операцию по удалению анального свища — без анестезии, как делалось тогда подавляющее большинство хирургических операций. А 24 октября внезапно умер двадцатилетний брат Кэтрин — вероятно, у него, как и у Мэри, был порок сердца. Его похоронили рядом с Мэри. Все кончено, желанное место занято другим.

Форстеру, 25 октября: «Мне очень трудно отказаться от могилы Мэри, труднее, чем я способен выразить. Я думал даже перенести ее в катакомбы и никому не сказать... Я так же страстно мечтаю быть похороненным рядом с ней, как и пять лет назад, и я уверен (потому что никто еще никого не любил, как я ее), что всегда буду желать этого так же сильно. Но боюсь, я ничего не могу поделать... Они потревожат ее в среду, если я не откажусь от своих слов. Я не могу примириться с мыслью, что мой прах не смешается с ее, и все же я понимаю, что ее братья и сестры и ее мать имеют большее право лежать рядом с ней. Это всего только моя мечта. Я ведь не думаю и не надеюсь, упаси боже, что наши души станут там едины. Я должен это превозмочь, но это необыкновенно трудно».

Среди забот и хлопот «Барнеби» шел к завершению — по сравнению с большинством книг Диккенса это довольно «худенький» роман. Итак, Барнеби с матерью вынуждены странствовать, они попали в Лондон, когда там все уже готовилось к восстанию, и беднягу в это дело очень даже легко втянули: Диккенс вновь показал себя убедительным психологом; оцените же его тонкое понимание мышления наивных людей и заодно всю блистательную иронию этой сцены, где маленький безумный Барнеби сходитя с великим безумцем Гордоном:

«— Эй, молодой человек! — окликнул Барнеби тот же голос.

— Кто меня зовет? — спросил Барнеби, подняв глаза.

— Есть у вас такое украшение? — Незнакомец протянул ему синюю кокарду.

— Ради бога, не надо, умоляю вас, не давайте ему этого! —

воскликнула вдова.

— Не отвечайте за него, женщина! — сухо сказал человек в карете. — Пусть юноша решает сам, он достаточно взрослый, и нечего ему цепляться за ваш фартук. Он и без вас знает, хочет он носить кокарду честного англичанина или нет.

Барнеби, дрожа от нетерпения, чуть не в десятый раз закричал: „Да, да, хочу!“ Незнакомец бросил ему кокарду, крикнул: „Бегите на Сент-Джордж-Филдс!“ — и, велев кучеру ехать поскорее, укатил.

В то время как Барнеби дрожащими от волнения руками прикреплял на шляпу новое украшение и, стараясь получше его приладить, торопливо отвечал что-то на мольбы плачущей матери, по другой стороне улицы проходили двое мужчин. Заметив мать и сына и видя, чем занят Барнеби, они остановились, пошептались и, перейдя улицу, подошли к миссис Радж.

— Чего вы тут сидите? — сказал один из них, мужчина с длинными прямыми волосами, в простой черной одежде и с массивной тростью в руке. — Почему не пошли со всеми?

— Сейчас иду, сэр, — ответил Барнеби. Он уже прикрепил кокарду и с гордостью надел шляпу. — Мигом добегу туда.

— Надо говорить не „сэр“, а „милорд“, когда имеешь честь беседовать с его светлостью, — поправил его второй джентльмен. — Если вы, молодой человек, с первого взгляда не узнали лорда Джорджа Гордона, так пора хоть сейчас узнать его.

— Ну, ну, Гашфорд, — промолвил лорд Джордж в то время, как Барнеби, сорвав с головы шляпу, отвешивал ему низкий поклон. — Стоит ли говорить о таких пустяках сегодня, в великий день, который все англичане будут вспоминать с восторгом и гордостью. Надень шляпу, друг, и ступай следом за нами, потому что ты опаздываешь. Уже одиннадцатый час. Разве тебе неизвестно, что сбор назначен к десяти?

Барнеби отрицательно замотал головой, переводя блуждающий взгляд с одного на другого.

— А следовало бы знать это, — заметил Гашфорд. — Ведь было ясно сказано, что в десять. Как же это вы не знаете?

— Он ничего не знает, сэр, — вмешалась миссис Радж, — бесполезно и спрашивать его. Мы только сегодня утром приехали сюда издалека.

— Наше дело пустило, видно, глубокие корни и распространилось широко, — сказал лорд Джордж своему секретарю. — Возблагодарим бога за эту радостную весть!

— Аминь, — подхватил Гашфорд с торжественной серьезностью.

— Вы не так меня поняли, милорд, — сказала вдова. — Простите, но

вы жестоко ошибаетесь. Мы ничего не знаем обо всех здешних делах. И не желаем и не имеем права участвовать в том, что вы затеяли. Мой бедный сын — слабоумный. Он мне дороже жизни. Ради всего святого, милорд, идите своей дорогой без него, не вовлекайте его в опасное дело.

— Милая моя, как вы можете говорить подобные вещи! — возмутился Гашфорд. — О какой опасности вы толкуете? Что же, по-вашему, милорд — лев рыкающий, который бродит вокруг, ища кого бы растерзать? О господи!

— Нет, нет, милорд, простите, — взмолилась вдова, прижав обе руки к груди и от волнения едва сознавая, что делает и говорит. — Но я недаром умоляю вас внять моей горячей материнской просьбе и не уводить от меня сына. О, не делайте этого! Он не в своем уме, да, да, милорд, верьте мне!

— Вот какова испорченность нашего века! — сказал лорд Джордж, отпрянув от протянутых к нему рук и густо краснея. — Тех, кто стремится к правде и стоит за святое дело, уже объявляют сумасшедшими. И у вас хватает духу говорить так о родном сыне! Какая же вы после этого мать?

— Вы меня поражаете, — подхватил Гашфорд с кроткой укоризной. — Какой печальный пример развращенности!

— Он вовсе не похож на... — начал лорд Джордж, взглянув на Барнеби, и закончил шепотом на ухо секретарю: — ...на помешанного. Как по-вашему? И если даже это правда, не следует каждую пустячную странность объявлять безумием. Если бы это стало правилом, кто из нас... — тут лорд снова покраснел, — ...мог бы избежать такого клейма?

— Никто, — согласился секретарь. — Чем больше рвения, способностей и верности делу проявлял бы человек, чем громче звучал бы в нем глас божий, тем больше все были бы уверены в его безумии. А что касается этого юноши, милорд, — добавил Гашфорд и, кривя губы, бросил взгляд на Барнеби, который стоял перед ними, вертя шляпу в руках и украдкой, знаками приглашал их идти поскорее, — так у него, по-моему, здравого смысла и силы воли не меньше, чем у всех, кого я знаю.

— Значит, ты хочешь стать членом нашего великого Союза? — обратился лорд Джордж к Барнеби. — И уже собирался это сделать?

— Да, да, — подтвердил Барнеби, и глаза его ярко заблестели. — Конечно, хочу! Я только что говорил ей это.

— Ага, я так и думал, — отозвался лорд Джордж, неодобрительно посмотрев на несчастную мать. — Тогда иди с нами, и твое желание исполнится.

Барнеби с нежностью поцеловал мать в щеку и, наказав ей быть веселой, так как теперь их ждет счастливая жизнь, пошел за лордом и его

секретарем».

Бунт, безумие, пожары; Барнеби, Хью и Деннис приговорены к смерти. Вот и не пропала даром «экскурсия» Диккенса на казнь Курвуазье: «... жужжание голосов стало внятнее, открывались одна за другой ставни, поднимались шторы, и люди, ночевавшие в домах против тюрьмы, — где места у верхних окон были заранее распроданы по высокой цене желающим видеть казнь, — поспешно вставали с постели... Иные зрители уже уселись на свои места и коротали время за картами, выпивкой или веселой беседой. Те, кто купил места на крышах, забирались туда с парапетов и через чердачные окна. Другие еще только приценивались к хорошим местам и, поглядывая на все разраставшуюся внизу толпу и на рабочих, отдохавших под виселицей, стояли в нерешимости, с притворным равнодушием слушая хозяина, который расхваливал удобное расположение своего дома, откуда все будет отлично видно, и уверял, что назначенная им плата за места у окон баснословно дешева...

Пробило пять часов... шесть... семь... пробило восемь. По двум главным улицам, сходящимся на перекрестке, уже стремился людской поток... Телеги, кареты, фургоны, тележки, тачки прокладывали себе дорогу сквозь толпу, двигаясь все в одном направлении... В толпе высоко поднимали детей, чтобы они могли лучше увидеть эту страшную игрушку и знали, как вешают людей. <...>

Барнеби хотел было одновременно с Хью подняться на эшафот, он даже сделал попытку пройти первым, но его остановили: казнь его должна была состояться не здесь. Через несколько минут вернулись шерифы, и та же процессия двинулась по коридорам и переходам тюрьмы к другим воротам, где уже ждала телега. Опустив голову, чтобы не видеть того, что, как он знал, ему пришлось бы увидеть, Барнеби сел в телегу, печальный, но вместе с тем полный какой-то ребячьей гордости и даже нетерпения».

Что дальше случилось с бедным Барнеби, его ручным вороном (ворон Диккенса, увы, умер, пока писалась книга) и другими персонажами, кто был таинственный убийца, о котором мы не обмолвились ни словом, тогда как персонажи ищут его на протяжении всего романа, и кого и почему он убил, мы говорить не будем: прочтете сами. Книгу разругали в пух и прах: попытка подражать Скотту не удалась, у того были историческая атмосфера, масса перелопаченных источников, точные факты, описание костюмов, короли, государственные интриги, а тут человек явно никого, кроме Карлейля, и то с пятого на десятое, прочесть не удосужился, вдобавок нет хорошей любовной интриги — не таким должен быть исторический роман. Сейчас совсем не важно, соответствует ли «Барнеби»

канонам Скотта, и, на наш взгляд, человек, «взявшийся» за Диккенса, прочесть этот прелестный, хотя и жестокий, как любая историческая книга, роман просто обязан. Но не первым, нет.

Диккенс поставил последнюю точку в романе 5 ноября (15 декабря вышло книжное издание одновременно с «Лавкой древностей»), неделю отдохнул в Виндзоре с Кэтрин, застраховал свою жизнь аж в трех фирмах, предоставил полисы Чепмену и Холлу в обмен на 800 фунтов в чеках, всем сказал, чтобы не звали на обеды — надо с детьми побыть перед разлукой, только 27 декабря сходил в театр посмотреть на Макриди; отпраздновали Рождество и двинулись в Ливерпуль, где их ждала «Британия», первый трансатлантический пароход.

Глава шестая

СПЛОШНЫЕ ЦИТАТЫ

«Британия» отплыла 4 января 1842 года, пункт назначения — Галифакс, затем путешественникам предстояло проехать по США и Канаде более двух тысяч миль — железной дорогой, парходиками, дилижансами и как придется. Путевые заметки начались еще в океане — ведь большинство читателей никогда ни на каких парходах не плавали и не представляли, что такое, к примеру, качка: «Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин; все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара угольных барж. Внезапно они у меня на глазах подскакивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипает к потолку. В то же время дверь совсем исчезает и в полу открывается другая. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами. Еще не успели вы сколько-нибудь приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить „слава богу“, как оно снова накреняется. Не успели вы крикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это — живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется по собственной прихоти, непрестанно спотыкаясь, по всевозможным колдобинам и ухабам»^[16].

Выдержав все эти ужасы, прибыли в Галифакс 19 января, оттуда 22-го в Бостон — центр культуры; там и там встречали толпы. Публику британский гость удивил: одет в необъятной величины енотовую шубу, под ней — какие-то немислимые пестрые жилеты, цепочки, цацки, бороды нет и вообще вид не писательский. Первую экскурсию по Бостону провел для гостей Чарлз Самнер, молодой политик-радикал, потом на обеде Диккенс познакомился с литературными величинами (все это происходило задолго до Марка Твена) — Ричардом Даной, Генри Лонгфелло, Уильямом Брайантом; нашли ему и постоянного гида-секретаря — Джона Патнема. Жили в отеле. Твену, который позже посетит Европу, покажется, что там невероятно грязно; Диккенсу казалось, что грязно в Америке. Зима была слишком холодная, комнаты — чересчур жарко натопленные (в Англии вообще нет привычки топить там, где спят). И, что самое ужасное, все кругом жевали табак и плевались, словно верблюды, подчас попадая

брезгливому гостю на рукав. Но все это мелочи, и поначалу его впечатления были самыми благоприятными — английских читателей ожидало разочарование, тем более что он сравнивал «нас» и «их» не в «нашу» пользу.

«Во всех общественных учреждениях Америки царит величайшая учтивость. Сдвиг в этом направлении наблюдается и в иных наших департаментах, однако многим нашим учреждениям — и прежде всего таможне — не мешало бы взять пример с Соединенных Штатов и не относиться к иностранцам с такой оскорбительной неприязнью. Угодничество и алчность французских чиновников вызывают только презрение, но хмурая, грубая нелюбезность наших служащих не только омерзительна для тех, кто попадает к ним в лапы, — она позорит нацию, которая держит таких злобных псов у своих ворот. Ступив на американскую землю, я был просто поражен разительным контрастом, какой являла собой местная таможня в сравнении с нашей, — вниманием, любезностью и добродушием, с какими ее служащие выполняли свои обязанности». «Каковы бы ни были отрицательные стороны американских университетов, в них не насаждают предрассудков; не возвращают фанатиков и ханжей; не ворошат давно потухший пепел суеверий; не мешают человеку в его тяге к совершенствованию; никого не исключают за религиозные убеждения, а главное — на протяжении всего периода обучения не забывают, что за стенами колледжа лежит мир, и притом довольно широкий».

Писатели-путешественники XIX века, с нашей точки зрения, являлись существами странными: если у них были чувства и совесть, они первым делом отправлялись осматривать не магазины, музеи и книжные выставки, а тюрьмы да богадельни. Диккенс начал с интерната для слепых детей и провел там не один день: осмотрел всех малышей, допросил всех учителей, пришел в восторг, позавидовал белой завистью, выбрал главную героиню, девочку Лору, и узнал о ней абсолютно все.

«Как и у остальных воспитанников этого заведения, на глазах у девочки была повязка из зеленой ленты. Возле нее на полу лежала кукла, которую девочка сама одевала. И на фарфоровых глазах куклы я увидел, когда поднял ее, такую же зеленую повязку, как у девочки. В предыдущих отчетах мы уже отмечали, что Лора чувствует разницу в умственном развитии окружающих, и если заметит, что поступившая в Институт новенькая недостаточно сообразительна, через несколько дней начинает относиться к ней чуть ли не с презрением. Эта неприятная черта стала

особенно заметна в ее характере за последний год. Она выбирает себе подружек и товарок из числа наиболее умных детей, с которыми ей интереснее разговаривать, и явно не любит проводить время с теми, кто не отличается умом, — если только они не могут быть ей чем-то полезны, ибо она склонна использовать людей в своих целях. Она распоряжается ими как хочет и заставляет служить ей, то есть делать то, чего, как ей известно, она не может потребовать от других, — словом, ее англосаксонская кровь дает о себе знать. Она радуется, когда педагоги или те, к кому она питает уважение, замечают и ласкают других детей, но не слишком, — иначе она ревнует... В ней настолько развито подражательство, что оно толкает ее порой на действия, совершенно ей непонятные и нужные лишь постольку, поскольку они удовлетворяют какой-то ее внутренней потребности. Так, не раз замечали, что она может просидеть целых полчаса, держа перед незрячими глазами книгу и шевеля губами, как по ее наблюдениям это делают зрячие люди, когда читают...» При всех Лориных недостатках Диккенс был ею совершенно очарован. То есть он прекрасно понимал, какими бывают живые дети. И почему бы не сделать героиней романа такую живую, «характерную» девочку? А то все ангелочки да ангелочки...

Зависть вызвала и государственная психиатрическая больница: «Дело в ней поставлено преотлично, в соответствии с гуманными принципами умиротворения и доброты, — теми самыми принципами, которые каких-нибудь двадцать лет тому назад считались хуже ереси... Ясно, что система эта имеет одно большое преимущество: она зарождает и развивает в людях, даже больных столь тяжким недугом, чувство приличия и собственного достоинства».

Работный дом: «В той его части, которая отведена для старых или утративших трудоспособность бедняков, на стенах красуются слова: „Не забудь: самообладание, мир и покой — дары господни“. Никто здесь не считает непреложной истиной, что раз человек попал сюда, значит он — дурной и испорченный, а потому надо, чтобы его злобный взгляд постоянно видел перед собой угрозы и строжайшие предписания». Еще несколько приютов для беспризорных — и все-то лучше, чем у нас, и всюду чистота и забота о человеческом достоинстве, в тюрьмах тоже... Пришел в уголовный суд — и тут «они» «нас» кругом обошли: «Все залы суда построены с таким расчетом, чтобы граждане могли возможно удобнее в них разместиться. Это по всей Америке так. Во всех общественных учреждениях безоговорочно признается право любого жителя посещать проводимые там заседания и участвовать в них. Здесь вы не увидите угрюмых привратников, от которых можно добиться запоздалой

услужливости лишь с помощью шести пенсов; не встретите, как я искренне убежден, и чиновничьей наглости. Национальное достояние не выставляется здесь напоказ за деньги, а среди должностных лиц не найдешь ни одного балаганщика».

В общем, Бостон — почти рай, лишь одно «но» — религия. «Новая Англия, оказавшаяся сплошной церковной епархией, является (исключая, конечно, унитарную церковь) сущим рассадником гонений против всех невинных и разумных развлечений. Церковь, молитвенный дом и лекционный зал — вот и все дозволенные места увеселений, и дамы толпами стекаются в церкви, молитвенные дома и лекционные залы. Всюду, где к религии прибегают как к крепкому напитку и спасению от унылого однообразия домашней жизни, самыми любимыми оказываются те проповедники, которые умеют приправить перцем слово божие. Те, кто всех усерднее усыпает булыжником путь к вечному блаженству и всех безжалостнее топчет цветы и листья, растущие по обочине, будут признаны самыми праведными; а те, кто усиленно напирает на то, как трудно попасть в рай, по мнению истинно верующих, уж конечно попадут туда, хотя трудно сказать, с помощью какой логики можно прийти к такому выводу».

Диккенс дома был прихожанином англиканской церкви, но тут побывал в унитарной, которой руководил преподобный Уильям Ченнинг. Унитарянство — это движение в протестантизме, оспаривающее один из важнейших христианских догматов — положение о Божественной Троице и не признающее божественную сущность Христа^[17]. В нем нет какого-либо зафиксированного вероучения и допускается большая свобода мнений по догматическим вопросам. Разрешено свободное толкование Библии «в пределах разумного». Унитаряне критикуют доктрину о грехопадении, не признают также положение об осуждении грешников на Страшном суде, полагая, что все люди, даже не христиане, должны быть спасены. (Обрядность у унитариев отсутствует. Традиции в разных унитарных общинах различаются. Во время собраний читаются проповеди, поются гимны.) Диккенс решил сменить свою, хотя и не слишком строгую в сравнении со многими другими, веру на еще более свободную, на ту, «в которой есть сочувствие к людям всех верований и занятий, не осуждающую никого; делающую все возможное для человеческого усовершенствования и всегда практикующую милосердие и терпимость».

5 февраля на банкете в свою честь он впервые заговорил об авторском праве и был неприятно удивлен: писатели реагировали как-то вяло (хорошо

бы, да ничего не получится), а издатели были явно враждебны. (Он не понимал, что Америка еще не созрела для авторского права: в ней писательство считалось не ремеслом, за которое нужно платить деньги, а досугом состоятельных и благородных людей, писатель и деньги — две вещи несовместные; конец такому представлению удастся положить лишь Твену.) Обошел все местные бары, столовые, фабрики, фабрик было мало, поехал за ними по железной дороге в Лоуэлл и вновь был очарован:

«На фабриках здесь работают и дети, но их немного. По законам штата им разрешается работать не более девяти месяцев в году, а остальные три месяца они должны учиться... В некотором отдалении от фабрик, на высоком, красивом месте стоит фабричная больница, или дом для заболевших работниц, — это лучший дом во всей округе, и выстроил его для себя лично один крупный коммерсант... в большинстве общежитий есть пианино, купленное в складчину... почти все юные особы записаны в передвижную библиотеку... они создали периодический журнал под названием „Говорит Лоуэлл“ — сборник оригинальных статей, написанных исключительно работницами, занятыми на фабриках; журнал этот печатается и продается, как все журналы, и я привез из Лоуэлла добрых четыре сотни убористо набранных страниц этого издания, которые я прочел от начала и до конца.

Некоторые мои читатели, пораженные этими фактами, в один голос воскликнут: „Какая наглость!“ А когда я почтительно спрошу их почему, они ответят: „Это несовместимо с их положением“. Тогда я позволю себе поинтересоваться, что же это за положение. Я лично не знаю такого общественного положения, которое не позволяло бы считать подобные занятия после радостно заверченного трудового дня и в радостном предвкушении дня предстоящего — облагораживающими и похвальными. Я не знаю такого общественного положения, которое становилось бы более сносным для человека, его занимающего, или более безопасным для человека стороннего, если оно сопряжено с невежеством».

Дальше поехали поездом в Вустер, оттуда в Спрингфилд, пароходом — в Хартфорд — суды, психлечебница, приют для глухонемых и умалишенных, «лучший в мире дом предварительного заключения». 7 февраля на банкете в Хартфорде Диккенс снова толковал об авторском праве, гости вежливо промолчали, зато местные газеты на следующий день писали, что он обнаглел и должен сказать спасибо, что его вообще печатают — кто бы его знал, если бы его не печатали в Америке? 11-го прибыли в Нью-Хейвен, 12-го пароходом («это был первый американский пароход сколько-нибудь значительных размеров, который я видел, и,

конечно, глазу англичанина он показался похожим не на пароход, а скорее на огромную плавучую ванну») в Нью-Йорк, поселились в отеле на Бродвее. Наконец увидели родное, знакомое: «Здесь множество переулков, почти столь же бедных чистыми тонами красок и столь же избыточных грязными, как и переулки Лондона; здесь есть также один квартал, известный под названием Файв-Пойнтс, который по грязи и убожеству ничуть не уступает Сэвен-Дайелсу...»

Через банкеты и прогулки, восторженные толпы, город словно с ума сошел: «Наверное, никогда ни одного царя или императора Земли так не приветствовали». В этом было уже что-то неприятное. Люди бегали за ним по пятам, заглядывали в рот, когда он ел, отрывали клочки от шубы, просили подарить им прядь волос или обрезок ногтя, так что вскоре он перестал выходить на улицу без сопровождающих. Это — Нью-Йорк, детка... Встретились с Ирвингом, тот поддержал предложение о международном авторском праве, газета «Нью-Йорк трибюн» — тоже; но то была единственная такая газета. Тем не менее Ирвинг взял на себя труд уговорить еще 25 литераторов помельче подписать петицию в конгресс. Видеться с Ирвингом стали ежедневно, вместе ходили в театры, тюрьмы, сумасшедшие дома и полицейские участки. Тут все было далеко не так благобно, как в Бостоне.

«— Эти черные дверцы ведут в камеры?

— Да.

— Все камеры заполнены?

— А как же: полным-полнешеньки.

— Те, что внизу, несомненно, вредны для здоровья?

— Да нет, мы сажаем туда только цветных. Чистая правда.

— Когда заключенных выводят на прогулку?

— Ну, они и без этого недурно обходятся.

— Разве они никогда не гуляют по двору?

— Прямо скажем — редко.

— Но бывает, я думаю?

— Ну, не часто. Им и без того весело.

— В Англии даже человеку, приговоренному к смертной казни, ежедневно дают возможность подышать воздухом и поразмяться в установленный час.

— Вот как?»

И снова улицы, улицы, по которым разгуливают свиньи, и о каждом борове — целое эссе:

«Правда, иногда вы можете заметить, как его маленькие глазки

вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника; „Такова жизнь: всякая плоть — свинина“, — ворчит он, снова зарывается пяточком в грязь и бредет вперевалку вдоль канавы, утешая себя мыслью, что теперь, во всяком случае, среди охотников за кочерыжками стало одним рылом меньше».

«Но какая тишина на улицах! Разве нет здесь бродячих музыкантов, играющих на духовых или струнных инструментах? Ни единого. Разве днем здесь не бывает представлений петрушки, марионеток, дрессированных собачек, жонглеров, фокусников, оркестрантов или хотя бы шарманщиков? Нет, никогда. Тут не встретишь даже белой мыши в вертящейся клетке. Неужели здесь нет развлечений? Как же, есть. Вон там, через дорогу, лекционный зал, откуда вырываются снопы света, и потом трижды в неделю, а то и чаще бывают вечерние богослужения для дам. Для молодых джентльменов существуют контора, магазин и бар...

Никаких развлечений? А пятьдесят газет, заголовки которых выкрикивают на всю улицу преждевременно повзрослевшие пострелята, — разве это не развлечение? И не какое-нибудь пресное, водянистое развлечение — вам преподносится крепкий, добротный материал: здесь не брезгуют ни клеветой, ни оскорблениями; срывают крыши с частных домов, словно Хромой бес в Испании; сводничают и потворствуют развитию порочных наклонностей всякого рода и набивают наспех состряпанной ложью самую ненасытную из утроб; поступки каждого общественного деятеля объясняют самыми низкими и гнусными побуждениями; от недвижимого, израненного тела политики отпугивают всякого самаритянина, приближающегося к ней с чистой совестью и добрыми намерениями; с криком и свистом, под гром аплодисментов тысячи грязных рук выпускают на подмостки отъявленных гадов и гнуснейших хищников. А вы говорите, что нет развлечений!»

Американскую прессу Диккенс потом назовет худшим злом после рабовладения, и не только потому, что она его обижала, она и вправду представляла собой — в сравнении со сдержанной британской — настоящий бедлам и отнюдь не была высокопрофессиональной (вспомните твеновское «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»).

С полицейским обходили улицы ночью, навестили городскую караульную: «Как! Неужели тех, кто лишь нарушил правила, установленные в этом городе полицией, бросают в такую дыру? Неужели мужчины и женщины, может быть, даже не повинные ни в каких преступлениях, должны лежать здесь всю ночь в полнейшей тьме, в зловонных испарениях, окутывающих эту еле мерцающую лампу, которая освещает нам путь, и

дышать этим гнусным, отвратительным смрадом? Ведь столь непристойное и мерзкое место заключения, как эти клетки, навлекло бы позор даже на самую деспотическую империю в мире!»

Приют для умалишенных, работный дом — все было хуже, чем в Бостоне, и не лучше, чем в Англии, правда, тюрьма Синг-Синг понравилась. 18 февраля Диккенс простудился (болезнь так и не прошла до конца поездки) и после очередного банкета заявил, что больше никаких приглашений принимать не будет. Газеты продолжали на него шипеть: мы-то думали, он такой благородный, а он все про деньги думает, скотина, приехал требовать с нас денег, пусть сам приплатит...

Диккенс — Д. Чепмену, мэру Бостона, 22 февраля: «Я никогда не бывал так потрясен, возмущен и оскорблен в лучших своих чувствах, как сейчас — тем отношением к себе, которое я встретил здесь в связи с вопросом о международном авторском праве. Я, который больше кого бы то ни было пострадал от существующего закона, самым добродушным и бескорыстным образом... выражаю надежду, что когда-нибудь наступит день и писателям будет оказана справедливость, — и тут же на меня обрушиваются десятки Ваших газет, приписывая мне мотивы, одна мысль о которых превращает всю кровь мою в желчь, и употребляя применительно ко мне такие непристойные и гнусные выражения, каких они не стали бы применять, говоря об убийце». Форстеру, 24 февраля: «Кое-кто из этих бродяг похваляется, будто своей популярностью я обязан им (о терпение!) — потому, что они перепечатавали мои книги в своих газетах. Как будто, кроме Америки, нет других стран на свете!.. Мне не дают делать то, что хочу, идти туда, куда хочу, смотреть на то, на что хочу. Выйду на улицу — за мной увязывается толпа. Если сижу дома, посетители превращают мое жилище в базар. Если я просто, вдвоем с приятелем, отправляюсь в какое-либо общественное заведение, все, кто возглавляет это заведение, безудержно несутся туда, перехватывают меня во дворе и обращают ко мне длинные речи... Иду в церковь, в надежде найти покой там, но тогда все бросаются занимать места поближе ко мне, а священник адресуется со своей проповедью ко мне лично...»

Простуда перешла в ангину — пришлось отложить намеченный отъезд в Филадельфию, где ждал Эдгар По, с которым Диккенса связывало взаимное восхищение. Кэтрин тоже заболела. Но вообще она держалась молодцом, и муж хвалил ее Форстеру: «Вы знаете ее свойство! Садясь в карету и выходя из нее, она непременно должна упасть. То же самое, когда она сходит с парохода или садится на него... Впрочем, после того как она приноровала к новой и довольно утомительной обстановке, она

оказалась превосходной путешественницей во всех отношениях. Она ни разу не взвизгнула и не впадала в панику при обстоятельствах, которые ее извинили бы даже в моих глазах; ни разу не пала духом, не поддавалась усталости... она всякий раз легко и весело приспосабливается к новой обстановке...» Вышло так, что для Кэтрин эта поездка оказалась своего рода «звездным часом» в отношениях с мужем. Впервые они были надолго вдвоем, без друзей мужа, без своячениц, детей и нянек; впервые она уже несколько месяцев не была беременной; на некоторое время она из машины для родов стала человеком. И мужу с ней было почти интересно...

5 марта, немного оправившись, выехали в Филадельфию, выдались с По (к сожалению, неизвестны подробности встречи). «Город этот в общем красивый, но угнетающе прямолинейный. Пробродив по нему часа два, я почувствовал, что готов отдать весь мир за одну кривую улочку. Под влиянием господствующего здесь квакерского духа воротник моего сюртука, казалось, сделался жестче, а поля шляпы — шире. Волосы стали коротенькими и прилизанными, руки сами собой благочестиво сложились на груди...» Здесь Диккенс впервые столкнулся с системой одиночного заключения в тюрьме и пришел в ужас: «...в таких условиях даже собака или любое другое относительно разумное животное пришло бы в уныние, отупело и зачахло».

«Я считаю это медленное, ежедневное давление на тайные пружины мозга неизмеримо более ужасным, чем любая пытка, которой можно подвергнуть тело... Когда я ходил по этим одиночным камерам и смотрел на лица заключенных, я старался вообразить те мысли и чувства, которые естественны в их состоянии. Я представлял себе — вот с заключенного только что сняли капюшон и перед ним предстала его темница во всем своем гнетущем однообразии. Сначала человек оглушен. Его заключение — страшный сон, прежняя жизнь — действительность. Он бросается на койку и лежит, предавшись отчаянию. Постепенно невыносимая тишина и нагота камеры выводят его из оцепенения... Опять он падает на койку, лежит на ней и стонет. Потом вдруг вскочит: а рядом, с каждой стороны, тоже такая камера? И напряженно прислушивается. Ни звука — но все же где-нибудь поблизости, наверно, есть заключенные. Он припоминает, что слышал однажды, — когда еще не помышлял очутиться здесь, будто камеры построены таким образом, что заключенные не могут слышать друг друга, тогда как тюремщики слышат их всех. Где ближайший сосед — справа, слева ли, или же и там и тут есть люди? Сидит ли этот сосед сейчас лицом к свету или ходит взад и вперед?.. Не смеядохнуть и все прислушиваясь, он вызывает в своем воображении фигуру, повернувшуюся

к нему спиной, и представляет себе, как она двигается в этой соседней с ним камере. Он не знает, какое у этого человека лицо, но ясно видит его темный согбенный силуэт. В соседнюю камеру с другой стороны он помещает другого узника, чье лицо так же скрыто от него. День за днем, а нередко и пробуждаясь среди ночи, он думает об этих двоих чуть не до потери рассудка...»

Через два дня на пароходе отправились в Вашингтон — через Балтимор. Это была зона рабства, хотя и довольно мягкого. До сих пор Диккенс ничего подобного не видел. Форстеру: «...боюсь, как бы не оказалось, что страна, которая должна была явить собой пример всем остальным, не нанесла самый чувствительный удар делу свободы...» Экскурсию по Капитолию начал с библиотеки, потом уж — заседания конгресса; ходил на них, каждый день проникаясь отвращением:

«Узрел ли я в этом общественном органе собрание людей, объединившихся во имя священных понятий Вольности и Свободы? Не больше месяца тому назад это собрание спокойно сидело и слушало, как один из его членов угрожал перерезать другому глотку и сыпал при этом такими ругательствами, каких не позволил бы себе бродяга в пьяном виде. Вот он сидит среди них — не раздавленный презрением всего собрания, а такой же почтенный человек, как любой другой... Я увидел в них колесики,двигающие самое искаженное подобие честной политической машины, какое когда-либо изготавливали самые скверные инструменты. Подлое мошенничество во время выборов; закулисные сделки с государственными чиновниками; трусливые нападки на противников, когда щитами служат грязные газетенки, а кинжалами — наемные перья...»

Диккенс встречался с президентом Джоном Тайлером, самого его нашел скучным, но вновь очаровался американскими порядками: «Тут не было полицейских, которые успокаивали бы перепуганных лошадей, дергая их за уздечку или размахивая дубинкой у них перед глазами, и я готов поклясться, что ни одного безобидного человека не ударили с размаху по голове, и не толкнули изо всей силы в спину или в живот, и не довели при помощи какой-либо из этих мягких мер до столбняка, и не отправили затем под стражу за то, что он не двигался с места». (В отличие от президента его привлек Генри Клей, один из лидеров республиканцев — тогда в Америке республиканцы были либералами, а демократы — наоборот.)

15 марта писал Форстеру об американцах в смешанных чувствах: «Они доброжелательны, искренни, гостеприимны, добры, откровенны, подчас весьма образованны и вовсе не настолько в плену предубеждений,

как это принято думать. У них открытая душа и пылкое сердце, и они рыцарски вежливы по отношению к женщинам, любезны, предупредительны и бескорыстны... И все же — не нравится мне эта страна! Я бы ни за что не согласился здесь жить. Не по душе она мне, и все тут». 16-го отбыли из Вашингтона, решив проехать на юг до Ричмонда и Вирджинии, а оттуда — на «дикий Запад».

Юг показался ему адом. «В одном поезде с нами, в вагоне для негров, ехала мать с детьми — их только что купили, а ее мужа, отца ее детей, оставили у прежнего хозяина. Дети всю дорогу плакали, на мать же было больно смотреть. Властитель жизни, свободы и счастья, купивший их, ехал в том же поезде и на каждой остановке выходил посмотреть, не сбежали ли они. Негр из „Путешествий Синдбада-морехода“, с одним глазом, горевшим точно уголь посреди лба, был прирожденным аристократом в сравнении с этим белым джентльменом». В Ричмонде он потребовал, чтобы ему показали табачную фабрику, где работали рабы. «Человека, по счастью не привыкшего к такого рода зрелищам, вид здешних улиц и мест, где трудятся люди, не может не ужаснуть. Все, кому известно, что существуют законы, запрещающие обучать рабов, которые терпят муки и наказания, намного превышающие штрафы, налагаемые на тех, кто их калечит и терзает, должны быть подготовлены к тому, что лица невольников не отличаются особой одухотворенностью. Однако темнота — не кожи, а духа, — которую чужестранец встречает на каждом шагу, огрубление и уничтожение всех прекрасных качеств, какими наградила человека природа, неизмеримо превосходят самые худшие ожидания».

Он излил свои чувства Форстеру по возвращении в Вашингтон 21 марта:

«Мне кажется, что я бы дольше не выдержал. Легко сказать: „Помалкивайте“. Они сами не дают молчать. Они непременно спрашивают вас, что вы думаете по этому поводу; и непременно принимаются расхваливать рабовладение, словно это наибольшее благо человечества... Рабство не становится ни на йоту более допустимым оттого, что находится несколько сердец, способных частично воспротивиться его ожесточающему действию; и эти лучшие люди среди защитников рабства придерживаются обычно такой позиции: „Система плоха, и я лично охотно покончил бы с ней, если бы мог, — весьма охотно. Но она не так плоха, как полагаете вы, англичане. Вас вводят в заблуждение разглагольствования аболиционистов...“ „Вполне достаточно общественного мнения, чтобы предотвратить те жестокости, которые вы обличаете“. Общественное мнение! Но ведь общественное мнение в рабовладельческих штатах

зидется на рабстве, не так ли? Общественное мнение! Да вы послушайте общественное мнение „свободного“ Юга, как оно выражено его депутатами в палате представителей в Вашингтоне... „Предупреждаю аболиционистов, — говорит Южная Каролина, — этих невежд, этих взбесившихся варваров, что, если кто-нибудь из них случайно попадет к нам в руки, пусть готовит свою шею к петле“».

Плантаторы сплошь и рядом стреляют и друг в друга — кто с детства воспитан в таком ужасе, тот не только с неграми груб и жесток. И вообще все скверно, все противно... Макриди, 22 марта: «Это не та республика, которую я хотел посетить; не та республика, которую я видел в мечтах. По мне либеральная монархия — даже с ее тошнотворными придворными бюллетенями — в тысячу раз лучше здешнего правления... Во всем, чем оно похвалялось, — за исключением лишь народного образования и заботы о детях бедняков, — оно оказалось много ниже того уровня, какой я предполагал; и даже наша старая Англия, со всеми ее грехами и недостатками, несмотря на миллионы несчастных своих граждан, выигрывает в сравнении с этой страной».

Снова Балтимор, затем Йорк, Гаррисбург — там Диккенс увидел тексты договоров, которые правительство заключало с индейскими племенами: «Подумал я и о том, что не раз, должно быть, легковёрный Большая Черепаха или доверчивый Топорик ставил свой знак под договором, который ему неправильно зачитывали, и подписывал, сам не зная что, а потом наступал срок, и он оказывался беззащитным перед новыми хозяевами земли, доподлинными дикарями». Дальше был Питсбург, приятно напомнивший Бирмингем, Цинциннати, славившийся бесплатными школами; 10 апреля отплыли в Сент-Луис через Луисвилль, и на пароходике Диккенс увидел настоящего индейского вождя («Я спросил его, что он думает о конгрессе. Он ответил с улыбкой, что в глазах индейца конгрессу не хватает достоинства»). Осмотрели прерию — Зеркальную долину. Но теперь его уже все раздражало — и прерия оказалась некрасивой и неинтересной, дома все лучше, включая степи и пустоши.

Цинциннати, Коламбус, Кливленд, 26 апреля из Буффало отправились по железной дороге к Ниагарскому водопаду — ну хоть водопад не разочаровал, и то слава богу. 6 мая — Торонто, затем Кингстон и Монреаль, там в конце месяца в офицерском клубе Диккенс умудрился поставить и сыграть два любительских спектакля. У Канады, в отличие от Штатов, недостатков не было: «Неразвращенное общественное мнение и здоровое частное предпринимательство; ничего от суетливости и лихорадочности, размеренная жизнь, бьющая животворным ключом». 2 июня вернулись в

Нью-Йорк, осмотрели деревню сектантов-«трясунов» — «в этом твердолобом, чопорном благочестии, чем бы оно ни прикрывалось... я вижу злейшего врага земли и неба, превращающего воду на свадебных пиршествах нашего бедного мира не в вино, а в желчь» — и военную академию Вест-Пойнт; 7-го с облегчением отплыли домой. Диккенс пытался подводить итоги, получалось нечто противоречивое: «Американцы по натуре откровенны, храбры, сердечны, гостеприимны и дружелюбны... Американцы решительно не склонны к юмору, и у меня создалось впечатление, что они от природы мрачны и угрюмы...»

29 июня Диккенсы прибыли в Ливерпуль и на следующий день уже были в своем доме на Девоншир-террас. Фредерик Диккенс привез от Макриди детей. Пятнадцатилетняя Джорджина Хогарт, привязавшаяся к детям, домой не вернулась: осталась жить у Диккенсов, как когда-то Мэри. Как и та, она боготворила зятя и принесла ему в жертву все — возможность образования, возможность замужества. Поскольку она пережила Диккенса, он не оставил о ней воспоминаний, и мы не знаем, как бы он, к примеру, принял известие о ее смерти, убивался бы, как по Мэри, или нет. Неизвестно, был ли он увлечен ею, ревновала ли Кэтрин — все тут темно; известно только, что детей Джорджина «присвоила», а Кэтрин то ли не возражала, то ли ей не давали возражать (много лет спустя она напишет знакомой: «Вы не представляете, какие унижения мне приходилось сносить...»).

Британские газеты опубликовали письмо Диккенса о его попытках добиться соблюдения международного авторского права в Штатах; сам он очень быстро, используя как черновик свои же письма Форстеру и другим друзьям, писал «Американские заметки». В Америке ему казалось, что «либеральная монархия в тысячу раз лучше», но дома все оказалось по-прежнему нехорошо, англичане потерпели позорную неудачу в Афганистане, шли «голодные сороковые», период спада и обнищания — надо что-то делать... Он узнал, что лондонская газета «Курьер» обанкротилась, и предложил леди Холланд купить помещение и оборудование и учредить либеральную газету, но время для издателей было неблагоприятное, и затею пришлось отложить.

25 июля он опубликовал в «Морнинг кроникл» горячее письмо в поддержку законопроекта лорда Эшли о запрете на работу в шахтах для женщин и детей до тринадцати лет, на август и сентябрь увез семью в Бродстерс, там подобрал на берегу глухонемого мальчика, неизвестно откуда взявшегося (какой сюжет для романа! — но Диккенс его почему-то

не использует), поместил в приходскую больницу — к сожалению, неизвестно, чем кончилась история этого ребенка, но, зная Диккенса, можно предположить, что мальчик был пристроен. 5 октября «с ответным визитом» приехал Лонгфелло, пробыл две недели, в свою очередь осмотрел под руководством Диккенса тюрьмы и сумасшедшие дома и был представлен графам и знаменитостям. 18-го вышли «Американские заметки» — дома отзывы были вялые, читателям казалось, что автор маловато поругал американцев и чересчур много рассказывал про тюрьмы и прочие скучные вещи. Но распродались «Заметки» неплохо. В США книжку, естественно, приняли в штыки (хотя и продали почти 100 тысяч экземпляров); «Нью-Йорк геральд», когда-то так тепло его приветствовавшая, назвала «Американские заметки» плодом «самого грубого, вульгарного, нахального и поверхностного ума».

Писательской машине нельзя останавливаться: еще не закончив «Заметки», Диккенс придумал завязку новой истории и в конце октября поехал с Форстером и Маклизом в Корнуолл, где должно было происходить действие следующего романа. В ноябре навещал родителей, 20-го посетил проповедь преподобного Эдварда Тэгарта в унитарийской церкви на Литл-Портленд-стрит и купил там места для всей семьи. Уже к декабрю он закончил первый ежемесячный выпуск романа «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», посвятив его Анджеле Бердетт-Куттс (публикация завершится в июле 1844 года).

Начал он бойко (по быстроте работы, но не по результату — занудством первые главы могут потягаться лишь с началом «Пиквика»), но дальше книга все время шла тяжело — он не до конца продумал сюжет, да и замысел был очень абстрактный и сложный. Это история одной алчной семьи, бьющейся за наследство, а по сути — роман о лицемерии во всех его видах.

«— Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, — произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, — даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице...

— С ветчиной, — подсказала негромко Чарити.

— Да, с ветчиной, — подхватил мистер Пексниф, — даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще».

«Когда мистер Пексниф и обе молодые особы сели в дилижанс на перекрестке, он оказался совсем пустым внутри, что было весьма утешительно, в особенности потому, что снаружи все было полно и пассажиры, видимо, порядком промерзли. Ибо, как справедливо заметил

мистер Пексниф своим дочерям, зарыв ноги поглубже в солому, закутавшись до самого подбородка и подняв оба окна, в холодную погоду всегда приятно бывает знать, что многим другим людям далеко не так тепло, как нам самим. И это, сказал он, вполне естественно и как нельзя более разумно не только в отношении дилижансов, но также и многих других общественных установлений.

— Ибо, — заметил он, — если бы все были сыты и тепло одеты, мы лишились бы удовольствия восхищаться той стойкостью, с которой иные сословия переносят голод и холод. А если бы нам жилось не лучше, чем всем прочим, что случилось бы с нашим чувством благодарности, которое, — со слезами на глазах произнес мистер Пексниф, показывая кулак нищему, собиравшемуся прицепиться сзади кареты, — есть одно из самых святых чувств нашей низменной природы».

До сих пор у Диккенса люди «из народа», если не считать воров в «Твисте», были добрыми и милыми — теперь он написал «простую» женщину, лицемерную ничуть не меньше Пекснифа, — больничную сиделку.

«— Ах, — сказала миссис Гэмп, отходя на несколько шагов от кровати, — и хорош будет покойничек!

После этого она развязала свой узел, зажгла свечу от огнива на комод, налила воды в маленький чайник, намереваясь подкреплять свои силы чаем во время ночного дежурства; разве та с этой же человеколюбивой целью то, что у нее называлось „маленький огонек“, а также выдвинула и накрыла небольшой чайный столик, чтобы уж ни в чем не иметь недостатка и расположиться с полным удобством. На эти приготовления ушло столько времени, что пора было подумать и об ужине; поэтому она позвонила и заказала ужин.

— Я, моя милая, — расслабленным голосом говорила миссис Гэмп младшей горничной, — съела бы, пожалуй, маленький кусочек маринованной лосошины с хорошенькой веточкой укропа, чуть-чуть посыпанный белым перцем. Хлеба мне подайте самого мягкого, моя милая, а к нему немножко свежего масла и кусочек сыра. В случае ежели в доме найдется огурец, то, будьте так любезны, принесите мне огурец, я до них охотница, да и у больного в комнате их очень полезно держать. Ежели у вас тут есть брайтонский крепкий эль, милая, то на ночь я только его и пью: доктора советуют, чтобы сон разгоняло. А когда я вам позвоню во второй раз, то вы, милая, ни под каким видом не приносите джина с горячей водой больше чем на шиллинг; это уж моя всегдашняя порция, больше у меня душа не принимает!

<...>

— Ах! — вздохнула миссис Гэмп, впадая в раздумье над порцией горячего напитка стоимостью в шиллинг, — как это приятно, когда ты всем доволен, — кругом-то ведь юдоль! Как это приятно ухаживать за больными, лишь бы им было хорошо, а о себе даже и не думать, пока ты в силах оказать услугу! Ничего лучше этого огурца просто быть не может! Никогда в жизни такого не едала.

Она рассуждала в том же духе, пока стакан не опустел, после чего дала пациенту капли самым простым способом, а именно сдавила ему горло так, что он захрипел и раскрыл рот, и в ту же минуту влила туда лекарство».

Действие, начавшись в деревне, переносится в столицу, и тут мы опять находим у Диккенса новое — он все время учится, он растет. В «Твисте» новым были причудливые портреты, в «Лавке древностей» — околдовывающая атмосфера; в «Чезлвите» он проявил себя как мастер несравненных, фантастических городских пейзажей. Простите за слишком длинную цитату — мы и так выкинули из нее половину, наступив себе на горло, настолько она великолепна:

«По соседству с пансионом нельзя было прогуливаться так, как где-нибудь в другом квартале города. Тут вы целый час могли блуждать по переулкам и закоулкам, дворам и переходам и ни разу не попасть на что-нибудь такое, что можно было бы без натяжки назвать улицей. Какое-то покорное отчаяние овладевало человеком, вступившим в этот извилистый лабиринт, и он, махнув на все рукой, пускался наугад, путался и кружил, наткнувшись на глухую стену или железную решетку, без ропота поворачивал обратно с мыслью, что выход на свободу отыщется как-нибудь сам собой и в свое время и что нет никакого смысла спешить и предупреждать события. Бывали случаи, что гости, приглашенные на обед к М. Тоджерс, бродили вокруг да около, видели даже и дымовые трубы на крыше дома, но, убедившись наконец, что добраться до него нет возможности, возвращались восвояси кротко и без жалоб, погрузившись душою в тихую грусть. Не было примера, чтобы кто-нибудь мог найти пансион по устным указаниям, хотя бы он получил эти указания в одной минуте ходьбы от него. Осмотрительным приезжим из Шотландии и Северной Англии, говорят, удавалось иногда благополучно добраться до пансиона, завербовав с этой целью в проводники приютского мальчика, питомца лондонских улиц, или следуя по пятам за почтальоном, — но то были редкие исключения, только подтверждавшие правило, что пансион М. Тоджерс скрывается в лабиринте, секрет которого известен лишь немногим посвященным. <...>

Крыша дома тоже была достойна внимания. Там имелось что-то вроде площадки, с шестами и обрывками гнилых веревок, когда-то предназначавшихся для сушки белья, и стояло два-три чайных ящика с засохшими растениями, торчащими из них как палки. Всякий, кто поднимался на эту обсерваторию, бывал сперва ошеломлен, ударившись головой о маленькую наружную дверцу, а потом на секунду лишался дыхания, невольно заглянув в кухонную трубу; но, одолев эти два препятствия, вы нашли бы много такого, на что любопытно было посмотреть с крыши пансиона. Прежде всего, если день был ясный, вы замечали далеко протянувшуюся по крышам длинную темную дорожку — тень Монумента — и, обернувшись, видели и самый оригинал, совсем рядом — высокий, с волосами, вставшими дыбом на его золотой голове, словно он в ужасе от того, что творится в городе. А дальше толпились шпили, колокольни, башни, сверкающие флюгера и корабельные мачты — целый лес. Острроверхие кровли, коньки крыш, слуховые окна — сущее столпотворение. Дыма и шума хватало бы на весь мир. Со второго взгляда из этой общей сутолоки, помимо воли зрителя и без всякой особой причины, начинали выделяться незначительные как будто предметы и завладевали его вниманием. Так, колпаки-вертушки на трубах домов время от времени поворачивались не спеша один к другому, словно поверяя друг другу шепотом результаты своих наблюдений над тем, что происходит внизу. Другие колпаки, горбатые, казалось, никак не хотели выпрямиться назло пансиону и горбились для того только, чтобы загоразживать от него вид. Старик, чинивший перо в чердачном окне напротив, приобретал первостепенную важность для всей картины в целом и, скрывшись с горизонта, оставлял пробел, значение которого было до смешного непропорционально его размерам. Скачки и пируэты одного полотнища ткани на шесте красильщика казались гораздо интереснее, чем все приливы и отливы в общем движении толпы. А пока зритель сердился на себя и подыскивал этому объяснение, шум переходил в рев, пестрая картина перед его глазами дробилась и множилась стократ, и, озираясь по сторонам в величайшем испуге, он спешил поскорее спуститься в недра пансиона и в девяти случаях из десяти говорил после того миссис Тоджерс, что если бы он задержался наверху хотя бы секундой дольше, то, верно, попал бы на мостовую кратчайшей дорогой, а именно — бросившись головой вниз».

Подобное мог бы написать во всем мире один только Гоголь...

Вообще «Чезлвит», особенно если разобрать его на куски, написан удивительно хорошо, так хорошо, что цитировать можно с любого места и никогда не закончить, но с самых первых выпусков продавался плохо.

Читатели то ли разочаровались в Диккенсе после не полюбившегося им «Барнеби Раджа», то ли не могли оценить глубину мысли, то ли их оттолкнуло чересчур занудное (хуже, чем в «Пиквике») начало.

Чтобы спасти читательский интерес, писатели порой сознательно идут на ухудшение с точки зрения литературы: Диккенс отправил героя (внука, поссорившегося с дедом-богачом) в Америку и написал множество страниц, замечательно смешных сами по себе, но абсолютно ничего не добавляющих ни к сюжету, ни к идее книги. Читая их, невозможно отделаться от ощущения, что это писал Марк Твен:

«Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран член муниципалитета; а так как политические страсти разгорелись особенно сильно по случаю такого радостного события, друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы Непогрешимости Выборов и Свободы Убеждений, переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента сами по себе были не так значительны, чтобы взволновать кого-нибудь по прошествии целой ночи; однако мальчишки-газетчики воскресили их и разнесли по городу; они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на палубы и в каюты парохода, так что он, еще не подойдя к пристани, был взят на бордаж и захвачен легионами этих молодых граждан.

— „Нью-йоркская помойка“! — кричал один. — Утренний выпуск „Нью-йоркского клеветника“! „Нью-йоркский домашний шпион“! „Нью-йоркский добровольный доносчик“! „Нью-йоркский соглядатай“! „Нью-йоркский грабитель“! „Нью-йоркский ябедник“! „Нью-йоркский скандалист“! Все нью-йоркские газеты! Полный отчет о вчерашнем патриотическом выступлении демократов! Виги разбиты наголову! Последнее мошенничество в Алабаме! Интересные подробности дуэли на ножах в Арканзасе! Все новости политической, коммерческой и светской жизни! Вопиющее мошенничество государственного секретаря, совершенное им в возрасте восьми лет от роду и разоблаченное, за большие деньги, его собственной нянькой!»

Тем временем дядя героя Джонас, грубый злодей и скряга, истязает побоями и издевками жену — глупенькую девушку, что вышла за него не подумавши и привязалась к нему как собака. Это уже третий такой союз у Диккенса — и откуда он знал, как любят женщины?! После побоев «даже ее плач и рыдания звучали приглушенно, так как она прижалась к нему.

Она только твердила в сердечной муке — как он мог, как он... мог! — а остальное заглушили слезы». Этот дядя связывается с другим жуликом и становится его компаньоном по «финансовой пирамиде». Вот и еще одно новое у Диккенса — портрет Учреждения:

«Чтобы ни у кого не возникло подозрений насчет Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни, вопреки всем этим утверждениям и увещаниям; чтобы никто не усомнился в тиграх, экипаже и личности самого Тигга Монтегю, эсквайра (адрес: Пэлл-Мэлл и Бенгалия), или еще в ком-нибудь из мнимого списка директоров, у компании имелся швейцар, удивительное существо в необъятном красном жилете и кургузой темно-серой ливрее, которое вселяло больше уверенности в умы скептиков, чем все остальное вместе взятое... Бывали случаи, когда люди приходили застраховать свою жизнь в одну тысячу фунтов, но, посмотрев на швейцара, просили, прежде чем бланк был заполнен, увеличить эту сумму до двух тысяч».

В книге есть еще несколько десятков колоритнейших персонажей, и с ними происходят удивительные вещи, о которых мы ничего не будем рассказывать, дабы не отбивать интерес; остановимся только на неизбежном, как ритуал, действии Диккенса — покарании злодея. Компаньон Джонаса начинает его шантажировать — надо «решать проблему». Вновь приносим извинения за объем цитат. Но именно эти цитируемые страницы, как считают литературоведы, повлияли на Достоевского, придав дополнительный импульс «Преступлению и наказанию», — так вправе ли мы заменять их собственными ничтожными рассуждениями?

Итак, Джонас едет к месту задуманного убийства:

«Ему приснилось, будто он лежит спокойно в своей кровати и думает о лунной ночи и о шуме колес, как вдруг старый конторщик просунул голову в дверь и кивнул ему. Повинуясь этому знаку, он немедленно вскочил — уже одетый в то самое платье, которое было на нем, — и вошел за стариком в какой-то чужой город, где названия улиц были написаны на стенах незнакомыми ему буквами; но это его не удивило и не встревожило, ибо он припомнил во сне, что бывал здесь и раньше. Хотя улицы круто поднимались в гору и, чтобы попасть с одной на другую, надо было спускаться с большой высоты по слишком коротким лестницам и по канатам, которые были протянуты к гулким колоколам и раскачивались и дрожали, когда за них цеплялись, однако после первого невольного трепета опасность перестала страшить его, его беспокоила лишь одежда, совсем не подходившая для празднества, которое должно было скоро начаться и в

котором он принимал участие... Крик разнесся повсюду, все стремглав бросились на Страшный суд, и началась такая давка, что Джонас со своим спутником (который постоянно менялся и даже две минуты сряду не бывал одним человеком, хотя он и не замечал, как уходит один и приходит другой) спрятался под воротами, со страхом наблюдая за толпой, где было много знакомых ему лиц и много таких, которых он не знал, но во сне думал, что знает; и вдруг над толпой, пробившись с трудом, поднялась голова — безжизненная и бледная, но все та же, какой он ее знал, — и упрекнула его в том, что по его вине настал этот грозный день. Они бросились друг на друга. Силясь высвободить руку, в которой он держал дубину, и нанести удар, который так часто представлялся ему в мыслях, он проснулся, чтобы увидеть восход солнца и вспомнить о своем замысле наяву».

Убийцу разоблачают (там преинтереснейшая интрига — прочтете сами) — и вновь идут страницы, напоминающие Достоевского и одновременно шедевры Стивенсона:

«Мучительная жажда, огонь, пожиравший его, когда он накрылся с головой одеялом, и страх перед комнатой, еще усилившийся оттого, что он не мог ее видеть из-под одеяла; нечеловеческое напряжение, с которым он прислушивался ко всякому звуку, воображая, что каждый, даже самый незначительный шум является предвестием того стука, который разгласит тайну; дрожь, с какой он вскакивал с постели и подбегал к зеркалу, воображая, что преступление написано у него на лице, а потом опять укладывался и хоронился под одеяло, слушая, как его собственное сердце отстукивает: убийца, убийца, убийца! — какими словами можно описать подобный ужас!

Близилось утро. В доме раздавались шаги. Он слышал, как поднимали шторы и открывали ставни, как кто-то крадучись, на цыпочках, несколько раз подходил к его двери. Он пытался подать голос, но во рту у него пересохло, словно он был полон песку. Наконец он сел на кровати и крикнул:

— Кто там?

Это была его жена.

Он спросил ее, который час. Девять.

— Никто... никто не стучался ко мне вчера? — едва выговорил он. — Я, кажется, слышал стук, но от меня нельзя было добиться ответа, разве что вышибли бы дверь...

Он велел жене приготовить завтрак и собрался идти наверх, переодевшись в платье, которое снял, войдя в эту комнату, и которое с тех пор так и висело за дверью. Всякий раз при мысли о встрече с домашними

впервые после того, что он совершил, его охватывал тайный страх, и он мешкал у дверей под разными предлогами, чтобы они могли увидеть его, не глядя ему в лицо; одеваясь, он оставил дверь приоткрытой и приказывал то распахнуть настежь окна, то полить мостовую, приучая их к своему голосу. Но сколько он ни оттягивал время всеми способами, так, чтобы успеть перевидать их всех и поговорить со всеми, он долго не мог набраться храбрости и выйти к ним и все стоял у двери, прислушиваясь к отдаленному шуму их голосов.

Но нельзя же было оставаться тут вечно, и в конце концов он вышел к ним. Бросив последний взгляд в зеркало, он понял, что лицо выдаст его, но это могло быть и потому, что он гляделся в зеркало с такой тревогой. Он не смел ни на кого взглянуть, боясь, что все следят за ним, но ему показалось, что сегодня они уж очень молчаливы.

И как он ни держал себя в руках, он не мог не прислушиваться и не мог скрыть того, что все время прислушивается. Вникал ли он в их разговор, старался ли думать о другом, говорил ли сам, или молчал, или с решимостью отсчитывал глухое тиканье часов за своей спиной, он вдруг забывал обо всем и начинал прислушиваться словно замороженный. Ибо он знал, что это должно прийти; а пока его кара, и мука, и отчаяние заключались в том, чтобы прислушиваться и ждать, когда оно придет.

Тсс!»

«Он пытался — он непрестанно пытался — не то чтобы забыть, что оно лежит там, — забыть об этом было невозможно, — но не мучить себя яркими картинками, возникавшими в воображении: вот он бродит вокруг, все вокруг тела, тихонько ступая по листьям, видит его в просвет между ветвями и подходит все ближе и ближе, спугивая мух, которые густо усеяли его, точно кучками сушеной смородины. Он неотвязно думал о минуте, когда тело будет найдено, и напряженно прислушивался к каждому стуку, к каждому крику, к шуму шагов, то приближавшихся, то удалявшихся от дома, следил в окно за прохожими на улице, боясь выдать себя словом, взглядом или движением. И чем больше его мысли сосредоточивались на той минуте, когда тело будет найдено, тем сильнее приковывало их оно само, одиноко лежащее в лесу. Он словно показывал его всем и каждому, кого видел: „Слушайте! Вы знаете про это? Уже нашли? И подозревают меня?“ Если бы его приговорили носить это тело на руках и повергать для опознания к ногам каждого встречного, то и тогда оно не могло бы находиться при нем более неотлучно и не занимало бы его мыслей с таким неотвязным упорством.

И все же он ни о чем не жалел. Ни раскаяние, ни угрызения совести не

тревожили его: он только опасался за себя. Смутное сознание, что, решившись на убийство, он погубил себя, только разжигало его злобность и мстительность и придавало еще больше цены тому, чего он добился. Тот человек убит: ничто не могло этого изменить. Он все еще торжествовал при этой мысли».

Да уж, похоже, раскаяния злодея мы от Диккенса никогда не дождемся.

Так что, нам начинать с «Чезлвита», раз он так хорошо написан? Нет; написанный не просто хорошо, а потрясающе, роман так и не получился цельным, и мы можем бросить его где-нибудь на середине; вдобавок скучное начало нас убьет. Читать обязательно, но далеко не первым, нет.

Глава седьмая

СТАРОЕ — НЕ ДОБРОЕ

Отмечая день рождения Чарли в 1843 году, Диккенс впервые демонстрировал фокусы: купил реквизит у иллюзиониста-пенсионера и научился делать так, чтобы монеты летали, а носовые платки исчезали — руки у него были ловкие, и он вообще всему обучался легко. А всю зиму он продолжал открывать для себя новую религию.

Корнелиусу Фелтону, священнику, 3 февраля: «Чувствуя отвращение к нашей государственной церкви, ежедневно идущей против здравого смысла и человечности, я присоединился к унитариям с их милосердием и терпимостью». (Унитарием был и Форстер.) Вряд ли то обстоятельство, что вскоре после этого Диккенс начал писать свои знаменитые рождественские повести, — простое совпадение. Главной идеей унитаризма XIX века была идея о совершенствовании человеческой природы. Унитарии были христианами, поскольку Иисус был примером человека, который развил свой человеческий потенциал и так стал богом. Каждый человек рождается с таким потенциалом, цель религии — развить в человеке искру добра; спасение можно обрести не только на том свете, но и в миру. «Будьте хорошими», вот и всё; церковным ритуалам у унитариев уделялось крайне мало внимания.

Диккенс был всем этим очарован и даже решил написать статью (анонимную, впрочем) в журнал «Экземинер» (опубликована она была 3 июня), высмеивая англиканскую церковь, особенно ее «высокую» ветвь (гораздо более приверженную ритуалам, чем «низкая»): «Подавляющее большинство опрошенных на вопрос, что они подразумевают под словами „религия“ и „искупление“, ответили: горящие свечи. Некоторые заявили — воду, другие — хлеб, третьи — малюток мужского пола, а кое-кто смешал воду, горящие свечи, хлеб и малюток мужского пола воедино и назвал это верой. Еще некоторые на вопрос, считают ли они, что для небес или для всего сущего имеет важное значение, надевает ли в определенный час священник белое или черное одеяние, поворачивает ли он лицо к востоку или к западу, преклоняет ли свои бранные колени, или стоит, или пресмыкается по земле, ответили: „Да, считаем“. А когда их спросили, может ли человек, пренебрегавший подобной мишурой, обрести вечное упокоение, дерзко ответили: „Нет!“... Это пример такого невежества,

узколобого ханжества и тупости...» Форстеру он сказал, что Чарли «не должен подвергаться влиянию консерватизма и догматики Высокой Церкви».

Он также задумал написать историю Англии для детей — простым языком, без высокопарных рассуждений; его в тот период привлекало все простое. Но пока оставил эту идею — надо писать «Чезлвита», есть и еще один замысел... Когда Саутвуд Смит, медик, работавший в области санитарного просвещения и добивавшийся законодательного ограничения рабочего дня, просил Диккенса поддержать инициативу, тот отвечал: «Боюсь, что не могу взяться за это дело. Во-первых и главным образом потому, что я занят по горло своей работой, преследующей те же цели, но иными средствами». Он также сомневался в правоте Смита — можно ли отнимать у людей лишний заработок даже ради их здоровья, — но главная причина отказа все же была иная. Смигу, 10 марта: «Не сомневайтесь, что когда Вы узнаете, чем я был занят, то согласитесь, что молот опустилсЯ с силой в двадцать раз, да что там — в двадцать тысяч раз большей, нежели та, какую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный замысел». О чем это?! Увидим...

Мысль об учреждении либеральной газеты также не давала ему покоя, и он в 1843–1844 годах много занимался публицистикой: требовал отмены Хлебных законов, издевался над любителями «старой доброй Англии»: «Да, в мои дни правительства были правительствами, а судьи — судьями, мистер Гуд. И никаких этих нынешних глупостей. Попробовали бы вы начать свои крамольные жалобы — мы тут же пустили бы в ход солдат... А теперь остался только один судья, который умеет исполнять свой долг. Именно он судил недавно ту самую мятежницу, которая, хотя и имела сколько угодно работы (шила рубашки по три с половиной пенса за штуку), нисколько не гордилась своей славной родиной и, чуть только потеряв легкий заработок, в помрачении чувств изменнически попыталась утопиться вместе со своим малолетним ребенком; и этот достойнейший человек не пожалел труда и сил — труда и сил, сэр, — чтобы немедленно приговорить ее к смерти и объяснить ей, что в этом мире для нее нет милосердия». («Угрожающее письмо Томасу Гуду^[18] от некоего почтенного старца», май 1844 года.)

В мае, на шестую годовщину смерти Мэри Хогарт, Диккенс писал матери: «Когда мы сидим по вечерам у камина, Кэт, Джорджина и я, кажется, что снова вернулись старые времена... Точно такой же, как Мэри, ее не назовешь, но в Джорджине есть многое, что напоминает ее, и я будто снова переносусь в ушедшие дни. Иногда мне трудно отделить настоящее

от прошлого. Я не могу представить, что бы с нами всеми было, особенно с девочками, без Джорджины. Она — добрая фея этого дома, дети обожают ее». (Джорджина не только ухаживала за дочерьми Диккенса, но и взяла на себя их образование: в школе они не учились.) А Кэтрин то ли по недосмотру, то ли из-за религиозных убеждений мужа опять забеременела, вынашивала ребенка для мужа и сестры, будто суррогатная мать; поездка в США так и осталась единственным периодом ее свободы.

На лето и сентябрь сняли, как обычно, дом в Бродстерсе, но глава семьи больше времени проводил в Лондоне: писал «Чезлвита», был доволен своей работой, но не ее результатом, обвиняя в плохих продажах рецензентов и читателей. Форстеру, 2 ноября: «Вы не хуже меня знаете, что, на мой взгляд, „Чезлвит“ в сто раз лучше любого из остальных моих романов. Что я сейчас чувствую свою силу, как никогда раньше. Что я уверен в себе, как никогда раньше. Что я твердо убежден в следующем: если только мое здоровье позволит, я смогу удержать уважение мыслящих людей, хотя бы завтра появилось пятьдесят новых писателей. Но сколько читателей не умеет мыслить! Сколь многие из них принимают на веру утверждения негодяев и идиотов, будто писатель, который пишет быстро, обязательно губит свою вещь. Как холодно принимали эту самую книгу в течение стольких месяцев, прежде чем она завоевала себе признание, так и не завоевав покупателей!»

Джон Диккенс опять разгулялся, занимая от имени сына направо и налево. 28 сентября Чарлз в отчаянии сообщал Томасу Миттону: «Я поражен его наглой неблагодарностью. Он и все они рассматривают меня как что-то, которое должно разрываться на части для их удобства. Они понятия не имеют о моих заботах. Я заболеваю при мысли о них». Его брат Альфред был все еще безработным, и Диккенс думал нанять его секретарем, но очередное шантажистское письмо отца заставило его передумать; он попросил Миттона сказать Джону, что больше не желает иметь с ним дел. (Помирятся, конечно, и деньги Диккенс продолжит давать.) Осенью к нему обратилась за советом Анджела Бердетт-Куттс: стоит ли ей финансировать школы для бедняков, во множестве открывавшиеся в Лондоне.

Он обошел несколько таких школ и пришел в ужас: «В узкой задней комнатухе с низким потолком, где занимались подростки, стояла страшная, почти непереносимая духота. Но это физическое неудобство скоро забывалось — настолько угнетающей была нравственная атмосфера. На скамье, освещенной прилепленными к стене свечами, сидели,

сгрудившись, ученики всех возрастов — от несмышленных малышей до почти взрослых юношей: продавцы фруктов, зелени, серных спичек, кремней, бродяги, ночующие под арками мостов, молодые воры и нищие. В них нельзя было заметить никаких признаков, обычно присущих юности: вместо открытых, наивных, приятных молодых лиц — низколобые, злобные, хитрые, порочные физиономии», — но сказал, что другого способа хоть как-то образовывать людей нет, деньги давать надо, и сам сделал взнос.

Но он был убежден, что лично для него слово — вот тот «молот», что «опустится с силой в двадцать тысяч раз большей», чем любое другое действие. В октябре придумал первую из рождественских повестей — «Рождественскую песнь в прозе». Сказал другу, Корнелиусу Фелтону, что сочинил ее, «плача и смеясь, когда бродил по черным улицам Лондона, пятнадцать, двадцать миль, много ночей, когда все нормальные люди спали». (Привычка исхаживать Лондон пешком осталась у него с детства, а теперь еще и спасала от бессонных ночей; «Путешественник не по торговым делам: „Если б я оставался в постели и пробовал всякие почти бесполезные средства, осилить этот недуг удалось бы не скоро, но я вставал и выходил на улицу сразу после того, как ложился, а возвращался домой усталым к рассвету и таким решительным способом быстро справился со своей бессонницей“».)

«Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывает к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке».

Скрудж — это компаньон Марли: «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Да, он был холоден и тверд, как кремль, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий — он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос... Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: „Да по мне,

человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом“».

Скрудж презирает доброту, веселье и праздники; под Рождество к нему пришел бедный племянник и сказал, что будет праздновать, — он его обругал: нечего зря деньги тратить; пришли люди просить на благотворительность — всех обругал и заперся в Рождественскую ночь один дома, как всегда. Но ночь вышла странная.

«А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того — излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребке. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток».

Призрак Марли рассказывает, как ему плохо от того, что он был таким злым и жадным, и насылает еще троих (волшебное число) призраков: первым является Святочный Дух Прошлых Лет, переносит Скруджа в детство, и тот неожиданно отгаивает — оказывается, он рос нормальным ребенком: «— А вот и попугай! — восклицал Скрудж. — Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! „Бедный Робин Крузо, — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. — Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?“ Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало — это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница — мчится со всех ног к бухте! Ну же! Ну! Скорей! — И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: — Бедный, бедный мальчуган! — снова заплакал. — Как бы я хотел... — пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: — Нет, теперь уж поздно».

Дух Нынешних Святок показывает ему, как веселятся добрые люди на

улицах, и покупают всякие вкусные вещи, и собираются с семьей, и как это хорошо, и впрямь — зачитаешься: «В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробежавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешанные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов — коричневых, чуть подернутых пушком, — чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцеви́то-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, — даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.

А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! <...>

И мало того что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях — их плетеные корзинки только трещали, — и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, — невзирая на это, все в

предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках...»

И люди ходят друг к другу в гости, и веселятся, и бегают, и кидают друг в друга снежками, и вот Скрудж уже выговаривает Духу:

«— Дух, — сказал Скрудж после минутного раздумья, — дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.

— Я? — вскричал Дух.

— Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели, а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?

— Я этого хочу? — повторил Дух.

— Ты же хлопчешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, — сказал Скрудж. — ...это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни».

Тогда обиженный Дух демонстрирует Скруджу ужасные призраки заморенных голодом детей и уступает место Духу Будущих Святков — тот показывает, что будто бы Скрудж умер и никто не жалеет его, все равнодушны или злорадствуют. Эти картины производят на Скруджа неизгладимое впечатление. «Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати». В тоске засыпает бедный злой Скрудж, а поутру просыпается другим человеком:

«...Он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину, — словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.

— Сам не знаю, что со мной творится! — вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. — Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья

в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!»

И он всем отныне раздает деньги и истово празднует Святки. Раскаявшийся злодей у Диккенса! И даже не на смертном ложе! Наконец-то мы дождались! Правда, Скрудж все же никого не убил и каких-то конкретных, целенаправленных злодейских действий против героя (а в «Песни», кроме него, и нет героя) не совершил — стало быть, имел право на помилование...

Наш журнал «Отечественные записки» «Песнь» разругал. «По нашему мнению, повести безнравственны, — писал анонимный критик. — Из них прямо выходит то заключение, что человек изменяется к лучшему не вследствие каких-нибудь важных начал, определяющих его жизнь, а случайным образом, по поводу явления духов...» Но у Диккенса в «Песни» попросту не было места описывать «важные начала», определяющие жизнь Скруджа, — для этого понадобился бы роман. Он же сознательно хотел написать короткую, предельно спрямленную притчу, доступную благодаря своей простоте для любого читателя, и выразить в ней главную мысль унитариянства: раскаяние, причем раскаяние деятельное, при жизни необходимо и возможно (а уж как — это второй вопрос).

Критики отмечают, что для религиозной вроде бы истории в «Песни» удивляет отсутствие Христа, Богородицы и тому подобных символов, и вообще по форме это скорее языческая сказка, нежели христианская. Причина, думается, опять-таки в унитариянстве: символы не важны, важен единственный христианский посыл: стань человеком, не умирай с Христом на устах, а живи по его образу и подобию. Говорили ли унитариянцы, что Христос был развеселый человек и завещал гулять и веселиться в Рождество? Нет, это уже мысль самого Диккенса, которой он давно был привержен и которая особенно привлекала в нем Честертона: все имеют право на праздник, и обязанность богатых — помочь хотя бы раз в году повеселиться и бедным; Рождество не просто праздник веселья и обжорства, но день добра.

Призыв Диккенса к совести, как считает Оруэлл, не мог остаться без ответа, во всяком случае, в Британии: «Через все века христианства, особенно после французской революции, западный мир преследует идея свободы и равенства. Только идея, но проникла она во все слои общества. Чудовищнейшая несправедливость, жестокость, ложь, высокомерие существуют везде и всюду, но немного найдется людей, способных взирать на это с таким равнодушием, как, скажем, римский рабовладелец. Даже миллионера мучает неосознанное чувство вины, как собаку, которая

пожирает украденную баранью ногу. Почти каждый, каково бы ни было его реальное поведение, эмоционально откликается на идею человеческого братства. Диккенс проповедовал кодекс, в который верили и до сих пор верят даже те, кто его нарушает. Иначе трудно разъяснить два разноречия: почему его читают рабочие люди (такого не произошло ни с одним другим писателем его статуса) и почему похоронен он в Вестминстерском аббатстве».

Диккенс попросил Чепмена и Холла издать книжку в роскошном праздничном переплете, а продавать всего по пять шиллингов. «Песнь» вышла 19 декабря, шесть тысяч экземпляров разлетелись до Рождества, с января пошли бесчисленные переиздания, всю прибыль съело оформление, но Диккенс сказал Макриди, что это его самый большой успех, и проект не бросил: отныне, исключая 1847 год, он к каждому Рождеству будет выпускать по специальной повести, но «Песнь» так и останется непревзойденной по популярности. Так, может, нам с нее и начать чтение, тем более что по сравнению с неподъемными романами она совсем коротенькая? Нет, пожалуй: для современного взрослого человека она чересчур слащава, хотя прелестна и поэтична. А вот если у вас есть какой-нибудь знакомый богач, поймайте его, свяжите и читайте «Песнь» ему вслух, пока не заплачет.

Добро — это очень хорошо, но деньги тоже нужны: не заработав на «Чезлвите» и потеряв на «Песни», в ноябре Диккенс решил перебраться в Италию: жизнь вдвое дешевле, светских обязательств меньше и работать спокойнее. Уезжать решили будущим летом, как только он закончит «Чезлвита». 15 января 1844 года родился сын — Фрэнсис Джеффри. Другу, Чарлзу Смитсону: «Я надеюсь, что моя жена больше никогда так не поступит». В этой шутке, возможно, лишь доля шутки.

Другим Диккенс жаловался, что жена «возбуждена» и «уныла» — все как всегда, и дитя передали под опеку няnek и протекторат Джорджины. Отец продолжал шутить в том же духе. Знакомому, Томасу Томсону, 15 февраля: «Кэт уже в порядке; Бэби, говорят мне, тоже. Но на последний объект я из принципа смотреть отказываюсь». Может, он просто всех разыгрывал, уверяя, что категорически не хочет больше трех детей, а сам только об этом и мечтал? Этому нам никогда не понять. Но позднее он уже более серьезно говорил, что его огорчало рождение мальчиков. Мальчика в приличной семье в ту пору было куда труднее «поднять», чем девочку: ему нужны образование и работа, а ее даже замуж выдавать не обязательно, пусть живет при маме с папой, положение незамужней женщины в

тогдашней Англии было во многих отношениях гораздо лучше, чем замужней... Диккенс уже намучился с братьями — теперь как раз пытался пристроить на работу младшего, Огастеса. Возможно, против вывода дочерей он бы не возражал...

18 января он выступал в суде истцом по делу о пиратских перепечатках своих книг и проиграл — денег и так уже давно не прибавлялось, а теперь пошли убытки. 24-го поехал в Ливерпуль — выступать в Институте механики, где действовали курсы для рабочих, потом на такие же курсы в Политехническую школу Бирмингема; ратовал за новое против «доброе старое»: «...можно заметить, что люди, которые с особенным недоверием относятся к преимуществам образования, всегда первые возмущаются последствиями невежества. Забавное подтверждение этому я наблюдал, когда ехал сюда по железной дороге. В одном вагоне со мною ехал некий древний джентльмен... Он без конца сетовал на рост железных дорог и без конца умилялся, вспоминая медлительные почтовые кареты... Но я заметил, что стоило поезду замедлить ход или задержаться на какой-нибудь станции хоть на минуту дольше положенного времени, как старый джентльмен тут же настораживался, выхватывал из кармана часы и возмущался тем, как медленно мы едем. И я не мог не подумать о том, как похож мой старый джентльмен на тех шутников, что вечно шумят о пороках и преступлениях, царящих в обществе, и сами же с пеной у рта отрицают, что пороки и преступления имеют один общий источник: невежество и недовольство». Он говорил о рабочем классе — а в сердце у него сидела заноза.

В Ливерпуле его выход на сцену встречали музыкой: на фортепиано играла двадцатилетняя Кристиана Уэллер. На следующий день он со своим ливерпульским знакомым Томасом Томсоном, богатым вдовцом, напросился к Уэллерам в гости. 28-го, в день выступления в Бирмингеме, он писал Томсону: «Я не могу даже шутить о мисс Уэллер: она так прекрасна. Боюсь, интерес, пробудившийся во мне к этому созданию, такому юному и, боюсь, осужденному на раннюю смерть, перешел во что-то серьезное. Боже, каким безумцем сочли бы меня, если бы знали, какое чувство я испытываю к ней...» (Кристиана не умерла молодой — непонятно, что внушило ему такую мысль. Разве что сходство с Мэри Хогарт?) Сестре Фанни: «...кажется, если бы не мысли о мисс Уэллер (хотя и в них немало боли), я бы повесился, чтобы не жить больше в этом суетном, вздорном, сумасшедшем, неустроенном и ни на что не годном мире».

А вскоре Томсон сообщил, что он тоже влюбился в Кристиану.

Диккенс — Томсону, 11 марта: «...вся кровь отхлынула от моего лица, не знаю докуда, и губы у меня побелели. Я не мог даже шевельнуться... На Вашем месте я попытался бы завоевать ее, и немедленно. Я сделал бы это несмотря на то, что знал ее лишь несколько дней, день с нею — как год с обычной женщиной». Томсон женился на Кристиане 21 октября 1845 года — Диккенс был на свадьбе, но дальше общаться с супругами не смог.

К лету 1844 года (сердце, по-видимому, все это время продолжало кровоточить) он разорвал многолетнюю дружбу с Чепменом и Холлом, вообразив, что с «Рождественской песнью» они его обокрали (на самом деле они понесли убыток), и заключил эксклюзивный договор с типографией (даже не издательской фирмой) «Брэдбери и Эванс». За 2800 фунтов он продавал «Брэдбери и Эвансу» авторские права на восемь лет: количество и сроки сдачи работ не оговаривались. В начале июня он был на концерте Кристианы Уэллер в Королевской академии, а в конце месяца, как только закончил «Чезлвита», сдал в аренду дом на Девоншир-террас и снял — через знакомого адвоката Ангуса Флетчера, который жил тогда в Италии, — виллу в Альбаро близ Генуи. Задолго до этого они с Кэтрин начали брать уроки итальянского языка. 2 июля они уехали — с пятью детьми (Чарли уже учился в школе), няньками, кучей слуг и, разумеется, с Джорджиной.

Путевые заметки Диккенса были опубликованы в начале 1846 года в газете «Дейли ньюс» под названием «Письма путешественника с дороги», потом вышли книгой «Картины Италии», хотя захватывали и Францию: «Что за город этот Лион! Иногда о человеке говорят, что он ведет себя так, точно свалился с луны. А тут целый город непостижимым образом свалился с неба; причем, как и полагается падающим оттуда камням, он был извлечен из топей и пустошей, наводящих ужас. Две большие улицы, прорезанные двумя большими и быстрыми реками, и все малые улицы, имя которым — легион, — жарятся на солнцепеке, покрываясь ожогами и волдырями».

Генуя: «Каждый четвертый или пятый мужчина на улице — священник или монах... Я нигде не встречал более отталкивающих физиономий, чем среди этого сословия... Среди прочих монашеских орденов капуцины, хоть они и не являются ученой конгрегацией, быть может, ближе всего к народу. Они теснее соприкасаются с ним в качестве советников и утешителей; они чаще бывают среди простых людей, навещая больных; в отличие от других орденов они не так настойчиво стремятся проникнуть в семейные тайны, чтобы обеспечить себе пагубное господство над малодушными членами какой-либо семьи, и не так одержимы жаждою обращаться, чтобы

предоставить затем обращенным погибать душою и телом... Иезуитов здесь также множество; они ходят попарно и неслышно скользят по улицам, похожие на черных котов». «Генуэзцы не очень-то веселый народ, и даже в праздники их редко увидишь танцующими... Они добродушны, учтивы и отличаются трудолюбием. Трудолюбие, впрочем, не сделало их опрятнее: жилища их до крайности грязны, и обычное их занятие в погожий воскресный день — это сидеть на пороге своих домов и искать в головах друг у друга»^[19].

Вилла оказалась грязной развалюхой, маленькая Кейти заболела, но жизнь действительно была дешева и спокойна: впервые никто не стоял над Диккенсом, требуя новой порции романа. Он купался в море, загорал. Начал отращивать усы. Для Чарли нанял учителя французского языка, для семилетней Мэйми — учителя танцев. Подружился с соседом — французским консулом, который давал роскошные обеды и представил его французскому поэту и политику-либералу Альфонсу де Ламартину. Разумеется, ходил в театры. Ну почему, почему он не написал о театре романа?! Посмотрел пьесу о Наполеоне: «Сапоги Наполеона отличались редкостным своеволием и по собственному почину проделывали самые невероятные вещи: то подворачивались, то забирались под стол, то повисали в воздухе, то вдруг начинали скользить и вовсе исчезали со сцены, увлекая и его за собой бог весть куда, и притом в тот момент, когда он произносил свои речи...»

В октябре переехали в Геную, сняв уже настоящую виллу, роскошью напоминавшую дворец (Диккенс всегда удачно осуществлял сделки с недвижимостью): там во сне вновь являлась Мэри, подобная мадонне; он проснулся в слезах, разбудил жену, чтобы описать сон, и сам реалистически объяснил его причину: он смотрел на старый алтарь в спальне и слышал колокола женского монастыря. Но в письме к Форстеру задавался вопросом, должен ли он расценить это «как грезу или как настоящее Видение». Колокольный звон пленил его, дал толчок вдохновению, и началась работа над второй рождественской повестью — «Колокола». Но шла она тяжело.

Миттону, 5 ноября: «За месяц работы я измучил себя до полусмерти. Под рукой у меня не было ни одного из моих обычных средств отвлечения. (Он имел в виду ночные блуждания по лондонским улицам. — М. Ч.) И, не сумев поэтому хоть на время избавиться от своей повести, я почти лишился сна. Я настолько изможден этой работой в здешнем тяжелом климате, что нервничаю, как пьяница, умирающий от злоупотребления вином, и не нахожу себе места, как убийца...» Он писал не сказочку-пустячок, а

намеревался «ударить молотом». Форстеру, 28 октября: «Я хочу закончить в духе, родственном истине и милосердию, чтобы посрамить бессердечных ханжей». Дугласу Джеролду, журналисту и драматургу, 16 ноября: «Я постарался нанести удар по той части наглой физиономии гнусного Ханжества, которая в наше время больше всего заслуживает подобного поощрения».

Ночами в церкви страшно... Да, хоть это и дом божий, а в соответствии с фольклором — страшно; и особенно страшна колокольня — странное место, где обитают странные люди (такие, например, как звонарь собора Нотр-Дам Квазимодо); и сколько мы видели фильмов, где на колокольнях происходят чудовищные убийства...

«А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покоробившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, — вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведу рассказ».

Бедняк Трухти, пожилой рассыльный, стоит около церкви утрами и вечерами, и в дождь и в снег — ждет поручений; он одержим колоколами — и любит, и боится, они в его воображении — живые существа. Как-то раз к нему приходит дочь с угощением (рубцы), жалуется на бедность; они присаживаются на крыльце богатого дома поесть. Выходят богачи и обсуждают их, как животных:

«— Кто ест рубцы? — повторил мистер Файлер, повышая голос. — Кто ест рубцы?»

Трухти конфузливо поклонился.

— Это вы едите рубцы? — спросил мистер Файлер. — Ну, так слушайте, что я вам скажу. Вы, мой друг, отнимаете эти рубцы у вдов и сирот... Если разделить вышеупомянутое количество рубцов на точно подсчитанное число вдов и сирот, — сказал мистер Файлер, повернувшись к олдермену, — то на каждого придется ровно столько рубцов, сколько можно купить за пенни. Для этого человека не останется ни одного грана. Следовательно, он — грабитель.

Трухти был так ошеломлен, что даже не огорчился, увидев, что олдермен сам доел его рубцы. Теперь ему и смотреть на них было тошно».

Богачи рассуждают, как хорошо было в «старые добрые времена», когда такие, как Трухти, сразу помирали с голоду, и читают нотации: веселиться нельзя, жениться нельзя, а с точки зрения политической экономии лучше бы вас всех, уродов, вообще не было; один из них дает Трухти поручение отнести письмо другому богачу, такому же лицемеру, и тот совсем замораживает бедному Трухти голову, заставляя предаваться самоуничтожению и, хуже того, осуждать других бедняков и несчастных, в частности бедную женщину, которая утопилась вместе с младенцем, потому что им не на что было жить. Но тут вмешиваются колокола и властно, страшно неистовствуя, призывают Трухти, и он идет на их голос как загипнотизированный, и вот он уже на колокольне, где его окружают бесчисленные призраки, а потом и сами колокола являются ему:

«Таинственные, грозные фигуры! Они ни на чем не стояли, но повисли в ночном воздухе, и головы их, скрытые капюшонами, тонули во мраке под крышей. Они были недвижимые, смутные; смутные и темные, хотя он видел их при странном свете, исходящем от них же — другого света не было, — и все прижимали скрытый в черных складках покрывала палец к незримым губам. Он не мог ринуться прочь от них через отверстие в полу, ибо способность двигаться совершенно его оставила. Иначе он непременно бы это сделал — да что там, он бросился бы с колокольни вниз головой, лишь бы скрыться от взгляда, который они на него устремили, который не отпустил бы его, даже если бы вырвать у них глаза».

И большой колокол грозно отчитывает Трухти:

«— Голос Времени, — сказал дух, — взывает к человеку: „Иди вперед!“ Время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось Время и начался человек... Кто тщится преградить ему дорогу или повернуть его вспять, тот пытается остановить мощную машину, которая убьет дерзкого насмерть, а сама,

после минутной задержки, заработает еще более неукротимо и яростно... Кто отвращается от падших и изувеченных своих собратьев; отрекается от них, как от скверны, и не хочет проследить сострадательным взором открытую пропасть, в которую они скатились из мира добра, цепляясь в своем падении за травинки и кочки утраченной этой земли, и не выпускали их даже тогда, когда умирали, израненные, глубоко на дне, — тот грешит против бога и человека, против времени и вечности».

Естественно, Трухти раскаивается: больше он никогда не осуждает ни несчастную девушку, покончившую с собой, ни других бедняков.

3 декабря Диккенс, специально приехав в Лондон, читал «Колокола» друзьям — те плакали; Форстер уверял Нейпира, редактора «Эдинбург ревью», что это величайшее произведение Диккенса. Заметим, что «по букве» эта повесть еще менее христианская, чем «Песнь», — живые колокола, рой привидений на колокольне, оправдание самоубийства... Но ему важен был лишь дух, дух божий, как он тогда его понимал, его религиозность — такая же, как у Грэма Грина; ему необходимо было нанести удар ханжеству — и даже странно, что его колокола не спрыгивают с колокольни, дабы хорошенько наkostenуть по шее какому-нибудь лицемерному жадному богачу.

9 декабря по пути обратно Диккенс остановился в Париже — гастролировавший там Макриди ввел его в театральные круги; пообщался с цветом литературы: Гюго, Готье, Дюма, де Виньи, историком Мишле (по-французски он говорил, но тогда еще плохо), 22-го вернулся в Геную. Вышли «Колокола» и наделали много шума среди политиков, но такого читательского интереса, как история Скруджа, не вызвали — простому читателю вещь эта показалась и недоброй, и чересчур сложной.

В январе 1845 года Диккенс в Генуе свел знакомство с политиком Камилло Кавуром, одним из идеологов объединения Италии (та была раздроблена на массу отдельных государств, почти все из которых были реакционными), и швейцарским банкиром Эмилем де ла Рю: жена его, англичанка, страдала загадочной нервной болезнью, которую Фрейд потом назовет истерией: видения, конвульсии, обмороки и т. п. Диккенс проникся к Огасте де ла Рю жалостью и решил попробовать гипноз.

Он — по его словам — вводил ее в транс и расспрашивал о ее видениях; будто бы это помогало. Он вспоминал спустя 20 лет: «Я гипнотизировал ее ежедневно... Однажды ночью, в Риме, меня вызвал к ней ее муж. У нее был нервный припадок. Она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукою по ее длинным волосам и нащупав их корни. Прежде такой

припадок продолжался у нее по крайней мере часов тридцать. Это была страшная картина; я уж стал сомневаться, смогу ли ей помочь. Однако через полчаса она спала покойным и естественным сном и на другое утро была совсем здорова. Когда я в тот раз уехал из Италии, ее видения исчезли. С течением времени они появились снова и с тех пор мучили ее всегда».

Александр Дюма-отец тоже был убежден, что владеет гипнозом, но оба они с Диккенсом почему-то гипнотизировали только женщин. Для настоящего гипнотизера полового деления не существует, так что предлагаем две версии: либо имело место самовнушение, обычное при истерии, либо женщины притворялись перед знаменитыми писателями сознательно — из вежливости, из благодарности, из-за своей зависимости от них; в случае с Диккенсом и Огастой де ла Рю возможны одновременно оба варианта. Нельзя исключить также, что она питала к Диккенсу какие-то чувства и, естественно, просила длить сеансы как можно дольше.

19 января Диккенсы, как было уговорено заранее, уехали путешествовать, оставив детей на попечении нянек; глава семьи договорился с Огастой, что они будут интенсивно думать друг о друге ежедневно в 11 вечера и таким образом лечение продолжится. Он свою часть уговора выполнял, писал ее мужу: «Я непрерывно думал о ней, просыпаясь и засыпая ночами в понедельник, вторник и среду... она в некотором смысле часть меня, когда я бодрствую». Как всю эту ситуацию воспринимала жена, он, похоже, не задумывался. Кэтрин в одну из тех ночей, когда муж неотрывно думал об Огасте, опять забеременела. «Это событие, на которое я никак не рассчитывал, ужасно все дезорганизует», — писал он в апреле шотландскому знакомому лорду Робертсону. Так что, похоже, религиозные убеждения были ни при чем: просто он, такой организованный во всех делах, проявлял в этом вопросе удивительное легкомыслие.

Проехали Пьяченцу: «Какой странный, и грустный, и сладостный сон — эти неторопливые, бесцельные прогулки по маленьким городам, дремлющим и греющимся на солнце. Каждый из них поочередно представляется вам самым жалким изо всех заплесневелых, унылых, забытых богом поселений, какие только существуют на свете. Сидя на невысоком холме, где прежде был бастион, а еще раньше, когда здесь стояли римские гарнизоны, — шумная крепость, я впервые осознал, что значит быть скованным ленью. Таково, вероятно, состояние сони, когда для нее наступает пора зарыться в шерсть в своей клетке, или черепахи перед тем, как она зароется в землю. Я почувствовал, что весь покрываюсь

ржавчиной. Что всякая попытка пошевелить мозгами будет сопровождаться отчаянным скрипом. Что делать решительно нечего, да и не нужно. Что не существует человеческого прогресса, движения, усилий, развития, ничего, кроме ничем не нарушаемого покоя. Что весь механизм остановился тут много столетий назад и будет пребывать в неподвижности до Страшного суда».

Дальше последовали Модена, Болонья, Феррара, Верона — дом Джульетты (по которому расхаживают гуси) и ее могила; Мантуя, Милан — всюду гостиницы с незакрывающимися дверями, шумом и грохотом, и лошади фыркают и чихают прямо под ухом — дальше Каррара, Пиза, Сиена; 30 января наконец показался Рим. «Он был похож — мне даже страшно написать это слово — на ЛОНДОН!!» Собор Святого Петра разочаровал — так себе собор, но Колизей произвел впечатление: «...дух Колизея пережил все другие остатки римской мифологии и римских кровавых потех и наложил отпечаток жестокости на нрав современного римлянина. По мере приближения путешественника к этому городу облик итальянца меняется; красота его становится сатанинской, и вам едва ли встретится одно лицо из сотни, которое не было бы на своем месте в Колизее, если бы его завтра восстановили».

Диккенс обходил бесчисленные церкви, не прибавившие ему симпатии к католицизму: «...то же причудливое смешение благоговейной набожности и неприличия, веры и равнодушия, коленопреклонений на каменном полу и смачного харканья на него же; перерывов в молитвах для попрошайничества или других мирских дел и новых коленопреклонений с тем, чтобы продолжать смиренную молитву с того места, на котором она была прервана. В одной церкви коленопреклоненная дама на мгновение встала, чтобы вручить нам свою визитную карточку — она была учительницей музыки; в другой — степенный господин с очень толстой палкой поднялся на ноги и прервал благочестивые размышления, чтобы огреть ею свою собаку, зарывавшую на другую; ее визг и лай гулко отдавались под сводами церкви долго после того, как ее хозяин вернулся к молитве, не сводя, однако, глаз с собаки... С особым ожесточением боролись за места дамы. Одну знакомую мне даму, сидевшую в дамской ложе, схватила за талию и столкнула с места некая матрона могучего телосложения; другая дама (в заднем ряду той же ложи) пробилась на лучшее место, втыкая большую булавку в спины дам, стоявших впереди».

Ходил смотреть на смертную казнь: «Никто не был потрясен происшедшим, никто не был даже взволнован. Я не заметил ни малейших проявлений отвращения, жалости, негодования или печали. В толпе, у

самого подножия эшафота, пока тело укладывали в гроб, в моих пустых карманах несколько раз пошарили». Ну, в этом отношении лондонцы были ничем не лучше.

В марте де ла Рю прибыли в Рим и сеансы гипноза возобновились. Терпение Кэтрин, оказывается, было небезгранично: сообщив мужу о беременности, она устроила сцену, и он уступил — извинились перед де ла Рю и уехали путешествовать дальше. Неаполь: всюду грязь, нищие в лохмотьях, лаццарони — «убогие, униженные, несчастные животные, покрытые насекомыми; огородные пугала, ленивые, трусливые, безобразные, роющиеся в мусоре!». Никакой романтики Диккенс во всем этом видеть не желал: «Позвольте нам... искать новую романтику в признании за человеком прав на будущее, в уважении к его способностям — а на это, кажется, больше шансов во льдах Северного полюса, чем в солнечном и цветущем Неаполе». Венеция: «...Зная, что здесь есть музей с комнатой, наполненной такими страшными орудиями пытки, какие мог измыслить только дьявол, сотни попугаев устно и в печати целыми часами поносят времена, когда в Венеции строится железная дорога через пролив. Они поносят наше время, безмозглые болтуны, вместо того чтобы на коленях благодарить небеса за то, что живут в эпоху, когда из железа делают дороги, а не тюремные решетки и не приспособления, чтобы загонять винты в череп ни в чем не повинного человека».

Он так стремился в будущее и ненавидел «старое доброе прошлое» — удивительно, что его превыше всех воспел Честертон, чей идеал был прямо противоположен. Флоренция — единственный итальянский город, который он не ругал. Но она-то была из будущего, не из прошлого: правил там герцог Леопольд II, либерал, давно были отменены пытки и смертная казнь, священники отстранены от образования.

В апреле вернулись в Геную: дети были здоровы, все в порядке, недоставало только Форстера, и Диккенс умолял его приехать. В июне через Бельгию отправились домой — на август и сентябрь уже был заказан дом в Бродстерсе. Интенсивно работать Диккенс по-прежнему не спешил — только «Картины Италии», но это было для него легко, он, как обычно, пользовался собственными письмами как черновиками. Ему опять захотелось ставить спектакли. Он собрал всех — друзей, братьев (Фредерика и Огастеса), Томаса Томсона, своего нового издателя Эванса, редактора «Панча» Марка Лемона; отставная актриса Фанни Келли согласилась давать уроки театрального искусства, для главных женских ролей наняли профессиональную актрису Джулию Фортескью. Труппа ставила комедию Бена Джонсона «Всяк в своем нраве», премьера прошла

21 сентября в театре «Роялти», среди зрителей были Теннисон и герцог Девонширский, дважды повторили спектакль в ноябре — для принца Альберта и других аристократов, собранные деньги пошли на благотворительность. В любительских спектаклях обычно участников больше, чем зрителей, и в них куда интереснее участвовать, нежели смотреть их; нет свидетельств, что театр Диккенса был чем-то бóльшим. Форстер оценивал труппу как «среднюю любительскую», жена Карлейля Джейн назвала спектакль «ни о чем», Макриди и вовсе разругал: «уныло, затянуто... актеры смехотворно суетятся». Но Диккенс выпустил пар, он был счастлив, и ладно.

28 октября Кэтрин родила очередного мальчика — Альфреда д'Орсэ Теннисона. Несмотря на то что отец был на тот момент унитариянином, он крестил мальчика — как и всех следующих детей — в англиканской церкви: видимо, просто не придавал этому значения. Неизвестно, была ли у Кэтрин депрессия на сей раз, и если была, то как с этим боролись. Мэйми — а она уже была способна отмечать, что происходит в доме, — вспоминала потом, что отец сам ходил каждый день проверять работу нянек и чистоту и порядок в комнатах детей. «Он часто подымался по крутой лестнице в наши комнаты, чтобы увидеть новые рисунки, которые мы приколоты к обоям, и всегда говорил нам слова похвалы и одобрения. Он требовал от нас украшать наши комнаты своими руками и всегда быть опрятными и аккуратными. Он обходил каждую комнату каждое утро, и если стул стоял не на своем месте или на полу были крошки, — горе преступнику!» Чем целыми днями занималась Кэтрин, остается совершенно неясным. Во время беременности — а беременна она была почти всегда — она дважды в день выходила гулять, но не с мужем: его шаг был слишком скор для нее. Выходить по вечерам она не могла (беременная женщина считалась все равно что больной и не должна была показываться в обществе), так что в гости и в театр Диккенса сопровождала Джорджина. Увы, мы так часто наблюдаем ситуацию, когда Замечательный Человек заботится обо всех людях на свете, не замечая, что творится с его самыми близкими...

Осенью Диккенс писал третью рождественскую повесть — «Сверчок за очагом», поэтичностью и прелестью местами даже превосходящую две первые: «...чайник упрямылся и кобенился. Он не давал повесить себя на верхнюю перекладину; он и слышать не хотел о том, чтобы послушно усесться на груде угольков; он все время клевал носом, как пьяный, и заливал очаг, ну прямо болван, а не чайник! Он брюзжал, и шипел, и

сердито плевал в огонь... но после двух-трех тщетных попыток заглушить в себе стремление к общительности он отбросил всю свою угрюмость, всю свою сдержанность и залился такой уютной, такой веселой песенкой, что никакой плакса-соловей не мог бы за ним угнаться... песня чайника была песней призыва и приветия, обращенной к кому-то, кто ушел из дому и кто сейчас возвращался в свой уютный маленький домик к потрескивающему огоньку...» А потом его партию подхватывает и сверчок, что прячется за очагом: «Чайнику больше уже не пришлось петь соло. Он продолжал исполнять свою партию с неослабным рвением, но сверчок захватил роль первой скрипки и удержал ее. Боже ты мой, как он стрекотал! Тонкий, резкий, пронзительный голосок его звенел по всему дому и, наверное, даже мерцал, как звезда во мраке, за стенами. (Звук, мерцающий подобно звезде, — и как это приходят в голову такие метафоры?! — М. Ч.) Иногда на самых громких звуках он пускал вдруг такую неопишемую трель, что невольно казалось — сам он высоко подпрыгивает в порыве вдохновения, а затем снова падает на ножки. Тем не менее они пели в полном согласии, и сверчок и чайник».

Но нет согласия в доме, где живут сверчок и чайник. Сюжет Диккенс взял для себя новый, впервые описав муки ревности. Герой (простой возчик) Джон узнал, что жена любит другого. «В это время она была наверху и укладывала спать малыша. Потом спустилась вниз и, видя, что Джон сидит, задумавшись, у очага, близко подошла к нему, и — хотя он не услышал ее шагов, ибо душевные терзания сделали его глухим ко всем звукам, — придвинула свою скамеечку к его ногам. Он увидел ее только тогда, когда она коснулась его руки и заглянула ему в лицо.

Удивленно? Нет. Так ему показалось сначала, и он снова взглянул на нее, чтобы убедиться в этом. Нет, не удивленно. Внимательно, заботливо, но не удивленно. Потом лицо ее стало тревожным и серьезным, потом снова изменилось, и на нем заиграла странная, дикая, страшная улыбка. — Крошка угадала его мысли, стиснула руками лоб, опустила голову, и Джон уже ничего не видел, кроме ее распустившихся волос.

Будь он в этот миг всемогущим, он все равно пальцем не тронул бы ее, так живо в нем было возвышенное чувство милосердия. Но он не в силах был видеть, как она сжалась на скамеечке у его ног, там, где так часто сидела невинная и веселая, а он смотрел на нее с любовью и гордостью; и когда она встала и, всхлипывая, ушла, ему стало легче оттого, что место рядом с ним опустело и не нужно больше выносить ее присутствия, некогда столь желанного. Уже одно это было жесточайшей мукой, напоминавшей ему о том, каким несчастным он стал теперь, когда порвались крепчайшие

узы его жизни. Чем сильнее он это чувствовал, тем лучше понимал, что предпочел бы видеть ее умершей с мертвым ребенком на груди».

Но вот запел сверчок — и смягчил сердце возчика, и все обнимаются и плачут, а потом герой узнаёт, что ошибся и жена его всегда любила. Честертон: «История возчика и его жены звучит усыпляюще, мы не можем на ней сосредоточиться, но радуемся теплу, исходящему от нее, как от горящих поленьев... У Диккенса атмосфера нередко важнее сюжета. Атмосфера Рождества важнее, чем Скрудж и даже Духи; фон — важнее лиц. Не так уж важно, правдоподобно ли его раскаяние, — прелесть и благодать повести не в сюжете...» В «Сверчке», заметим, Рождество не упоминается вовсе, и в следующих рождественских историях, как правило, тоже. Тем не менее «Санди телеграф» 18 декабря 1888 года назвала Диккенса «человеком, который изобрел Рождество».

Запрещенное при Кромвеле, празднование Рождества в Англии было восстановлено вместе с монархией в 1660 году, но к началу XIX века сошло на нет и считалось устаревшим обычаем; Вальтер Скотт горько оплакивал его. Но к концу 1830-х все больше людей стали с умилением вспоминать «старое доброе прошлое» и с ним — веселый праздник. Викторианцы с радостью ухватились за «Рождественские гимны» Уильяма Сэндиса (1833) и «Книгу Рождества» Томаса Херви (1837). Рождественские обеды, подарки, детские праздники — все это вновь стало популярным при королеве Виктории. В декабре 1840 года принц Альберт воспроизвел немецкий обычай ставить елку; в 1843-м аристократ сэр Генри Коул, которому было лень писать под Рождество письма, поручил художнику Джону Хорсли нарисовать и растиражировать соответствующую картинку и разослал ее друзьям, а остаток отдал в магазин канцтоваров — так родились рождественские открытки.

Диккенс не был первым, но со своей «Рождественской песней» пришелся очень в тему. А как же его ненависть к «старому доброму прошлому»? Но он хотел не просто восстановить прежний обычай, а создать новый: сделать Рождество днем не только веселья, но и добрых слез, днем раскаяния, днем, когда растапливаются самые черствые сердца, днем благотворительности. Неизвестно, стал ли какой-нибудь богач добрее, прочтя «Рождественскую песнь» или «Колокола», но сам Диккенс своему призыву следовал: Мэйми вспоминала, что под Рождество он собирал в доме окрестных бедняков и устраивал ужины и игры — непременно с денежными призами.

Сверчок как один из символов домашнего тепла и уюта родился в его голове еще до «Сверчка за очагом»: летом 1845 года он писал Форстеру: «Я

по-прежнему подумываю о еженедельнике; цена, если возможно, полтора пенса. Часть материала оригинальная, часть — перепечатки; заметки о книгах, заметки о театрах, заметки обо всем хорошем, заметки обо всем дурном; рождественская философия, бодрый взгляд на жизнь, беспощадное препарирование ханжества, добродушие; материал всегда злободневный, отвечающий времени года; а главное, теплое, сердечное, щедрое, веселое, любящее отношение ко всему, что связано с Семейным Очагом. И назову я его, сэр, „СВЕРЧОК“ — „ВЕСЕЛОЕ СОЗДАНИЕ, КОТОРОЕ ЧИРИКАЕТ ЗА ОЧАГОМ“». Но тут Брэдбери и Эванс заговорили с ним об издании ежедневной политической газеты, которая конкурировала бы с самой «Таймс», и он за эту идею ухватился. «Сверчок» был временно забыт. Новая газета получила название «Дейли ньюс». Брэдбери и Эванс предложили спонсора: железнодорожные компании, представители которых были в основном либералами и хотели иметь издание, уравновесившее бы консервативную «Таймс».

Форстер категорически не одобрял затею, считая, что такая газета «украдет» Диккенса у литературы. Но тот сказал другу, что после неуспеха «Чезлвита» не уверен в своем литературном будущем, что его популярность падает и надо искать постоянный «кусочек хлеба». (Он привык жить довольно широко и так до сих пор не сколотил капитала, проживая деньги «от зарплаты до зарплаты».) В октябре богач Джозеф Пэкстон, акционер железнодорожной компании, вложил в газету 25 тысяч фунтов, Брэдбери и Эванс — 22 500 фунтов, были и другие акционеры. Диккенс ничего не вносил, но получал должность редактора с окладом две тысячи фунтов в год и гонорарами за работы, которые будут опубликованы в газете (первая — «Картины Италии»); он обязывался часто, но не ежедневно помещать короткие статьи, и вытребовал, чтобы в газете был пост заместителя главного редактора, которому можно будет передавать управление, когда он захочет на время уехать. 3 декабря он официально вступил в должность и обосновался в доме на «газетной» Флит-стрит.

Первый номер газеты ожидался в январе, но еще до этого Диккенс попытался подать в отставку — когда один акционер вышел из дела. Пэкстон увеличил свой вклад, Диккенс остался и поспешно набирал штат — в основном из «своих да наших» (он всегда будет так делать — помогать людям ему было важнее, чем собирать идеально функционирующий коллектив, и удивительно, что он далеко не всегда терпел неудачу). Форстер и Дуглас Джеролд будут политическими обозревателями. Дядя Диккенса, Джон Барроу, был сразу командирован в Индию, чтобы писать о столкновениях британской армии с мятежниками-сикхами. Тесть, Джордж

Хогарт, взял на себя музыкальный отдел. Самым смелым шагом было приглашение отца, безалабернейшего Джона Диккенса, — руководить репортерами. Заместителем редактора стал Генри Уиллс, раньше работавший в журнале «Панч». Это оказался идеальный выбор — не для газеты, а для Диккенса: Уиллс станет до самой смерти его другом и поверенным в таких делах, о которых не полагалось знать даже Форстеру.

В декабре вышел «Сверчок за очагом» — «Таймс» его назвала «пустословным и глупым», но продавался он отлично: Диккенс уже создал для себя коммерческую нишу. А 21 января 1846 года появился первый номер «Дейли ньюс» с передовицей Диккенса, клявшегося защищать «принципы прогресса, усовершенствования, образования, гражданских и религиозных свобод и равенства всех перед законом». И сразу же газета начала кампанию против Хлебных законов.

«Таймс», стоившая семь пенсов, имела стабильный тираж 25 тысяч экземпляров. «Дейли ньюс» продавалась за пять пенсов и сперва разошлась в 10 тысячах экземпляров. Для начала это было совсем неплохо, но уже к 30 января Диккенс сказал Форстеру, что подает в отставку и уезжает за границу, а Брэдбери и Эвансу написал, что, во-первых, его смущает ангажированность газеты железнодорожными компаниями, а во-вторых, он не потерпит их вмешательства в редакционные дела. Форстер, однако, считал, что Диккенс сам во всем виноват, и поделился этим мнением с Макриди, записавшим в дневнике: «Диккенс так уверен в правоте своих мнений и так восхищен собственными работами, что Форстер отказывается далее пытаться его критиковать; он не воспринимает критики, и эта черта будет развиваться, пока не станет неизлечимой». Газета с каждым днем становилась, по мнению знакомых Диккенса, все более скучной; читатели считали так же, и тираж упал до четырех тысяч экземпляров. 5 февраля Диккенс с женой, Джорджиной и Форстером съездил в Рочестер, а по возвращении, 9-го, подал в отставку — его место занял Форстер.

«Дейли ньюс» постепенно выправилась и продолжала существовать до 1930 года. Форстер вскоре тоже ушел с поста главного редактора, но сотрудничать с газетой продолжал до 1870-х. Некоторое время публиковаться там продолжал и Диккенс — на свои излюбленные темы: школы для бедных, критика обществ трезвости, защита праздников; весной 1846-го опубликовал пять больших статей о преступности и смертной казни.

Защитники смертной казни — а их, разумеется, было подавляющее большинство — утверждали, что ее наличие должно отвращать людей от преступлений. Диккенс видел и читал достаточно, чтобы этот тезис

опровергнуть — и эмоциями, и статистикой. «Где бы ни уменьшилось число смертных казней, число преступлений там тоже уменьшается. Ведь даже самые пылкие защитники смертной казни, которые, вопреки всем фактам и цифрам, продолжают утверждать, что она предотвращает совершение преступлений, спешат тут же прибавить аргумент, доказывающий, что она их вовсе не предотвращает! „Совершается столько гнусных убийств, — говорят эти защитники, — и они так быстро следуют одно за другим, что отменять смертную казнь никак нельзя“. Но ведь это же одна из причин для ее отмены! Ведь это же доказывает, что смертная казнь не является устрашающим примером, что она не может предотвратить преступления и что с ее помощью не удастся положить конец подражанию, дурному влиянию — называйте это как хотите, — из-за чего одно убийство влечет за собой другое!»

Он затронул любопытную подтему (которой посвящен роман Роберта Хинчеса «Дело Парадайна»): судья, выносящий смертные приговоры, не может не стать садистом: «Все эти сильные ощущения одурманивают его, и он не может отличить кару, как средство предупреждения или устрашения, от связанных с ней переживаний и ассоциаций, которые касаются только его одного». Но больше всего его бесили ссылки сторонников смертной казни на религию: «...стоит доказать, что какой-либо институт или обычай вреден и несправедлив, как определенные люди кидаются на его защиту и объявляют, что он установлен самой Библией... Мне же достаточно убедиться в том, что есть веские причины считать какой-либо институт или обычай вредным и дурным; и тогда я уже не сомневаюсь, что он не мог быть установлен сходящим на землю Богом. Пусть каждый, кто умеет держать в руке перо, примется комментировать писание — все их объединенные усилия до конца наших жизней не убедят меня, что рабство совместимо с христианством; точно так же, раз признав справедливость вышеизложенных доводов, я уже никогда не признаю, что смертная казнь совместима с христианством. Как могу я поверить в это, почитая деяния и учение Господа нашего?»

Бороться с преступностью, писал он, может лишь одна вещь в целом мире — учение. «Я обращаюсь к тем, кто щедро жертвует на построение храмов, с просьбой подумать и о „Школах для нищих“; посмотреть, нельзя ли уделить для них какую-то долю этих щедрот; разобраться, где нужно помочь христианской религии и подкрепить ее заповеди делом». Он изучил отчеты лондонской полиции об арестованных и судимых: связь между преступностью и низким уровнем образования была явная.

«И перед лицом подобных ужасных фактов всевозможные христианские секты и вероисповедания продолжают свои распри, предоставляя и без того полным тюрьмам снова и снова наполняться людьми, которые впервые познают блага образования в этих мрачных стенах! Давно пора с корнем вырвать самодовольную уверенность в том, что бессмысленная долбежка катехизиса и заповедей снабдит бедных паломников достаточно прочными подметками... Если эту уверенность не истребить, она повергнет всю страну во мрак. Бок о бок с Преступлением, Болезнями и Нищетой по Англии бродит Невежество, оно всегда рядом с ними. Этот союз столь же обязателен как: союз Ночи и Тьмы. И от этой позорной опасности, которая грозит нам в девятнадцатом столетии после Рождества Господня, спасти нас могут только ремесленные школы, где книги давали бы полезные знания... где высокие уроки Нового Завета были бы зданием, возведенным на этом прочном фундаменте, а не накромянными кусочками, неудобопонятными и вызывающими лишь скуку, лень и раздражение, ибо когда Евангелие превращается в истрепаный сборник пошлых прописей, хуже этого трудно что-либо придумать».

Заметим под конец, что Диккенс не был бы Диккенсом, если бы удержался от смешного даже в таких статьях. Он расписал (на основании тех же официальных полицейских отчетов), люди каких профессий какие преступления совершают; задумаемся над этим, может, пригодится: «Мясники всем прочим преступлениям предпочитают простое рукоприкладство. Главная слабость плотников — пьянство, на втором месте — стремление наносить оскорбление действием подданным ее величества, а на третьем — склонность к мелким кражам. Портные, как всем нам хорошо известно, буйны и неустрашимы во хмелю... Так, из трех священников один был пьян, другой вел себя буйно, а третий дрался на кулаках; точно то же инкриминировалось и четверем помощникам шерифа...»

Глава восьмая

ОТВЕРЖЕННЫЕ

Лондон был полон «падших» девушек, подобных Нэнси, — проституток, воровок, мелких мошенниц; выйдя из тюрьмы, они попадали в прежнюю среду, а оттуда вновь в тюрьму или «исправительное заведение», которое было хуже тюрьмы по обращению с «исправляемыми». Неизвестно, когда именно Диккенсу пришла мысль создать для них настоящий приют, но написал он об этом впервые Анджеле Бердетт-Куттс 26 мая 1846 года:

«Я разрешил бы начальнику любой лондонской тюрьмы присылать в приют подобную несчастную женщину (с ее согласия, конечно) прямо из тюрьмы, как только кончится срок ее заключения. Я разрешил бы любой кающейся постучать в дверь и сказать: ради бога, примите меня. Но в приюте я устроил бы два отделения и в первое помещал бы всех новоприбывших для испытания, а потом уже, если они хорошим поведением и скромностью заслужат это право, допускал бы их в „общину“ приюта, как я назвал бы его... Женщине или девушке, желающей поступить в приют, нужно объяснить, что она явилась сюда для благотворного раскаяния и исправления, так как поняла, что ее прошлая жизнь была ужасна (и сама по себе, и по своим последствиям) и не могла принести ей ничего, кроме горя, несчастья и отчаяния. Пока еще незачем говорить ей об обществе. Общество обошлось с ней дурно, отвернулось от нее, и трудно ожидать, чтобы она принимала близко к сердцу свой долг перед ним. Жизнь, которую она вела, губительна для нее, и пока она ее не оставит, ей не на что надеяться. Ей объясняют, что она пала глубоко, но еще может спастись от гибели благодаря этому приюту; и что здесь она получит средство вернуть себе счастье, а дальнейшее зависит только от нее самой».

Первым отличием приюта от подобных ему заведений была конечная цель его деятельности — не только «исправить» девушек, но пристроить их: найти приличную работу, обеспечить отъезд в колонии, где они могли бы выйти замуж, либо, в крайнем случае, просто их содержать. Вторым — доброта. Их будут учить стирке, стряпне, починке одежды, хорошим манерам, они будут получать отметки: «плюсы» за сделанную работу или безупречное поведение, «минусы» за «проявление дурного настроения или неучтивость, за бранные слова». «Но при этом я добивался бы того, чтобы

все они поняли следующее (я бы вывесил это в каждой комнате): они занимаются однообразным трудом, во многом себе отказывая, не ради него самого, но ради того, чтобы в конце концов они с божьей помощью освятили им собственный счастливый очаг».

Диккенс продумал все до мелочей:

«Совершенно очевидно, что многие из этих женщин некоторое время будут вести себя безупречно, а потом без всякой видимой причины устроят истерику и пожелают покинуть приют... я ввел бы правило, что никто не может покинуть приют раньше, чем хотя бы через двадцать четыре часа после изъявления такого желания, и за это время женщину следует, если возможно, ласково уговаривать и просить хорошенько подумать о своем поступке. Это внезапное сокрушение всего, что строилось месяц за месяцем, — на мой взгляд, настоящая болезнь, и я обращал бы на нее большое внимание, подходил бы к подобным женщинам с большой мягкостью и осторожностью и ни в коем случае не считал бы один, два, три, четыре или даже шесть уходов из приюта непреодолимым препятствием к тому, чтобы вновь принять туда такую женщину».

Мисс Куттс осталась обдумывать концепцию Диккенса (ей это было нелегко: она в отличие от него испытывала к «падшим» брезгливость и не вполне разделяла его идеи насчет нежности и доброты в обращении с ними), а сам он 31 мая отбыл с чадами и домочадцами в Швейцарию: писалось легче в Лондоне, где можно бродить по странным и страшным улицам до утра, но жилось — за границей. (Ехать в Геную обычно бессловесная Кэтрин отказалась из-за Огасты де ла Рю.)

С 11 июня обосновались на вилле под Лозанной, и Диккенс, пока в голове его «обкатывалась» смутная идея нового романа, написал небольшой текст не для публикации (которую он категорически запретил [20]), а для своих детей — «Жизнь Господа нашего»: «Никогда не бывало никого, кроме Него, кто был бы так добр, так нежен и так жалел всех людей, которые оступились или были больны и несчастны». Он не обошелся без обычных шпилек в адрес евреев («невежественные и самовлюбленные») и юмора: «Вы никогда не видели саранчу, потому что она живет очень далеко от нас. Так что представляйте верблюдов, их порой привозят сюда, и, если захотите, я покажу вам парочку»; апостолы у него — бедняки, и его Христос специально выбрал таких, «чтобы бедные могли знать, что Небеса созданы для них, а не только для богатых, и что Бог не делает никакого различия между теми, кто носит хорошую одежду, и теми, кто ходит босиком и в лохмотьях». Как подобает унитарянцу, он сделал

акцент на человеческой стороне Христа и на примерах милосердия, проигнорировав Ветхий Завет: «Христианство означает любить ближнего, как самого себя, и поступать по отношению к людям так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Христианство означает быть нежным, милостивым и прощать... и если мы будем поступать так, мы можем с уверенностью надеяться, что Господь простит нам грехи наши и ошибки и позволит нам жить и умереть в мире».

Он уже не в первый раз задумался о том, чтобы написать «Детскую историю Англии», но опять отложил затею; он вдруг решил, что Брэдбери и Эванс ему не годятся, и просил Форстера вернуть Чепмена и Холла, но тот отговорил его; он усердно учил французский язык и вскоре мог говорить почти свободно; каждый день совершал пешие прогулки километров по 15–20, один или с новыми друзьями, швейцарцем Уильямом де Сэржа и богатым британцем Ричардом Уотсоном, а вечера проводил у них в гостях с женой и Джорджиной; он влюбился в Швейцарию. Однако время шло, а роман не хотел рождаться; Диккенс забеспокоился, что исписался и не сможет зарабатывать, и даже написал лорду Морфету, знакомому члену палаты пэров, прося устроить ему должность судьи по уголовным делам. 28 июня он все же смог усадить себя за работу, но мучился, еженедельно жалуясь Форстеру, что пребывает в «состоянии экстраординарной нервозности», что не может писать без лондонских улиц, разучился писать вообще, не сдаст в срок ни роман, ни рождественскую повесть, и что вообще он и вся его семья вот-вот помрут с голоду. Между тем первая часть «Домби и сына» — один из лучших текстов, какие он писал когда-либо.

«Домби сидел в углу затемненной комнаты в большом кресле у кровати, а Сын лежал тепло укутанный в плетеной колыбельке, заботливо поставленной на низкую кушетку перед самым камином и вплотную к нему, словно по природе своей он был сходен со сдобной булочкой и надлежало хорошенько его подрумянить, покуда он только что испечен. Домби было около сорока восьми лет. Сыну около сорока восьми минут. Домби был лысоват, красноват и хотя был красивым, хорошо сложенным мужчиной, но имел слишком суровый и напыщенный вид, чтобы располагать к себе. Сын был очень лыс и очень красен и, хотя был (разумеется) прелестным младенцем, казался слегка измятым и пятнистым».

«Домби и сын» — первый роман Диккенса с очень четким сюжетом, который почти не теряется среди побочных линий и нагромождения деталей. Он легче, чем любое другое произведение Диккенса, может быть перенесен в любое время и место: у жестокого, как Скрудж, коммерсанта,

родился наследник, которого он обожает так же страстно, как холоден он к старшей дочери Флоренс, — а та любит его с безответной нежностью: коллизия вечная, вы легко представите себе фильм об этом, снятый в современных декорациях, где Домби — типичный «новый русский». Флоренс, увы, так же бесцветна, как все идеальные героини Диккенса (и как большинство «положительных» девочек и девушек в романах XIX века), но Поль — настоящий живой ребенок, хотя и странный (что неудивительно при таком отце): «Были все основания предполагать, что в последующей жизни характер у него будет властный; и он в такой мере предчувствовал свое собственное значение и право на подчинение ему всего и всех, как только можно было пожелать. Порой он бывал ребячлив, не прочь поиграть и вообще угрюмостью не отличался; но была у него странная привычка сидеть иногда в своем детском креслице и сосредоточенно раздумывать; в эти моменты он становился похож (и начинал изъясняться соответственно) на одно из тех ужасных маленьких созданий в сказке, которые в возрасте ста пятидесяти или двухсот лет разыгрывают странную роль подмененных ими детей».

Поля отдадут в пансион, где мучают детей, но он — не Оливер Твист и сам кого хочешь замучает: «Казалось, он не знал, что такое усталость, когда пристально разглядывал миссис Пипчин. Он не любил ее; он не боялся ее, но когда его посещало это старческое раздумье, в ней как будто сосредоточивалось что-то чудовищно привлекательное для него. Так сидел он, и смотрел на нее, и грел руки, и все смотрел на нее, и иной раз приводил в полное замешательство миссис Пипчин, хотя она и была людоедкой. Однажды, когда они были вдвоем, она спросила его, о чем он думает.

— О вас, — с полной откровенностью сказал Поль.

— А что же вы обо мне думаете? — спросила миссис Пипчин.

— Думаю, какая вы, должно быть, старая, — сказал Поль.

— Молодой джентльмен, о таких вещах думать не следует, — возразила дама. — Это не годится.

— Почему не годится? — спросил Поль.

— Потому что это невежливо, — сердито сказала миссис Пипчин.

— Невежливо? — переспросил Поль.

— Да.

— Уикем говорит, — наивно сказал Поль, — что невежливо съесть все бараньи котлеты и гренки.

— Уикем, — покраснев, отрезала миссис Пипчин, — злая, бесстыжая, дерзкая нахалка.

— Что это такое? — осведомился Поль.

— Ничего, сэр! — отвечала миссис Пипчин. — Вспомните рассказ о маленьком мальчике, которого забодал до смерти бешеный бык за то, что он приставал с вопросами.

— Если бык был бешеный, — сказал Поль, — откуда он мог знать, что мальчик пристаёт с вопросами? Никто не станет шептать на ухо бешеному быку. Я не верю этому рассказу.

— Вы ему не верите, сэр? — с изумлением спросила миссис Пипчин.

— Не верю, — сказал Поль.

— Ну а если бы бык был смирный, тогда вы поверили бы, вы, маленький невер? — спросила миссис Пипчин.

Так как Поль не задумывался над вопросом с этой точки зрения и основывал все свои заключения на установленном факте — бешенстве быка, — то в данный момент он согласился признать себя побежденным. Но он сидел и размышлял об этом со столь явным намерением поскорее загнать в тупик миссис Пипчин, что даже эта суровая старая леди сочла более благоразумным отступить, пока он не забудет об этом предмете. С этого дня миссис Пипчин как будто почувствовала к Полю нечто похожее на то странное влечение, какое испытывал к ней Поль».

Но Поль умер — и с ним умерло все обаяние романа, хотя до основной идеи автор еще даже не добрался. Уилсон: «Из первой четверти книги, кажется, нельзя выбросить ни единого слова. Если бы Диккенс оборвал „Домби и сына“ на смерти Поля, то... получился бы впечатляющий рассказ о том, как человек, поправший детские чувства, губит одновременно и свою душу; но Диккенс ставил вопрос шире: он хотел показать, как переламинает жизнь бесчувственного и непреклонного духовного уroda». Домби-старший при всех своих пороках никого не убил, а посему мог и должен был исправиться — как Скрудж.

Кэтрин опять забеременела, ее муж опять шутил в письмах, что недоволен ее «поступком». А дома, в Англии, к власти пришло либеральное правительство во главе с лордом Джоном Расселом, отменили Хлебные законы, приняли, как хотел Саутвуд Смит, закон о 10-часовом рабочем дне и 58-часовой рабочей неделе для женщин и подростков. О чем писать, кого обличать, кого бить по голове в рождественской повести, если все идет более или менее хорошо? А писать надо, люди уже привыкли и ждут, бесконечно описывать домашний уют тоже невозможно. Диккенс придумал неубедительный любовный сюжет, забросил «Домби», мучился от головокружений и головных болей — слишком ровный и уютный швейцарский ландшафт будто давил на него; в конце сентября поехал в

Женеvu — стало чуть получше. К октябрю он взял себя в руки, 10-го читал швейцарским друзьям «Домби» — они были в таком восторге, что он впервые подумал: а ведь чтением вслух можно зарабатывать...

Первый выпуск романа разошелся тиражом 32 тысячи экземпляров — зря боялся, успех громадный, критики и те лишь хвалили. А 14 октября Диккенс закончил рождественскую повесть «Битва жизни» — странную, неправдоподобную историю девушки, которая, жертвуя собой ради счастья сестры, нарочно распускает о себе слухи, будто она «пала», бежав с любовником, тогда как она просто уехала. Белинский — Боткину, 8 марта 1847 года: «...из нее [„Битвы жизни“] ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколюбие этого дубового англичанина, когда он является не талантом, а просто человеком».

В октябре в Швейцарии, стране и так-то либеральной по сравнению с другими, случилась либеральная революция под предводительством Джеймса Фэйзи, радикального члена женевского Совета: она началась как протест против отказа федерального правительства распустить Зондербунд (объединение семи консервативных католических кантонов, типа Конфедерации перед Гражданской войной в США), а закончилась — через двухдневное противостояние армии и сердитых горожан — разгоном Совета, новым правительством и новой конституцией, включающей всеобщее избирательное право; многие кантоны поддержали Женеvu (и в итоге в федеральном сейме образовалось либеральное большинство и через пару лет Швейцария из союза государств превратилась в централизованное государство).

Диккенс — Форстеру, 11 октября: «В тот день, когда в Женеве шла схватка, здесь в Лозанне было большое волнение. Весь день мы слышали пушки (от выстрелов сотрясался наш дом), и из города вышел отряд в семьсот человек, чтобы помочь радикальной партии, — он явился в Женеву, как раз когда все было кончено. Нет никаких сомнений, что они получили тайную помощь из Лозанны. То, что я собираюсь сказать, звучит не слишком по-джентльменски, и все же я без всяких оговорок заявляю, что все мои симпатии на стороне радикалов. Этот неукротимый народ имеет, по-моему, полное право испытывать такую ненависть к католицизму — если не как к религии, то как к причине социальной деградации. Они хорошо знают, что это такое. Они живут по соседству с ним — за их горами лежит Италия. Они в любую минуту могут сравнить результаты этих двух систем в своих собственных долинах. И мне кажется, что их отвращение к нему, ужас, который вызывает в них появление католических священников и эмиссаров в их городах, — чувство безусловно разумное и оправданное.

Но даже если отбросить это, вы не можете себе представить, как нелепа, как нагла крохотная женеvская аристократия, — трудно придумать более смешную карикатуру на нашу английскую знать...

Столь же нелепо и наглое, высокомерное презрение к народу, проявляемое их газетами. Трудно поверить, что разумные люди могут быть такими ослами с политической точки зрения. Именно это положение вещей и вызвало перемены в Лозанне. В связи с вопросом о иезуитах была подана чрезвычайно почтительная петиция, подписанная десятками тысяч мелких землевладельцев: попросту говоря, крестьянами из кантонов, великолепно обученными в школах, и в духовном, так же как и в физическом, отношении поистине замечательными представителями сословия тружеников. Аристократическая партия отнеслась к этому документу с неподражаемым презрением, заявив, что он подписан „чернью“, после чего вся эта „чернь“ взяла ружья, в назначенный день вступила в Женеву, и аристократическая партия убралась оттуда без единого выстрела».

Революция произвела на Диккенса столь сильное впечатление, что он даже попытался как-то ввести ее в сюжет «Битвы жизни» (не вышло); в Англии ее ругали, как ругали любую соседскую революцию, и он неустанно защищал ее перед друзьями. Дугласу Джеролду, 24 октября: «Газеты, кажется, знают о Швейцарии ровно столько, сколько о стране эскимосов. Мне хотелось бы показать Вам здешних жителей или жителей кантона Во — они очень культурны, у них великолепные школы, удобные дома, они отличаются умом и благородным независимым характером. Англичане имеют обыкновение чернить их потому что швейцарцы ни перед кем не заискивают. Недавняя здешняя революция (я отношусь к ней с искренней симпатией) проходила в самом благородном, честном и христианском духе. Победившая партия была умеренна даже в первом своем торжестве, умеет быть терпимой и прощать... Они настоящие люди, эти швейцарцы... Для европейских деспотов они бельмо на глазу, и приятно, что под самым носом у запуганных иезуитами королей живет такой славный и здоровый народ». Преподобному Эдварду Тэгарту, 28 января 1847 года: «Боюсь, что борьба закончится вмешательством одной из католических держав, которой захочется уничтожить эти просвещенные и потому опасные (особенно для таких соседей) республики; но, если только я не заблуждаюсь, дух этого народа таков, что доставит еще много хлопот иезуитам и долгие годы будет сотрясать ступени их алтаря».

К концу месяца, немного успокоившись, Диккенс возобновил работу над «Домби и сыном», делился с Форстером планами написать

автобиографию (и тогда же, вероятно, написал небольшой фрагмент о своем детстве) и издавать еженедельную газету, только уже не политическую. 20 ноября он с семьей на три месяца перебрался в Париж. Снял квартиру близ Елисейских Полей, пригласил в это «отвратительное, но волшебным образом привлекательное» место Форстера (тот только что оставил пост редактора «Дейли ньюс»), но тут прибыло письмо от отца с плохими новостями: сестра Фанни больна туберкулезом. Диккенс опять потерял покой и сон, бродил по улицам вдвоем с Джорджиной, работать не мог, болезненно пристрастился ходить в городской морг, о котором написал несколько лет спустя в «Путешественнике не по торговым делам», — рассказ демонстрирует нам, насколько у автора в иные периоды бывали взвинчены нервы и как не только в книгах, но и в жизни им играло его собственное, болезненно яркое, воображение.

«Я не хочу идти туда, но меня туда тянет. Однажды, на Рождество, когда я предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте, я против воли очутился там и увидел седого старика, лежавшего в одиночестве на своем холодном ложе; над его седой головой был открыт водопроводный кран, и вода капля за каплей, капля за каплей стекала струйкой по его изможденному лицу и, огибая угол рта, придавала ему выражение лукавства... На сей раз меня опять потянуло в это ужасное место, и я увидел там крупного темноволосого мужчину, чье лицо, обезображенное водой, внушало ужас комичным своим видом; застывшее на нем выражение напоминало боксера, опустившего веки после сильного удара, но готового тотчас же открыть их, встряхнуть головой и „с улыбкой вскочить на ноги“. Чего стоил мне этот крупный темноволосый мужчина в этом залитом солнцем городе! Стояла жара, и ему от этого было не лучше, а мне и совсем сделалось худо...»

Он выпил коньяку и решил освежиться в купальне на реке: «Я поспешил присоединиться к водной части этого развлечения и наслаждался от души приятным купанием, когда вдруг мной завладела безумная мысль, что большое темное тело плывет прямо на меня. В мгновение ока я был на берегу и начал одеваться. В испуге я глотнул воды, и теперь мне стало дурно, ибо я вообразил, что вода отравлена трупным ядом. Я возвратился в прохладную, затемненную комнату своего отеля и лежал на диване до тех пор, пока не собрался с мыслями. Разумеется, я прекрасно знал, что этот большой темноволосый человек был мертв и что у меня не больше вероятности где-либо повстречаться с ним, кроме как там, где я видел его мертвым, чем вдруг нежданно-негаданно и в совершенно неподобающем месте наткнуться на собор Парижской Богоматери. Что тревожило меня,

так это образ мертвеца, который почему-то так ярко запечатлелся в моем мозгу, что я отделался от него лишь тогда, когда он стерся от времени. Пока эти странные видения одолевали меня, я сам понимал, что это всего только наваждение. В тот же день за обедом какой-то кусок на моей тарелке показался мне частью того человека, и я был рад случаю встать и выйти...» (Мы постоянно цитируем «Путешественника» — может, с него и следует начать чтение? Можно, если вы равнодушны к сюжетным произведениям и любите очерки; если нет — подождем, поищем нечто с сюжетом.)

В письмах друзьям он жаловался на тоску и бранил французов. В декабре ненадолго съездил в Лондон: надо было послать лучших докторов к Фанни (та с мужем жила в Манчестере), отдать в Королевский колледж Чарли (обучение оплачивала мисс Куттс) и присутствовать при публикации «Битвы жизни». 23 декабря он снова был в Париже. Там тоже ожидали революции или чего-то в подобном духе, Дюма подробно описал 1846 год: коррупция, беспредел полиции, фальсификация выборов, король постоянно отказывается в избирательной реформе, бедные смотрят на богатых так, что, по словам Гюго, «это уже не мысли, а действие». Диккенс написал Форстеру, что «вот-вот начнется», но, по его мнению, так мирно и мило, как в Швейцарии, обойтись не могло. Французы ему категорически не нравились, Форстеру он описывал их как «ленивый, ненадежный, ко всему безразличный» народ, «с американской сентиментальной независимостью, но без американской целеустремленности», пригодный не к труду, а лишь к военной службе. Постепенно, однако, он изменил мнение и вскоре уже находил, что французская живость приятно контрастирует с британской угрюмостью; к концу января 1847 года хвалился, что стал «настоящим французом».

Незадолго до этого приехал Форстер: осматривали замки, тюрьмы, картинные галереи, встречались с Дюма, Эженом Сю, Шатобрианом, Ламартином, Скрибом. Диккенс очаровался окончательно и 24 марта писал де ла Рю: «Здесь уважение к искусству, в его самом широком и общем смысле, в Париже — одна из самых прекрасных национальных черт, какие я знаю. Французы — на редкость умные люди: и хотя среди них еще встречается странная смесь учтивости и грубости, я полагаю, что они, во многих отношениях, первые люди во Вселенной». Жить бы тут да и жить, но в феврале пришлось с женой срочно возвращаться в Лондон — Чарли заболел скарлатиной.

Свой дом они сдавали, так что пришлось снять другой; в марте Джорджина привезла из Парижа остальных детей. Чарли поправился, но

положение Фанни было безнадежным, вдобавок ее старший сын — калека, казалось, не переживет мать. 18 апреля Кэтрин родила (как обычно, очень тяжело) сына Сиднея Смита Холдименда, восстановилась на удивление скоро, зато ее муж чуть не погиб: лошадь ударила его копытом, пострадала пишущая рука. Съездили отдышаться в Брайтон, а по возвращении Диккенс вплотную занялся женским приютом.

Анджела Бердетт-Куттс давала на проект 700 фунтов в год и предоставляла компаньону почти полную свободу действий. Сначала он хотел взять 30 женщин, но решил пока остановиться на дюжине. Жилище искал и обустроивал как для себя, если не тщательнее. Нашел на окраине Лондона дом (потом названный «Уранией»): отдельные комнаты для каждой жилицы и обслуживающего персонала, сад, где каждая девушка могла бы разбить собственную клумбу, каретный двор и конюшни, которые можно превратить в прачечную; он также купил луг по соседству и договорился с молочником, что тот будет пастись на лугу своих коров и за это снабжать «Уранию» молоком. Нанял ремонтную бригаду, купил мебель, зеркала, белье, кухонную утварь, оборудование для прачечной, книги, фортепиано — все от тех же поставщиков, которые снабжали его самого. Огастес Трейси и Джордж Честертон, начальники тюрем Тотхилл и Колдбат, согласились направлять к нему девушек и войти в комитет по управлению приютом.

Он пригласил в комитет двух англиканских священников, чтобы мисс Куттс была довольна, и своего личного врача Брауна (последнего Анджела нашла чересчур свободомыслящим и добавила к нему своего врача, помешанного на религии; она также отклонила несколько кандидатур женщин-служащих, одобренных Диккенсом, потому что те не принадлежали к англиканской церкви).

Сам он подбирал для работы с «падшими» умных, твердых и доброжелательных женщин, какой бы веры они ни придерживались, отвергая чересчур неискушенных и тех, кто называл будущих воспитанниц «ужасными»; самым удачным его приобретением оказалась миссис Мортон, молодая вдова врача, пять лет проработавшая в «Урании» и ставшая девушкам чем-то вроде матери. Когда все было готово, он начал переговоры с начальниками тюрем, чтобы подыскать девушек, для которых составил предельно тактичное письмо: «Если Вы когда-либо желали (а я знаю, что Вы, должно быть, желали иногда) возможности оставить Вашу печальную жизнь, хотели иметь друзей, тихий дом, душевное спокойствие, чувство собственного достоинства, — все, что Вы потеряли, — я хочу предложить это Вам. Не подумайте, будто я ставлю себя выше Вас или

пытаюсь задеть Ваше самолюбие, напоминая Вам о ситуации, в которой Вы оказались. Боже упаси! Я обращаюсь к Вам так, как если бы Вы были моей сестрой...»

Не было дня тем летом, чтобы он не занимался «Уранией», а ведь у него была масса других хлопот: коклюш у детей (их отвезли поправляться в Бродстерс), больная Фанни, неоконченный «Домби», и вдобавок он решил, что обязан материально обеспечить знакомого, пожилого писателя Ли Ханта, для чего затеял благотворительную постановку все той же пьесы Джонсона «Всяк в своем нраве». Томасу Томсону, 19 июня: «С Домби и этим спектаклем я полурехнулся, полуиздох». (Он почти не упоминал друзьям об «Урании» — чем меньше народу знает, тем лучше.) А ведь пожилых писателей много, и многим из них не на что жить; он начал обдумывать проект фонда, который мог бы помочь им всем, но пока не нашел компаньона.

Все выпуски «Домби и сына» продавались превосходно — кажется, Диккенс наконец поверил, что литературный заработок от него никуда не денется. (И действительно, после этого романа у него никогда уже не будет финансовых проблем.) Однако появился сильный конкурент: «Панч» с января 1847 года публиковал «Ярмарку тщеславия» Теккерей. Пирсон: «Литературный мир раскололся на два лагеря — сторонников Теккерей и приверженцев Диккенса». Отношения между коллегами никогда не были теплыми. Теккерей, конечно, писал тоньше и реалистичнее, «слезливая размазня» Диккенса его раздражала, при этом он не мог не понимать, каким громадным изобразительным даром обладает его соперник, и, будучи популярен в узком кругу «джентльменов», возможно, завидовал его «народной» славе; Диккенс был довольно равнодушен к творчеству Теккерей, но недолго любил его за чересчур острый язык и привычку зло пародировать коллег. Зато ему очень понравилась другая восходящая звезда — приехавший в Лондон Ханс Кристиан Андерсен. В июле в Лондоне, Манчестере и Ливерпуле Диккенс ставил «Всяк в своем нраве» с собою в главной роли, все деньги пошли Ханту; сидел с сестрой, ездил в Бродстерс проведать детей, бегал по тюрьмам в поисках девушек для приюта и почти каждый день писал, писал (как у них тогда на все хватало времени?!)...

После смерти Поля старший Домби встретил девушку Эдит — для нас это вариация на тему Настасьи Филипповны, хотя хронологически правильно считать наоборот: гордая красавица, стремящаяся к саморазрушению, сплошной «надрыв» и «надлом». Она зачем-то выходит за Домби, хотя ненавидит его, потом убегает от него, нарочно сделав вид

(как в «Битве жизни»), будто бежала с его сотрудником Каркером (злодеем, который, как обычно, необъяснимо, по-злодейски ненавидит Домби), хотя на самом деле Каркеру ничего не «обламывается» — она позвала его, лишь чтобы сказать, что между ними ничего не будет. (Томалин: «Диккенс, естественно, исключил любые намеки на секс, поскольку условности того времени этого требовали, но, возможно, более глубокая причина заключалась в том, что он не знал, как написать об этом...» Нет, на наш взгляд, не в этом дело: просто такая женщина, как Эдит, не могла банально пасть.) А Домби раскаялся и полюбил Флоренс, а потом и ее детей.

Диккенс признавался Форстеру, что почти непрерывно плакал, когда писал вторую половину «Домби». Другой его друг, Уилки Коллинз, сказал позднее, что ни один умный человек не в состоянии читать эту вторую половину без изумления — настолько она плоха. А Эйнсворт назвал ее «чертовски скверной» и «омерзительно плохой». Бранили автора в основном за неправдоподобность перерождения Домби. Честертон: «... всякий раз, когда он пытался описать, как человек изменился, он терпел неудачу — вспомним раскаяние Домби... Цель его иная: его герой висит в блаженной пустоте, где времени нет, нет и обстоятельств...» Но Диккенс не хотел беспрестанно писать одних висящих в пустоте Пиквиков, он развивался сам и имел право развивать своих персонажей, и он защищался в предисловии ко второму изданию: «В мистере Домби не происходит никакой резкой перемены ни в этой книге, ни в жизни. Чувство собственной несправедливости живет в нем все время. Чем больше он его подавляет, тем более несправедливым неизбежно становится. Затаенный стыд и внешние обстоятельства могут в течение недели или дня привести к тому, что борьба обнаружится; но эта борьба длилась годы, и победа одержана нелегко». Давайте понаблюдаем за эволюцией Домби — убедит ли она нас?

«...Что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребенок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, — и только. Но в этот момент чаша радости мистера Домби была так полна, что он почувствовал желание уделить одну-две капли ее содержимого даже для того, чтобы окропить пыль на заброшенной тропе своей маленькой дочери. Поэтому он сказал:

— Пожалуй, Флоренс, ты можешь, если хочешь, подойти и посмотреть на своего славного братца. Не дотрагивайся до него».

Как видно, Домби не садист, он даже пытается принудить себя хорошо относиться к дочери. Надо учесть также, что далее Поль, обожаемый отцом, открыто предпочитает ему Флоренс, вынуждая Домби ревновать.

«Явной неприязни он к ней не чувствовал. Но теперь она приводила его в смущение. Она нарушала его покой. Он предпочел бы совершенно прогнать мысли о ней, если бы знал, как это сделать. Быть может — кто разгадает такие тайны? — он боялся, что возненавидит ее.

— Не хочешь ли ты что-нибудь сказать мне?

Слезы, выступившие у нее на глазах, когда она посмотрела на него, застыли под его взглядом. Она снова потупилась и протянула дрожащую руку. Мистер Домби небрежно взял ее за руку и с минуту стоял, глядя на нее, словно не знал, как не знал и ребенок, что нужно сказать или сделать.

— Ну вот! Будь хорошей девочкой, — сказал он, глядя ее по голове и украдкой бросая на нее смущенный и недоверчивый взгляд. — Ступай к Ричардс! Ступай!»

Флоренс отчасти сама провоцирует нелюбовь отца: она при нем вся как-то скукоживается, не может слова сказать, а мужчины толстокожи, отец попросту не понимает, чего дочь от него хочет. Но вот умирает сын — а она здоровехонька. «Видел ли он перед собой удачливую соперницу сына, здоровую и цветущую? Смотрел ли на свою собственную удачливую соперницу в любви этого сына? Неужели безумная ревность и уязвленная гордость отравили нежные воспоминания, которые должны были заставить его полюбить ее и ею дорожить? Возможно ли, что при воспоминании о малютке-сыне ему мучительно было смотреть на нее, такую прекрасную и полную сил?»

Да, вполне возможно и даже естественно, как естественно и то, что, женившись и подзабыв Поля, он к Флоренс смягчается: «О чем бы она стала размышлять, если бы узнала, что он упорно смотрит на нее, платок на его лице, случайно или умышленно, положен так, чтобы он мог видеть ее, и глаза его ни на секунду не отрываются от ее лица!.. Когда же она снова склоняла голову к работе, он дышал свободнее, но продолжал смотреть на нее с тем же вниманием — на ее белый лоб, ниспадающие волосы и занятые работой руки — и, раз взглянув, казалось, уже не в силах был отвести взор... Мимолетная мысль о том, что счастливый домашний очаг был тут, у него под рукой... гений, охраняющий семейное благополучие, склонялся к его ногам... а он, одержимый своим упорным, мрачным высокомерием, не заметил его... быть может, породила это состояние... Эта мысль могла быть связана с более низменными и незначительными, как, например, с мыслью о том, что новые привязанности заняли в его душе место умершего мальчика и теперь он может простить той, кто отняла у него любовь сына. Даже простого соображения, что она может служить украшением среди всех украшений и роскоши, его окружающих, пожалуй,

было бы достаточно. Но чем дольше он смотрел на нее, тем больше смягчался. В то время как он смотрел, она сливалась с образом ребенка, которого он любил, и он уже не мог отделить их друг от друга».

И вдруг он обнаруживает, что жена его ненавидит и презирает, зато привязалась к дочери, а та к ней, — и опять естественно вспыхивает злоба: так сложилось, что Флоренс все время кого-то отнимает у него. «Да, и он хотел ее ненавидеть и укрепил эту ненависть, хотя на девушку еще падал иногда отблеск того света, в каком она предстала перед ним в памятный вечер его возвращения с молодой женой. Он знал теперь, что она красива; он не оспаривал того, что она грациозна и обаятельна и что он был изумлен, когда она явилась перед ним во всем очаровании своей юной женственности. Но даже это он ставил ей в вину. Предаваясь мрачному и нездоровому раздумью, несчастный, смутно понимая свое отчуждение от всех людей и бессознательно стремясь к тому, что всю жизнь от себя отталкивал, усвоил превратное представление о своих правах и обидах и благодаря этому оправдывал себя перед ней...»

Как мы видим, пока все более чем убедительно, психология выдержана как в реалистическом романе XX века. Смущает ли нас последняя метаморфоза Домби, когда Флоренс вышла замуж и ушла от него, а он остался всеми брошенный, оскорбленный, разоренный? «Он вспоминал, какую она была в тот вечер, когда он приехал с молодой женой. Он вспоминал, какую она была во время всевозможных событий, происходивших в покинутом доме. Он думал о том, что из всех, кто его окружал, она одна никогда не изменялась. Его сын в могиле, его надменная жена стала нечистой тварью, его льстивый друг оказался гнусным негодяем, его богатства растаяли, даже стены, в которых он искал убежища, смотрели на него как на чужого; она одна обращала на него все тот же кроткий, ласковый взгляд».

Да нет, пожалуй, не смущает, тем более что герой полуобезумел от всего с ним случившегося: «Он блуждал по комнатам — совсем недавно они были такими роскошными, а теперь стали такими пустынными и унылыми; даже их форма и размер как будто изменились. И здесь повсюду были следы башмаков, и снова та же мысль о страданиях, которые он перенес, привела его в ужас и недоумение. Он начал опасаться, что вся эта путаница в мозгу сводит его с ума, что мысли его становятся беспорядочными, как следы на полу, и — такие же неверные, запутанные и неясные — сталкиваются одна с другой». Домби не Скрудж, вмиг ставший веселым и счастливым, он уже никогда вполне не приходит в себя, это сломленный старик, что подчеркивается его спокойной привязанностью к

внуку и дрожащей, перепуганной любовью к внучке. Все естественно; как и в случае с влюбленностью Нэнси в Сайкса, современники Диккенса оказались к нему более жестоки, чем мы.

Но Диккенс меньше всего хотел написать камерный психологический роман: в книге целая россыпь персонажей — благородные юноши, комические майоры, добрые капитаны, милые кузены, загадочные старухи-ведьмы, падшие женщины — весь его стандартный набор; и, как обычно, вечная его идея: бедные такие же люди, как богатые, хотя по сюжету романа легко можно было обойтись без бедных. Но он не хотел давать викторианской совести спать спокойно: непременно уколует, укусит, выдавит слезу — а с ней, глядишь, и немного денег на благотворительность... Кто бы так кусал наших богачей, где найти такого человека, когда и мы, еле сводящие концы с концами, не хотим смотреть кино про бедных, а желаем только про олигархов да бандитов?

В ноябре Диккенс ездил в Лидс выступать в Институте механики (очень прогрессивное заведение: вечерняя школа для рабочих, девушки-студентки), потом в аналогичное учебное заведение в Глазго — рассыпался в похвалах, а толпы с обожанием приветствовали его. К Рождеству он принял в «Уранию» первую партию девушек, среди которых были карманные воровки, как Джулия Мосли, бродяжки, как Розина Гейл, и проститутки, как Марта Голдсмит: каждой из них перед выходом из тюрьмы прочли его милое письмо, подписанное «Ваш друг», и обещали, что никто, даже воспитательницы приюта, никогда не узнает о их прошлом. Предполагалось, что каждая партия девушек проведет в «Урании» около года, прежде чем их попытаются пристроить; за это время их научат читать, писать и вести хозяйство.

Диккенс нанял им учителя музыки — но мисс Куттс сказала, что это уж чересчур. Другой конфликт возник из-за одежды: Анджела требовала форму, Диккенс настаивал на ярких красивых платьях и победил. Он хотел также, чтобы у каждой девушки была своя комната, но и девушек набрали больше, чем рассчитывали, и практичная Анджела опять взяла верх: будут спать по трое в комнате и по утрам заправлять постели на виду у других — не прячут ли бутылку?

Девушки вставали в шесть, молились, завтракали, шли на уроки, работали в кухне, в саду или в прачечной; после обеда и ужина у них было свободное время, когда они могли возиться в саду, играть во что-нибудь не азартное и не шумное или заниматься своей одеждой и внешностью, в то время как воспитательницы читали им вслух нравоучительные тексты. По субботам были генеральная уборка и прием ванны (дело для викторианца,

не только бедняка, необычное, но Диккенс настоял на соблюдении личной гигиены). По воскресеньям ходили с воспитательницами в церковь. Посещения старых друзей и переписка воспрещались.

Было скучновато, и некоторые уходили сами, других приходилось исключать. Одна девица завела тайные шашни с полисменом. Две напились и порезали друг друга. Еще одна оказалась лесбиянкой. Почти половина не могли удержаться от краж, но их прощали. Диккенс описал (анонимно) расставание с некоторыми девушками в газете «Домашнее чтение» в 1853 году: уходя, большинство из них плакали, понимая, что второго шанса не будет. Больше всех его огорчила проститутка Изабелла Гордон, яркая, умная красавица (в письме Маклизу Диккенс признавался, что предпочитал брать в «Уранию» красивых девушек), которую он называл своим другом: пила, не подчинялась распорядку и после нескольких месяцев уговоров пришлось ее выгнать. «Когда она вышла из дверей, то была вынуждена остановиться, прислонившись к воротам, и стояла так минуту или две, прежде чем уйти... Сердца у нас разрывались, но мы не могли ее оставить... Она медленно шла по переулку, утирая лицо шалью, с выражением такой безнадежности и горя, каких я никогда не видел».

Всего за годы существования «Урании» через нее прошло более ста девушек, и около половины, по подсчетам Диккенса, преуспели в жизни. Исследователь Дженни Хартли написала книгу^[21], проследив судьбы тех, кто уехал в Канаду и Австралию, и нашла потомков двадцати семи воспитанниц, вышедших замуж: одна из них, Луиза Купер, почтенной матроной возвратилась в Лондон и подарила Диккенсу страусиное яйцо.

Революция во Франции — да какая: не просто сменили одного короля на другого, а совсем его свергли! — произошла в феврале 1848 года. Форстеру, 29 февраля: «Вив ла Републик! Vive le peuple!.. Ваш ГРАЖДАНИН Чарлз Диккенс». Макриди, 2 марта: «Пока я считаю Ламартина^[22] одним из лучших в мире людей и горячо надеюсь, что великий народ создаст благородную республику. Нашему двору следует поостеречься, выражая симпатию бывшим особам королевской фамилии и бывшей аристократии. Сейчас не время для таких демонстраций, и мне кажется, жители некоторых из наших крупнейших городов склонны доказать это весьма недвусмысленно».

Диккенс имел в виду новый подъем чартизма, спровоцированный, разумеется, не только соседской революцией, но и экономическим кризисом 1847 года: останавливались фабрики, проходили митинги, а

весной в Лондоне собрался чартистский Конвент, решивший, несмотря на грозное название, ограничиться подачей в парламент очередной петиции о выборной реформе и шествием 10 апреля. Но правительство, напуганное французскими событиями, заняло все стратегические пункты войсками и вдобавок мобилизовало 100 тысяч добровольцев для борьбы с «либеральной заразой»; О'Коннор, организатор демонстрации, сам призвал людей расходиться, петицию отвезли в парламент, который вновь отверг ее. Диккенс сообщал Бульвер-Литтону, что в добровольные констебли не пошел. Любопытно: с его взглядами его скорее можно было ожидать увидеть среди участников демонстрации... Но для него чартисты были — «они», злые силы хаоса.

У чартистов было левое крыло — «Партия физической силы»; его представители пытались штурмовать рабочий дом в Манчестере, устроили крупные беспорядки в Йоркшире, их почти всех арестовали и посадили. Статья Диккенса «О судебных речах», 23 декабря 1848 года: «Вряд ли необходимо упоминать, что мы не питаем ни малейшей симпатии как к крылу физической силы чартизма вообще, так и к арестованным и осужденным чартистам крыла физической силы в частности. Не говоря уже о жестокости их планов, которым они с такой легкостью и охотой готовы были следовать (даже если поверить, будто эти неслыханные мерзости были подсказаны им иностранными шпионами, сумевшими воспользоваться их тупым невежеством), они помимо всего нанесли такой вред делу разумной свободы в мире, что их нельзя не признать врагами общественного блага и недругами простого народа».

Однако то, что судья попутно обругал Великую французскую революцию, Диккенсу не понравилось: «Французская революция была борьбой народа за социальное признание, за место в обществе. Это была борьба во имя отмщения злобным тиранам. Это была борьба за свержение системы угнетения, которая, забыв о гуманности, порядочности, естественных нравах человека и обрекая народ на неслыханное унижение, воспитала из простых людей тех демонов, какими они показали себя, когда восстали и свергли ее навсегда». Как Уэллс, он одобрял революции и любые волнения только в чужих странах...

«Домби и сын» был закончен в марте: как всегда, герои стали тихо жить-поживать и добра наживать. «Вина, спрятанные в погребах, стареют так же, как в далекие времена — та старая мадера, и пыль и паутина покрывают бутылки. Стоят ясные осенние дни, и на морском берегу часто прогуливаются молодая леди и седой джентльмен...» Уют, милый

английский уют — но почему этот уют все же какой-то не такой полноценный, как у Конан Дойла или Честертона, почему не так тянет оказаться внутри этого уюта?

Причиной тому, возможно, участь злодея. У Дойла или Агаты Кристи злодеи тоже гибнут или покараны иначе, но там это просто функции, а не живые люди, и на них не обращаешь внимания. Диккенс, быть может, сам того не желая, всякий раз (за исключением «Никльби») писал сцену гибели злодея так, что она своей выразительной силой не оттеняла финальный уют, а многократно перевешивала его. «Домби» не исключение. Злодей Каркер (похожий на кошку, с кошачьими глазами — отметьте, пожалуйста, эту деталь, потом мы о ней вспомним) гибнет после совершенного злодеяния (не скажем, какого, — читайте): «Содрогание земли, вибрирующие звуки, пронзительный далекий свисток, тусклый свет, превращающийся в два красных глаза, и разъяренный огонь, роняющий тлеющие угли; непреодолимое нарастание рева, резкий порыв ветра и грохот — еще один поезд промчался и исчез, а Каркер уцепился за калитку, словно спасаясь от него.

Он дождался следующего поезда, а затем еще одного. Он прошел тот же путь в обратную сторону, и снова вернулся, и — сквозь мучительные видения своего бегства — всматривался вдаль, не покажется ли еще одно из этих чудовищ. Он блуждал около станции, выжидая, чтобы одно из них здесь остановилось; а когда оно остановилось и его отцепили от вагонов, чтобы налить воды, он подошел к нему и стал рассматривать его тяжелые колеса и медную грудь и думать о том, какой жестокой силой и могуществом наделено оно. О, видеть, как эти огромные колеса начинают медленно вращаться, и думать о том, как они надвигаются на тебя и крушат кости!..

Он заплатил за проезд до той деревни, где предполагал остановиться, и стал прохаживаться взад и вперед, посматривая вдоль железнодорожного пути: с одной стороны он видел долину, а с другой — темный мост. И вдруг, сделав поворот там, где оканчивалась деревянная платформа, по которой он прогуливался, он увидел человека, от которого бежал. Тот появился в дверях станционного здания, откуда вышел и он сам. И глаза их встретились. Потрясенный, он пошатнулся и упал на рельсы. Но, тотчас поднявшись, он отступил шага на два, чтобы увеличить расстояние между собою и преследователем, и, дыша быстро и прерывисто, посмотрел на него.

Он услышал крик, и снова крик, увидел, что лицо, искаженное жаждой мести, помертвело и перекосилось от ужаса... почувствовал, как дрожит

земля... мгновенно понял... оно приближается... испустил вопль... оглянулся... увидел прямо перед собой красные глаза, затуманенные и тусклые при дневном свете... был сбит с ног, подхвачен, втянут кромсающими жерновами... они скрутили его, отрывая руки и ноги, и, иссушив своим огненным жаром ручеек его жизни, швырнули в воздух изуродованные останки. Когда путешественник, которого узнал Каркер, очнулся, он увидел четверых людей, несущих на дощатых носилках что-то тяжелое и неподвижное, чем-то прикрытое, и увидел, как отгоняли собак, обнюхивавших железнодорожное полотно, и золою засыпали кровь». Вот эта кровь и мешает уюту, что так бесцветен рядом с ее яркостью...

Продажи «Домби» к весне достигли 35 тысяч экземпляров, и люди продолжали покупать старые выпуски; за последний год автор заработал около четырех тысяч фунтов и впервые смог положить в банк капитал. Читатели не обращали внимания на мнение критиков — «Домби» стал самым удачным (пока) произведением Диккенса, и большинство современных литературоведов считают его значительным шагом вперед. Но для Честертона это измена себе, шаг в сторону: «Он стал постигать и осваивать незнакомые, более обычные дары; причастился чужих литературных достоинств — сложной тонкости Теккерея и обстоятельности Джордж Элиот... Я не уверен, улучшились ли его книги; уверен только, что в них стало меньше недостатков. Теперь он реже ошибался, избегая длиннот и пустот, почти не впадал в напыщенность, которая в его ранних романах утомляла тем больше, что он считал ее обязательной... „Домби“ — последний фарс, последняя книга, где действуют законы буффонады и тон задает балаганная нота. В определенном смысле следующую его книгу можно будет назвать первым романом». Ставим ли мы «Домби» на первое место в нашем списке? Нет; но — на одно из первых.

Летом Диккенсы жили, как обычно, в Бродстерсе, где Кэтрин чуть не погибла, когда лошадь понесла; глава семьи постоянно уезжал — дал со своей любительской труппой ряд спектаклей в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге, Глазго, Манчестере и Ливерпуле, сбор — в пользу пожилых актеров. Писал рождественскую повесть «Одержимый, или Сделка с призраком». Фанни мучительно, медленно умирала, он перевез ее с семьей в дом под Лондоном, ходил к ней в течение июля и августа почти каждый вечер — попеременно со своим отцом. 2 сентября она умерла. Ей было 38 лет. Он провел следующие дни с Форстером — руки его дрожали, и о работе не было речи. (На следующий год умер сын Фанни — Диккенс

писал Форстеру: «Господь отвернулся от меня».) Верный Форстер сопровождал его в Бродстерс, а в конце месяца — на пешеходную экскурсию по Рочестеру.

Осенью в Лондоне Диккенс заканчивал «Одержимого», за новый роман пока не брался, писал статьи, рецензии; в одной из них, рассказывая о книге Роберта Ханта «Поэзия науки», спел целый гимн знанию: «Нет более сирен, русалок и великолепных городов, мерцавших в глубине под безмятежной гладью моря или на дне прозрачных озер, но вместо них уничтожившая их Наука показывает нам коралловые острова, построенные мельчайшими созданиями, открывает нам, что наши собственные меловые утесы и известняки возникли из праха мириадов поколений невидимых для глаза существ, и даже разлагает воду на составляющие ее газы и воссоздает ее заново по собственной воле. Набитые сокровищами пещеры в скалах, доступные лишь обладателям волшебного талисмана, Наука разнесла вдребезги, как она может раздробить и стереть в пыль самые скалы, но зато в этих скалах она нашла и сумела прочесть великую каменную книгу, повествующую об истории земли еще с тех дней, когда тьма царила над бездной. На их обрывистых склонах она отыскала следы зверей и птиц, не виданных человеком. Из их недр она извлекла кости и сложила эти кости в скелеты таких чудовищ, которые одним ударом лапы уложили бы на месте любого сказочного дракона». Давно прошли те времена, когда он над науками посмеивался. Поглядим, всегда ли впредь он будет их почитать.

Глава девятая

ЗЛОДЕИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Год 1848-й завершился тем, что два брата Диккенса, Огастес и Фред, женились; последний — на сестре Кристианы Томсон, бывшей Уэллер, в которую Диккенс был недавно (а может, и до сих пор) влюблен. Оба брака он не одобрял и на свадьбы не пришел, точно предчувствуя неладное: оба брата своих жен и детей скоро бросят. В начале 1849 года, когда Англия завершила завоевание Индии, он съездил на неделю в Норидж и Ярмут, где должен был развертываться его новый роман; публикацию Брэдбери и Эванс назначили на апрель. 15 января родился сын, Генри Филдинг; на этот раз Диккенс заранее прочел о хлороформе и пригласил врача из больницы Святого Варфоломея, где применялось обезболивание при родах. Все остальные врачи его ругали и стращали, но он оказался полностью оправдан: ребенок ничуть не пострадал (это будет его самый удачный ребенок, хотя и не самый любимый), а мать быстро оправилась. Имена в честь писателей Диккенс давал своим детям уже давно; на сей раз, как он объяснил Форстеру, сын назван в честь того, в чьем стиле будет написан новый роман. Но «Приключения Дэвида Копперфильда» — роман в его собственном стиле. Это первая автобиографическая (отчасти) работа Диккенса, и в ней много нового — недаром Честертон назвал ее его «первым романом».

Новинка — письмо от первого лица (до сих пор так были сделаны лишь начальные главы «Лавки древностей»). А это рождает новый язык — без роскоши, без завитушек, пусть без потрясающих пейзажей и карикатур, зато без утяжелений и длиннот, чистый и ясный. Герой не «висит в блаженной пустоте»: он развивается, растет, умнеет у нас на глазах. Он даже — невиданное дело! — работает, пишет книги, хотя рассказывать об этой интереснейшей работе Диккенс почему-то счел неинтересным или не знал, как рассказать о ней. Здесь также появляется абсолютно новый тип злодея и его отношений с героем. И, наконец, здесь впервые мы видим героя-ребенка, похожего на обыкновенного ребенка, а не на гипсового ангела или маленького старичка вроде Поля Домби, — не хуже, чем в «Томе Сойере». (До сих пор мы цитировали романы Диккенса в переводах, приведенных в полном собрании сочинений, но здесь давайте возьмем прелестный дореволюционный перевод А. Бекетовой^[23]; и вновь приносим

извинения за большой объем цитат — без них прелесть романа ускользнет и нам не так сильно захочется его прочесть.)

«А вот наша скамья в церкви; какая у нее высокая спинка! Вблизи нас окно, в которое виден наш дом. В течение всей обедни Пиготти не перестает поглядывать в это окно, желая убедиться, не горит ли наш дом и не грабят ли его. Отвлекаясь сама таким образом от церковной службы, Пиготти, однако, бывает очень недовольна, когда я, взобравшись с ногами на скамью, тоже гляжу в окно. Хмурясь, она показывает мне, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я без конца смотреть на него, я и без того хорошо знаю нашего священника, когда на нем нет этой белой штуки. Я боюсь даже, что он удивится, почему я так уставился на него, и, пожалуй, может еще прервать службу и спросить, что мне надо. А что тогда делать? Ужасно скверно зевать, но мне надо же чем-нибудь заняться. Смотрю на матушку, — она делает вид, что не замечает меня. Смотрю на мальчика, сидящего в проходе между скамьями, — он строит мне рожи. Смотрю на солнечный луч, вырывающийся через портик в открытую дверь, и вижу в этой двери заблудшую овцу, — не грешника, нет, а настоящую овцу; она стоит в раздумье, не войти ли ей в церковь. Чувствую, что если слишком долго буду смотреть на нее, то не удержусь и скажу что-нибудь громко. А тогда — что только будет со мной!»

У Дэвида нежная слабохарактерная мать и отчим — ужасный, грубый человек; в конце концов его отсылают в школу-интернат, куда он прибывает раньше других учеников и ждет их появления.

«На площадку выходила старая дверь, которую ученики всю испещрили своими именами. С ужасом думал я о конце каникул и возвращении учеников. Я не мог прочесть ни одного имени, без того чтобы мучительно не задуматься над тем, каким тоном и с каким выражением этот ученик прочтет: „Берегитесь его — он кусается!“ Больше других бросалась в глаза фамилия Стирфорт, — она виднелась в нескольких местах и была вырезана глубже других. Мне все представлялось, что он прочтет надпись громким голосом, а затем станет дергать меня за волосы. Боялся я и другого мальчика — Томми Трэдльса: мне казалось, что этот начнет издеваться надо мной, притворяясь, что ужасно боится меня. Почему-то я также вообразил, что третий мальчик, Джордж Демпль, станет читать мой плакат нараспев. И вот я, маленькое, дрожащее от ужаса существо, до того зачитывался именами учеников (их, по словам мистера Мелля, было человек сорок пять), что мне начинало мерещиться, будто все эти мальчики единогласно решили отправить меня в Ковентрийскую тюрьму, и каждый из них при этом на свой лад выкрикивал: „Берегитесь

его — он кусается!“».

«Вот снова я в классе, сижу на скамье и смотрю мистериу Криклю в глаза, смотрю с трепетом, в то время как он линует арифметическую тетрадь для другого мальчика, руки которого за минуту перед этим были избиты той же самой линейкой, — он теперь, бедняжка, старается стереть следы побоев своим носовым платком. У меня работы по горло, но я отнюдь не из лени смотрю в глаза директору, — нет, он словно гипнотизирует меня, — и я в ужасе жажду знать, чей следующий черед страдать — мой или какого-нибудь другого мальчика... По его грозному приказу подходит к нему несчастный юный преступник, допустивший ошибку в своей работе. Преступник лепечет извинения и уверяет, что завтра он этого не сделает. Тут мистер Крикль, прежде чем начать лупить его, еще поиздевается над ним, отпустит шуточку, а мы, презренные, трусливые щенки, мы смеемся над этим; лица же наши белее полотна, а души ушли в пятки.

Опять сижу я в классе в душный, навевающий дремоту летний день. Кругом меня все гудит и жужжит, словно мои товарищи обратились в рой больших синеватых мух. Всего час или два как мы пообедали, и я все еще чувствую тяжесть от съеденного полухолодного говяжьего жира, а голова моя как будто налита свинцом. Все на свете, кажется, отдал бы я за возможность поспать. Я уставился глазами на мистера Крикля и моргаю, как молодая сова...»

Никаких нагромождений метафоры на метафору, никакой «диккенсовщины», каждая деталь уже не самоценна, а необходима на своем месте — совершенно справедливо Честертон назвал «Копперфильда» «первым романом» Диккенса (хотя в его устах это не комплимент, а порицание). И никаких ангелов, висящих в блаженной пустоте, — везде люди...

Носитель имени, которое пугало Дэвида — Стирфорт, — берет его под покровительство: это подросток на целых шесть лет старше, красавец, умница, гордец и существо довольно-таки жестокое, но ослепленный им Дэвид ничего не замечает. «Он не мог, — да и не пытался, — защитить меня от мистера Крикля, обращавшегося со мной весьма сурово, но когда тот бывал более жесток, чем обычно, Стирфорт говорил, что мне не хватает его смелости и что он, Стирфорт, ни в коем случае не потерпел бы такого обращения; этим он хотел подбодрить меня, за что я был ему очень благодарен». Такого злодея — а Стирфорт злодей — Диккенс еще никогда не писал: это падшая звезда, черное солнце, божество, навек влюбившее в себя героя, и оно милостиво играет с ним в кошки-мышки. «Меня привели

к нему, словно к какому-то важному должностному лицу. Под навесом на площадке для игр он подробно расспросил меня обо всем, касающемся моего наказания, и соизволил изречь, что все это „довольно-таки постыдно“, — слова, за которые я ему вечно благодарен. Разобрав таким образом мое дело и отойдя со мной в сторону, он спросил меня:

— Сколько у вас денег, Копперфильд?

Я ответил, что у меня семь шиллингов.

— Лучше дайте их мне на хранение, — сказал он. — Конечно, если хотите. А если не хотите, можете и не давать.

Я сейчас же поспешил воспользоваться его дружеским предложением и, открыв кошелек Пиготти, все, что в нем было, высыпал ему в руку.

— Быть может, сейчас вы желаете что-нибудь себе купить? — спросил он меня.

— Нет, благодарю вас, сэр, — ответил я.

— Знаете, вы ведь можете это, только скажите, — настаивал Стирфорт.

— Нет, благодарю вас, сэр, — повторил я.

— А не прочь ли вы истратить шиллинга два на бутылочку смородиновой наливки? Мы бы ее распили в дортуаре...

Говоря это, он положил деньги себе в карман и, ласково улыбаясь, сказал мне, чтобы я ни о чем не беспокоился, ибо он устроит все, как надо. Помнится, в постели я долго еще думал о Стирфорте и раз даже поднялся, чтобы поглядеть, как он, такой красивый, подложив изящно руку под голову, лежит, освещенный луной...» «Я восхищался им, любил его, и одно его одобрение являлось для меня достаточной наградой. Оно было так для меня драгоценно, что и теперь, когда я вспоминаю об этих пустяках, сердце у меня сжимается». Томалин: «Это самый близкий подход Диккенса к гомосексуальной любви, и это написано вполне откровенно». Да, может показаться, что так и есть, тем более что Стирфорт все время называет Дэвида женским именем «Дэзи» («Маргаритка»), но все же, думается, Диккенс имел в виду совсем другое: дьявольское обаяние Стирфорта, завораживающее любого, будь то женщина мужчина или ребенок, и желание власти над любимым. Вот они встретились уже взрослыми — а Дэвид по-прежнему в его плену:

«— Скажите, куда поместили вы моего друга, мистера Копперфильда? — спросил Стирфорт... — Как же вы смели, черт вас побери, упрятать мистера Копперфильда на какой-то чердак над конюшней?..

Лакей сейчас же ушел, чтобы перевести меня в новый номер. Тут Стирфорт весело засмеялся, — ему было так смешно, что меня поместили в этот ужасный сорок четвертый номер, — снова потрепал меня по плечу и

пригласил к себе завтракать на следующее утро к десяти часам, чем я, конечно, был очень горд и счастлив... Стирфорт продолжал быть таким же очаровательным до самого нашего ухода в восемь часов; даже можно сказать, что с каждым часом он становился все более очаровательным. Мне казалось тогда и кажется теперь, что сознание, что он покоряет тех, кого хочет, делало его еще более чутким к ним и как бы облегчало дальнейшую над ними победу».

Ни один литературовед не высказал мало-мальски убедительного предположения о том, «с кого» Диккенс писал Стирфорта. Очень может быть, что это плод чистого воображения — у писателей такое бывает гораздо чаще, чем полагают читатели и критики, а уж Диккенсу воображения было не занимать, — но если уж непременно искать прототип, то, на наш взгляд, это мог быть Джеймс Лэмерт, подростком живший в семье Диккенсов, когда Чарлз был ребенком, и приохотивший его к театру, а потом устроивший на ужасную фабрику ваксы. Так или иначе, этот нетипичный злодей временами то ли раскаивается, то ли играет в раскаяние — редкий случай, когда у Диккенса не до конца все ясно:

«— Знаете, Давид, я несказанно жалею, что последние двадцать лет у меня не было здравомыслящего отца.

— Что с вами, дорогой мой Стирфорт?

— Всем сердцем жалею, что мной не руководили как следует, — воскликнул мой друг, — и что сам я не выработал в себе умения владеть собой!..

— Если даже я не буду в силах помочь вам советом, — говорил я, — то хоть смогу всей душой посочувствовать.

Но не успел я проговорить это, как Стирфорт расхохотался. Вначале смех его был какой-то неприятный, деланный, но вскоре в нем послышалась его обычная веселость.

— Все это, Маргаритка, вздор и пустяки! — воскликнул он. — Помните, я как-то говорил вам в Лондоне, что подчас бываю плохим для себя компаньоном. Вот и сейчас меня словно какой-то кошмар терзал. Порой, в грустные минуты, мне вспоминаются сказки, слышанные в детстве, и тут мне представилось, что и я, непослушный мальчик, угодил на съедение львам (ведь не правда ли, что более величественно, чем быть растерзанным собаками?). И у меня, как говорят старухи, от ужаса волосы на голове стали дыбом. Я самого себя испугался.

— Надеюсь, ничто другое не страшит вас? — с беспокойством спросил я.

— Как будто да, а впрочем, всегда есть поводы бояться. Но что об этом

говорить! Кошмар рассеялся, и я, Давид, не допущу, чтобы он опять овладел мной. Но все-таки еще расскажу вам, друг мой, что было бы гораздо лучше для меня (и не только для меня одного), если бы я имел здравомыслящего и с твердым характером отца.

Когда он говорил это, продолжая смотреть на огонь, мне показалось, что никогда до сих пор я не видел его выразительного лица таким серьезным и мрачным.

Тут он вдруг сделал такой жест рукой, словно что-то отталкивал от себя в воздухе, и произнес: „Оно ушло, и снова стал я человеком“, — помните, это сказал Макбет, когда освободился от терзавшего его привидения... А теперь идемте обедать».

Одновременно с работой над романом Диккенс вел на страницах «Экземинера» страстную кампанию против владельца фермы для сирот в предместье Лондона, где 150 детей умерли от холеры: «Как только стало известно, что в Тутинге, на ферме для детей бедняков, принадлежащей мистеру Друэ, началась губительная эпидемия, раздался обычный в таких случаях хвалебный гром труб... Из всех подобных ферм мира тутинговская была самой восхитительной. Из всех содержателей подобных ферм мистер Друэ был самым бескорыстным, ревностным и безупречным...» Расследование состоялось, и Диккенс победил: суд присяжных вынес обвиняемому вердикт «виновен в непредумышленном убийстве». Но этого мало: «Если система „ферм для детей бедняков“ не может устранить возможность того, что еще одну тутинговскую ферму опустошат страшные руки Голода, Болезни и Смерти, эту систему надо немедленно уничтожить. Если Закон о бедных в своем нынешнем виде бессилен предотвратить такие чудовищные несчастья, он должен быть изменен». Но тут он потерпел поражение. Закон о бедных начал серьезно реформироваться лишь в конце XIX века, а полностью отменен был только в 1948 году.

У Кэтрин, вероятно, вновь была послеродовая депрессия — в феврале муж отвез ее на две недели поправляться в Брайтон. Всю весну он следил за итальянскими событиями — в тамошних государствах прокатилась волна революций, в частности, была свергнута светская власть папы в Папской области и установлена Римская республика во главе с политиком Джузеппе Мадзини, сторонником объединения Италии; недавно избранный президентом Франции Луи Наполеон не захотел ссориться с папой и послал войска для усмирения республиканцев, с которыми ранее намеревался вступить в союз. После этого французы вновь стали «мерзкой нацией», как писал Диккенс Ричарду Уотсону.

В мае появился первый из ежемесячных выпусков «Копперфильда» с иллюстрациями Брауна: продажи чуть пониже, чем у «Домби», зато писалось куда легче. В июле сняли для всей семьи (восемь детей; старший вот-вот пойдет в Итон, младший в пеленках) виллу в курортном местечке Бончерч на острове Уайт, где столкнулись с Теккереем, написавшим знакомой, миссис Брукфилд: «Бегу вдоль пирса, и вдруг мне навстречу великий Диккенс со своей женой, своими детьми, своей мисс Хогарт, и у всех до неприличия грубый, вульгарный и довольный вид».

Бончерч выбрали из-за считавшегося здоровым климата; врачи также посоветовали Диккенсу по утрам обливаться холодной водой и целый день пить воду. Сперва все шло нормально — пикники, танцы, верховые прогулки и вода, вода, вода, но вскоре Диккенс простудился и местный врач рекомендовал растирания груди — такие применяли при туберкулезе. Он решил, что умрет от туберкулеза, как Фанни, и писал Форстеру, что его руки и ноги дрожат, он не в силах даже причесаться и умрет немедленно, если задержится на острове. Вдобавок его друга Лича, отдохавшего вместе с Диккенсами, снесла большая волна и разбила ему голову о камень. Поспешно перебрались (до октября) в любимый Бродстерс, там все признаки «туберкулеза» исчезли, и Диккенс смог нормально работать над «Копперфильдом», вот только продажи его не удовлетворяли. Форстеру, сентябрь: «После „Домби“ отклики кажутся весьма скромными... как малый успех „Чезлвита“ помог мне, так огромный успех „Домби“, наоборот, мне сильно повредил».

Он вновь носился с мыслью о собственной еженедельной газете. Форстеру, 7 октября: «В отношении подбора материала у меня есть особые соображения. Прежде всего, он должен быть посвящен определенной теме. Скажем, рассказы о пиратах... Или рассказы о дикарях — тут можно показать, в чем именно все дикари схожи друг с другом, а равным образом показать и те обстоятельства, при которых люди цивилизованные в трудных условиях быстрее всего уподобляются дикарям. Рассказы о выдающихся личностях, хороших и дурных, — в историческом плане... Чтобы все это связать воедино и, так сказать, создать определенную законченную картину, я представляю себе некую Тень, которая может проникнуть повсюду — и при свете солнца, луны и звезд, и при свете камина и свечи, быть во всех домах, во всех углах и закоулках, знать все и обо всем... Я хочу, чтобы в первом номере Тень рассказала о себе и своем семействе. Я хочу, чтобы письма адресовались ей... Я хотел бы, чтобы она, как некое причудливое существо, витала над всем Лондоном и чтобы у читателя возникала мысль:

„Интересно, что скажет об этом Тень?“... Имеется в виду создание оригинального, фантастического, причудливого существа, чего-то вроде неведомой ранее Силы. Оно... должно быть достаточно таинственным и необычным, чтобы пленить воображение, а само должно олицетворять здравый смысл и гуманность». Чертовски жаль, что именно такой газеты он (и никто) никогда не создаст...

Осень прошла в тяжбах: соседка-парикмахерша, которую Диккенс «вывел» в «Копперфильде» в качестве отрицательного персонажа, подала иск, пришлось переделывать ее в персонаж положительный. Англичанин Томас Пауэлл издал в США фальшивую и клеветническую биографию Диккенса и на него же грозил подать в суд за клевету — дело кончилось ничем, но испортило много крови. 13 ноября Диккенс вновь, заранее сняв удобную квартиру, наблюдал за казнью: супругов Мэннинг, содержателей гостиницы, повесили за убийство постояльца, поглазеть пришли 50 тысяч человек. (Женщина накануне казни пыталась покончить с собой.) Диккенс — де Сэржа, 29 октября: «Поведение людей было неопишимо ужасным, мне еще долго казалось, что я живу в городе, населенном дьяволами. До сих пор я чувствую, что не мог бы приблизиться к этому месту. Письма мои по этому вопросу произвели большой шум. Но у меня отнюдь нет твердой уверенности, что в связи с этим что-нибудь изменится, главным образом потому, что сторонники отмены смертной казни совершенно безрассудны...»

Письма, о которых он упоминает, были опубликованы в «Экземинере» в ноябре: «Лорд Грей говорил, что правительство может оказаться вынужденным поддержать меру, предусматривающую исполнение смертного приговора в торжественной тишине тюремных стен... Я хотел бы призвать лорда Грея к тому, чтобы он наконец ввел эту перемену в нашем законодательстве, ибо эта святая его обязанность перед обществом и откладывать это дело долее он не вправе». Тех, кто ратовал за полную отмену смертной казни, Диккенс не одобрял, хотя в принципе разделял их позицию: он считал, что общество не готово и все должно делаться постепенно. Так и вышло: последняя публичная казнь состоялась в 1868 году, а отменили смертную казнь лишь в 1969-м, спустя год после казни ирландского террориста Барретта (дебаты об отмене длились семь часов).

К концу года Чарли успешно сдал экзамены в Итон — оплатила учебу опять-таки мисс Куттс, хотя Диккенс, наверное, мог бы и сам сделать это. Кэтрин забеременела снова — в последние годы передышки ей почти не давалось. Диккенс, заручившись согласием Брэдбери и Эванса, уже всерьез занимался новой газетой, решив в конце концов назвать ее

непритязательно: «Домашнее чтение».

Из передовой статьи в первом номере: «Название, выбранное нами для этого журнала, говорит о том заветном желании, которое подсказало нам мысль издавать его. Мы смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читателей, быть приобщенными к их домашнему кругу. Мы надеемся, что многие тысячи людей любого возраста и положения найдут в нас задушевного друга, хотя бы нам никогда не привелось увидеть их. Мы стремимся принести из бурлящего вокруг нас мира под кровлю бесчисленных домов рассказы о множестве социальных чудес — и благодетельных, и вредоносных, но таких, которые не сделают нас менее убежденными и настойчивыми, менее снисходительными друг к другу, менее верными прогрессу человечества и менее благодарными за выпавшую нам честь жить на заре времен. Ни утилитаристский дух, ни гнет грубых фактов не будут допущены на страницы нашего „Домашнего чтения“. В груди людей молодых и старых, богатых и бедных мы будем бережно лелеять тот огонек фантазии, который обязательно теплится в любой человеческой груди...»

По договору Диккенс получал 40 фунтов в месяц за работу редактора, гонорары за опубликованные в «Домашнем чтении» тексты и половину прибыли, Брэдбери и Эванс — одну четвертую, в долю также вошли Форстер и назначенный заместителем Диккенса (как и в «Дейли ньюс») Уиллс — им причиталось по одной восьмой части прибыли. (Брэдбери и Эванс на сей раз были убеждены в успехе, так как речь шла не о политическом издании: они уже издавали знаменитый юмористический журнал «Панч», которым руководил друг Диккенса Марк Лемон.) Перенести в «Домашнее чтение» «Копперфильда» Диккенс не решился — еженедельные выпуски писать слишком трудно — и стал искать других авторов: первой, к кому он обратился, была Элизабет Гаскелл, недавно опубликовавшая с помощью Форстера роман о восстании чартистов «Мэри Бартон»: Гаскелл согласилась стать постоянным сотрудником, несмотря на то, что все публикации в «Чтении» должны были быть анонимными.

Офис для газеты арендовали по адресу Веллингтон-стрит, 16 (возле Стрэнда). Там Диккенс устроил себе наверху квартирку из двух комнат, чтобы сэкономить на отелях, приезжая в Лондон летом (свой городской дом он с мая по октябрь сдавал): нанял прислугу, устраивал холостяцкие обеды и почти что поселился в ней. 30 марта 1850 года вышел первый номер «Чтения» с новым романом Гаскелл и статьей Диккенса «Развлечения для народа»: «Если правда, что одна половина общества не знает, как живет другая, то, уж конечно, высшие сословия не знают, да и не хотят знать, как

развлекаются низшие. Полагая, что не интересуются они этим именно потому, что ничего об этом не знают, мы намерены время от времени сообщать кое-какие факты, имеющие касательство к этой теме». Газета выходила по средам, стоила два пенса и скоро достигла устойчивого тиража в 40 тысяч экземпляров (примерно как у книг Диккенса); в первый же год он получил 1700 фунтов прибыли.

Питер Акройд: «„Домашнее чтение“ не было серьезным интеллектуальным изданием, как „Эдинбург ревью“, а заняло свое место среди газет, которые эксплуатировали количественный рост читающей публики... „Домашнее чтение“ не было ни самым умным, ни самым научным, ни даже самым творческим изданием — оно было веселым, ярким, информативным... В отличие от „Пенни мэгэзин“, продававшегося вдвое дешевле и ориентированного на рабочий класс, „Домашнее чтение“ предназначалось в основном для среднего класса. Это была смесь информации, искусства и радикальной публицистики, нечто среднее между „Нью-Йоркером“ и „Нэйшн“, но гораздо более привлекательная».

Даже если средний класс не хотел, чтобы ему сообщали факты о том, «как развлекаются низшие», деваться ему было некуда, поневоле читал — и Диккенс не пропускал случая уколоть совесть читателей, публикуя статьи то о рабочих домах, то о жилье для бедных, то о подоходном налоге (увеличить для богатых, уменьшить для работающих), то на свою излюбленную тему — праве бедняков развлекаться по воскресеньям, как им хочется. Его шурин Генри Остин, служивший в министерстве здравоохранения, давал ему материалы; передовицы писал Форстер; хронику вел тесть, Джордж Хогарт; Джон Диккенс был также включен в штат — репортером. Диккенс привлек к сотрудничеству популярного романиста и одну из первых феминисток Элизу Линтон, профессора английской литературы Генри Морлди, драматурга Бланшарда Джерольда, театрального критика Перси Фицджеральда; иностранным корреспондентом стал известный журналист Джордж Сала, солиднейший биолог Ричард Оуэн (тогда еще не открытый противник Дарвина) и химик Майкл Фарадей дали ряд статей по своей тематике.

Вдобавок Диккенсу пришла в голову удачнейшая идея: «задружиться» с лондонской полицией и печатать очерки о ее буднях и о раскрытии преступлений. Короче говоря, на сей раз газета удалась вполне, и к Диккенсу как редактору особых претензий не было (хотя правил он довольно деспотично и сразу сказал, что публикаций, расходящихся с его политическими взглядами, не будет), тем более что всю техническую часть дела взял на себя оказавшийся незаменимым Уиллс.

Тем временем Дэвид Копперфильд прошел фабрику ваксы, подросток и после смерти матери попал к бабушке, мужеподобной, но ужасно симпатичной (это необычно для Диккенса — может, Анджела Бердетт-Куттс, Элиза Гаскелл и Элиза Линтон убедили его, что деловая женщина не обязательно чудовище?); он взрослеет, и все время рядом с ним девушка Агнес, добрая и умная, к которой он относится как к сестре — отныне в романах Диккенса рядом с героем почти всегда будет фигурировать такая девушка-друг. Обратите внимание на фразу: «Я всегда считал себя слабым по сравнению с ней, такой твердой и сильной духом». Не подумывал ли он о том, что Джорджина — пусть даже он любил ее лишь «по-братски» — была бы ему куда лучшей женой, чем Кэтрин?

Но влюбляется Дэвид, конечно, в другую, в легкомысленную красавицу Дору: «С досадой увидел я, что здесь нас ждет целое общество, и во мне закипела безграничная ревность, даже к женщинам. А что касается представителей моего пола, и особенно одного, который был года на три-четыре старше меня и невыносимо важничал своими рыжими бакенбардами, то я их считал своими смертельными врагами. Распаковав свои корзины, мы занялись приготовлениями к обеду. Рыжий уверил, что умеет готовить салат (в чем я очень сомневался), и благодаря этому стал центром общего внимания. Некоторые из молодых леди принялись мыть салат и резать его по указанию рыжего. Дора была в их числе. Я почувствовал, что судьба роковым образом столкнула меня с этим человеком и один из нас должен погибнуть... Рыжий в конце концов приготовил-таки свой салат. Не понимаю, как они были в состоянии есть его! Меня ничто не могло бы заставить даже до него дотронуться!»

Но Рыжий оказался не соперником, объяснились и вот уже помолвлены: «Помню, как я, сняв мерку с пальчика Доры, заказывал ювелиру колечко из незабудок, и тот, прекрасно понимая, в чем тут дело, посмеивался, записывая в книгу мой заказ, и взял с меня все, что ему заблагорассудилось. Это колечко с голубыми камушками до того связано у меня с образом Доры, что вчера, увидав похожее на руке дочери, я почувствовал, как сердце мое сжалось от боли... А эти воробьи в городском сквере, где мы, такие счастливые, сидели с Дорой в пыльной беседке... И до сих пор из-за этого люблю я лондонских воробьев, и радужным кажется мне их серое оперение...»

Никто не сомневается, что Диккенс здесь описал свои чувства к Марии Биднелл, но, как мы уже говорили, не факт, что именно она, а не Кэтрин (хотя бы отчасти) была моделью Доры-жены. «И вот главным назначением

поваренной книги стало изображать в углу пьедестал для Джипа, когда песик учился стоять на задних лапках. Но Дора так сияла, когда добилась того, что ее любимчик стал служить, держа в зубах пенал с карандашами, что я был вполне вознагражден за покупку поваренной книги. И мы снова прибегали к футляру для гитары, снова пелись баллады на мотив „тра-ла-ла“, снова рисовались цветы, и мы запасались счастьем на всю неделю...»

Напрашивалось, казалось бы, такое развитие сюжета: легкомысленная жена ничего вообще не понимает, изводит мужа, и жизнь становится адом. Но Диккенс не хотел писать ни ангела, ни карикатуру: он впервые изобразил нормальную молодую женщину с недостатками, сознающую их и по-своему пытающуюся развиваться, а не «висеть в блаженной пустоте». Дора неглупа, искренне любит мужа, отдает себе отчет в том, что она — вечная «жена-детка», и даже пытается через себя переступить:

«Иногда вечером, когда я оставался дома и работал, — а теперь я немало писал и начинал понемногу приобретать имя в литературе, — я откладывал перо и наблюдал, как моя „жена-детка“ старалась „быть хорошей“. Прежде всего она приносила свою необъятную расходную книгу и с глубоким вздохом клала ее на стол. Потом она раскрывала ее на том месте, где вчера похозяйничал Джип, и звала его полюбоваться на то, что он натворил. Это доставляло Джипу развлечение, а его носу, пожалуй, немного чернил в наказание. Затем она приказывала Джипу немедленно лечь на стол в позе льва, — это была одна из его штук, хотя, на мой взгляд, сходство со львом далеко не было разительным, — и если он бывал в послушном настроении, то повиновался этому приказу. Затем она брала перо и начинала писать. В перо оказывался волосок. Она брала второе перо и начинала писать, но перо делало кляксы. Она брала третье перо и начинала писать, тихонько-тихонько приговаривая: „О, это перо скрипит, оно помешает Доли!“

Наконец она совсем бросала эту досадную работу и откладывала в сторону расходную книгу, притворно замахнувшись на „льва“. Когда же она бывала в очень спокойном и серьезном настроении, то усаживалась за аспидные дощечки и корзиночки со счетами и другими документами, более всего похожими на папильотки, и с их помощью старалась чего-то добиться. Очень тщательно она сравнивала их друг с другом, делала записи на дощечках, стирала их, снова и снова пересчитывала все пальцы левой руки от мизинца до большого пальца и обратно. И при этом у нее был такой огорченный унылый вид, казалась она до того несчастной, что мне было больно смотреть на ее всегда сияющее, а теперь омраченное из-за меня личико».

Герой встречается со Стирфортом и знакомится с его странной семьей: живущими в симбиозе любви-ненависти властной матерью, чье бездонное самолюбие как о скалу разбивается о такое же самолюбие сына, и ее приживалкой, язвительной Розой Дартл, когда-то давно бывшей любовницей Стирфорта и продолжающей его любить (и ненавидеть), — последняя, как и Эдит в «Домби и сыне», относится к типу «Достоевских» женщин Диккенса (с примесью настоящей ведьмы): «Она походила на заброшенный дом, стоящий много лет без квартирантов. Худоба ее, казалось, была следствием какого-то пожирающего ее внутреннего огня, который светился в ее мрачных глазах». Ревность и ненависть — единственные чувства, что ее поддерживают, и весь роман испещрен ее бешеными монологами: «С радостью растоптала бы их всех! — воскликнула она. — С радостью снесла бы я его дом до основания! О, как хотела бы я, чтобы этой девчонке заклеями физиономию каленым железом, чтобы ее одели в рубище и выгнали на улицу! Пусть сдохла бы там от голода! Если бы только от меня это зависело, я, ни минуты не колеблясь, вынесла бы ей именно такой приговор. Мало того, я еще привела бы его в исполнение собственными руками! Я ненавижу ее! И знай я, где найти ее, я пошла бы куда угодно, чтобы опозорить ее. Если бы я смогла вогнать ее в гроб, я бы не остановилась перед этим. Знай я слово, способное утешить ее в предсмертный час, я скорее умерла бы, чем произнесла это слово!»

Но пока еще ничего не случилось: «Прошла неделя, полная очарования. Конечно, она промелькнула быстро для того, кто пребывал в таком восторженном состоянии, как я, и все же я имел возможность еще ближе узнать Стирфорта и сотни раз еще больше восхищаться им, а потому мне казалось, будто я живу у него значительно дольше. Он обращался со мной как с игрушкой, но, пожалуй, такая смелая манера нравилась мне больше, чем любая другая. Она напоминала мне о прежних наших отношениях и как бы являлась естественным их продолжением; она служила доказательством того, что он не изменился, и благодаря ей я мог не сравнивать наши достоинства и не взвешивать мои притязания на дружбу с ним на равной ноге, а самое главное было то, что только со мной он обращался так непринужденно, тепло и сердечно. В школе он относился ко мне совсем иначе, чем к другим ученикам, и теперь я с радостью готов был верить, что ни к одному из своих приятелей он не относится так, как ко мне. Я верил, что я ближе ему, чем любой его приятель, и чувствовал сильную, глубокую к нему привязанность».

А потом Стирфорт от скуки соблазняет девушку Эмили из простой

семьи, да еще, наигравшись, и прогоняет несчастную; чувства Дэвида по этому поводу тоже вполне «Достоевские», раннему Диккенсу абсолютно несвойственные: «Думаю, что свойственное мне может быть свойственно и многим другим людям, и потому я не стыжусь признаться, что никогда так сильно не любил Стирфорта, как после того, когда все между нами было порвано. Страшно горя о совершенной им низости, я больше чувствовал все доброе, что было в нем, больше ценил блестящие его способности, чем в пору наисильнейшего моего увлечения им. Как ни горько было мне, что я невольно замешан в его преступлении, в подлом поступке против честной семьи, но мне казалось, что, очутись я лицом к лицу с ним, я не был бы в силах бросить ему слово упрека. Не будучи уже больше очарован им, я так еще любил его и свою любовь к нему...»

В июне в Лондоне проходила выставка художников-прерафаэлитов: Россетти, Ханта, Милле (название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи Раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело), — Диккенс обрушился на нее (ничего не смысля в живописи) с посылом: зачем нам старое, когда есть новое; его также возмутил обычай использовать натурщиков с улицы в картинах на священные сюжеты: «Должен прямо заявить, что весельчак лодочник в роли херувима или ломовой извозчик, выдаваемый за евангелиста, не вызовут у меня ни восторга, ни одобрения, сколь бы громкой известностью ни пользовался художник».

Уилсон: «Казалось бы, надо наоборот: ревностный унитарий, каким в ту пору был Диккенс, должен всячески приветствовать человеческое в Христе и вообще на путях господних. Но думать так значило бы извратить природу возвышенного, которое Диккенс допускал в религии даже в этот унитарийский период своей жизни. Он постоянно обращается к жизни и наставлениям Христа, напоминая о нашем долге на земле, но это всегда Спаситель с прописной буквы. Понятен ужас Диккенса перед картиной Милле, где мальчик Иисус изображен с пораненной в работе рукой: „Будьте любезны выбросить из головы все эти ваши идеи послерафаэлевского периода, всякие там религиозные помыслы и возвышенные рассуждения; забудьте о нежности, благоговении, печали, благородстве, святости, грации и красоте и, как приличествует этому случаю, с точки зрения прерафаэлиты, приготовьте себя к тому, чтобы погрузиться в самую пучину низкого, гнусного, омерзительного и отталкивающего... Разденьте грязного пьяницу, попавшего в больницу с варикозным расширением вен, и вы увидите

одного из плотников“. Такая брезгливость не очень вяжется с евангельской проповедью любви к бедным и больным».

На наш взгляд, Христос тут по большому счету ни при чем: Диккенс не выносил (во всяком случае, в ту пору) ничего «грубого» в искусстве вообще, следуя своему принципу: «исторгнуть слезы» возможно лишь «нежным и бережным прикосновением к сердцу». Помните: «...если бы в суде мне прочитали сцены, в которых описывается, как пьяный Гонт явился в постель к своей жене и как был зачат последний ребенок, и спросили, пропустил ли бы я, как редактор, эти сцены (независимо от того, были они написаны истцом или кем-либо другим), я был бы вынужден ответить: нет. Если бы меня спросили почему, я бы сказал: то, что кажется нравственным художнику, может внушить безнравственные мысли менее возвышенным умам... Если бы меня спросили, пропустил ли бы я отрывок, в котором Кэти и Мэри держат на коленях незаконного ребенка и рассматривают его тельце, я бы снова по той же причине вынужден был бы ответить: нет...»

Что же касается унитаризма, то еще начиная с 1848 года Диккенс стал потихоньку отходить от него (сохранив самые добрые отношения с преподобным Тэгартом), хотя сама унитарийская доктрина такова, что «уйти» от нее нельзя: она вбирает в себя любые проявления христианской веры. Во всяком случае, он вновь стал — возможно, чтобы угодить мисс Куттс, от согласия с которой зависела жизнь его драгоценного детища, «Урании», — посещать англиканскую церковь, что располагалась возле его городского дома. Кроме того, в 1850-х переживала расцвет «низкая» ветвь англиканства — та, что против пышности и обрядности, — и он нашел, что она его в общем устраивает. Биографы затрудняются ответить на вопрос, к какой же конфессии он принадлежал большую часть своей жизни. Кажется, это его мало волновало. В завещании он напишет: «Уповаю на милость господню, я вверяю свою душу отцу и спасителю нашему Иисусу Христу и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не букве, но общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо узкие и превратные толкования».

В июле Диккенс ездил с Маклизом в Париж «прошвырнуться по театрам»: французы из «мерзких» вновь стали милыми, но Луи Наполеон, сажавший оппонентов в тюрьмы, ему все больше не нравился. 10 августа Кэтрин родила дочь Дору Энн, названную в честь героини «Копперфильда», — видно, Диккенс был совсем не суеверен, ведь он наверняка знал, что убьет героиню романа Дору.

Сам он с остальными детьми жил в Бродстерсе с няньками и Джорджиной, приехал в Лондон к родам и снова уехал, но ему пришлось

вернуться: жена была как никогда плоха. У нее начались головокружения и то, что мы сейчас называем паническими атаками, — все это продлится около четырех лет. Пришлось везти ее (младенца как обычно сдали кормилице, няньке и Джорджине) в водолечебницу Мальверн: хотя сам Диккенс от лечения водой год назад чуть не скончался, он все еще верил в этот способ, и Кэтрин, едва стоявшую на ногах, завертывали в ледяные простыни и вливали в нее огромные количества воды. После десяти беременностей она сильно расплнела — посадили на диету. Ничего не осталось от прелестной «жены-детки»... Неудивительно, что Диккенс, съездив ненадолго в гости к супругам Уотсон, завел что-то вроде романа с кузиной Лавинии Уотсон, сорокалетней Мэри Бойл.

В конце лета они с Бульвер-Литтоном (очень богатым человеком) затеяли проект, о котором Диккенс давно думал, — Гильдия литературы и искусств, фонд помощи нуждающимся пожилым писателям и художникам. Предполагалось, что Бульвер-Литтон на своей земле построит для них дом; деньги будут зарабатывать, в частности, благотворительными любительскими спектаклями. Ставили все ту же комедию Джонсона «Всяк в своем нраве», Кэтрин дали главную роль, она по своему обыкновению подвернула ногу, ее заменила Мэри Бойл, но и та по личным причинам вышла из дела — Диккенс был очень разочарован. Но под рукой была еще Джорджина... В ноябре в имении Бульвера дали три представления, и тогда же в «Копперфильде» была поставлена последняя точка. Форстеру, 21 октября: «Я, кажется, отправил какую-то часть себя в призрачный мир». Знакомому, Артуру Риланду, 29 января 1855 года: «...не стыжусь признаться, что я и сейчас не могу без волнения взять в руки эту книгу (так велика была ее власть надо мной в ту пору, когда я писал ее) и что стоит мне только подступить к ней, как я начинаю читать все подряд и при этом чувствую, что не смогу изменить в ней ни слова».

Стирфорт никого не убил — стало быть, по Диккенсу, он может раскаться, как Скрудж и Домби? Но в викторианской морали соблазнение равносильно убийству и должно караться так же — смертью. Но не позорной — так обойтись со Стирфортом автор не мог, — а романтической. Действие многих сцен «Копперфильда» происходит на море, и море заберет злодея: Диккенс специально ездил на побережье, заканчивая книгу, чтобы написать потрясающую сцену бури:

«Ветер, вздымая целые тучи песка и мелких камушков, дул с оглушающим ревом прямо в лицо, и только в промежутках между его порывами можно было разглядеть море. И вот когда наконец мне удалось увидеть то, что там творится, я был поражен. Колоссальные волны, идя

стенами, пенясь, разбивались на берегу с такой силой, что, казалось, самая меньшая из них способна поглотить весь город. Словно силаясь подкопаться под берег, оставляя на нем глубочайшие ямы, волны эти с глухим ревом уходили назад. Некоторые из этих водяных чудовищ с белыми гребнями разбивались, не достигнув берега, но, будто не утратив от этого силы бешенства, они стремились соединиться с другими волнами, как бы спеша воссоздать новое чудовище. Движущиеся водяные холмы превращались в глубокие долины, над которыми порой проносился буревестник, а из этих движущихся долин снова поднимались холмы. Водяные массы с глухим ревом потрясали взморье, постоянно меняя и место и вид. Фантастический берег на горизонте вместе со своими домами и башнями то поднимался, то опускался. А по небу неслись зловещие черные тучи. Мне казалось, что на моих глазах совершается какая-то ломка, во всей природе происходит какой-то сдвиг».

Диккенс в этот раз не показал нам гибель злодея «изнутри» — это не нужно, так как она описана любящими глазами Дэвида, который, впрочем, до последней минуты не знает, кто тот смелый красавец, что плывет на судне и в бурю пытается пристать к берегу. Но вот тело выбросило на берег и... «здесь, где когда-то мы с Эмилией детьми собирали ракушки, а теперь обломки разбитой этой ночью старой баржи, обитателям которой Стирфорт причинил столько зла, — лежал он, заложив руку под голову так, как часто я видел его лежащим в дортуаре Салемской школы... Вам не было надобности, Стирфорт, говорить мне при нашем последнем свидании (как далек я был от мысли тогда, что оно — последнее!): „Вспоминайте меня только с лучшей стороны“. Я всегда так и вспоминал вас, и мог ли я теперь сделать иначе?..». «Я обошел весь этот печальный дом и опустил шторы. Затем я опустил шторы в той комнате, где он лежал. Я поднял тяжелую, как свинец, его руку и прижал к своему сердцу, и весь мир был для меня смерть и тишина, и только стоны его матери врывались в эту тишину».

«В блаженной пустоте» не висит почти никто из героев романа: они изменчивы, они порой ведут себя непредсказуемо: когда Роза Дартл узнает о гибели любимого, она сперва, естественно, в злобе набрасывается на миссис Стирфорт: «Вы растили его с колыбели таким, каким он стал, и задушили в нем того, каким он мог бы стать. Ну что ж! Теперь вы вознаграждены за свой труд в течение стольких лет?.. Я любила его больше, чем вы! — Она с яростью посмотрела на мать. — Я могла бы его любить, не требуя ничего взамен. Если бы я стала его женой, я была бы рабой всех его капризов за одно только слово любви в год! Я знаю, это было бы так. Кому же знать, как не мне? Вы были требовательны, горды,

мелочны, эгоистичны! А моя любовь была бы самоотречением... Я растоптала бы ваше жалкое хныканье!» Но, увидев, в какое жалкое состояние привели старуху ее слова, вдруг «упала перед ней на колени и начала расстегивать на ней платье.

— Будьте вы прокляты! — крикнула она, взглянув на меня — в этом взгляде были бешенство и мука. — В недобрый час вы когда-то пришли сюда! Будьте вы прокляты! Уходите!

Я вышел из комнаты, но тотчас же вернулся, чтобы позвонить слугам. Роза Дартл, стоя на коленях, обняла окаменевшую женщину, она целовала и окликала ее, рыдала, наконец притянула к себе и прижала, как ребенка, к своей груди... Всю свою нежность она вкладывала в усилия вызвать к жизни ее погасшие чувства».

Мы не упомянули о том, что в романе есть еще несколько линий, совершенно автономных, комических (уморительно смешных), любовных и приключенческих, — вам будет что почитать. Есть там очаровательная пара Микоберов — как считают литературоведы, самая обаятельная вариация на тему беспечных родителей автора; есть также второй злодей — типичный диккенсовский, но уж такой омерзительный, какого еще не было, и, как Стирфорт, незабываемый, ибо он почти прекрасен в своей мерзости, — Урия Гипп, не человек, а змея: «...его красные глаза без ресниц устремлены на меня, а ноздри то сжимаются, то раздуваются, и весь он, от подбородка до сапог, извивается, как змея...» «Он молчал, старательно мешая ложечкой сахар, пил маленькими глотками кофе, поглаживал своей костлявой рукой подбородок, смотрел в огонь, оглядывал комнату, под видом улыбки строил мне гримасы и снова, охваченный низкопоклонством, извивался наподобие змеи...» «...Он искоса стал следить за мной, в то же время так корчась и извиваясь, что я едва был в силах переносить это». (Мы насчитали применительно к Гиппу около пятидесяти употреблений слова «извивающийся».)

Урия Гипп похож на Смердякова и, как и Смердяков, порой говорит справедливые вещи: «Ну, хорошо, хорошо, — отозвался Урия, при лунном свете похожий на мертвеца, — но вы не представляете себе, мистер Копперфильд, до чего смирение вошло в плоть и кровь такого человека, как я. Мы оба с отцом учились в благотворительных школах, а матушка выросла в благотворительном приюте. В этих учреждениях с утра до вечера нас всех обучали смирению во всевозможных видах и мало чему другому. Нам внушали, что мы должны смиренно держать себя перед такими-то и такими-то лицами, снимать шапку перед одним и раскланиваться перед другим, знать свое место и пресмыкаться перед всеми, кто только выше

нас. А их было так много! Отец благодаря своему смирению выдвинулся в свое время, я — также...

Тут мне впервые пришло в голову, что это фальшивое низкопоклонство семьи Гипп, и вправду, могло быть привито им извне. Я видел жатву, но никогда раньше не подумал о сеятелях».

Но для Диккенса, как уже говорилось, тяжелое детство не является оправданием. Гипп разоряет хорошую семью, но герой возненавидел его задолго до этого — просто столкнулись, как всегда у Диккенса, добро и зло в чистом, беспримесном виде. Ах, как шикарно можно было бы написать смерть этого подонка! Но Диккенс строго подчиняется то ли викторианскому, то ли собственному кодексу: если не убил и не совратил — смерти не будет, и Урию всего лишь сажают в тюрьму. (Есть в книге и третий злодей, тоже великолепный в своем роде, но о нем вы сами прочтете.)

А что же стало с Дорой? «Я нежно любил свою женушку-детку — и был счастлив, но мое счастье не было тем счастьем, которое я когда-то смутно предвосхищал, — всегда чего-то в нем не хватало. То, чего мне не хватало, всегда казалось мне неосуществимой юношеской мечтой, но я чувствовал, что мне было бы лучше, если бы моя жена больше помогала мне, и я делился бы с ней своими мыслями, а я знал, что это могло бы быть». Такая жена есть на примете — это «сестренка» героя Агнес — и едва он сознает, что хочет на ней жениться, как бедная Дора приговорена и уходит с дороги. Дэвид с Агнес живут счастливо — вот только об этом пресном счастье, в отличие от сладко-мучительного счастья с Дорой, автору решительно нечего сказать.

Есть еще девушка Эмили, которую соблазнил Стирфорт, — как с ней поступить? До сих пор Диккенс своих «падших созданий» в книгах милостиво убивал, но Эмили не проститутка, и у нее есть жених, который ее по-прежнему любит: поженить их? Нет, викторианская мораль не допускает такого: жених нелепо гибнет, а Эмили родители увозят в Австралию, как воспитанниц «Урании»; там же находят счастье и некоторые другие персонажи, и все хорошие люди начинают жить-поживать. Флаг им в руки, как говорится, — а запоминается все-таки другое: бешеные монологи демонической Розы Дартл, змеящийся Урия, чарующий Стирфорт и прелестная «жена-детка», склонившая кудрявую голову над гитарой с бантом... Впрочем, викторианцы, вероятно, воспринимали все совсем не так. А если и так, то никогда не признались бы в этом.

Оруэлл: «Неладно то, что финальные главы ощутимо, хотя и не

выпяченно, пропитаны культом успеха... Привлекательные в своей расхристанности персонажи выпроваживаются: Микобер сколачивает состояние, Гипп угодил в тюрьму (оба события вызывающе невозможны), и даже Дора убита, чтобы открыть дорогу Агнес. Если угодно, можно считать Дору женой Диккенса, а Агнес его золовкой, только суть в том, что Диккенс „сделался респектабельным“ и творит насилие по собственному своему хотению». Честертон: «Легко защищать его мир как сказку, ключом к которой владел он один, защищать его, как Метерлинка или другого оригинального писателя. Но ему было мало этого, он бездарно желал быть правдивым. Он так любил истину, что принес свою славу в жертву ее тени. Отрекшись от своей богоданной необычности, он хотел доказать, что всегда описывал жизнь».

Уилсон: «Если любить Диккенса рассудительного, трудолюбивого, положительного, профессионального и здравомыслящего — а всего этого ему не занимать стать! — тогда „Дэвид Копперфильд“ довольно верное зеркало. Но сколько бы нас ни предостерегали от преувеличения демонического, потаенного в натуре Диккенса, это тоже в нем было, это и определило его неповторимое своеобразие, и вот этого нет и в помине у Дэвида Копперфильда. Возводя искусство в своего рода моральный долг, Диккенс обедняет искусство... Этот плоский буржуазно-самодовольный взгляд на призвание писателя определяет социальный и этический тонус романа. „Дэвид Копперфильд“ не более как сборник моральных прописей, которым истово следовали буржуа-викторианцы. Но не только здесь хромает роман, есть и более глубокие недостатки. Наполненную добрыми делами жизнь Дэвида следует рассматривать в христианском аспекте, и тут представляется весьма неудовлетворительным смысл жизни, предлагаемый романом и вместе с ним безусловно искренним христианином Диккенсом. Он высмеял романтическую любовь, губительную силу страсти — очень хорошо, но что он предлагает взамен? — покойный домашний очаг и Агнес. Право, маловато... И, словно компенсируя эти потери, в замечательно живом характере Стирфорта Диккенс дает прекрасное воплощение того изящества и щедрости души, которые мы зовем обаянием».

Ну, пусть критики бранятся, а по нашему мнению, неторопливо прочтя (перечтя) «Копперфильда», вы получите ни с чем не сравнимое наслаждение, ощутите его «спинным мозгом», как говорил Набоков. И все же в нашем списке это роман номер два, а не номер один.

Глава десятая

СЕРДЦЕ ТУМАНА

Готфрид Кинкель, профессор, в Пруссии был заключен в тюрьму за политическую деятельность; Джон Пуль, старый бесталанный писатель, умирал с голоду в Париже. Весь декабрь 1850 года Диккенс хлопотал об обоих: почти добился освобождения Кинкеля, но тот сам сбежал из тюрьмы и из Пруссии; Пулю британское правительство назначило пенсию. В начале 1851-го Кэтрин Диккенс издала поваренную книгу «Что же будет нам на ужин?», а ее муж начал публиковать в «Домашнем чтении» очаровательную «Детскую историю Англии», охватывающую период между 50 годом до новой эры и 1689-м.

«Поначалу островитяне были народом бедным и диким. Они едва прикрывали свою наготу невыделанными звериными шкурами и, подобно всем дикарям, раскрашивали тело цветной глиной и соками разных растений. Но финикияне, навещая соседние берега Франции и Бельгии, говорили тамошним жителям: „За белыми скалами, которые вы видите в ясную погоду, лежит земля Британия. Там мы достали олово и свинец“. Среди слышавших эти речи сразу же нашлись охотники туда перебраться. Они поселились в южной оконечности острова, которая теперь называется графство Кент. Хотя это тоже были варвары, но они обучили диких бриттов многим полезным ремеслам и сделали юг Англии чуть-чуть более цивилизованным... Мало-помалу иноземцы смешались с островитянами, и возник один народ — дерзкий и отважный».

О добром короле Альфреде Великом: «Датчане рыскали по округе в поисках короля, а тот сидел у бедного очага, в котором пеклись лепешки. Жена пастуха, уходя из дому, велела ему за ними приглядывать. Альфред вытаскивал себе лук и стрелы, чтобы, придет срок, побить коварных датчан, и думал горькую думу о своих несчастных подданных, которых злодеи гонят с родной земли. До лепешек ли было этому благородному сердцу, и лепешки, понятно, сгорели. Жена пастуха, возвратясь, принялась на чем свет стоит бранить Альфреда, не подозревая что перед ней сам король: „Ах ты пес ленивый! Есть-то горазд, а ни на что не годен!“». О Ричарде Львиное Сердце: «Если бы он не родился принцем, то, глядишь, стал бы неплохим парнем и ушел бы на тот свет, не пролив столько крови человеческой, за которую нужно отвечать перед Богом».

Подавляющее большинство королей Диккенс не пожалел: «Яков Первый был уродлив, нескладен и дураковат, словом, не пригож и не умен. Язык у него едва умещался во рту, слабые ноги с трудом удерживали туловище, а глаза навывкате вращались в орбитах, будто у идиота. Был он коварный, завистливый, расточительный, ленивый, пьющий, сластолюбивый, нечистоплотный, трусливый, бранчливый и самый чванливый человек на свете... Яков Второй был личностью настолько неприятной, что даже большинству историков его брат Карл кажется в сравнении с ним просто душкой».

Об Уоте Тайлере, предводителе крестьянского восстания в 1381 году: «Черепичник свалился на землю, и один из свитских короля быстро его прикончил. Так пал Уот Тайлер. Подхалимы и льстецы объявили это величайшей победой и подняли торжествующий ор, отголоски которого порой долетают до нас. Но ведь Уот был человеком, всю жизнь работавшим до седьмого пота, намыкавшимся горя, да к тому же претерпевшим отвратительное надругательство, и, возможно, он обладал натурой более благородной и духом более сильным, чем любой из тех паразитов, что тогда и после отплясывали на его костях». Об одном из королей, который долго сидел в заточении: «Увы, в нашей истории мы уже встречались и еще встретимся с королями, от которых миру было бы куда больше пользы, просиди и они девятнадцать лет в тюрьме».

В феврале он ездил в Париж, назвав родной Лондон в письме Бульвер-Литтону «мерзким местом», в марте искал жилье для семьи (срок аренды дома на Девоншир-террас скоро заканчивался) и вновь возил Кэтрин, так и не оправившуюся после родов и предыдущего «водяного» лечения, в Малверн; всю весну занимался постановками для Гильдии литературы и искусств (ставили пьесы Бульвер-Литтона «Не так плохи, как кажемся» и Марка Лемона «Дневник мистера Найтингела»), арендовав для спектаклей лондонский дом герцога Девонширского. 12 марта к труппе присоединился начинающий писатель Уилки Коллинз (1824–1889) — его привел друг Диккенса, художник Огастес Эгг. Отец и брат Коллинза тоже были художниками, сам он окончил юридический факультет и стал адвокатом, но предпочел богемную жизнь; был убежденным холостяком, жившим с разными женщинами, легкомысленным, циничным, остроумным собеседником. Казалось, что в друзья Диккенсу он не годится. Но вышло иначе.

Пирсон: «Форстер начинал надоедать ему [Диккенсу] своей ревностью, ссорами, эгоизмом, неумением считаться с другими... Форстер

был символом добропорядочности, воздержания и претенциозности. Коллинз — символом неограниченной свободы, неблагонадежности и безнравственности, а для Диккенса в тот период земля, плоть и дьявол значили больше, чем все десять заповедей, которыми он и так уже был сыт по горло». На самом деле Форстера в сердце Диккенса Коллинз так и не заменил, но общение с ним было приятно: отличный компаньон для прогулок; мягкосердечный и ленивый, он охотно принимал первенство старшего товарища, но и сам мог его многому научить. Уже в апреле он впервые опубликовал рассказ в «Домашнем чтении» и скоро стал постоянным автором.

Сам Диккенс в ту весну печатал в «Домашнем чтении» массу публицистики и, в частности, одну из своих самых злых статей — «Красная тесьма» (такой перевязывали документы в архивах, и она была символом бюрократии, как наша «канитель»). Весь смысл существования чиновника «сводится к тому, чтобы обильным количеством этого казенного товара связывать общественные вопросы, делать из них аккуратнейшие пакетики, ставить на них ярлыки и бережно закладывать на верхнюю полку, за пределы человеческого досягания... Он обяжет Красной Тесьмой обширные колонии, наподобие того, как это делается с жареными цыплятами, которые подаются в холодном виде на банкетах, и когда важнейшая из них разорвет Тесьму (а это лишь вопрос времени), он удивится, увидев, что ее просторы не покрыть его любимой меркой... Предоставьте же нашему чиновнику, который упивается Красной Тесьмой, подготовить социальную реформу, преследующую благую цель. И высчитайте, если можете, сколькими милями Красной Тесьмы он обовьет барьеры против, скажем, билля о погребении в общих могилах или закона о борьбе с инфекционными болезнями. Но дайте ему что-нибудь, с чем он мог бы поиграть, — парк, который можно вырубить, страшное чучело, которое он водрузит в публичном месте на устрашение цивилизованного человечества, мраморную арку, которую можно передвинуть на другое место, — и откуда только возьмется в нем прыть!»

«Урания», хотя мы о ней больше не пишем, тоже никуда не делась: Диккенс продолжал ее полностью контролировать, заботясь о каждой мелочи. Миссис Мортон, которая должна была забрать новую девушку, 18 марта 1851 года: «Не могли бы Вы послать нижнее белье Элизе Уилкинс, с деньгами, чтобы она могла принять теплую ванну — или лучше две, — и договаривайтесь о встрече с ней на среду. Платье у нее есть. Шляпу и прочее, я думаю, Вы должны для нее купить. Она невысокая девушка...»

В конце марта он узнал, что его отцу (остепенившемуся в последние годы и вновь переехавшему в Лондон, но так и не прекратившему делать мелкие долги) предстоит тяжелая операция на мочевом пузыре. Ее сделали без хлороформа. Диккенс — Форстеру: «Он держался с поразительным мужеством: меня пустили к нему сразу же после операции. Вся палата была в крови, как на бойне. Он был необычайно бодр и тверд духом... Пишу неразборчиво — так дрожит рука... У меня все это немедленно „вышло боком“: болит так, как будто меня ударили в бок дубинкой со свинцовым набалдашником». Вечером 29 марта Чарлза срочно вызвали к отцу, но тот уже никого не узнавал. Он умер утром 31-го. Сын не мог заснуть три ночи — ходил, ходил, ходил... «Я столько прошел пешком во время своих путешествий, что, если бы я питал склонность к состязаниям, меня, наверно, разрекламировали бы во всех спортивных газетах, как какие-нибудь „Неутомимые башмаки“, бросающие вызов всем представителям рода человеческого весом в сто пятьдесят четыре фунта...»

Две недели спустя, когда он произносил речь на обеде Театрального фонда, из дома примчался посыльный: у малышки Доры (которую отец два часа назад видел здоровой) случились конвульсии, и она умерла. Ночь с Диккенсом просидел Марк Лемон, а Форстер повез в Малверн, где лечилась Кэтрин, письмо от ее мужа: «...Умоляю тебя, приказываю тебе, возвращаясь домой, призвать на помощь все свое самообладание. Помнишь, я часто говорил тебе: у нас много детей, и нельзя надеяться, что нас минуют горести, уготованные другим родителям. И если — если — когда ты приедешь, мне даже придется сказать тебе: „Наша малютка умерла“, — ты обязана исполнить свой долг по отношению к другим детям». Кэтрин, как потом вспоминала Мэйми, впала в истерику и ступор, придя в себя лишь через 12 часов. Отец «держался до тех пор, пока, спустя день или два после ее смерти, кто-то прислал красивые цветы... Он собирался отнести их наверх и положить подле тела — и вдруг совершенно сломался». Дору похоронили на Хайгетском кладбище рядом с дедом. Отчего она умерла, неясно, но, быть может, Диккенсу и приходило в голову, что имя, которое он ей дал, оказалось роковым.

16 мая его труппа выступала в доме герцога Девонширского в присутствии королевы и принца Альберта: собрали неплохие деньги. (Летом, осенью и весной следующего года несколько раз выезжали на гастроли.) Семья с середины мая по октябрь жила в Бродстерсе; в начале лета Кэтрин забеременела вновь, хотя ее здоровье вызывало у окружающих опасения. Диккенс постоянно наезжал в Лондон — по театральным делам и чтобы совершать прогулки с инспектором Филдом из Скотленд-Ярда и

описать их для «Домашнего чтения»:

«На этот вечер инспектор Филд — ангел-хранитель Британского музея. Он окидывает острым глазом уединенные галереи музея, прежде чем сказать свое „В порядке!“. Подозрительно оглядывая мраморы Эльджина и зная, что его не проведут кошачьи лики египетских колоссов, держащих руки на коленях, инспектор Филд, пронизательный, бдительный, с фонарем в руке, отбрасывающим чудовищные тени на стены и на потолок, проходит просторными залами. Если бы мумия чуть шевельнула уголок пыльного своего покрывала, инспектор Филд сказал бы: „Выходи оттуда, Том Грин. Я знаю, это ты!“ ...Долго еще задержится инспектор Филд на этой работе? Возможно, еще с полчаса. Он шлет привет с констеблем и предлагает нам встретиться в полицейском участке Сент-Джайлса, через дорогу. Отлично. Там у очага стоять не хуже, чем здесь, в тени колокольни.

Что-нибудь здесь происходит нынче вечером? Сидит у огня заблудившийся мальчик, очень смиренный, очень маленький, которого мы сейчас без опасения отправим с констеблем домой, потому что крошка говорит, что если его доведут до улицы Ньюгет, то дальше он сам доведет до дома, где живет; в камере буянит пьяная женщина — надорвала голос в визге, и теперь у нее едва хватает силы объяснить, даже с бурной помощью рук и ног, что она дочь британского офицера и разрази ее гром, если она не напишет письмо королеве! — но, выпив глоток воды, сразу унялась; в другой камере тихая женщина с младенцем у груди — за нищенство; в третьей ее муж — в холщовой блузе, с корзиной кресс-салата; еще в одной — карманник; а рядом — обмякший, трясущийся старик из работного дома, его выпустили погулять ради праздника, и он „выпил одну каплю, но она его свалила с ног, после того как он много месяцев просидел в четырех стенах“; вот пока и всё. Но в дверях участка вдруг засуетились — что-то важное... Мистер Филд, джентльмены!»

С Филдом они обходили ночлежки и трущобы: «Так мы наново застраиваем наши улицы — Оксфорд-стрит и другие, не думая, не спрашивая, куда уползают те несчастные, кого мы сгоняем. С такими вот сценами у наших дверей, со всеми египетскими казнями, опутанными паутиной в трущобах у самых наших домов, мы трусливо утверждаем свои никчемные билли по охране общественного порядка и свои департаменты здравоохранения и воображаем, что не подпустим к себе преступление и разврат, если на выборах отдадим голоса каким-нибудь членам приходского совета и будем ласковы и обходительны с бюрократами».

В июле он наконец арендовал (на 50 лет) новый дом на Тэвисток-сквер, большой, но почти разрушенный: пришлось вызывать целую армию

рабочих. Зятю Генри Остину, архитектору, занимавшемуся перестройкой дома: «Известка преследует меня днем и ночью, как страшный призрак. Мне снится, что я плотник и никак не могу поставить перегородку в холле. Мне часто снится, что я принимаю в своей гостиной избранное общество и во время танцев проваливаюсь в кухню, так как одной балки не хватает...»

«Домашнее чтение» продолжало мягко катиться по рельсам, с разгромной статьей Диккенса почти в каждом номере. 23 августа — статья «Свиньи целиком» (идиома, означающая «всё или ничего»: максималистов Диккенс не любил): «Человечество может возродиться лишь с помощью Общества мира, — возвещают Свиньи Целиком Номер Один. Хорошо. Я вызываю из ближайшего Общества мира моего почтенного друга Джона Бейтса... „Бейтс, — говорю я, — как там насчет этого самого Возрождения? Почему оно может прийти только через посредство Общества мира?“ А Бейтс мне в ответ: „Потому что война ужасна, разрушительна и противна духу христианства... мы провозглашаем: ‘Мы не потерпим войны или проповеди войны. Разоружите Англию, говорим мы, и все эти ужасы кончатся’“. — „Каким же образом, Бейтс?“ — говорю я. „С помощью третейского суда. У нас есть делегат Общества голубя из Америки и делегат Общества мыши из Франции; мы установим Союз Братства, и дело с концом“. — „Увы, это невозможно, Бейтс. Я тоже размышляю об ужасах войны и благодати мира... Однако, Бейтс, мир еще не так далеко продвинулся по стезе совершенства и есть еще на земле тираны и угнетатели, которые только и ждут, чтобы свобода ослабла, ибо тогда они смогут нанести ей удар с помощью своих огромных армий. О Джон Бейтс, посмотри-ка на Австрию, посмотри на Россию, посмотри на Германию, посмотри в сторону Моря, распростершегося во всей своей красоте за грязными темницами Неаполя! Ты ничего там не видишь?“ Угнетатели и угнетаемые стоят, ополчившись друг против друга, за делегатом Общества голубя и Общества мыши рыскают дикие звери... вот поэтому я не за разоружение Англии и не могу быть членом Общества мира: все послышки признаю, но вывод отвергаю».

Осень мирно прошла в Бродстерсе, в сентябре гостил Форстер, в октябре — Огастес Эгг, сделавший предложение Джорджине. Он был красив, приятен в общении, успешен, давно влюблен в Джорджину, но она отказала ему, предпочтя жизнь приживалки, привыкнув опекать племянников и, возможно, любя мужа своей сестры. Возможно также, что пример Кэтрин, вечно беременной и уже явно нелюбимой, отвратил ее от брака вообще.

Вернулись в Лондон — ремонт дома еще не кончился, а Диккенс с

мисс Куттс уже затеяли проект расчистки трущоб и строительства хорошего жилья в Ист-Энде, на Бетнал-Грин (там жила Нэнси из «Оливера Твиста»): Диккенс ратовал за высокие многоквартирные дома, а не «скорлупки от грецкого ореха», непременно с канализацией, водой и газовым освещением. В середине ноября состоялось новоселье, и Диккенс наконец назвал Брэдбери и Эвансу срок сдачи очередного романа — «Холодный дом», — он думал над ним весь год, но только теперь смог за него взяться.

Удивительно, но в «Холодном доме» мы не найдем обычного противостояния «герой — злодей», хотя хорошие и плохие люди там есть, конечно, но никто из хороших на героя не тянет, а роль злодея впервые отдана учреждению — Канцлерскому суду. Этот орган был создан еще при раннем феодализме как дополнение к системе нормальных судов, руководствовавшихся законами и указами: в нем дела велись на основе «справедливости», то есть как судье (лорду-канцлеру) в голову взбредет; дела тянулись страшно долго, издержки съедали всё, и зачастую выигравшая сторона умирала с голоду, не успев насладиться победой. В 1850-х годах заговорили о необходимости такой суд отменить, так что Диккенс писал «на злобу дня», но бил он глубже — в бюрократию вообще, опутывавшую и губящую человека. Исследователи предполагают, что материалом Диккенсу послужило известное дело Шарлотты Смит, 36 лет потратившей, чтобы получить наследство, или же дело «Дженинс против Дженинса», длившееся 117 лет и брошенное, когда у сторон не осталось ни пенни.

Набоков посвятил одну из лекций по английской литературе «Холодному дому», на нем демонстрируя, как надо читать книги «позвоночником». Действительно, начало романа обволакивает нас, и мы ощущаем его почти физически: «На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил — светит тускло, точно нехотя. Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцоволобой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Линкольнс-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде. И в самом непроглядном тумане и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как

ныне плурует и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников». Набоков: «В самом сердце тумана, в гуще грязи сам „Милорд“ превращается в „Mud“ („грязь“), если мы чуть исправим косноязычие юриста: My Lord, Mlud, Mud. Мы должны отметить сразу, в самом начале наших изысканий, что это характерный диккенсовский прием: словесная игра, заставляющая неодушевленные слова не только жить, но и проделывать фокусы, обнажая свой непосредственный смысл».

Все персонажи — более пятидесяти — так или иначе связаны с процессом «Джарндис против Джарндиса», но уже никто не упомнит, с чего все началось и в чем суть тяжбы: «Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе „Джарндисы против Джарндисов“; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадей и ускакать на тот свет...»

В этом «сердце тумана и гуще грязи» тонет один из героев, юноша Ричард, поманенный призраком наследства и не желающий никем работать (Диккенс после «Копперфильда» изменил свой идеал — теперь у него хорошие люди должны чем-то заниматься, кроме того как «жить-поживать») и умирающий в конце концов; есть тут, разумеется, масса любовных интриг и в общем, как обычно, хорошие девушки выйдут замуж — вот только главная героиня (о которой мы не говорим ни слова — читайте ее загадочную историю) на сей раз пойдет не за доброго пожилого джентльмена, за которого автор непременно выдал бы ее раньше, а за энергичного молодого врача. Есть интриги, тайны, есть очередная роковая красавица, что родила и бросила внебрачного ребенка, и, разумеется, она страшно гибнет — такого преступления простить нельзя (Диккенс пощадил бы ее, будь она бедна, но она богата); есть куча всяких забавных, и трогательных, и несчастных, и бестолковых людей, и загадочные старухи, и нищий ребенок, что умирает, всеми заброшенный.

Этот ребенок, Джо, не имеет ничего общего с умненьким Оливером

Твистом и не разговаривает возвышенно, как сиротка Смайк из «Никльби» — это реалистичный образ забитого существа, низведенного почти до уровня животного. «Джо живет, — точнее, Джо только что не умирает, — в одном гиблом месте — трущобе, известной среди ему подобных под названием „Одинокий Том“... Как это, должно быть, нелепо быть таким, как Джо! Бродить по улицам, не запоминая очертаний и совершенно не понимая смысла тех загадочных знаков, которые в таком изобилии начертаны над входом в лавки, на углах улиц, на дверях и витринах! Видеть, как люди читают, видеть, как люди пишат, видеть, как почтальоны разносят письма, и не иметь ни малейшего понятия об этом средстве общения людей, — чувствовать себя в этом отношении совершенно слепым и немым! Чудно, должно быть, смотреть, как прилично одетые люди идут по воскресеньям в церковь с молитвенником в руках, и думать (ведь, может быть, Джо когда-нибудь все-таки думает) — какой во всем этом смысл? и если это имеет смысл для других, почему это не имеет смысла для меня?»

Приличным людям ничего бы не стоило вытащить Джо из грязи, обогреть и пристроить, но они брезгуют (да ведь и мы, читатели, брезгуем — разве нам хочется читать или смотреть фильмы о таких, как этот Джо?), зато им не лень тратить кучу денег на миссионерство в далеких странах, которое Диккенс ненавидел всей душой. Джо попался на глаза преподобному Чедбенду, распространяющему по свету христианство:

«— Мир вам, друзья мои, — изрекает Чедбэнд, поднимаясь и отирая жировые выделения со своего преподобного лица. — Да снизойдет на нас мир! Друзья мои, почему на нас? А потому, — и он расплывается в елейной улыбке, — что мир не может быть против нас, ибо он за нас; ибо он не ожесточает, но умягчает; ибо он не налетает подобно ястребу, но слетает на нас подобно голубю. А посему мир нам, друзья мои! Юный отпрыск рода человеческого, подойди!

Протянув вперед свою пухлую лапу, мистер Чедбэнд кладет ее на плечо Джо, раздумывая, куда бы ему поставить мальчика.

— Ии-си-тина! — повторяет мистер Чедбэнд, снова пронзая мистера Снегсби. — Не утверждайте, что это не есть светильник светильников. Говорю вам, это так. Говорю вам миллион раз, это так. Так! Говорю вам, что буду провозвещать это вам, хотите вы или не хотите... нет, чем меньше вы этого хотите, тем громче я буду провозвещать вам это. Я буду трубить в трубы! Говорю вам, что, если вы восстанете против этого, вы падете, вы будете сломлены, вы будете раздавлены, вы будете раздроблены, вы будете разбиты вдребезги.

„Незачем мне тут больше околачиваться, — думает Джо. — Нынче

вечером мистеру Снегсби не до меня“».

Не хотите замечать Джо? Ну ладно же, я вас заставлю! Диккенс все свое зрелое умение выжать слезу положил на то, чтобы читатели раскаялись, и преуспел — в этой смерти ребенка, в отличие от смерти Смайка или Нелл, нет ни нотки слащавости, хотя есть пафос:

«— Я думал — с голоду помираю, — говорит Джо немного погодя и перестает есть, — а выходит — и тут ошибся... ничего-то я не знаю, ничего понять не могу. Не хочется мне ни есть, ни пить.

И Джо стоит, дрожа всем телом и в недоумении глядя на завтрак.

Аллен Вудкорт щупает его пульс и кладет руку ему на грудь.

— Дыши глубже, Джо.

— Трудно мне дышать, — говорит Джо, — ползет оно еле-еле, дыхание-то... словно повозка тяжелая тащится. — Он мог бы добавить: „И скрипит, как повозка“, но только бормочет: — Нельзя мне задерживаться, сэр...

Умер, ваше величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер, вы, люди; а ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день».

Кто-то рыдался, кто-то дал денег на проект Диккенса и Куттс, но Чедбенды продолжали свое дело, Диккенс даже напрямую в Общество миссионеров писал в июле 1852 года: «Если Вы находите, что в расходовании средств на благотворительность внутри страны и за границей соблюдена справедливая пропорция, то я этого не нахожу. Более того, я самым серьезным образом сомневаюсь, может ли могучая торговая держава, имеющая связь со всеми странами мира, наилучшим образом христианизировать пребывающие в духовной тьме области вселенной иначе, чем отдавая свои богатства и энергию делу воспитания добрых христиан у себя дома» — но миссионеры были непробиваемы.

И вообще все шло скверно. В 1852 году к власти вернулись консерваторы: сперва Эдвард Смит-Стэнли, граф Дерби, за ним Джордж Гамильтон-Гордон, граф Абердин, и так вплоть до 1856-го, и это означало, что из всех щелей ползут заклинания о «старой доброй Англии», а общество будет все глубже вязнуть в тумане и удушаться красной тесьмой. Диккенс становился все злее и категорически отказался баллотироваться в палату общин, когда ему вновь это предложили. Знакомому, Роберту Роулинсону, 25 января 1854 года: «Что касается парламента, то там так много говорят и так мало делают, что из всех связанных с ним церемоний

самой интересной показалась мне та, которую (без всякой помпы) выполнил один-единственный человек и которая заключалась в том, что он прибрал помещение, запер дверь и положил в карман ключи...»

Лучше было потихоньку заниматься делом, и он занимался: пропагандировал недавно открытую первую детскую больницу на Грейт-Ормонд-стрит, искал архитекторов для жилищного проекта (к 1862 году усилиями мисс Куттс и других благотворителей будет построен жилой комплекс Коламбия-сквер: четыре квартала многоквартирных домов на тысячу жильцов).

1 марта появился первый выпуск «Холодного дома», критики молчали, продажи были обычные — от 34 тысяч до 40 тысяч экземпляров. А 13-го родился очередной ребенок Диккенса и Кэтрин — Эдвард Бульвер-Литтон, по прозвищу Плорн. За день до этого Диккенс в дневнике инвентаризировал своих детей: «Чарли, 14, в школе в Итоне. Мэйми, 13. Кейт, 11. Уолтер Лэндор, 10 (поедет в Индию, прощай, прощай). Фрэнсис Джеффри, 7. Альфред Теннисон, 5. Сидни Смит, 4. Генри Филдинг, 2», а после рождения Плорна писал Анджеле Бердетт-Куттс и другим друзьям, что «прекрасно обошелся бы и без него». Тем не менее Плорн стал одним из его любимцев — конечно, после старшего, Чарли (тот наслаждался учебой в Итоне, одноклассники его любили, Диккенс обожал его, навещал каждую неделю с корзиной еды из лучших магазинов, считал, что парень пошел в отца), и девочек.

Летом, изменив Бродстерсу, отправились отдыхать в Дувр, на самую границу с Францией, — Диккенса тянуло как можно дальше от дома. В августе и сентябре он со своей труппой гастролировал на севере Англии, собирая деньги для Гильдии литературы и искусств, в октябре решил опробовать новое место отдыха — французскую Булонь, город понравился и Кэтрин и Джорджине (близко к Лондону, есть превосходный отель для приглашенных гостей, место еще не испоганено туристами, вкусное вино и все очень дешево), решили отныне проводить в этом месте каждое лето, Диккенс там написал очередную рождественскую повесть «История одного ребенка». 6 января 1853 года он выступал в Бирмингеме на банкете в честь Гильдии: «От позора оплаченного посвящения, от постыдной, грязной работы наемных писак... народ освободил литературу. И я, посвятив себя этой профессии, твердо убежден, что литература в свою очередь обязана быть верной народу, обязана страстно и ревностно ратовать за его прогресс, благоденствие и счастье».

Это прекрасно, но какие профессии дать детям? Литературных талантов они не обнаруживали. Зато у двенадцатилетней Кейт (домашнее

прозвище Черт из коробочки — за вспыльчивость) обнаружился талант к живописи — ее отдали в престижный и очень дорогой Бедфордский колледж для девушек, где были специализированные художественные классы. (Диккенс воспроизвел модель своих родителей: серьезно потратился на обучение девочки, а не мальчиков.) Мэйми продолжала учиться дома с Джорджиной, к которой была очень привязана, и с гувернанткой. Она так и не получит никакого образования, кроме домашнего, и, в отличие от сестры, толку из нее потом не выйдет. Виноват ли в этом Диккенс? Судя по Кейт, надо думать, что, прояви ее сестра желание где-то на кого-то учиться, ей бы не отказали. Но если не хочет, то зачем?

С мальчиками было хуже. Уолтера отец еще в 10 (!) лет приговорил к отъезду в колонию: видимо, считал, что мальчишка никуда не годится. Но все равно ему где-то надо было учиться, как и остальным; о Королевском колледже даже речь не заходила, Диккенс нашел очень дешевую английскую школу-интернат в Булони, управляемую священниками, и отныне каждый из его сыновей, достигая восьми лет, отправлялся туда — на весь год, с одними каникулами. Неизвестно, спрашивалось ли на этот счет мнение Кэтрин или хотя бы Джорджины. Впрочем, лето семья проводила в Булони — можно было с мальчиками общаться.

«Холодный дом» строился и в сентябре должен был подойти к концу. Критики по-прежнему не могли оценить эту вещь, чересчур сложную и переполненную символами. После «Лавки древностей» это вторая книга с «атмосферой», только атмосфера здесь куда гуще: от первой до последней строчки нас преследуют грязь, туман, слякоть, сумасшествие, как у Кафки; безумен сам суд, безумны фантазмагорические чудища, собравшиеся вокруг него, — старуха, что всю жизнь ходит на процесс, обещая выпустить на волю своих птиц, когда он кончится, — поколения бедных птичек так и умирают в клетках, алкоголик старьевщик Крук, темный двойник Лорда-канцлера: «По мне — „что в сеть попало, то и рыба“ — ничем не брезгую. А уж если что попадет ко мне в лапы, того я из них не выпущу (то есть соседи мои так думают, но что они знают, эти люди?); а еще я терпеть не могу никаких перемен, никакой уборки, стирки, чистки, ремонта у себя в доме. Потому-то лавка моя и получила столь зловещее прозвище — „Канцлерский суд“. Но сам я на это не обижаюсь. Я чуть не каждый день хожу любоваться на своего благородного и ученого собрата, когда он заседает в Линкольнс-Инне. Он меня не замечает, но я-то его замечаю. Между нами невелика разница. Оба копаемся в неразберихе...»

В финале романа Крук от пьянства самовозгорается — символ

ужасного краха всего, что привязано к Суду. Набоков: «Вспомним образы первых страниц книги — дымный туман, мелкая черная изморось, хлопья сажи — здесь ключ, здесь зарождение страшной темы, которая сейчас разовьется и, приправленная джином, дойдет до логического конца».

«Ни живы ни мертвы приятели спускаются по лестнице, цепляясь друг за друга, и открывают дверь комнаты при лавке. Кошка отошла к самой двери и шипит, — не на пришельцев, а на какой-то предмет, лежащий на полу перед камином. Огонь за решеткой почти погас, но в комнате что-то тлеет, она полна удушливого дыма, а стены и потолок покрыты жирным слоем копоти. Кресла, стол и бутылка, которая почти не сходит с этого стола, стоят на обычных местах. На спинке одного кресла висят лохматая шапка и куртка старика.

— Смотри! — шепчет Уивл, показывая на все это приятелю дрожащим пальцем. — Так я тебе и говорил. Когда я видел его в последний раз, он снял шапку, вынул из нее маленькую пачку старых писем и повесил шапку на спинку кресла, — куртка его уже висела там, он снял ее перед тем, как пошел закрывать ставни; а когда я уходил, он стоял, перебирая письма, на том самом месте, где на полу сейчас лежит что-то черное.

Уж не повесился ли он? Приятели смотрят вверх. Нет.

— Гляди! — шепчет Тони. — Вон там, у ножки кресла, валяется обрывок грязной тонкой красной тесьмы, какой гусиные перья в пучки связывают. Этой тесьмой и были перевязаны письма. Он развязывал ее не спеша, а сам все подмигивал мне и ухмылялся, потом начал перебирать письма, а тесемку бросил сюда. Я видел, как она упала.

— Что это с кошкой? — говорит мистер Гаппи. — Видишь?

— Должно быть, взбесилась. Да и немудрено — в таком жутком месте.

Оглядываясь по сторонам, приятели медленно продвигаются. Кошка стоит там, где они ее застали, по-прежнему шипя на то, что лежит перед камином между двумя креслами.

Что это? Выше свечу!

Вот прожженное место на полу; вот небольшая пачка бумаги, которая уже обгорела, но еще не обратилась в пепел; однако она не так легка, как обычно бывает сгоревшая бумага, и словно пропитана чем-то, а вот... вот головешка — обугленное и разломившееся полено, осыпанное золой; а может быть, это кучка угля? О, ужас, это он! и это все, что от него осталось; и они сломя голову бегут прочь на улицу с потухшей свечой, натываясь один на другого. На помощь, на помощь, на помощь! Бегите сюда, в этот дом, ради всего святого! Прибегут многие, но помочь не сможет никто. „Лорд-канцлер“ этого „Суда“, верный своему званию вплоть

до последнего своего поступка, умер смертью, какой умирают все лорд-канцлеры во всех судах и все власть имущие во всех тех местах — как бы они ни назывались, — где царит лицемерие и творится несправедливость. Называйте, ваша светлость, эту смерть любым именем, какое вы пожелаете ей дать, объясняйте ее чем хотите, говорите сколько угодно, что ее можно было предотвратить, — все равно это вечно та же смерть — предопределенная, присущая всему живому, вызванная самими гнилостными соками порочного тела, и только ими, и это — Самовозгорание, а не какая-нибудь другая смерть из всех тех смертей, какими можно умереть».

Жуткая, отравленная поэзия... Отметим, что — это проглядел даже сверхглазастый на такие вещи Набоков — один из символов зла в романе — беспрестанно с самого начала всюду расхаживающая, шипящая и сверкающая зелеными глазами кошка Крука (в «Домби» уже был похожий на кошку злодей Каркер): удивительно, но этих пушистых олицетворений уюта Диккенс, воспевавший уют, похоже, не любил. За сцену самовозгорания его все бранили (хотя он до последнего отстаивал правдоподобие этого эпизода, ссылаясь на доктора Элайотсона), и даже друзьям не понравилась книга, недобрая, местами чересчур символистская и фантасмагоричная, местами слишком реалистическая и потому тяжелая для привыкшей к уютной «диккенсовщине» публики; Форстер писал, что «стал очевидным недостаток свежести у нашего гения». Между тем читается «Холодный дом» легко, сюжет его ясен, герои (за исключением нескольких чудищ) человечны, и, безусловно, это один из пяти-шести лучших романов Диккенса; читать обязательно, мы именно поэтому ничего, по сути, не сказали о сюжете и героях романа, чтобы не испортить вам праздник, но только с него не начинать...

Управившись с романом, Диккенс поехал отдохнуть в Италию и Францию, перед самым отбытием опубликовав в «Домашнем чтении» статью о домашнем насилии (считалось, что избивать жену нормально); женщин не взял, спутниками его были Коллинз и Эгг. Много лет он не знал такой холостяцкой свободы, был счастлив и за три месяца путешествия не написал ничего, кроме двух статей в «Домашнее чтение». В очередной раз побывав в Венеции, вновь возмутился почтением, которое положено испытывать к памятникам старины, какой бы недоброй та ни была, и писал Форстеру: «Заранее укоряя вас в глухоте и черствости, ваш путеводитель, до краев напичканный вздором, побуждает вас восторгаться предметами, в которых нет ни грана воображения, природы, соразмерности,

закономерности — ровным счетом ничего. Вы покорно слушаетесь путеводителя и тому же учитю сына. Тот завещает эту мудрость своему сыну — и так далее, и на добрые три четверти мир становится богаче надувательством и страданиями».

В декабре в Турине он встретился с семьей де ла Рю, ненадолго возобновил сеансы гипноза с Огастой и (видимо, Огаста пожаловалась на холодность к ней Кэтрин, проявившуюся, когда они встречались в прошлый раз) послал жене невероятно оскорбительное письмо, требуя от нее извинений: «...Интенсивная сосредоточенность на любой идее, которая полностью овладевает мной, является одним из качеств, которое делает меня отличающимся — иногда в хорошую сторону, иногда, думаю, в дурную — от других людей. Независимо от того, чем ты была недовольна тогда в Генуе, именно эта моя сосредоточенность сделала тебя знатной и чтимой в твоей замужней жизни, дала тебе лучшее положение в обществе и окружила тебя многими завидными вещами... Твое отношение к этим людям недостойно тебя. Ты должна немедленно написать ей [Огасте де ла Рю] и выразить интерес и надежду на то, что между вами всегда будут дружеские, ничем не замутненные отношения. Я не „прошу“ или „хочу“, чтобы ты сделала это. Я никогда не спрошу, сделала ты это или нет, и никогда не коснусь больше этого предмета — все будет бесполезно и презренно, если это будет сделано иначе как исходя из твоего сердца». От такого послания любая жена с ума сойдет от страха — и Кэтрин, разумеется, повиновалась.

В Париже под конец путешествия к Диккенсу присоединился Чарли: полгода назад нетерпеливый отец, сочтя, что сидеть еще пять лет и учить латынь слишком накладно (для Анджелы Бердетт-Куттс: платила по-прежнему она), потребовал, чтобы сын выбрал себе профессию. Чарли сказал, что хочет быть офицером, мисс Куттс готова была платить и дальше, но отцу идея не понравилась, и, решив сделать сына коммерсантом, он отослал его учиться в Лейпциг. Сын не выдержал и уехал домой, а расстроенный отец писал мисс Куттс, что «в нем, возможно, меньше энергии и целеустремленности, чем я предполагал в моем сыне».

Вернувшись в Англию, Диккенс впервые осуществил давнюю идею: прочел публично собственный текст («Рождественскую песнь») 27 декабря в Бирмингеме; выручка пошла в пользу Института Бирмингема, успех был громадный, последовали еще два чтения, хлынули приглашения, Диккенс стал задумываться о том, чтобы сделать выступления регулярными, но друзья отговаривали: несолидно.

Беднягу Чарли вновь отослали в Германию, тираж «Домашнего

чтения» без беллетристики Диккенса стал потихоньку падать, другие авторы заменить его не могли: нужно срочно давать роман. О чем? Кое-где в стране проходили забастовки: одна из них, длительная и упорная, уже полгода тянулась на ткацких фабриках в Престоне. (Владельцы фабрик отказывались от переговоров и уволили лидеров бастующих.) Диккенс, восхищавшийся чужими революциями, у себя дома даже забастовки порицал, считая, что рабочие с бизнесменами должны как-то «поладить»; он решил написать о хорошем рабочем, который ни в каких забастовках не участвует.

У него уже был неудачный опыт с невероятно скучным «положительным рабочим» Вардоном в романе «Барнеби Радж» и было сомнительно, что на этот раз выйдет лучше, — рабочих он любил, но, кроме как на публичных выступлениях, с ними близко не знался, — но попробовать-то надо. В конце января 1854 года он поехал в Престон, сходил на митинг бастующих — первым итогом стала статья «О забастовке», опубликованная 11 февраля в «Домашнем чтении». В ней он горячо защищал ткачей от ревнителей «старой доброй Англии», считавших, что бунтовщиков надо «проучить», причины забастовки счел заслуживающими уважения, и даже митинг ему неожиданно понравился: «Если сравнить это собрание с заседанием в палате общин с точки зрения тишины и порядка, то достопочтенный спикер отдал бы предпочтение Престону». Тем не менее саму забастовку он назвал «ошибкой» и призвал «великодушно простить» эту ошибку английскому рабочему, у которого «благородная душа и доброе сердце».

Новый роман — «Тяжелые времена» — очень недолгое время — в феврале, когда Диккенс съездил на несколько дней в Рочестер и на неделю в Париж (все без жены) — «попереваривался» и в середине месяца был уже в работе: возможно, именно такой поспешностью объясняется его чудовищная слабость. Сюжет, однако, начинается не с забастовки — Диккенс обрушился на нелюбимую им науку статистику. Знакомому, Чарлзу Найту: «Моя сатира направлена против тех, кто не видит ничего, кроме цифр и средних чисел... против тех, кто берется утешать рабочего, вынужденного ежедневно вышагивать по двенадцать миль с работы и на работу, сообщая ему, что среднее расстояние между двумя населенными пунктами по всей Англии не превышает четырех миль». Но получилось нападение не на статистику, а на «факты» — факты, на которых сам Диккенс основывался в своей работе, а теперь вдруг возненавидел, — и на науку вообще, противопоставленную искусству и воображению (Рей Брэдбери на эту тему написал коротенький, но куда более сильный

рассказ), и даже на образование, которое Диккенс раньше всегда воспевал. Странновато получилось, хотя написано смешно и великолепно: вот школа, где учат «фактам»:

«— А теперь определи, что есть лошадь?

(Сесси Джуп, насмерть перепуганная этим вопросом, молчала.)

— Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь! — объявил мистер Грэдграинд, обращаясь ко всем сосудикам. — Ученица номер двадцать не располагает никакими фактами относительно одного из самых обыкновенных животных! Послушаем, что знают о лошади ученики. Битцер, скажи ты...

— Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок, а именно: двадцать четыре коренных, четыре глазных и двенадцать резцов. Линяет весной; в болотистой местности меняет и копыта. Копыта твердые, но требуют железных подков. Возраст узнается по зубам. — Все это (и еще многое другое) Битцер выпалил одним духом.

— Ученица номер двадцать, — сказал мистер Грэдграинд, — теперь ты знаешь, что есть лошадь. <...>

— Вы должны всегда и во всем руководствоваться фактами и подчиняться фактам, — продолжал джентльмен. — Мы надеемся в недалеком будущем учредить министерство фактов, где фактами будут ведать чиновники, и тогда мы заставим народ быть народом фактов, и только фактов. Забудьте самое слово „воображение“. Оно вам ни к чему. Все предметы обихода или убранства, которыми вы пользуетесь, должны строго соответствовать фактам. Вы не топчете настоящие цветы — стало быть, нельзя топтать цветы, вытканые на ковре. Заморские птицы и бабочки не садятся на вашу посуду — стало быть, не следует расписывать ее заморскими цветами и бабочками. Так не бывает, чтобы четвероногие ходили вверх и вниз по стенам комнаты, — стало быть, не нужно оклеивать стены изображениями четвероногих...»

Дети, которых учат «фактам», превращаются в роботов, а один из них даже становится преступником; казалось бы, автор должен изобразить для контраста с этой плохой школой хорошую, где учат как-то иначе, но он противопоставил ей бродячий цирк, где все поголовно хорошие и добрые, потому что не учились (просто невероятный вывод для Диккенса): «Все они, и мужчины и женщины, старались держаться развязно и самоуверенно; одежда их не блистала опрятностью, в домашнем быту царил хаос; что же касается грамоты, то познаний всей труппы вместе взятой едва хватило бы на коротенькое письмо. И в то же время это были люди трогательно простодушные и отзывчивые, от природы неспособные

на подлость, всегда и неизменно готовые помочь, посочувствовать друг другу».

Положительный рабочий Стивен в школе фактов не учился и (поэтому?) он очень порядочный человек: его жена алкоголичка, он любит другую, но сам не может решить, можно ему с ней жить или нет, и идет спрашивать разрешения у хозяина фабрики (выбившегося из низов, но все равно мерзкого) — тот запрещает, и Стивен покоряется. Вообще-то сам по себе диалог сильный, учитывая тогдашние законы относительно разводов:

«— Нет, я должен избавиться от этой женщины, и я прошу вас научить меня — как?

— Никак, — отвечал мистер Баундерби.

— Ежели я что над ней сделаю, сэр, есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели я сбегу от нее, — есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели я женюсь на другой, любимой женщине, есть такой закон, чтобы меня наказать?

— Разумеется.

— Ежели бы мы стали жить вместе не женатые, — хотя этого и быть бы не могло, такая она честная, — есть такой закон, чтобы наказать меня в каждом моем ни в чем не повинном младенце?

— Разумеется.

— Тогда, бога ради, назовите такой закон, который помог бы мне! — сказал Стивен Блекнул.

— Гм! Это священные узы, — отвечал мистер Баундерби, — и... и... их надо охранять.

— Только не так, сэр. Нисколько их это не охраняет. Наоборот. От этого они хуже рвутся. Я простой ткач, с детства работаю на фабрике, но я не слепой и не глухой. Я читаю в газетах, как людей судят, — да и вы наверняка тоже, — и просто страх берет, когда видишь, что из-за этой самой цепи, которую будто бы нельзя разорвать, ни за что и ни в коем случае, кровь льется по всей стране. Среди простого народа, между мужьями и женами, не то что до драки, а и до смертоубийства дело доходит. Это надо понимать. У меня большая беда, и я прошу вас назвать закон, который мне поможет.

— Ну-с, вот что, — сказал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы, — если хотите знать, есть такой закон.

Стивен, по-прежнему не спуская глаз с лица Баундерби, одобрительно

кивнул головой.

— Но он вам не подойдет. Это денег стоит. Больших денег».

Но все же трудно представить себе фабричного рабочего, что ходит спрашивать у владельца фабрики, с кем ему спать или не спать. И однако же Стивен, это кроткое существо, находит в себе достаточно мужества, чтобы отказаться участвовать в забастовке. (Диккенс не сумел придумать убедительной причины, почему тот отказывается, и объясняет это словом, данным любимой женщине.) Читатели, ознакомившиеся с благосклонным отзывом Диккенса о митинге ткачей в недавней статье, были, наверное, удивлены, обнаружив, в какую напыщенную глупость превратился этот митинг в романе.

Отвратительный главарь забастовщиков обрушивает гнев на бедного Стивена:

«— Но, о друзья и братья мои! О мои сограждане, угнетенные рабочие Кокстауна! Что сказать о человеке, о рабочем человеке — как ни кощунственно называть его этим славным именем, — отлично знающем по собственному опыту все ваши обиды и гонения на вас, — на силу и крепость Англии, — слышавшем, как вы, с благородным и величественным единодушием, перед которым задрожат тираны, решили внести свою лепту в фонд Объединенного Трибунала и соблюдать все правила, изданные этим органом на благо вам, каковы бы они ни были, — что, спрашиваю я вас, можно сказать об этом рабочем, — ибо так я вынужден называть его, — который в такое время покидает свой боевой пост и изменяет своему знамени; в такое время оказывается предателем, трусом и отступником, и не стыдится, в такое время, открыто заявить о том, что он принял позорное, унижительное решение остаться в стороне и не участвовать в доблестной борьбе за свободу и справедливость!»

В общем, все Стивена ненавидят, и, хоть он и штрейкбрехер, хозяин тоже ненавидит и прогоняет его по довольно неубедительной причине, и он после злключений падает в шахту и погибает, и тогда почти все раскаиваются. Злодей — юноша, который, выучившись фактам, стал вором (даже не убийцей!), карается смертью, правда, тихой, от лихорадки. А вот еще необычное для Диккенса: прежде он всегда венчал романы счастьем брака, а теперь наоборот — побегом одной из героинь от злого мужа.

В целом «Тяжелые времена» — катастрофически плохой роман, но викторианцам понравился — в апреле, когда он начал печататься, тираж «Домашнего чтения» мгновенно вырос вдвое. Еще до этого, в марте, Англия совместно с Францией вступила в Крымскую войну на стороне Турции против России (началось все осенью 1853 года, когда Россия

оккупировала Молдавию и Валахию, территории, ранее принадлежавшие Турции, но получившие полуавтономный статус после Русско-турецкой войны 1829 года); цель — не допустить захвата русскими европейской части Османской империи: энтузиазм всех воюющих сторон был огромный и настроения равно шапкозакидательские.

С середины июня по октябрь Диккенсы жили в Булони — жилье заранее выбрала и обставила Джорджина. Вилла на холме, буйные кусты роз, стога сена, в которых так хорошо валяться, прохладный морской бриз — Диккенс говорил, что еще никогда и нигде ему так хорошо не отдыхалось и не работалось, даже по душным лондонским улицам не тосковал. (А зря: может, они вдохновили бы его написать настоящий роман вместо скучной агитки.) В июле «Тяжелые времена» были свалены с плеч — это короткий роман, и, вероятно, автор был рад отделаться от него — несколько сюжетных линий так и повисли, чего с ним прежде не бывало.

Он съездил в Лондон повидать Коллинза, предупредив его письмом, которое диккенсоведы не знают как и толковать: «Я бы хотел провести время в вихре невинных, но легкомысленных развлечений, безудержно предаваясь всяческому беспутству... Согласны ли Вы по первому зову отправиться вместе со мною завтракать — куда угодно — часов в двенадцать ночи и уж больше не ложиться спать?.. Я бы с восторгом приветствовал столь безнравственного сообщника!»

Уж какие там были «беспутства», неизвестно, но через несколько дней Диккенс привез Коллинза в Булонь, приезжали также Уиллс, Эгг, Томас Берд, сколотили крикетную команду, купались, ходили в расположенный по соседству военный лагерь смотреть на Луи Наполеона — уже императора, недавно совершившего при полном одобрении французов государственный переворот. Форстер не приехал. Он тяжело болел, да и близость его с Диккенсом в тот период, кажется, пошатнулась — из-за Коллинза, наверное. Но именно Форстеру Диккенс 17 июня отправил из Булони письмо о своих домашних проблемах, говоря, что ситуация напоминает ему брак Копперфильда с Дорой: «...Я веду такое счастливое и все же такое несчастное существование, ища реальность в нереальности и находя хрупкий комфорт в бесконечном побеге от сердечного разочарования».

12 августа вышла последняя глава «Тяжелых времен», критики в основном бранились, историк Маколей назвал роман «мрачным социализмом», Форстер похвалил, автор не знал, чем заняться дальше, все сильнее злился на происходящее дома. Форстеру, август: «У меня возникла идея давать в „Домашнем чтении“ очерки, посвященные „члену палаты от

Ниоткуда“...» Сентябрь: «Я неохотно расстаюсь с этой идеей, а заодно и с надеждой передать всем живущим в Англии хотя бы частицу того презрения, которое я испытываю к палате общин. Пока это чувство не разделят все англичане, мы ничего не сможем добиться... Мне приходят в голову страшные мысли — уехать куда-нибудь одному, может быть в Пиренеи... Начинаю представлять себя живущим по полугоду или около того в каких-нибудь совершенно недоступных местах. Меня манит идея забраться в Швейцарии под самые вечные снега и пожить в каком-нибудь монастыре... Эти мысли преследуют меня постоянно, и я ничего не могу с ними поделать. Я отдыхаю уже девять (или десять?) недель, и порой мне кажется, что прошел целый год, хотя до приезда у меня были очень странные нервные срывы. Если бы не привычка ходить быстро и помногу, я бы просто взорвался и этим прекратил свое существование».

Статья «Мало кому известно», 2 сентября: «Мало кому известно, что сейчас, в 1854 году, английская нация представляет собою скопище пропойц, еще более лишенных человеческого облика, чем русские бояре времен Петра Великого... Мало кому известно, что народ не имеет никакого отношения к некоему солидному клубу, который собирается по средам в Вестминстере, и что клуб этот не имеет никакого отношения к народу. Вследствие какой-то нелепой случайности члены этого клуба избираются людьми совершенно ему чуждыми, и все, что делается и говорится в клубе, делается и говорится членами клуба для собственного удовольствия или собственной выгоды, а вовсе не потому, что они руководствуются соображениями блага своих избирателей...»

Эпидемия холеры прокатилась по Лондону в августе — сентябре и унесла в могилу более десяти тысяч человек. Считалось, что холеру вызывают «миазмы», которые «зарождаются» в тесных и грязных помещениях: ошибочное представление, но отсутствие гигиены, разумеется, свою роль в распространении эпидемии играло. Вернувшись в первых числах октября в Лондон, Диккенс разразился гневной статьей «К рабочим людям»:

«Сейчас, когда еще свежа память об ужасном море, когда всякий, кто только не закрывает себе глаза нарочно, может на каждом шагу наблюдать последствия этого мора в виде душераздирающих картин бедности и разорения, священный долг всех журналистов — объявить своим читателям, к каким бы слоям общества они ни принадлежали, что в глазах Господа они будут повинны в массовом убийстве, покуда не возьмутся всерьез за благоустройство своих городов и не примут мер к улучшению условий жизни в домах, где обитают неимущие.

Однако нам хотелось бы пойти еще дальше наших коллег из „Таймса“, выступивших с весьма энергичным обращением к рабочим людям Англии, и умолять их (с тем, чтобы они не повторили роковой ошибки в будущем) — не поступаться своими исконными интересами и не давать обманывать себя политикам, стоящим у власти, — с одной стороны, и наглым мошенникам — с другой. Превыше всего следует твердо настаивать на своем праве и на праве своих детей пользоваться всеми благами жизни и здоровья, которые провидение предназначает для всех; народ ни в коем случае не должен давать какой бы то ни было партии действовать от его имени, пока не будут очищены жилища и не будут обеспечены средства для поддержания в них чистоты и порядка... Только оказав давление на правительство, можно вынудить его исполнить свой первейший долг — исправить страшное зло, которое представляют собой нынешние жилища бедных».

Мисс Куттс была чрезвычайно испугана — о каком «давлении» он толкует? — и он оправдывался, говоря, что вовсе не имел в виду забастовок или чего-то в подобном роде. Как же тогда «оказывать давление», если не бастовать и никакой партии не давать действовать? Ну... как-то так. Нужно «взаимопонимание между нашими двумя наиболее многочисленными сословиями (рабочие и средний класс. — М. Ч.), установление близких и теплых отношений между ними, рост взаимного уважения и искренности...». Он продолжал писать о жилищном строительстве, больницах и канализации всю осень: плевать, хотят покупатели «Домашнего чтения» читать об этом или нет, — придется...

Крымскую войну поддерживали в Англии все — консерваторы, либералы, радикалы: то была в их представлении война цивилизованной Европы против варварского агрессора, тянущего руки все дальше и дальше (против была только небольшая группа левых радикалов, известных как Манчестерская школа). У Диккенсов на вилле все лето провисели британский и французский флаги. К де Сэржа, 3 января 1855 года: «Я несомненно считаю, что Россию надо остановить и что война неизбежна ради будущего спокойствия мира». Рождественская история 1854 года была посвящена союзу британцев и французов, теперь «друзей навек».

Но союзники недооценили противника, и война затянулась, принося тысячи смертей, причем не только от оружия, но и от некомпетентности: беспрестанно воюя в дальних неразвитых странах, Англия оказалась не готова к настоящей большой войне, генералы были беспомощны, офицерские чины продавались за деньги, чиновники разворовывали

средства, в госпиталях не было бинтов и еды. Вся страна, включая Диккенса, была шокирована откровенными репортажами крымского корреспондента «Таймс» Уильяма Рассела. Диккенс послал в Крым собственного корреспондента, Генри Огастеса Зала, и печатал в «Домашнем чтении» его очерки, не менее убийственные, и собственные бранные статьи.

Ни о каких реформах внутри страны, разумеется, речь не шла, все вымерзло, как в Крыму зимой. Лавинии Уотсон, 1 ноября 1854 года: «Война вызывает у меня самые противоречивые чувства: восхищение нашими доблестными солдатами, страстное желание перерезать горло русскому императору и нечто вроде отчаяния при виде того, как пороховой дым и кровавый туман снова заслонили собой притеснение народа и его страдания у нас дома. Когда я думаю о Патриотическом фонде, с одной стороны, а с другой — о той нищете и тех бедствиях, которые породила у нас холера, в одном лишь Лондоне жестоко и бессмысленно уничтожившая неизмеримо больше англичан, чем может погибнуть за все время войны с Россией, мне кажется, что какая-то сила отбросила мир на целых пять столетий назад».

Из процитированного выше письма к де Сэржа: «Состояние умов англичан во время войны меня печалит... Все прочие заботы и интересы померкли перед ней. Боюсь, нет никаких сомнений в том, что пройдут годы, прежде чем можно будет заикнуться о каких-нибудь внутренних реформах; каждый ничтожный бюрократ отмахивается войной от каждого, кто пытается противиться его махинациям... я нисколько не сомневаюсь в том, что наше правительство — это самое злополучное правительство, какое только можно себе вообразить, что от него никто (кроме некоторых чиновников) не ждет ни малейшего толку и что тем не менее заменить его абсолютно нечем...»

Зимой Севастополь оставался у русских, британцы продолжали умирать от болезней и недостаточности медицинского обслуживания; английский историк Элизабет Холт, ссылаясь на материалы Следственной комиссии по поставкам, писала: «Все пытались переложить обязанности друг на друга. Никто не знал, что находилось на складах, где достать то, чего на складах не было, кто должен платить за то, что все-таки получено, и даже как доставить это в Крым». Диккенс бушевал и, выступив в декабре несколько раз с «Рождественской песней», взялся обдумывать роман о бюрократизме, хаосе и некомпетентности — «Ничья ошибка». Но он не только этим решил послужить стране. С Анджелой Бердетт-Куттс они прочли записки Флоренс Найтингейл, знаменитой сестры милосердия,

которая рассказывала, в частности, что в госпиталях невозможно высушить белье и перевязочные материалы. Куттс дала денег, Диккенс нашел инженера, Уильяма Джейкса из Блумсбери, и тот изобрел сушильный шкаф. Уже зимой 1855 года партию таких шкафов отправили на фронт. Они реально работали и наверняка спасли от смерти какое-то количество людей. Это вам не на диване лежать, призывая соотечественников идти на какую-нибудь войну.

Глава одиннадцатая

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ, НОВАЯ ЛЮБОВЬ

Чарли наконец забрали из Германии и собирались отдать в коммерческое училище в Бирмингеме — Диккенс не терял надежды сделать из него бизнесмена. 6 января 1855 года как обычно — любительским спектаклем — отпраздновали его день рождения. Остальные мальчишки учились в Булони, кроме малыша Плорна. (Кэтрин что-то давно не беременела — нельзя исключить, что супружеские отношения попросту прекратились.) Их отец второй раз в жизни попытался вести дневник (спустя четыре месяца бросил). Войне конца не было видно, туман повсюду, в Ливерпуле голодные бунты; 3 февраля Диккенс писал Форстеру: «С каждым часом я все больше укрепляюсь в моем давнишнем убеждении, что наша правящая аристократия и ее прихвостни ведут Англию к гибели. Я не вижу тут ни проблеска надежды. Что касается общественного мнения, то оно так безразлично ко всему, связанному с парламентом и правительством, что я не на шутку обеспокоен этим положением...» В тот же день он опубликовал в «Домашнем чтении» программную статью «Та, другая публика»: есть немногочисленные «мы», которые видят, что творится в стране, а остальным почему-то на все плевать:

«Имеет ли та, другая Публика, достаточное представление о коррупции, расточительстве и потерях, порождаемых этим порочным процессом управления? Наша Публика осведомлена обо всем этом, и наша Публика ясно видит, как это гнусно. Это та, другая Публика, где-то там — где, собственно, она может находиться? — постоянно позволяет надувать себя и заговаривать себе зубы. За последние три или четыре года она совершенно запуталась в злополучном вопросе о свободе печати. Благородные лорды сказали, что вышеозначенная свобода чрезвычайно неудобна. Нет сомнения, что это так. Нет сомнения, что всякая свобода неудобна — для некоторых людей. Свет крайне неудобен для тех, кто имеет достаточно причин предпочитать тьму; было также замечено, что вода и мыло представляют особенное неудобство для тех, кто чистоте предпочитает грязь... пора уже широко раскрыть окна, погасить свечи, похоронить умерших, дать свободный доступ дневному свету, выбросить всю рухлядь и вымести прочь пыль и грязь... Но где та, другая Публика, на которую, очевидно, не действует ни моровая язва, ни голод, ни война, ни

внезапная смерть? Остается только одно утешение. Мы, англичане, не единственная жертва той, другой Публики. О ней можно услышать и в других местах...»

Через несколько дней вдруг случилось приятное: совершая очередную пешую прогулку с Бердом, Лемоном и Коллинзом через страну своего детства — Рочестер, Диккенс увидел, что продается дом, в который он влюбился маленьким мальчиком, — имение Гэдсхилл-плейс: это надо было срочно обдумать. А еще через три дня, накануне краткой поездки с Коллинзом в Париж (это у Диккенса стало ритуалом — он как будто за воздухом туда ездил), пришло письмо от... Марии Биднелл, теперь Марии Винтер. Оно не сохранилось, а вот ответ от 10 февраля: «Я распечатал Ваше письмо в каком-то трансе, совсем как мой друг Дэвид Копперфильд, когда он был влюблен. Я читал его с упоением, не отрываясь, пока не дошел до того места, где Вы упоминаете о своих девочках. В том состоянии полной отрешенности, в каком я находился, я совсем забыл о существовании этих милых крошек и подумал, не схожу ли я с ума, но тут я вспомнил, что и у меня самого девять детей...»

Она, оказывается, жила теперь в Лондоне, он сразу предложил ей встречу, из Парижа писал снова: «...До той самой минуты, когда я в прошлую пятницу вечером распечатал Ваше письмо, я никогда не мог слышать Ваше имя без дрожи в сердце. Есть чувства, которые я давно похоронил в своей груди, будучи уверен, что им никогда не возродиться вновь. Но сейчас, когда я говорю с Вами опять и знаю, что эти строки „только для Вас“, как могу я утаить, что чувства эти все еще живы!»

Вернувшись домой, он вновь писал ей, предлагая встретиться наедине, — бог знает, о чем он думал, на что надеялся. Она теперь уже опасалась встречи, предупредив, что стала «старой, толстой, беззубой и безобразной», — он отвечал, что не верит этому. 7 марта они встретились у нее дома. Видимо, она написала о себе правду, так как дальше общаться Диккенс отказался, отделяясь неубедительными предложениями: он-де хочет видеть ее, но мешает работа. (Вялая переписка длилась до лета, потом на три года прервалась, но Диккенс заставил писать Марии Джорджину, и женщины даже подружились заочно.)

Но Мария, сама того не зная, сделала ему чудесный подарок: он напишет с нее (на сей раз уж точно с нее) одну из лучших своих героинь. И той же весной он повстречал прототипа (как считается) еще одной будущей героини: молодой чертежник Фредерик Мейнард рассказал ему о судьбе своей сестры Кэролайн Томсон, оставшейся одной с маленьким ребенком и вынужденной, чтобы выжить, принимать клиентов прямо в доме, где она

жила с братом, — а тот не мог заработать на троих.

Диккенс встретился с Кэролайн, был поражен ее нежным детским видом, серьезностью, образованностью и уважением к ней со стороны брата, писал Анджеле Бердетт-Куттс: «...Его восприятие позора его сестры, и неуменьшающееся восхищение ею, и уверенность, что из нее выйдет что-то хорошее... это же целый роман, столь удивительный и столь ясный, о каком, увы, у меня никогда не было смелости подумать...» Его читателей такая история шокировала бы — можно писать о «падших» (хотя лучше бы и не писать), но уж во всяком случае они не могут держать голову высоко и должны быть одиноки. В «Уранию» девушек с детьми не брали, Диккенс попросил мисс Куттс придумать что-нибудь, та сперва не соглашалась, но потом устроила Кэролайн содержательницей меблированных комнат. Бизнес этот у нее не пошел, и в 1856 году она, возможно по совету Диккенса, уехала с братом и ребенком в Канаду, где след ее потерялся. А образ маленькой, как птичка, серьезной девушки остался с Диккенсом.

Форстеру, 27 апреля 1855 года: «...Огромное черное облако нищеты расстилается над каждым городом, с каждым часом становясь все больше и темнее, и при этом из двух тысяч людей не найдется и одного, кто подозревал бы о его существовании или хотя бы способен был поверить в него; праздная аристократия; безмолвствующий парламент; каждый за себя и никто за всех; такова перспектива, и мне она представляется весьма зловещей...» Нужны реформы, если не большие, так хоть какие-нибудь, например, чтобы в чиновники брали не самых тупых, а наоборот; и кто-то же должен за такую реформу выступить... 5 мая текстильный фабрикант и политик Сэмюэл Морли учредил Ассоциацию административных реформ: ядро ее состояло из бизнесменов и банкиров, критически настроенных к правительству, цель — сломать систему повального кумовства и взяточничества при устройстве на государственную службу, способ реализации — заставить всех кандидатов на должности, начиная с самого мелкого клерка, особенно в армии, сдавать экзамены на профессионализм, для чего должна быть создана соответствующая комиссия.

Главным представителем Ассоциации в парламенте был либерал Остин Лэйард, археолог, с которым Диккенс познакомился в 1853 году в Неаполе. Диккенс — Лэйарду, 10 апреля: «Ничто сейчас не вызывает у меня такой горечи и возмущения, как полное отстранение народа от общественной жизни. В этом нет ничего удивительного... народу так мало приходилось участвовать в игре, что в конце концов он угрюмо сложил

карты и занял позицию стороннего наблюдателя... Назревающее у нас в стране недовольство пугает меня еще и тем, что оно тлеет незаметно, не вспыхивая ярким пламенем; ведь точно такое же настроение умов было во Франции накануне первой революции, и достаточно одной из тысячи возможных случайностей... — проигранная война, какое-нибудь незначительное событие дома — и вспыхнет такой пожар, какого свет не видел со времен французской революции. Тем временем что ни день, то новые проявления английского раболепия, английского подхалимства и других черт нашего омерзительного снобизма... а возмущенные миллионы, храня все то же противоестественное спокойствие и угрюмость, с каждым днем все больше ожесточаются и все сильнее укрепляются в своих наихудших намерениях. <...>

Если бы люди вдруг вострепнулись и принялись за дело с воодушевлением, присущим нашей нации, если бы они создали политический союз, выступили бы — мирно, но всем скопом — против системы, которая, как им известно, порочна до мозга костей, если бы голоса их зазвучали так же грозно, как рев моря, омывающего наш остров, то и я всей душой присоединился бы к этому движению и счел своей несомненной обязанностью помогать ему всеми силами и попытаться им руководить. Но помогать народу, который сам отказывается помочь себе, столь же безнадежно, как помогать человеку, не желающему спасения. И пока народ не пробудится от своего оцепенения (этого зловещего симптома слишком запущенной болезни), я могу лишь неустанно напоминать ему о его обидах».

И он обещал Лэйарду, что будет напоминать — на страницах «Домашнего чтения» как минимум — и привлечет к этому всех друзей-литераторов.

Мисс Куттс испугалась — она с годами становилась все более консервативной — и потребовала у Диккенса объяснений, зачем он «раскачивает лодку» и разжигает классовый конфликт. Он отвечал 11 мая: «Прислушайтесь к тому, что я говорю сейчас о положении дел в этой безумной стране, ибо возможно, что через десять лет будет уже слишком поздно говорить об этом. Народ не будет вечно терпеть, из всего, что я наблюдаю, мне это совершенно очевидно. И мне хочется что-нибудь противопоставить справедливому гневу народа. Это единственная причина, из-за которой я всей душой стремлюсь к реформам». Он вступил в Ассоциацию Морли.

И другая реформа занимала его той весной: он попытался перестроить Королевский литературный фонд, организацию, которая собирала большие

деньги со своих членов и должна была помогать неимущим авторам, но помогала плохо (маленькая гильдия, созданная Диккенсом и Бульвер-Литтоном, и то справлялась лучше), потому что во главе ее сидели такие же именитые и некомпетентные люди, как везде, вдобавок все сплошь — ревнители «старых добрых порядков» и даже не писатели. В союзе с Форстером и Чарлзом Дилком, редактором журнала «Атеней», Диккенс выступил с предложением сделать из фонда настоящее литературное общество с сетью бесплатных библиотек, лекциями и привлечением иностранных авторов; он был убежден, что как только он и его союзники пару раз выступят с сатирическими речами, члены комитета фонда сами раскаются и подадут в отставку. Вы удивитесь, но ничего подобного те не сделали.

Растущая тоска и бешенство нашли выход в романе, над которым Диккенс начал работать в мае; Лавинии Уотсон он писал 21-го: «...Брожу по городу днем — таскаюсь в самые странные места Лондона ночами — сажусь, чтобы сотворить нечто огромное, — встаю, не сделав ничего, — рву на себе волосы — и поражаюсь своему состоянию, хотя должен бы уже к нему привыкнуть». Мисс Куттс, 8 мая: «...Нахожусь в состоянии беспокойства, которое невозможно описать — невозможно даже представить, — вскакиваю и бегу к железной дороге — возвращаюсь и клянусь немедленно уехать прочь, к подножию Пиренеев... встаю и шатаюсь по комнате целый день — брожу по Лондону после полуночи — беру на себя обязательства и не выполняю их...» В таком вот состоянии он написал несколько глав «Ничьей ошибки», прежде чем придумал другое название — «Крошка Доррит». Он не стал писать о войне — ему хотелось копнуть глубже и написать о больном обществе в целом.

Обитателям тюрьмы Маршалси их жизнь кажется нормальной, но вот как реагирует человек, случайно вынужденный там заночевать:

«Потом в утомленном бессонницей мозгу закружились подобно кошмару другие мысли, но все они были связаны с тюрьмой, хотя и самым причудливым образом. Есть ли в тюрьме запас гробов на случай, если кто-нибудь из арестантов умрет? Где хранятся эти гробы и как они хранятся? Где хоронят тех, кто умирает в тюрьмах, как их выносят, какие при этом соблюдаются обряды? Может ли какой-нибудь неумолимый кредитор задержать мертвеца? Возможен ли побег из тюрьмы, как его осуществить? Можно ли взобраться на стену при помощи веревки и крюка? А как спуститься с другой стороны? — может быть, соскочить на крышу соседнего дома, прокрасться по лестнице и, выйдя в дверь, затеряться в

толпе? А что, если в тюрьме вспыхнет пожар? Вдруг это случится именно сегодня, когда он ночует здесь?»

А они — ничего, живут... Живет там смолоду старый Доррит, жена его умерла, трое детей, младшая, Эми, прозванная Крошкой за малый рост (и, как считается, вдохновленная характером Кэролайн Томсон), родилась в тюрьме... Доррит стал символом Маршалси и, обезумев от бесконечных лет безделья, даже гордится своим положением: «Если бы отыскался вдруг другой, самозванный претендент на эту честь, старик заплакал бы от обиды при одной мысли, что его хотят лишить законных прав. Он даже не прочь был подчас преувеличить число лет, проведенных в тюрьме; и все уже знали, что с названной им цифры следует делать некоторую скидку». Живет он, по сути, подаянием, это вроде бы безобидный и трогательный человек, но... «Чем больше он входил в свою роль и чем больше зависел от тех подношений, которые делали Отцу его многочисленные дети, тем чувствительнее становился он ко всему, что считал несовместимым со своим достоинством бывшего джентльмена. Он спокойно зажимал в руке полкроны, полученные от какого-нибудь сердобольного пансионера, а спустя полчаса этой же рукой утирал слезы, лившиеся у него из глаз при первом намеке на то, что его дочери трудятся ради куска хлеба».

Двое старших детей под стать отцу — бездельники, пытающиеся притворяться «людьми из общества», одна Эми — «призвание влекло ее жить не так, как живут другие, трудиться и отдавать все силы, в отличие от других и ради других» — берет на себя ответственность, пристраивает сестру, кормит отца; сорокалетний мужчина Артур Кленнэм, с которым она случайно познакомилась, решает вызволить ее семью из Маршалси, для чего ему нужно обратиться в вездесущее и всемогущее Министерство Волокиты (уже второй раз у Диккенса злодей — не человек, а институт):

«Это славное учреждение появилось на свет тогда, когда государственные мужи открыли один великий и непревзойденный принцип, исчерпывающий все трудное искусство управления страной. Оно первым сумело усвоить этот благодетельный принцип и с успехом стало руководствоваться им в своей официальной деятельности. Как только выяснялось, что нужно что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех других государственных учреждений изыскивало способ не делать того, что нужно.

...Правда, вопрос, как не делать того, что нужно, обстоятельно изучался и разрабатывался также всеми другими государственными учреждениями и политическими деятелями. Правда, каждый новый премьер-министр и каждое новое правительство, придя к власти благодаря

обещанию сделать то-то и то-то, сейчас же употребляли все усилия на то, чтобы этого не делать. Правда, те самые избранники народа, которые во время избирательной кампании метали грома и молнии из-за того, что то-то и то-то не было сделано, и грозно требовали у сторонников кандидата противной партии ответа, почему то-то и то-то не было сделано, и громогласно утверждали, что оно должно быть сделано, и торжественно ручались, что оно будет сделано, — назавтра после всеобщих выборов уже ломали голову над тем, как устроить, чтобы оно не было сделано. Правда, сущность дебатов обеих палат с начала и до конца сессии сводилась к пространному обсуждению вопроса, как не делать того, что нужно.

...И если вдруг оказывалось, что какой-то недогадливый чиновник намеревается что-то сделать, и возникало малейшее опасение, как бы непредвиденный случай чего доброго не помог ему в этом, Министерство Волокиты всегда умело с помощью циркуляра, отношения или предписания вовремя погасить его пыл».

В руководстве Министерством засело семейство Полипов (в образе главного Полипа изыскатели видят тогдашнего премьера графа Абердина, ярого противника административной реформы и сторонника всего «старого доброго»); к одному из Полипов попадает Кленнэм:

«— Э-э... Послушайте! Какого черта вы к нам привязались, — сказал Полип-младший, оглянувшись через плечо.

— Я хотел бы узнать...

— Э?! Черт побери! Это, знаете, не годится — чтобы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать, — сердито сказал Полип-младший, повернувшись лицом к посетителю и вставив монокль в глаз. <... >

— Извините великодушно, но как же мне выяснить все то, о чем вы говорите?

— О, очень просто — ходить и спрашивать до тех пор, пока не получите ответа. Затем вы подадите прошение в тот департамент о том, чтобы вам разрешили подать прошение в этот департамент (предварительно вам придется выяснить, в какой форме оно должно быть составлено). Получив соответствующее разрешение (если вы его в конце концов получите), вы направите свое прошение в тот департамент, откуда оно будет переслано для регистрации в этот департамент, затем возвращено для подписи в тот департамент, затем снова передано для засвидетельствования в этот департамент, и тогда уже официально принято к рассмотрению тем департаментом. Справки о прохождении дела в каждой из этих инстанций вы будете наводить в обоих департаментах тем же

способом — ходить и спрашивать, пока не получите ответа».

Министерство Волокиты, разные Столпы Общества — Диккенс от презрения им даже фамилий не дает — просто Столп того, Столп сего («На лице Столпа Церкви написана была кротость, однако же он вошел энергичным шагом, словно только что надел семимильные сапоги в намерении пройтись по свету и убедиться в том, что состояние душ человечества не внушает тревоги. Столп Церкви и не подозревал, что обед, на который он приглашен, — не просто обед, а обед со значением. Достаточно было взглянуть на него, чтобы это понять. Он был такой чистенький, свеженький, ласковый, веселый, добродушный; ну просто сама невинность») — и Радетели о Благе Отечества всю страну опутали своими слащавыми патриотическими речами, так что англичане сделались полоумными:

«...Все они пребывали в смутной уверенности, что каждый иностранец прячет за пазухой нож; во-вторых, исповедовали здравый и узаконенный национальным общественным мнением принцип: пусть иностранцы убираются восвояси. Они никогда не задавались вопросом, скольким их соотечественникам пришлось бы убраться из разных стран, если бы этот принцип получил всеобщее распространение; они считали, что он применим только к Англии. В-третьих, они склонны были усматривать проявление гнева божия в том обстоятельстве, что человек рожден не англичанином; а различные бедствия, постигавшие его отечество, объясняли тем, что там живут так, как не принято в Англии, и не живут так, как в Англии принято. В подобном убеждении они были воспитаны Полипами и Чваннингами, которые долгое время официально и неофициально вдабливали им, что страна, уклоняющаяся от подчинения этим двум славным фамилиям, не вправе надеяться на милость провидения, — а вдолбив, сами же за глаза насмеялись над ними как над народом, более всех других народов закоснелым в предрассудках.

Такова была, так сказать, политическая сторона вопроса; но у Кровоточащих Сердец (район, где живут бедняки. — М. Ч.) имелись и другие доводы против того, чтобы допускать в Подворье иностранцев. Они утверждали, что иностранцы все нищие; и хотя сами они жили в такой нищете, что дальше, кажется, уж идти некуда, это не ослабляло убедительности довода. Они утверждали, что иностранцев всех держат в подчинении штыками и саблями; и хотя по их собственным головам немедленно начинала гулять полицейская дубинка при малейшем выражении недовольства, это в счет не шло, потому что дубинка — оружие

тупое. Они утверждали, что иностранцы все безнравственны; и хотя в Англии тоже кой-когда бывают судебные разбирательства и случаются бракоразводные процессы, это совершенно другое дело. Они утверждали, что иностранцы лишены духа независимости, поскольку их не водит стадом к избирательным урнам лорд Децимус Тит Полип с развевающимися знаменами, под звуки „Правь, Британия“».

В июне Диккенс силами своей любительской труппы ставил у себя дома пьесу Коллинза «Маяк». Он также в очередной раз протестовал против очередного законопроекта о запрещении по воскресеньям — нет, уже не только развлекаться, но и пускать поезда и доставлять почту: это мешает машинистам и почтальонам посвятить себя Богу; он даже ходил (редкий для него случай) в Гайд-парк на митинг по этому поводу. Что любопытно, законопроект лоббировала не пышная «высокая», а вроде бы более демократичная, зато и более по-протестантски суровая «низкая» ветвь англиканской церкви (вы можете прочесть об этом в романах Энтони Троллопа) — все это укрепляло Диккенса в мысли, что на разницу конфессий и болтовню священников не стоит и внимания обращать. «Уповая на милость господню, я вверяю свою душу отцу и спасителю нашему Иисусу Христу и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не букве, но общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо узкие и превратные толкования». В тот же период он дал жесткую отповедь виконту Палмерстону, оскорбительно отозвавшемуся об Ассоциации реформ, писал о реформе чуть не ежедневно, выступал на заседании ассоциации 27 июня: «Перед нами стоит величайшая, насущнейшая, важнейшая задача — разбудить народ, вселить в него энергию...»

Но народ — тот, что он только что описал в романе, — кроме презрения к «проклятым иностранцам», никаких чувств не выказывал и административной реформой нимало не интересовался; людей, которым «родина дороже, чем бессмысленная рутина и дурацкие устарелые условности», было — кот наплакал, зато всюду царило «упрямое стремление во что бы то ни стало хранить старый хлам, давно себя изживший». И Ассоциация реформ Морли вскоре бесславно закончила свое существование — идея о том, что посты и должности должны занимать компетентные люди, показалась властью имущим не то чтобы дерзкой, но попросту нелепой и смешной, да и Лэйард был не тот человек, который сумел бы продвинуть подобную идею в таком консервативном институте, как британский парламент.

В июле Диккенсы почему-то не поехали ни в Булонь, ни в Бродстерс, сняли дом в Фолкстоне: восемь детей, включая приехавших на каникулы из Булони, жили там, а Чарли остался в Лондоне один — его устроили работать в торговый дом Беринга, ведущий торговлю с Китаем. Двенадцатилетнего Уолтера 1 августа отдали в специальное военное училище в Уимблдоне, готовящее солдат для отправки в Индию. Непонятно все с этим малышом Уолтером. Он единственный из сыновей Диккенса обнаруживал если не талант, то по крайней мере желание писать, но отец потребовал от репетитора, готовившего мальчика к экзаменам, отбить у него это желание: «Чем меньше он будет писать, тем лучше, и тем счастливее он будет». Уолтер станет курсантом в Ост-Индской компании и покинет Англию в 16 лет, в самом начале индийского мятежа...

Вообще все, что касается воспитания и обучения сыновей Диккенса, не очень понятно. Почему Чарли, явно бесталаный, учился в Итоне, а другим не дали даже попробовать? Почему Диккенс, ратовавший за образование (если не считать странного «разворота» в «Тяжелых временах»), всячески старался сэкономить на обучении детей? А когда эти дети вырастут, почти все они станут делать долги — почему? Гены дедушки «проросли» — или воспитание, которое дали детям отец с Джорджиной, было не такое уж хорошее?

В сентябре восьмилетний Сидней был отправлен в Булонь вместе с Альфредом и Фрэнком, дома остались только девочки и два младших сына, стало потише, зато приехал Коллинз: только с семьей, без гостей, Диккенс был решительно не способен прожить и месяца. Все лето и осень он, продолжая писать «Крошку Доррит», давал в «Домашнее чтение» злые статьи: «Первым объектом исследования был продукт широкого потребления, известный в Англии под маркой „Правительство“. Образцы Правительственных учреждений, представленные на благорассмотрение Комиссии, не содержали в общем ничего, кроме Головоуятия, притом в количестве, достаточном, чтобы парализовать жизнедеятельность всей страны... Что же касается того, что публика принимает этот товар, то, по свидетельству м-ра Буля, нельзя отрицать, что потребителя больше привлекает не внутренняя ценность товара, а его яркая окраска. Иной раз это Кровь, иной раз — Пиво, иной раз — Болтовня, иной раз — Ханжество. Как бы то ни было, он берет пестрый хлам, не стараясь проникнуть в суть, принимая переливание из пустого в порожнее за дело».

Форстеру, 30 сентября: «Я убежден в том, что представительный строй у нас потерпел полный крах, что английский снобизм и английское раболепие делают участие народа в государственных делах невозможным».

Макриди, 4 октября: «Я потерял всякую веру в выборы. На мой взгляд, мы наглядно доказали всю бессмысленность представительных органов, за которыми не стоит образованный, просвещенный народ... у нас нет среднего класса (хотя мы постоянно восхваляем его, как нашу опору, на самом деле это всего лишь жалкая бахрома на мантии знати)... мы, англичане, молчаливо потворствуем этому жалкому и позорному положению, в котором мы очутились, и никогда своими силами из него не выберемся».

Родина до того осточертела — чтобы не взорваться, 13 октября он увез семью во Францию. Сняли дом из двенадцати комнат на Елисейских Полях и решились остаться на целый год. Собственный дом на Тэвисток-сквер на сей раз сдавать не стали — там оставался служивший в Лондоне Чарли, зато позволили пожить в нем семье Хогарт, которые (каждый норовил сэкономить) сдавали свое жилье.

Как Диккенс сказал Анджели Бердетт-Куттс, одной из целей поездки было «придать парижского лоску» дочерям (Мэйми 17 лет, Кейти — 16): наняли им учителей танцев и французского, итальянскому учил ссыльный политик Даниэле Манини; лоску набирались вместе с подругами, дочерьми Теккерей. Сам Диккенс уверял, что знает французский язык как настоящий француз и наконец-то может по-настоящему насладиться театром. Хвалил все французское, особенно в области искусств. Форстеру: «У французов сколько угодно скверных картин, но, боже мой, какое в них бесстрашие! Какая смелость рисунка! Какая дерзость замысла, какая страсть! Сколько в них действия!» Знакомому актеру Франсуа Ренье: «Если бы я увидел хоть одну английскую актрису, которая обладала бы хоть сотой долей искренности и искусства мадам Плесси, я поверил бы, что наш театр уже стоит на пути к возрождению. Но у меня нет ни малейшей надежды, что я когда-либо увижу подобную актрису. С тем же успехом я мог бы рассчитывать увидеть на английской сцене замечательного художника, способного не только писать, но и воплощать то, что он пишет, как это делаете Вы».

Он виделся с Ламартином, Скрибом, Жорж Санд, был почетным гостем на обеде у газетного магната Эмиля де Жирардена, познакомился с Полиной Виардо, французское издательство «Ашетт» предложило за хорошие деньги выпустить собрание его сочинений в новых переводах. Все шло так превосходно, что на бесчинства французского императора, пересажавшего и разогнавшего всю оппозицию, можно было не обращать внимания. В декабре Диккенс ездил домой на презентацию первого выпуска «Крошки Доррит»: Брэдбери и Эванс провели беспрецедентную

рекламную кампанию, отпечатав четыре тысячи уличных афиш и 300 тысяч листовок. Начального тиража в 32 тысячи экземпляров оказалось недостаточно — потребовалось две допечатки. И критики — редкий случай со времен «Пиквика» — были благосклонны, «Атеней» назвал роман «свидетельством постоянно зреющего гения, прогрессирующего в своем искусстве». За месяц Диккенс четырежды выступал с «Рождественской песнью» в Лондоне, Манчестере, Шеффилде и Питерборо — сбор в пользу бедных. И еще он начал переговоры насчет покупки Гэдсхилла (дом принадлежал Элизе Линтон, коллеге по «Домашнему чтению»): рассчитывал там жить летом, а на зиму сдавать.

В начале 1856 года он возвратился в Париж с Коллинзом — тот всегда был легок на подъем, по вечерам гуляли (иногда с Джорджиной и Кэтрин), днем шла работа над «Крошкой Доррит». Дома же только что была сформирована Следственная комиссия по армейским поставкам в Крым, раскрыли невероятное количество махинаций, в том числе — финансовых пирамид; одну из таких Диккенс вставил в роман: бессовестный нувориш, с которым носились Столпы, в конце концов разоряется и утягивает Столпов за собой в пропасть.

Зато с Дорритом все наоборот — усилиями Кленнэма его выпускают из тюрьмы, он становится богачом и начинает шикарную жизнь... Вопреки тому, что можно было предположить, новая жизнь ему дается с легкостью — словно всегда был «Дорритом, эсквайром»: сорит деньгами, презирает всех, кто не богат, и злится на дочь, которая грустит и вспоминает прошлое.

«— Я столько лет прожил там. Я был — кха — признанным главою общины. Я — кха — добился того, что все любили и уважали тебя, Эми. Я — кха-кхм — сумел создать положение своей семье. Я заслужил награду. И я требую награды. Я прошу: вычеркнем эти годы из памяти, станем жить так, будто их не было. Разве это слишком много? Скажи, разве это слишком много?..»

При всем своем волнении он, однако же, ни разу не дал себе повысить голос, из страха, как бы не услышал камердинер».

«Что же до самой Крошки Доррит, то пресловутое Общество, в гущу которого они жили, казалось ей очень похожим на тюрьму Маршалси, только рангом повыше. Многих, видимо, привело за границу почти то же, что других приводило в тюрьму: долги, праздность, любопытство, семейные дела или же полная непригодность к жизни у себя дома. Их доставляли в чужие города под конвоем курьеров и разных местных фактотумов, точно так же, как должников доставляли в тюрьму. Они бродили по церквам и картинным галереям с унылым видом арестантов,

слоняющихся по тюремному двору. Они вечно уверяли, что пробудут всего два дня или всего неделю, сами не знали толком, чего им надо, редко делали то, что собирались делать, и редко шли туда, куда собирались идти; этим они тоже разительно напоминали обитателей Маршалси. Они дорого платили за скверное жилье и, якобы восхищаясь какой-нибудь местностью, бранили ее на все корки — совершенно в духе Маршалси. Уезжая, они вызывали зависть тех, кто оставался, но при этом оставшиеся делали вид, будто вовсе не хотят уезжать; опять-таки точно как в Маршалси. Они изъяснялись при помощи набора фраз и выражений, обязательных для туристов, как тюремный жаргон для арестантов. Они точно так же не умели ничем заняться всерьез, точно так же портили и развращали друг друга; они были неряшливы в одежде, распущенны в привычках — совершенно как обитатели Маршалси».

Диккенс, конечно, не мог пощадить Доррита, оставив его в блаженном полоумии — тогда в романе не было бы морали, — и на одном из светских приемов тот окончательно сходит с ума:

«...Он вдруг встал и громко позвал, обращаясь к ее опустевшему месту в другом конце стола:

— Эми, Эми, дитя мое!

Эта странная выходка, в сочетании с его неестественно напряженным голосом и неестественно напряженным выражением лица, так удивила всех, что за столом мгновенно установилась тишина.

— Эми, дитя мое, — повторил он. — Сходи, дружочек, взгляни, не Боб ли нынче дежурит у ворот... Эми, Эми! Мне что-то неможется. Кха. Сам не знаю, что это такое со мной. Я очень хотел бы поговорить с Бобом. Кха. Ведь из всех тюремных сторожей он нам самый большой друг, и мне и тебе. Поищи Боба в караульне и скажи, что я прошу его прийти».

Доррит умирает, все рушится; богатство — тлен, одна любовь чего-то стоит...

Диккенс бежал от англичан, но их и в Париже было полно, и они бесили его своим надутым патриотизмом — 1856 год он начал с сердитой статьи «Островизмы» («еще одним примечательным островизмом является наша склонность объявлять, с полной искренностью, что только английское естественно, а все остальное противоестественно») и в следующих статьях продолжал сердиться вообще на все, окончательно излив досаду в статье «Почему?»:

«Почему молодая женщина приятной наружности, аккуратно одетая, с блестящими, гладко причесанными волосами, к какому бы сословию она ни

принадлежала раньше, как только ее поставят за прилавок буфета железнодорожной станции, начинает видеть свое назначение в том, чтобы всячески меня унижать? Почему она оставляет без внимания мою почтительную и скромную мольбу о порции паштета из свинины и чашке чая? Почему она кормит меня с таким видом, словно я — гиена?.. Почему, когда я прихожу в театр, там все так условно и не имеет ни малейшего сходства с жизнью?.. Почему мы так любим хвастать? Почему мы так готовы забрать себе в голову ничем не обоснованные мнения и потом скакать с ними, как бешеный конь, покуда не упремся лбом в каменную стену? Почему я должен всякую минуту быть готовым проливать слезы восторга и радости оттого, что у кормила власти встали Буффи и Будль?»

Война, кажется, все-таки подходила к победному концу, но дома ничего не менялось, Буффи и Будль, Полипы и Чваннинги не думали меняться или уходить в отставку, очередной экономический кризис накрыл страну, в Манчестере проходила большая забастовка, сотрудник «Домашнего чтения» Генри Морли написал о ней в очень сочувственном тоне — прежде Диккенс такой материал зарубил бы, теперь оставил. Уиллсу, 6 января: «...Я уже не могу выдавать себя за человека, порицающего все без исключения забастовки...»

18 марта был подписан мирный договор: побежденная Россия возвращала Османской империи территории в Южной Бессарабии, в устье Дуная и на Кавказе, лишалась боевого флота в Черном море, но отобрать у нее сколько-нибудь значительные территории не получилось (Англия тут же, заключив союз с афганским эмиром, объявила войну Ирану); британское правительство ушло в отставку, Абердина сменил Генри Темпл (виконт Палмерстон), министр внутренних дел в кабинете Абердина, — Крымская война считалась его достижением, он был среди населения чрезвычайно популярен и считался «либеральным тори». Диккенса это назначение несколько не обрадовало, и он продолжал в каждом выпуске «Домашнего чтения» поносить правительство и англичан вообще, позволявших обращаться с собой как с безмозглыми курами.

В марте он купил имение Гэдсхилл за 1700 фунтов, с отсрочкой въезда до 1857 года: дом, о котором он столько мечтал, был небольшим (два этажа по четыре комнаты) и сильно запущенным, требовалась перестройка, зато при нем имелся громадный сад. В том же месяце старый холостяк Форстер шокировал всех, решив жениться: невеста — Элизабет Колберн, богатая вдова. Диккенс не посмел отговаривать друга, но в письмах к нему с горечью вспоминал «старое». 13 апреля: «Былые времена — былые

времена! Вернется ли когда-нибудь ко мне то настроение, какое бывало тогда? Что-то подобное, возможно, но совсем как раньше никогда не будет... Скелет в моем шкафу все растет...»

В том же письме он говорил о Макриди: тот оставил сцену, вышел на давно желанную пенсию и был счастлив. «Что касается меня, то я всегда мечтал умереть, с божьей помощью, на своем посту, но я никогда не желал этого так остро, как сейчас... работать не покладая рук, никогда не быть довольным собой, постоянно ставить перед собой все новые и новые цели, вечно вынашивать новые замыслы и планы, искать, терзаться и снова искать, — разве не ясно, что так оно и должно быть! Ведь когда тебя гонит вперед какая-то непреодолимая сила, тут уж не остановиться до самого конца».

«Скелетом в шкафу», вероятно, были отношения с Кэтрин. 22 апреля он описывал Коллинзу, как обедали с женой, свояченицей и дочерьми в ресторане: «Миссис Диккенс ест столько, что почти убивает себя...» И в том же письме: «В субботу вечером, часов около одиннадцати, я заплатил три франка у дверей одного дома, куда буквально ломился народ, и попал на ночной бал... Несколько хорошеньких лиц, но непременно либо порочных, холодно расчетливых, либо изможденных и жалких, с явными следами увядания. Среди последних была женщина лет тридцати или около того; она сидела в углу, закутавшись в индийскую шаль, и ни разу не встала со своего места за все время, что я пробыл там. Красивая, отчужденная, задумчивая, с каким-то особым благородством на челе. Я хочу сегодня вечером походить поискать ее. Я тогда не заговорил с ней, но мне почему-то кажется, что я должен узнать ее поближе. Наверно, это мне не удастся». Неизвестно, удалось или нет, во всяком случае, он об этом больше не упоминал. А в первых числах мая семья спешно засобиравшись в Лондон.

В доме на Тэвисток-сквер он обнаружил Хогартов, пыль, грязь (с его точки зрения грязно было везде, у всех — его требования к гигиене были на уровне не XIX, а скорее XXI века), неубранные комнаты, переставленную мебель; в гневе уехал один в Дувр и три дня прожил в гостинице, ожидая, пока родственники уберутся. Когда-то он питал к Хогартам симпатию, а к тестю даже привязанность — прошли те времена.

Едва не поссорился с мисс Куттс — она патриотично ругала французов, он отвечал ей: «Англичане делают вид, что у них нет социальных бед и зла, французы — признают их существование: вот разница». Форстер написал, что ему нравятся Бальзак и Жорж Санд и что «герой английского романа всегда скучен — слишком уж хорош». Диккенс с унынием соглашался: «...Этот самый неестественный молодой

джентльмен (чтобы быть приличным, обязательно быть неестественным), которого Вы встречаете в книгах, в том числе и моих, должен быть неестественным из-за вашей (то есть английской. — М. Ч.) морали; нельзя упоминать — нет, я даже не говорю о непристойном, — но ничего вообще, никаких событий, испытаний и волнений, неотделимых от жизни мужчины...» В 1830-х он писал, что сам, будучи судьей, не допустил бы в книгах упоминаний о подобных вещах; обычно люди с годами делаются консервативнее, его же на пятом десятке вдруг начало тянуть к большей свободе, во всяком случае, в литературе. Но перешагнуть через «вашу мораль» он так никогда и не осмелится.

9 июня опять уехали во Францию — в Булонь — на все лето; Диккенс пригласил Мэри Бойл (ту самую кузину своих друзей Уотсонов, которая ему нравилась) и на все согласного Коллинза — отчасти для приличия и для компании, но главным образом для того, чтобы писать (параллельно с «Крошкой Доррит», разумеется) пьесу, которую он хотел поставить в домашнем театре на следующий день рождения Чарли. До сих пор он пользовался в своем любительском театрике чужими пьесами. Но теперь нашелся злободневный сюжет, который его захватил: были найдены останки экспедиции британца Джона Франклина, в 1845 году пытавшейся найти Северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий и бесследно пропавшей.

Поисками Франклина занимались 39 полярных экспедиций; впервые следы были обнаружены Джоном Рэем в 1854 году на острове Кинг-Уильям, населенном эскимосами, и те рассказали, что белые люди умирали от голода и под конец уже ели друг друга. Следы от ножей на останках вынудили Рэя согласиться с тем, что каннибализм был. (По сей день этот факт не считается доказанным, хотя большинство исследователей склоняются к выводам Рэя.) В Англии его рассказ, естественно, вызвал бешеное возмущение. Диккенс, уже несколько лет подряд кривший своих соотечественников на все корки, был возмущен не менее других, считая, что недопустимо верить рассказам каких-то полуживотных, каковыми он считал эскимосов, и писал об этом в «Домашнем чтении».

Пьеса — «Замерзшая пучина» — должна была продемонстрировать благородство английских моряков. Два моряка любят одну женщину, она бросила одного из них, Вардур, ради другого и боится, что Вардур причинит зло ее новому возлюбленному, но тот, конечно же, благороден и жертвует ради соперника жизнью; умирая, он обнимает соперника и просит любимую, Клару (которая довольно неправдоподобным образом тоже оказалась на Севере), поцеловать его «как брата». Удивительно дурацкая

пьеса. Роль Вардура предназначалась Диккенсу — он всегда играл главные роли в своих постановках, — и он заранее начал отращивать бороду: с такой серьезностью относился к спектаклю, который, быть может, увидят всего несколько десятков человек, что не захотел прибегнуть к гриму.

Впрочем, не позволяя Рэю оскорблять англичан, сам он продолжал их бранить. Анджеле Бердетт-Куттс, 13 августа: «Вчера утром в мою ванну попал гравий и так глубоко изрезал мне левую руку, что пришлось посылать за хирургом, чтобы он сделал перевязку. Это наводит меня на мысль о наших политиках-хирургах и о том, как они умудрились все испортить... Долгое время нас ненавидели и боялись. И стать после этого посмешищем — очень и очень опасно. Никто не может предугадать, как поведет себя английский народ, когда он наконец пробудится и осознает происходящее...»

В конце августа в Булони случилась эпидемия дифтерии — пришлось срочно уезжать домой, забрали с собой и школьников (их потом отослали пароходом в Булонь). 24 сентября женился Форстер, Диккенс — поразительное дело — на свадьбу не пришел, но постепенно смирился с женой друга: та была бездетна, умна, приятна в общении и на свободу мужа не посягала, так что отношения между семьями наладились. Коллинз был принят в штат «Домашнего чтения» с жалованьем (плюс гонорары за романы, которые там регулярно печатались, — в нарушение собственного правила Диккенса не анонимно, а с подписью).

В октябре начали репетировать «Замерзшую пучину»: роли достались Коллинзу, Чарли Диккенсу, Джорджине, Мэйми и Кейт — для Кэтрин раньше роли как-то находились, но не теперь, когда она стала толста и утратила остатки красоты: ее даже из дома услали, ибо там производилась перестройка под сцену и зрительный зал, и она уехала в деревню к Макриди.

Ставить решили с размахом, рассчитывая потом гастролировать, Чарли пригласил знакомого молодого композитора написать музыку, три художника трудились над декорациями, сделали массу технических устройств для показа моря, снега, заката и даже северного сияния. Премьера состоялась 6 января 1857 года, всего дали четыре спектакля, аудитория каждого — 25 человек... Теккерей, присутствовавший на одном из представлений, сказал, что Диккенс мог бы хорошо зарабатывать, пойдя он на сцену по-настоящему.

Диккенс — Бульвер-Литтону, 28 января: «Нет ничего более неудачного и вредоносного, чем наша палата общин, да и весь парламент в целом». В

марте он ездил с Коллинзом в Брайтон, в апреле с Кэтрин и Джорджиной в Рочестер, чтобы осмотреть перестраивающийся Гэдсхилл, в июне завершились выпуски «Крошки Доррит»: героиня выходит замуж за Кленнэма, спасшего ее семью и годящегося ей в отцы. В «Холодном доме» была та же ситуация, но старик вернул девушке свободу, чтобы она вышла за молодого. Здесь — нет. К чему бы это? И совсем исчезли долгие описания прелестной «обломовщины» — просто герой с героиней «пошли туда, где ждала их скромная и полезная жизнь, полная радости и труда на благо ближнему», «а люди вокруг них, крикливые, жадные, упрямые, наглые, тщеславные, сталкивались, расходились и теснили друг друга в вечной толчее...». Любопытно: в романе на сей раз нет классического диккенсовского злодея (вообще-то формально есть, но он опереточный и совсем не страшный): зло воплощают так называемые «нормальные люди» — «крикливые, жадные, упрямые, наглые, тщеславные»...

В «Крошке Доррит» имеется еще добрый десяток сюжетных линий, страшных и смешных, о которых мы ничего не рассказываем, дабы не портить вам удовольствие от чтения (этот роман мы включаем в первую пятерку нашего списка), и около сотни персонажей, очаровательных и отвратительных: остановимся лишь на одном из них. Автор пришел в ужас, увидев, какой стала его прежняя любовь, и не удержался от прямой карикатуры, изобразив Флору Финчинг, женщину, которую много лет назад любил герой и которая теперь, овдовев, пытается его обхаживать. Диккенс — признанный мастер передачи каких-нибудь смешных особенностей речи, но тут он превзошел себя:

«— Я, право, не сомневаюсь, — продолжала Флора, сыпля словами с завидной быстротой и из всех знаков препинания ограничиваясь одними запятыми, и то в небольшом количестве, — что вы там в Китае женились на какой-нибудь китайской красавице, оно и понятно, ведь вы так долго пробыли там, и потом вам нужно было расширять круг знакомств в интересах фирмы, так что ничего нет удивительного, если вы сделали предложение китайской красавице, и смею сказать, ничего нет удивительного, если китайская красавица приняла ваше предложение, и она может считать, что ей очень повезло, надеюсь только, что она не из сектантов, которые молятся в пагодах.

— Вы ошибаетесь, Флора, — сказал Артур, невольно улыбнувшись, — ни на какой красавице я не женился.

— Ах, мой бог, но, надеюсь, вы не из-за меня остались холостяком! — воскликнула Флора. — Нет, нет, конечно нет, смешно было бы и думать, и, пожалуйста, не отвечайте мне, я говорю сама не знаю что, вы мне лучше

расскажите про китайянок, верно ли у них такие узкие и длинные глаза, как на картинках, вроде перламутровых фишек для игры в карты, а на спине висит длинная коса на манер хвоста, или это только мужчины носят косы, а потом вот еще колокольчики, почему это у них такая страсть везде навешивать колокольчики, на мостах, на храмах, на шляпах, хотя, может быть, это все выдумки? — Флора наградила его еще одним прежним взглядом, и тут же понеслась дальше, как будто на все ее вопросы уже был дан обстоятельный ответ.

— Так, значит, это все правда! Боже мой, Артур — ах, простите, я по привычке — мистер Кленнэм, следовало бы сказать, — и как вы могли столько времени прожить в такой стране, ведь там, наверно, всегда темно и дождь идет, иначе зачем столько фонарей и зонтиков, ну конечно, это уж такой климат, вот, должно быть, прибыльное занятие, торговать там фонарями и зонтиками, раз ни один китаец без них не обходится, а какой странный обычай уродовать ноги с детства, чтобы можно было носить маленькие башмачки, а я и не знала, что вы такой любитель путешествий».

Но пусть Флора толста, смешна и неумна — она лишь добра желает возлюбленному и помогает Крошке Доррит:

«Право же, я просто в отчаянии, что так заспалась именно сегодня, ведь я непременно хотела встретить вас сама, как только вы придете, и сказать вам, что всякий, в ком Артур Кленнэм принимает участие, хотя бы и не такое горячее, может рассчитывать на участие и с моей стороны и что я очень рада вас видеть у себя, и добро пожаловать и милости просим, и вот извольте, никто не догадался меня разбудить, и вы уже здесь, а я еще храплю, если уж говорить всю правду, и я не знаю, любите ли вы курицу в холодном виде и ветчину в горячем, многие не любят, между прочим не только евреи, а у евреев это угрызения совести, которые мы должны уважать, хотя очень жаль, что у них нет угрызений совести, когда они нам продают подделки, а деньги берут как за настоящее, но если не любите, это будет просто ужасно».

Ей-богу, Флора самый обаятельный персонаж во всей книге, так что, видимо, не одно желание злой насмешки руководило автором, а (бессознательно, быть может) неумирающие остатки любви, благодаря которым он создал, пожалуй, наиболее живую из своих литературных женщин. (И реальная Мария Биднелл не оскорбилась, ни в какой суд не подавала — то ли она действительно была очень доброй, то ли не прочла роман.)

«Крошка Доррит» великолепно продавалась поначалу — больше 40 тысяч экземпляров, затем тиражи упали до обычных 32 тысяч; это

позволяло получить хорошую прибыль, но для Диккенса было оскорбительно мало. Почему? Слишком много и длинно про социальные проблемы, маловато про любовь... И критики опять бранились: «Сатердей ревью» заметила, что Диккенс «опять не смог привлечь внимание интеллектуальных слоев общества», но «осуществляет очень пагубное политическое и социальное влияние на остальное население»; Теккерей назвал книгу «непроходимо глупой», рецензент «Блэквудс мэгэзин» — «пустой болтовней». На наш взгляд, так сказать можно разве что из зависти — или от полнейшего непонимания.

Лето прошло в Гэдсхилле за ремонтом: армия рабочих почти вытоптала сад, устанавливая водяные насосы, делая новые выгребные ямы и вскапывая клумбы. В это неудачное время по приглашению Диккенса приехал Ханс Кристиан Андерсен — несмотря на предшествующую нежную переписку, гость страшно не понравился, и семья не знала, как и отделаться от него. В июле труппа Диккенса дала четыре представления «Замерзшей пучины», собирая деньги для вдовы недавно умершего коллеги, Дугласа Джеролда; на одном из них пожелала присутствовать королева. Она даже предлагала сыграть спектакль в Букингемском дворце — Диккенс отказался из щепетильности. 4 июля королева посетила спектакль, приведя с собой бельгийского короля Леопольда и принца Фредерика Прусского; записала в дневнике, что пьеса ее «глубоко взволновала», приглашала автора за кулисы, но Диккенс и тут отвертелся, сославшись на то, что не может предстать перед королевой загримированным — ему еще предстояло играть в фарсе, который по традиции всегда шел после основного спектакля. Возможно, он просто робел.

Для вдовы Джеролда денег не хватило — и Диккенс дважды читал перед двухтысячной аудиторией (в Сент-Мартин-Холле) «Рождественскую песнь». Мальчики приехали из Булони на каникулы, чтобы провести первое лето в Гэдсхилле, и попрощались с отплывавшим в Индию Уолтером. Отец и Чарли провожали его в Саутгемптон; 20 июля Диккенс писал мисс Куттс: «Он был угнетен с минуту, когда я прощался с ним, но быстро оправился и вел себя как подобает мужчине».

Мужчине было 16 лет — довольно обычный возраст в те времена, чтобы отправиться в армию или на флот. И все-таки... Помните: «Никто не возражал. Отец и мать были вполне удовлетворены. Они, возможно, не были бы рады больше, если бы я, двадцатилетний, поступил в Кембридж». «Меня и сейчас еще немного удивляет та легкость, с которой я, совсем еще

мальчик, был отвергнут. Ребенок очень способный и наблюдательный, подвижный, пытливый, чувствительный, легкоранимый и физически и душевно, я, как чудом, был изумлен тем, что никто и не подумал выручить меня». «Никакими словами нельзя выразить затаенных в моей душе страданий... Я чувствовал, что мои прежние надежды стать образованным и воспитанным человеком погребены в моей груди». Может, не только сам Диккенс, но и его сын мог чувствовать подобное? Но... «У меня появилась дотоле чуждая мне склонность подавлять свои чувства, бояться проявления нежности даже к собственным детям, лишь стоит им подрасти...»

О «Замерзшей пучине» прослышали в других городах; власти Манчестера, где Диккенс давно привык выступать с чтениями и спектаклями, настойчиво звали к себе, Диккенс сперва отказал, но денег в фонде Джеролда все еще было недостаточно, придется ехать. Два спектакля должны были пройти в зале Фонда свободной торговли 21 и 22 августа, зал на четыре тысячи мест, за себя и актеров-мужчин Диккенс не боялся, но негромкие «домашние» голоса дочерей и Джорджины не выдержат, надо нанимать профессиональных актрис, ему уже случалось так делать. 12 августа он снял в Манчестере целый отель для труппы; старый знакомый Альфред Уиган из театра «Олимпик» рекомендовал ему на женские роли сестер Тернан — начинающих актрис и дочерей актрисы, игравшей ранее с Макриди, их было три, как когда-то девочек Хогарт: Фанни, 22 года, Мария, 20 лет, и Эллен — 18. Фанни пела в опере, Мария играла в небольших комедиях в «Олимпике», Эллен, наименее даровитая из трех, только что дебютировала в дешевой феерии в роли эльфа. Фанни была занята, а мать и две младшие дочери брались разучить роли за несколько дней: Мария будет играть героиню в «Замерзшей пучине», Эллен — в фарсе.

Все прошло отлично, Диккенс был в ударе, декорации и игра потрясли зрителей, сами актеры разволновались, и Мария рыдала настоящими слезами, склоняясь над умирающим героем. Потом Диккенс вернулся в Гэдсхилл. И тут началось странное. Миссис Браун (компаньонке мисс Куттс), 28 августа: «Я чувствую себя так, словно мне необходимо взойти на все горные вершины Швейцарии, лишь после этого я успокоюсь, и то это будет всего лишь небольшим облегчением». Коллинзу, 29 августа: «Я пребываю в мрачном отчаянии, хочу бежать от самого себя... Ибо, когда я срываюсь с места и смотрю на свое помятое лицо (как сейчас), тоска моя невообразима, невысказана, отчаяние мое беспредельно... Я не знал ни минуты покоя с последнего представления „Замерзшей пучины“...»

Отчего он так мучился, что случилось? Он узнал, что миссис Тернан и все ее дочери будут выступать в Донкастере в середине сентября, и немедленно заказал там комнаты в отеле для себя и Коллинза. Мария Тернан, что рыдала у него на груди в «Замерзшей пучине»? Нет, Эллен; типаж — «бутончик, симпомпончик, голубые глазки... такая стройненькая, личико беленькое, а голубые жилки так и просвечивают сквозь кожу, ножки крохотные...», как говаривал страшный Квилп — погибель для мужчин за сорок.

Клэр Томалин: «Хорошенькая, без гроша в кармане восемнадцатилетняя девушка, вдруг обнаружившая, что ею восхищается богатый пожилой человек, была взволнованна. Ее положение в обществе вдруг изменилось: будучи всегда на втором плане, она теперь становилась чем-то значительным. Человек, над которым она получила власть, был замечательным и знаменитым, он был очаровательным и интересным собеседником и мог изменить ее жизнь к лучшему». Питер Акرويد: «Эллен была своевольна и могла в отдельных случаях властвовать... она была очень интеллектуальна и для девушки, которая получила лишь театральное образование, замечательно много читала». Энн Исба, автор книги «Женщины Диккенса»^[24]: «Диккенсу было 45, ей — 18... Он был величайший писатель своей эпохи, неутомимый журналист, социальный реформатор, театральные меценат, благотворитель, столп общества, отец девяти уже больших детей, но он был еще крепок, он был стильный, яркий, даже эксцентричный в одежде и манерах... Нелли (так Диккенс звал Эллен. — М. Ч.) была стройной блондинкой, красивой и энергичной, но бесталанной голубоглазой девочкой; безотцовщина и без гроша в кармане, она была бедна, невинна, а прежде всего она была молода. А Диккенса мучил страх старости. В Нелли он увидел прекрасную возможность стать моложе и начать новую жизнь».

Диккенс — мисс Мартин (соратнице по «Урании»): «Как же мне жаль, что нет людоеда с семью головами, который бы похитил принцессу, ту, что я обожаю, — Вы понятия не имеете, как сильно я люблю ее... Ничего мне бы так не хотелось, как пойти вслед за нею с мечом в руке и получить ее или погибнуть».

Глава двенадцатая

СКАНДАЛ

Форстер, видимо, увещевал друга, просил угомониться — тот из Донкастера слал ему исповедальные письма: «Вы, пожалуй, слишком нетерпимы к прихотливому и неугомонному чувству, которое (на мой взгляд) является частью того, на чем держится жизнь воображения и что, как Вы должны бы знать, мне частенько удается подавить, только перескочив через препятствие по-драгунски. Но оставим это. Я не хнычу и не жалуясь. Я согласен с Вами относительно весьма возможных неприятностей, еще более тяжелых, чем мои, которые могут случиться и часто случаются между супругами, вступившими в брак слишком рано. Я ни на минуту не забываю, как удивительно дано мне познавать жизнь и высшие ее ощущения, и я много лет говорил себе совершенно честно и искренне, что это — неизбежная, темная сторона подобной профессии и жаловаться не стоит. Я говорю это и чувствую это теперь так же, как и прежде; и я уже писал Вам в предыдущем письме, что не хочу поэтому ничего затевать. Но с годами все это не стало для нас легче, и я невольно чувствую, что должен что-то предпринять — столько же ради нее, сколько ради себя самого. Но я слишком хорошо знаю, что это невозможно. Таковы факты, и больше сказать нечего. И не думайте, пожалуйста, что я скрываю от себя возможные доводы другой стороны. Я не утверждаю, что я безгрешен. Вероятно, я сам виноват в очень многом — в нерешительности, в капризах, в дурном настроении; но лишь одно изменит это — конец, который изменяет все...»

Форстер говорил, что все наладится, образуется, что нельзя же такому солидному человеку из-за увлечения бросать жену — Диккенс отвечал: «Мы с бедняжкой Кэтрин не созданы друг для друга, и тут уж ничего не поделаешь. Беда не только в том, что она угнетает и раздражает меня. Я действую на нее точно так же, но только в тысячу раз сильнее. Да, она действительно такова, какой Вы ее знаете: незлобива и покладиста; но мы с ней удивительно неподходящая пара. Видит бог, она была бы в тысячу раз счастливее с человеком иного склада. Если бы ее судьба сложилась иначе, она бы выиграла, конечно, не меньше, чем я. Я часто и с душевной болью думаю: как жаль, что ей было суждено встретиться именно со мной! Случись мне завтра заболеть или стать жертвой несчастного случая, я знаю,

она горевала бы о том, что мы с ней потеряли друг друга. Да и я тоже! Но стоило бы мне выздороветь, и несовместимость характеров снова встала бы между нами, и никакие силы не могли бы помочь ей понять меня или нам обоим приноровиться друг к другу. Ее темперамент никак не вяжется с моим. Все это было не так уж важно, пока нам приходилось думать только о себе. Но с тех пор обстоятельства изменились: и теперь, пожалуй, бессмысленно даже пытаться наладить что-либо. То, что сейчас происходит со мной, случилось не вдруг. Я давно видел, как все это постепенно надвигается, еще с того дня — помните? — когда родилась моя Мэри... и я слишком хорошо знаю, что ни Вы, ни кто-нибудь другой не сможет мне помочь».

В сентябре в Донкастере он еще несколько раз видел Эллен (Нелли, как он звал ее), был в расстроенных чувствах, но это не помешало осуществить с Коллинзом долгую пешеходную экскурсию и совместно написать рассказ «Ленивое путешествие двух праздных подмастерий». Его немного отвлекло восстание сипаев (индийских солдат), подхваченное крестьянами, против англичан: оно проходило с крайней жестокостью, особенно выделялся эпизод Канпурской резни, когда было убито множество женщин и детей. Жестокость проявляли обе стороны, и англичане были пришельцами на чужой земле, но Диккенс в подобных случаях никогда не был объективным (он инстинктивно не любил «дикарей», будь то эскимосы или индийцы, и за негров-рабов заступался не столько из жалости к ним, сколько из отвращения к рабовладельцам). Мисс Куттс, 4 октября: «Жаль, что я не могу стать главнокомандующим в Индии. Я начал бы с того, что вверх бы эту восточную расу в удивление (отнюдь не относясь к ним, как если бы они жили в лондонском Стрэнде или Кемдентауне). „Мой пост, — объявил бы я, — милостью божией ниспослан мне лишь для того, чтобы всеми способами постараться истребить народ, запятнавший себя злодеяниями“. Я попросил бы их в виде личного одолжения заметить, что приехал именно с этой целью и намерен без лишних слов, не откладывая, быстро и по-деловому стереть их всех с лица земли и отправить в иной мир». И он написал с Коллинзом мелодраматический рассказ «Страдания английских узников»: мятеж индийцы в рассказе поднимают, разумеется, ни с того ни с сего, из чистого злодейства.

Никто не знает, скоро ли Эллен «сдалась» и на что именно согласилась, но с женой Диккенс решил порвать сразу. Вернувшись из

Донкастера, он поехал не к семье на Тэвисток-сквер, а в пустой Гэдсхилл и оттуда 11 октября написал горничной, чтобы она распорядилась наглухо заделать в городском доме перегородку между супружеской спальней и туалетной комнатой, в которой ему пусть устроят спальное место. Томалин: «В пылу его новой любви к Нелли он хотел быть снова чистым, как юноша. Но стать чистым юношей было невозможно. Вместо этого взяла верх самая темная часть его души. Он проявил жестокость к своей беззащитной жене. Неистовый гнев вспыхивал в нем при любом возражении его пожеланиям. Его самодовольство было отвратительно...» Форстер продолжал попытки его «спасти», говорил, что если уж друг задумал такую вещь, как развод, придется пожертвовать своим общественным положением, но все бесполезно: «Слишком поздно советовать мне утихомириться и не взбираться на гору бегом. Теперь мне это не поможет. Мое единственное спасение — в действии. Я потерял способность отдыхать. Я глубоко убежден, что стоит мне дать себе передышку, и я заржавею, надломлюсь и умру. Нет, уж лучше делать свое дело до конца. Таким я родился и таким умру — в этом меня убеждает, увы! печальный опыт последних лет. Тут уж ничего не поделаешь. Я должен поднатужиться и терпеть этот изъян. Впрочем, изъян ли это? Я не уверен. Как бы то ни было, я не могу уйти с поста».

Он написал театральному режиссеру Бакстону, попросив его взять Эллен на работу, и приложил для нее чек на 50 фунтов. Дома атмосфера была — сами можете представить какая, и он часто уезжал в Гэдсхилл. 23 октября он писал де ла Рю: «Мои отношения с известной вам несчастной особой отнюдь не улучшились с тех пор, когда мы жили на вилле Пескиере. Отнюдь. Они стали гораздо хуже. То же я могу сказать и о ее отношениях с детьми, и старшими и младшими. Она сама себе в тягость и, разумеется, несчастна. С тех пор как мы уехали из Генуи, она не переставала мучить меня ревностью...»

Тем не менее как-то жили. В декабре восьмилетнего Генри отправили в Булонь к старшим братьям. Тринадцатилетний Фрэнк изъявил желание стать врачом, и его отдали в медицинское училище в Гамбурге. Дома оставались лишь пятилетний Плорн и дочери. Десятилетия спустя Кейт сказала своей подруге Глэдис Стори^[25], что ее отец «был злым человеком — очень злым». «Моя бедная мать боялась моего отца. Ей никогда не разрешали выразить свое мнение, никогда не позволяли говорить, что она чувствовала». «Я любила своего отца больше, чем кого-либо, — по-другому, конечно... я любила его за его ошибки». Она также сказала Глэдис, что ее отец не понимал женщин и был бы несчастлив в любом

браке. Об Эллен: «...маленькая актриска, блондиночка, которая льстила отцу; хотя у нее не было таланта, она была умна. Кто мог обвинить ее? Он бросил мир к ее ногам...» А он, не стесняясь, писал всем знакомым женщинам, вновь называя Эллен принцессой, за которую готов «биться». Каплан: «То, что принцессой была Эллен Тернан, имело меньшее значение, чем то, что он нуждался в принцессе...» Может, и так: подспудно он давно искал любви, а с женой о любви давно уже не было и речи.

Всё вразнос — даже день рождения Чарли в 1858 году не праздновали. В декабре — январе Диккенс, как обычно, читал «Рождественскую песнь», на сей раз в Ковентри, Чатеме и Бристоле, в феврале выступал с речью на открытии детской больницы и основал фонд в ее пользу, в марте отправился с публичными чтениями в Эдинбург. Форстер возражал: он считал, что давать платные чтения унижительно для писателя. Но Диккенс уже принял решение: он будет читать регулярно, и не только в пользу кого-нибудь, но и для собственного заработка (возможно, в тот период он вновь боялся, что не сможет больше писать). Он нашел импресарио, Артура Смита, и объявил, что с 29 апреля до 1 июня проведет серию чтений «Песни» (другие свои работы он пока почему-то не решался взять для выступлений) в лондонском Сент-Мартин-Холле, а осенью поедет гастролировать в провинцию. Форстеру пришлось уступить — друг все чаще не слушался его.

Эллен, вероятно, тогда еще не сказала окончательного «да», возможно, вообще ничего толком не сказала, так как в письмах друзьям Диккенс говорил только о страдании, о муках. Коллинзу, 21 марта: «Донкастерское несчастье все еще так сильно, что я не могу писать, не могу успокоиться ни на минуту. Никто никогда не был так истерзан, так одержим одним неотвязным видением». Макриди, 22 марта: «Вчера приснилось мне, что я связан по рукам и по ногам и изо всех сил пытаюсь преодолеть бесконечный ряд барьеров. Не правда ли, очень похоже на явь?» Форстеру, 12 апреля: «Раз и навсегда откажитесь от мысли о том, что мои домашние дела можно изменить к лучшему. Их ничто не поправит. Легче умереть и снова воскреснуть. Я могу стараться, и пробовать, и терпеть, и заставлять себя видеть только хорошее, делать хорошую мину при плохой игре или плохую мину при хорошей игре — теперь дело совсем не в этом. Все кончено раз и навсегда. Напрасно было бы думать, что я могу что-то изменить или питать какие-то надежды. Меня постигла горькая неудача: с этим нужно смириться, и точка».

Наиболее интересное, с точки зрения биографов, письмо он отослал Анджеле Бердетт-Куттс 9 мая: «Я полагаю, что мой брак в течение многих

лет был несчастен, как никакой другой. По-моему, нет двух людей с такой невозможностью взаимного интереса, симпатии, доверия, чувства, нежности, союза любого рода, как между моей женой и мной. Это огромная беда для нее, это огромная беда для меня, но Природа положила меж нами непреодолимый барьер... Мы практически разделены уже давно. Мы должны отдалиться сильнее, так, как это невозможно устроить, живя в одном доме». А дальше идут чудовищные обвинения в адрес Кэтрин: «Если бы дети любили ее или хотя бы когда-то любили ее, разрыв был бы проще. Но она никогда не привлекала ни одного из них, никогда не играла с ними в младенчестве, никогда не вызывала их доверия, когда они выросли, никогда не была матерью. Я видел, как они от нее отчуждены, и Мэйми и Кейти (самые милые и ласковые девочки) просто окаменевают, когда надо находиться рядом с ней, и их сердца словно закрываются».

Сравните со словами Кейт: «...отец был злым человеком — очень злым»; «Моя бедная мать боялась моего отца. Ей никогда не разрешали выразить свое мнение, никогда не позволяли говорить, что она чувствовала». А вот воспоминания Генри: «Всегда была странная сдержанность со стороны отца... Так получилось, что, хотя его дети знали, что он предан им, своеобразная сдержанность с его стороны, казалось, проходила меж нами в виде облака. Я этого в нем никогда не понимал». И сам Диккенс: «У меня появилась... склонность бояться проявления нежности даже к собственным детям, лишь стоит им подрасти...» Так кто от кого был отчужден, кто с кем рядом окаменевал? Разобраться в этом невозможно. Пирсон: «Диккенс вместе с Форстером решили между собой, что Кэт не годится на роль воспитательницы собственных детей. Как могла она отказаться от материнских обязанностей, если ей не дали даже взяться за них? Кроме того, нет никаких доказательств тому, что младшие дети не любили ее, а из трех старших, которых отец посвятил во все, двое — Чарли и Кейти — были на стороне матери, и лишь Мэйми приняла сторону отца».

И все же вероятно, что Кэтрин, с ее послеродовыми депрессиями, которые лечили отнятием у нее детей, была плохой матерью. Но зачем надо было докладывать об этом посторонней женщине, причем именно в тот момент, когда появилась любовница? Далее Диккенс писал Анджеле, что Джорджина всегда видела, как плохо ему с женой, а покойная Мэри с одного взгляда это поняла (что же он ждал столько лет?), и продолжал обвинять жену: «Я думаю, что она всегда пыталась что-то вслепую нащупать во мне и никогда не понимала меня, и от этого впадала в ревность. Кроме того, ее ум временами мешался». Мисс Куттс он не убедил, и та в течение десяти дней делала героические попытки примирить

супругов.

Как раз в 1857 году в парламенте обсуждали законопроект о браке, в соответствии с которым разрешался гражданский (но не церковный) развод. Он разрешался, если один из супругов публично (в суде) обвинял другого в неверности (или брал эту вину на себя). Обвинить Кэтрин, даже если и хотелось, было просто невозможно. Брать вину на себя, как оно было на самом деле, Диккенс не захотел — репутация! Оставалась процедура раздельного проживания, которое тоже оформлялось юридически. При этом дети (как и жена) считались собственностью отца; замужние женщины не имели никаких прав, в том числе на алименты. Мнение детей, разумеется, не учитывалось, но дети Диккенса, по-видимому, были согласны остаться с ним и веселой тетей Джорджиной. Кейт (из рассказа Глэдис Стори): «Мы поступили очень плохо, отказавшись от нее. Гарри [Генри] так не считает, но он в то время был еще ребенком и не понимал, какое это было горе для нашей матери — потерять всех нас сразу. Мама никогда меня не ругала. Я никогда не видела ее в дурном расположении духа».

Утром 10 мая 1858 года Диккенс сказал Чарли, что они с матерью расходятся, и, забрав Плорна и девочек, уехал в Гэдсхилл. Кэтрин спустя неделю уехала к своей родне. (Поводом к окончательному разрыву, возможно, был браслет для Эллен, ошибочно присланный Кэтрин.) Чарли был совершеннолетним и мог выбрать, с кем ему жить. Он последовал за матерью и написал отцу: «Я боюсь, что Вы меня неправильно поймете... не думайте, что я сделал выбор потому, что предпочитаю мою мать Вам. Господь знает, что я нежно Вас люблю, и для меня трудно расстаться с Вами и девочками. Но я решил исполнить свой долг, и, надеюсь, Вы это поймете». Так что, похоже, Пирсон был не прав, утверждая, что Чарли принял сторону матери, потому что им двигали не эмоции, а верно понятое чувство долга. (С другой стороны, возможно, он просто боялся обидеть отца.)

Джорджина сразу, не колеблясь, уехала с Диккенсом и детьми; 31 мая она написала Марии Биднелл-Винтер чудовищно лицемерное письмо: «Чарлз и его жена согласились жить отдельно. Верьте мне, так будет лучше для всех. Я пыталась предотвратить это, пока видела такую возможность, но недавно я осознала, что не было никакого другого выхода из внутреннего страдания, царившего в этом доме. Моя сестра и Чарлз жили несчастливо в течение многих лет — они совершенно не подходили друг другу во всех отношениях, — а когда дети выросли (Плорну было всего пять лет; но не могла же Джорджина написать правду: „когда Чарлз

влюбился в другую“, это было табу. — М. Ч.), все только усилилось. К несчастью, моя сестра бросала детей с младенчества на других людей, следовательно, между нею и ими не было связи. Моя сестра часто выражала намерение уйти, Чарлз никогда на это не соглашался, но недавно он подумал, что так будет лучше для самой Кэтрин и для всех... У нее будет дом в Лондоне, и мы решили, что Чарли будет жить с ней. У Чарлза хозяйкой дома будет, конечно, Мэйми. (Это пишет давняя фактическая хозяйка дома. — М. Ч.) Конечно, Чарлз — человек общественный, и до Вас дойдут дикие слухи и злобная клевета. Мы, немногие настоящие друзья Чарлза, обязаны заставить замолчать любого, кто будет распространять такую ложь и клевету». (А зачем Диккенс сам рассказывал встречным и поперечным о своей любви к «принцессе»?)

Кейт: «Мой отец походил на сумасшедшего, когда мать выгоняли из дома, это вызвало в нем все самое худшее, все его слабости. Ему было совершенно безразлично, что будет с нами. Ничто не могло превзойти страдания и несчастья нашего дома». Кэтрин, уезжая с Тэвисток-сквер, написала мисс Куттс: «У меня теперь — Боже, помоги мне — только одна дорога. Когда-нибудь, но не теперь, я смогу рассказать Вам, как жестоко со мной обходились и обошлись в конце концов, какие унижения мне приходилось выносить». Анджела попросила Диккенса срочно прийти, но тот написал ей, что отговаривать его бесполезно: «Если Вы видели миссис Диккенс вместе с ее злобной матерью, я не могу обсуждать — даже с Вами! — ничего, что обсуждалось в присутствии той мерзкой женщины». Мерзость тещи заключалась в том, что она всем знакомым рассказала правду об Эллен Тернан, а гнев Диккенса был так силен, что, кажется, он сам себя убедил: «принцесса» ни при чем. Может, он и Джорджину поначалу убедил в этом? Но он сразу велел ей общаться и переписываться с Эллен — вряд ли свояченица была так уж слепа...

Интересы Диккенса на переговорах о раздельном проживании представляли его адвокат Фредерик Уври и Форстер, представлять его жену взялся старый друг семьи Марк Лемон — и сразу стал «врагом» и «клеветником», как и каждый, кто отваживался хотя бы пожалеть Кэтрин. 21 мая достигли соглашения: Кэтрин получает 400 фунтов в год и экипаж, детям не запрещалось видеть мать, но, как Кейт рассказывала Глэдис Стори, отец не поощрял этого.

Между тем слухи расходились как круги по воде, Диккенса обсуждали во всех лондонских и провинциальных клубах, многие, не зная об Эллен, сделали логичный вывод, что Диккенс живет с Джорджиной и даже что некоторые его дети — от нее. Хотя она не была ему кровной

родственницей, подобное сожителство считалось в ту пору кровосмешением — куда страшнее обычного прелюбодеяния. Некоторые, впрочем, слышали и об Эллен — да и как не слышать, если он целой куче народу писал о своей страсти к ней! Статья в газете «Рейнольдс уикли»: «Имена родственницы и актрисы в последнее время были так тесно связаны с мистером Диккенсом, что возбудили подозрение и удивление в умах всех, кто до сих пор смотрел на популярного романиста как на святого Иосифа во всем, что касается морали, целомудрия и этикета». Теккерей в клубе «Гаррик», услышав сплетню, уверил собеседников, что коллега нормальный человек, а не извращенец, и живет не со свояченицей, а с актрисой, — Диккенс написал ему резкое письмо: не было ничего ни с кем! Он писал в июне и преподобному Тэгарту, чьим прихожанином был много лет: «Хотя я, бесспорно, очень глубоко страдаю от бессовестной лжи и клеветы, распространяющейся вокруг моего имени, я не настолько слаб или неустойчив, чтобы это могло повлиять на меня хоть в малейшей степени». (На Тэгарта, однако, вся эта история повлияла, да так, что он резко оборвал дружбу с Диккенсом, длившуюся 16 лет.) Диккенс просил Уври подать в суд на газеты, которые полоскали его имя, но адвокат ответил, что невозможно будет доказать факт клеветы.

Диккенс решил, что сплетня о Джорджине исходит от жены, тещи и младшей свояченицы, Хелен. В семье Хогарт Джорджину действительно осуждали, Хелен писала подруге: «Джорджина поклоняется Диккенсу как гению и поссорилась со всеми своими родственниками, потому что они осмелились критиковать его, она говорит: „гения нельзя судить по тем же законам, как простых людей“. Она должна горько раскаяться, когда оправится от ее заблуждения, ее глупости, ее тщеславия...» — но вряд ли Кэтрин могла сама распускать слух, что ее дети рождены сестрой.

Но Диккенс в это поверил и 13 июля приказал Чарли написать матери письмо: «Отец говорит: „Я сам исключил из нашего Дела обычный формальный пункт, в соответствии с которым у нее [Кэтрин] может быть доступ к детям только на Тэвисток-сквер. Я сказал, что она может видеть их где угодно“. Мама, Вы видите таким образом, что имеете право видеть детей когда и где хотите, но он установил ограничения на посещения и просит передать их Вам: „Я положительно запрещаю детям когда-либо произносить хоть слово с их бабушкой или теткой Хелен Хогарт. Если они когда-либо покажутся в присутствии любой из этих двух женщин, я обяжу их немедленно покинуть дом Вашей матери... Я также положительно запрещаю детям когда-либо видеть м-ра Лемона или говорить с ним, и по той же самой причине я абсолютно запрещаю им переступить порог дома

Эванса“». (Эванс и Брэдбери выразили сомнения в правильности поступка Диккенса.) Чарли дописал от себя, в ледяном и довольно-таки неприязненным тоне (вряд ли он так написал бы матери, которую любил, так что искренность его желаний остаться с Кэтрин можно поставить под сомнение): «Как Вы видите, у него нет ни желания, ни власти удержать детей от встречи с Вами, но как их отец он имеет абсолютное право предотвратить их появление в любом обществе, которое ему неприятно». В итоге Кейт и Мэйми брали уроки музыки напротив дома, где жила мать, но не заходили к ней. А мальчики с ней вообще не встречались. (Кейт: «Мы поступили очень плохо, отказавшись от нее...»)

25 мая Диккенс зачем-то написал своему импресарио Смиту письмо, в котором объяснялся по поводу разъезда с женой: «Наша совместная жизнь с госпожой Диккенс была несчастливой уже в течение многих лет... Это может подтвердить наша преданная служанка (она была нам скорее другом), которая, прожив с нами шестнадцать лет, вышла замуж, но по-прежнему пользуется полным доверием г-жи Диккенс, так же как и моим... Мы не раз собирались расходиться, но единственной, кто стоял на пути к разрыву, была сестра г-жи Диккенс, Джорджина Хогарт. С пятнадцатилетнего возраста она целиком посвятила себя нашей семье и нашим детям, для которых она была и няней, и учителем, и участницей их игр, и защитником, и советчиком, и другом. Что касается моей жены, то из чувства уважения к ней лишь замечу, что в силу особенностей своей натуры она всегда перекладывала заботу о детях на кого-либо другого. Я просто не могу себе представить, что случилось бы с детьми, если бы не их тетка, которая вырастила их, снискала их искреннюю преданность и пожертвовала ради них своей молодостью, лучшими годами своей жизни...

Уже в течение нескольких лет г-жа Диккенс неоднократно давала мне понять, что для нее было бы лучше уехать и жить отдельно от меня. Она говорила, что пропасть между нами все увеличивается, и это усугубляет состояние подавленности, которое у нее иногда бывает, что она не в силах более жить со мной и что ей лучше покинуть наш дом. Я всегда отвечал на это, что мы должны примириться со своим несчастьем и нести свой крест до конца, что мы должны это сделать ради детей и быть вместе хотя бы „для других“. Наконец, приблизительно три недели тому назад, Форстер убедил меня, что в интересах самих детей будет, несомненно, лучше, если мы направим их жизнь в новое, более счастливое русло. (Бессовестная ложь: Форстер с самого начала пытался остановить друга. — М. Ч.) Что касается денежной стороны вопроса, скажу только, что я был так щедр, как будто г-жа Диккенс знатная дама, а я сам человек со средствами... Мои

старшие дети полностью отдадут себе отчет в происшедшем и принимают его как неизбежное. Между мной и детьми царит полное взаимное доверие, и старший сын согласен со мной во всем. Два злопыхателя, которым, хотя бы из чувства уважения и благодарности, следовало бы отзываться обо мне совсем иначе, связали случившееся с именем одной молодой особы, которой я чрезвычайно предан. Я не назову ее имени, ибо я слишком высоко ее ставлю. Клянусь честью, на всей земле нет более добродетельного и незапятнанного существа, чем эта особа. Она так же чиста и невинна, как мои любимые дочери».

В тот же день он отозвал соглашение с Кэтрин и потребовал, чтобы ее семья письменно опровергла свои «грязные инсинуации» о нем и Джорджине; за это он обещал увеличить алименты до 600 фунтов. Хогарты согласились и написали следующее: «Мы узнали, что в связи с разрывом семейных отношений между мистером и миссис Диккенс распространяются утверждения, что этот разрыв будто бы имел место вследствие обстоятельств, бросающих тень на репутацию г-на Диккенса, а также на доброе имя других лиц. Мы отвергаем подобные утверждения, как не имеющие никаких оснований».

После подписания соглашения и получения денег Кэтрин с Чарли переехали в отдельный дом на Глостер-плейс, а Диккенс сочинил очередное письмо о своем положении — для публикации: «Вот уже некоторое время моя семейная жизнь осложнилась рядом тяжелых обстоятельств, о которых здесь уместно заметить лишь то, что они носят сугубо личный характер и потому, я надеюсь, имеют право на уважение... Соглашение заключено в дружественном духе. Что же касается причин, породивших его, то о них тем, кто имеет к нему отношение, остается только забыть. Каким-то образом — по злему умыслу или по недомыслию, а может быть, и по дикой случайности — эти тягостные обстоятельства были неверно истолкованы, став предметом самых чудовищных, ложных и несправедливых слухов... Если после этого опровержения кто-нибудь станет все-таки повторять хотя бы один из этих слухов, он солжет умышленно и подло, как может лгать перед богом и людьми только бесчестный клятвопреступник».

Форстер умолял не публиковать письмо — сплетни не остановишь, будет только хуже — Диккенс не послушал и отдал его в «Таймс», редактор Джон Дилейн посоветовал его обнародовать. Редактор «Панча» Лемон печатать письмо отказался и стал совсем уже заклятым врагом: Диккенс запретил своим детям общаться с его детьми (а также с детьми Теккерея, хотя тот и опровергал слух о кровосмешении). 12 июня письмо появилось в

«Домашнем чтении», некоторые газеты его перепечатали (не без ехидных комментариев).

Порвав с Брэдбери и Эвансом, Диккенс вернулся к Чепмену и Холлу; «Домашнее чтение», несмотря на мольбы и судебные протесты Брэдбери и Эванса, выкупил у них на аукционе за 3550 фунтов и на его базе создал новую газету, которую сперва хотел назвать «Домашний очаг», — Форстер отговорил, потому что в условиях разъезда Диккенса с женой и в атмосфере грязных сплетен такое название вызывало бы насмешки.

Анджела Бердетт-Куттс твердо стала на сторону Кэтрин и перестала финансировать «Уранию» — та закрылась через два года. Все, кто не поддерживал распространяемый Диккенсом миф о «разделении ради общего блага», зачислялись во враги. Друзей продолжали обрабатывать: когда Джордж Лич, старый знакомый, сказал кому-то, что Чарли сам выбрал жизнь с матерью, Диккенс резко его одернул: это он велел Чарли поступить так. (По большому счету в друзьях остались Форстер, Бульвер-Литтон, Макриди, Коллинз да Генри Уиллс.)

Вообще не похоже, что Эллен Тернан в ту пору уже была любовницей Диккенса, — очень уж он был раздражен и зол, видимо, считая, что пострадал ни за что. Вступил в публичную полемику с критиками «Крошки Доррит» (обычно он так не поступал): роман отругал влиятельный журнал «Эдинбург ревью», поместивший «статью по поводу „Вольностей современных сочинителей“, в которой выражает свое недовольство мистером Диккенсом и другими современными сочинителями. Автору статьи не нравится, что современные сочинители не желают просто развлекать публику и выступают в своих сочинениях как истинные патриоты, которым дороги честь и благоденствие Англии. По мнению этого автора, сочинителям надлежит время от времени выпускать в свет легонькие книжечки, чтобы праздные молодые люди и барышни почитывали их и раскидывали по диванам, столикам и подоконникам своих гостиных. Зато „Эдинбург ревью“ принадлежит исключительное право решать все общественные и политические вопросы, равно как и право удушения недовольных». В июне он вышел из правления клуба «Гаррик», крупно поссорившись с Теккереем (не из-за своих личных дел, а из-за того, что Теккерей и протеже Диккенса журналист Йейтс оскорбили друг друга). И все это время продолжал выступать с «Рождественской песнью»: «Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина...»

Артур Смит, возможно, не понял, для чего Диккенс написал ему о своих личных делах — они не были особенно близки, так что, надо полагать, для публикации, — и 16 августа письмо с обвинениями в адрес Кэтрин появилось в нью-йоркской «Трибюн», после чего было скопировано английскими газетами. На сей раз Диккенс вознегодовал и даже принес жене извинения — через адвоката. История темная: как мог импресарио публиковать что-то, не уведомив работодателя? Для какой цели Диккенс передал импресарио подобный документ? И почему не уволил Смита после этой истории, если так уж сердился на него за его поступок? Да, извинения жене были принесены, но весь Лондон-то узнал, какая Кэтрин ужасная мать и что она одна во всем виновата... А между тем публикация повредила и Эллен Тернан: в Манчестере, где она выступала, ее освистывали.

2 августа Диккенс начал свой первый тур (80 выступлений) в Шотландии и Ирландии; Джорджине он позволил пригласить Кэтрин пообщаться с детьми, но только в ее присутствии. Но когда мисс Куттс написала ему, что к ней в гости приходила Кэтрин с младшими детьми, он отвечал (23 августа): «С тех пор как мы говорили о ней в прошлый раз, она причинила мне ужасные душевные страдания; и я должен откровенно сказать Вам, что она никогда не заботилась и не заботится о детях, и они никогда не заботились и не заботятся о ней. Отвратительный спектакль, устроенный в Вашей гостиной, — ложь от начала до конца, это ее притворство... Я не хочу знать ее больше. Я хочу простить (за что? — М. Ч.) и забыть ее... От Уолтера, который далеко в Индии, до малыша Плорна, они все знают, что я пишу правду. Она всегда смущала их; они всегда смущали ее; и она рада избавиться от них, а они от нее».

Кейт вспоминала, что за время отсутствия отца она ходила к матери чаще других, — за это отец два года с ней практически не разговаривал. Он всегда был нетерпим — вспомним его ужасные ссоры с издателями и скандалы с Форстером, — но теперь словно бес какой-то в него вселился... Зато перед отъездом он позаботился о семье Тернан: Фанни (с матерью) послал во Флоренцию брать уроки оперного пения, для Марии и Эллен снял дом в Лондоне на Оксфорд-стрит и оплачивал его. (Однажды вечером их задержал полисмен, приняв за проституток, — Диккенсу пришлось через знакомого в полиции улаживать эту историю.) Масла в огонь подлили братья, Фред и Огастес, одновременно бросившие своих жен (Огастес от своей бежал в США). А надо было каждый день выступать... Читал Диккенс теперь не только «Песнь» — еще и отрывки из «Сверчка за

очагом», «Колоколов», «Пиквика», «Чезлвита», «Крошки Доррит».

Увы, не было телевидения, и нам не представить, как он читал: судя по отзывам, это было не писательское, но актерское чтение — без бумажки, на разные голоса, с разными лицами, и выходило великолепно, во всяком случае в зале стоял то всеобщий хохот, то плач. Не доверял импресарию, сам проверял все — акустику, газовое освещение, ступеньки, занавес. Пирсон: «Во время гастролей он очень редко останавливался у друзей или знакомых и почти никогда не бывал на приемах или банкетах. Он считал своим долгом держаться в отличной форме, думать только о работе и избегать общества. Вся жизнь его проходила на бегу: с вокзала — в гостиницу, из гостиницы — на сцену, со сцены — на вокзал».

15 ноября он с триумфом и деньгами вернулся в Лондон, выпустил прощальный номер «Домашнего чтения» и стал готовить первый выпуск (к апрелю 1859 года) новой еженедельной газеты «Круглый год»; совладельцем и помощником редактора стал верный Уиллс, издательство разместилось почти рядом с бывшим «Домашним чтением», и он просто перевез мебель (включая и личную, из комнаток наверху) из дома 16 в дом 26.

Основные авторы последовали за ним: Коллинз, Гаскелл, Троллоп, к ним прибавились видные теперь романисты Джордж Мередит, Чарлз Рид; их работы в отличие от «Домашнего чтения» публиковались не анонимно. По содержанию «Круглый год» остался тем же, но с большим креном в литературу и меньшим — в публицистику и имел даже больший успех, нежели «Домашнее чтение». Кроме того, он одновременно должен был выходить в США, так что если тираж «Домашнего чтения» колебался между 35 и 40 тысячами экземпляров, то новая газета в совокупности имела тираж 100 тысяч — потрясающий коммерческий успех. Диккенса зазывали читать в Штатах, он отказался — возможно, из-за нежелания расстаться с Элен (взять ее с собой в пуританскую страну было немислимо), — но признавался Форстеру, что денежные посулы американцев «кружат голову». Возможно, другой причиной нежелания ехать был только что начатый роман — о Великой французской революции.

Он прочел «Французскую революцию» Карлейля и считал это достаточным: излишним «копанием» в источниках никогда не страдал. Дюма, которого принято считать легкомысленным, перелопачивал десятки исторических трудов, написанных с разных политических позиций, и в своем цикле о Великой революции подробнее разобрал все нюансы: в чем было расхождение между позициями Марата и Робеспьера в конце 1791 года, а в чем — месяц спустя... Диккенс в своей «Повести о двух

городах» не собирался писать о политике вообще. По Карлейлю, революция была хоть и ужасна, но вовсе не беспричинна: обжорство и мерзость правящего класса довели голодающий народ до отчаяния. Этого было достаточно, чтобы описать ситуацию поэтически: «...на каждом детском и взрослом лице, на каждой старческой — давней или едва намечающейся — морщине лежит печать Голода. Голод накладывает руку на все, Голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья, развешанного на заборах и веревках; Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соломой, опилками, стружками, клочками бумаги; Голод заявляет о себе каждой щепкой, отлетевшей от распиленного полена; Голод глазееет из печных труб, из которых давно уже не поднимается дым, смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти какие-нибудь отбросы... Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему: узкая кривая улица, грязная и смрадная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится гольтьба в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит исподлобья мрачным, насупленным взглядом, не предвещающим ничего доброго».

Нюансы политики, этапы революции — а ее делала отнюдь не только «гольтьба» — для Диккенса ничего не значат; не интересуют его и диктаторы, он видит одно — ужас толпы (собственно, он пишет не о французской революции, а о какой-то абстрактной): сперва толпа еще не ожесточившееся, но просто голодное животное; вот большая бочка с вином упала и разбилась на улице:

«Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или ничегонеделание, и ринулись к месту происшествия пить вино... Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить женщинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев; другие — и мужчины и женщины — черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с головы, и тут же выжимали его детишкам в рот; некоторые сооружали из грязи нечто вроде плотин, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны ручьям; а кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал и даже грыз набухшее вином дерево».

И вот та же толпа, но добравшаяся до оружия:

«У точильного круга была двойная рукоятка с ручками в обе стороны, и двое всклокоченных мужчин, с силой налегая на них, крутили его с

каким-то остервенением. Когда бешеное вращение колеса заставляло их откидываться назад, их длинные космы падали на плечи, а страшные перекошенные физиономии с нелепо торчащими наклеенными усами и бровями напоминали свирепых дикарей, разукрашенных для воинственной пляски. Потные, с ног до головы забрызганные кровью, с воспаленными глазами, горевшими какой-то звериной яростью, они с диким ревом налегали на рукоятку и крутили, крутили, как одержимые. Слипшиеся волосы то падали им на глаза, то космами свисали на плечи, а женщины в это время подносили им ко рту кружки с вином; вино расплескивалось, пот лил с них ручьями, и в снопах искр, летевших от круга, окровавленные лица и руки выступали словно в адском пламени. Среди всех этих людей не было ни одного человека, не забрызганного кровью. В тесной толпе, обступившей точильный круг, иногда поднималось какое-то движение, и в свете факелов мелькали протискивающиеся вперед фигуры, обнаженные по пояс, руки по локоть в крови, фигуры в окровавленных лохмотьях, всклокоченные головы, обмотанные красным тряпьем, намокшими в крови обрывками шелка... Вырвав отточенное оружие из снопа искр, они опрометью кидались на улицу, и тот, кто заглянул бы им в глаза, увидел бы в них то же багровое пламя, которое можно было погасить только пулей...»

В любом хорошем историческом романе История прокатывается тяжким колесом по «маленьким людям» — «Повесть о двух городах» не исключение. В начале ее мы видим многолетнего узника Бастилии, уже освобожденного, но еще не пришедшего в себя (ему все мнится, будто он сапожник, как было в заточении); это, пожалуй, самый трогательный из диккенсовских несчастных стариков.

«— Видите, к вам посетитель пришел, — сказал мосье Дефарж.

— Что вы сказали?

— Посетитель к вам.

Сапожник опять поднял глаза, не оставляя работы.

— Послушайте-ка! — сказал Дефарж. — Мосье знает толк в хорошей сапожной работе. Покажите-ка ему башмак, который вы сейчас делаете. Возьмите, мосье.

Мистер Лорри взял башмак.

— Мосье спрашивает, что это за башмак и как зовут мастера, который его делал.

На этот раз молчание длилось дольше обычного, прежде чем он собрался ответить.

— Я забыл, о чем вы спросили. Что вы сказали?

— Я говорю, не можете ли вы рассказать мосье, что это за башмак.

— Это дамский башмак, на прогулку ходить, для молодой особы. Такие сейчас в моде. Я моды не видал. У меня в руках образец был. — Он поглядел на свой башмак, и даже что-то похожее на гордость мелькнуло на его лице.

— А как мастера зовут? — спросил Дефарж.

Теперь, когда руки его остались без дела, он непрерывно поглаживал то пальцы левой руки правой рукой, то пальцы правой руки — левой, затем проводил рукой по бороде, и так без конца, не останавливаясь, повторяя одно за другим все те же движения. Завладеть его вниманием, извлечь из этой забывчивости, в которую он впадал всякий раз после того, как из него с трудом удавалось вытянуть несколько слов, стоило немалых усилий, — все равно как привести в чувство лежащего в обмороке больного или пытаться продлить последние минуты умирающего, дабы вырвать у него какое-то признание.

— Вы мое имя спрашиваете?

— Ну да, разумеется ваше!

— Сто пятый, Северная башня».

Другой герой, француз-эмигрант, уже после революции едет по делам во Францию, и его арестовывают как врага народа, хотя угнетали людей его злые родственники, а сам он давно отказался от собственности; ему грозит гильотина, но на нее вместо него всходит другой человек, произнося перед гибелью: «Я вижу... множество новых угнетателей, пришедших на смену старым, и всех их настигнет карающий меч, прежде чем его отложат в сторону. Я вижу цветущий город и прекрасный народ, поднявшийся из бездны; вижу, как он, в стойкой борьбе добываясь настоящей свободы, через долгие, долгие годы терпеливых усилий и бесчисленных поражений и побед искупит и загладит зло моего жестокого времени и предшествующих ему времен, которые выносили в себе это зло».

Мы ничего не говорим о том, кто был этот загадочный спаситель (а это безумно интересный персонаж), и кем — герой, спасшийся от гильотины, приходился старику, и кто кого любил и на ком женился или не женился, вообще не упоминаем о многочисленных сюжетных линиях романа — а там есть, к примеру, совершенно потрясающее развитие истории старика-узника, есть злодеи, есть весьма нестандартная злодейка (причем они все люди, а не чудища — чудищ Диккенс больше не пишет), хитроумные интриги и довольно необычный для Диккенса любовный треугольник, — все это вам предстоит прочесть, ибо «Повесть о двух городах», остросюжетная, пропорционально выстроенная и компактная, безусловно должна входить в первую пятерку диккенсовского чтения для современного

человека.

Это был последний роман Диккенса, иллюстрированный Хэблотом Брауном, — художник принял сторону Кэтрин и стал врагом. Критики (свои, английские; французы бы презрительно фыркнули) приняли книгу благосклонно, читатели были в восторге, тираж «Круглого года» устойчиво рос, Коллинз отдал туда свой бестселлер «Женщина в белом»; Диккенс предложил сотрудничество Джордж Элиот, одним из первых разгадав за этим псевдонимом женщину.

Летом он писал (вместе с Коллинзом) очередную рождественскую повесть и горячо интересовался итальянскими делами. Всякий раз вслед за Францией в Италии случались революции, обычно под лозунгом объединения итальянцев, теперь был благоприятный момент: Луи Наполеон обещал королю одного из итальянских государств, Пьемонта, Виктору Эммануилу II и премьер-министру Камилло Кавуру, что если они выгонят из своей страны австрийцев, то смогут создать конфедерацию во главе с Пьемонтом, а французам подарят часть территории. Началась война, в ходе которой Кавур провозгласил объединение всей Италии под властью Виктора Эммануила; его главной военной силой был Гарибальди. Друзья Диккенса и англичане вообще относились к затеям «итальяшек» весьма прохладно, осуждали за кровопролитие. Диккенс — журналисту Генри Фозергилю: «Разве недостатки и политическое ничтожество этих несчастнейших людей не естественны для народа, который так долго поработен и стонет под игом духовенства?.. Подобно Вам, я содрогаюсь от ужасов, которые проистекают из этих бесполезных восстаний; у меня, как и у Вас, кипит кровь при мысли, что вожаки остаются невредимыми, в то время как исполнители их воли гибнут сотнями, но что поделаешь? Бедствия этих людей настолько велики, что время от времени они непременно должны восставать. Победа над тиранией дается ценою многих поражений». Однако же Тайпинское восстание в Китае (против династии Цин), в подавлении которого участвовала Англия, симпатий у него не вызвало: любил он только европейцев и им одним желал свободы.

На осень была запланирована новая серия публичных чтений; до этого надо было как-то устроить семью Тернан. Диккенс хотел поселить их в своем доме на Тэвисток-сквер — Форстер отчаянно воспротивился. На этот раз Диккенс послушал друга и снял для них большой дом на северо-западе Лондона: Хоутон-плейс, 2 (год спустя, когда Эллен стала совершеннолетней, дом был передан в ее собственность, но она в нем не жила, а сдавала — неплохой источник постоянного дохода). Фанни взяли на

работу в Восточный Оперный театр, Мария играла в театре Лицей, Эллен — в театре Хеймаркет; в августе 1859 года она появилась на сцене в последний раз (пьеса как нарочно называлась «С глаз долой — из сердца вон»). Остается неясным: уволили ее, или она сама не хотела больше играть, или этого не хотел ее покровитель. Напомнила о себе Мария Биднелл — просила помочь деньгами и получила холодный отказ (но не обиделась и продолжала поддерживать отношения с Джорджиной).

9 октября начался тур чтений. А с 27-го в «Круглом годе» печаталась остросюжетная рождественская повесть «Дом с привидениями» — вы получите от нее удовольствие, даже если другие рождественские повести Диккенса вам не понравятся: благодаря участию Коллинза, в ней меньше назидательности и больше увлекательности, чем обычно. Вот только интересно, кто из двоих писал следующие строки: «Летом я частенько поднимаюсь ни свет ни заря и уединяюсь у себя в комнате, чтобы покончить с дневной работой еще до завтрака. И всякий раз я бываю глубоко поражен царящими вокруг безмолвием и одиночеством. Вдобавок есть нечто потрясающее в том, что тебя окружают спящие знакомые лица и ты осознаешь вдруг, что те, кто безмерно дорог тебе и кому безмерно дорог ты, полностью отчуждены от тебя и даже не подозревают о таинственном состоянии, в коем пребывают, — замершая жизнь, отрывочные нити вчерашнего дня, покинутые скамейки, закрытые книги, неоконченные, но заброшенные дела — все напоминает о Смерти. Неподвижность этого часа — как неподвижность Смерти». Наверное, все-таки это написал старший из соавторов. Ему было 47 лет. Для человека XIX века то было время задуматься о смерти всерьез, особенно если его мучили болезни и терзали мрачные мысли.

Глава тринадцатая

РУКОПИСИ ГОРЯТ

Сын Фрэнсис бесславно вернулся из гамбургского коммерческого училища и был отправлен в булонскую школу, англичане захватили Пекин, с одними друзьями Диккенс порвал, иные умерли, «Повесть о двух городах» была дописана; начинался 1860 год. Еще с декабря Диккенс был тяжело болен: воспаление лицевого нерва, ревматизм, колики в боку. Но писательская машина должна работать непрерывно, чтобы не заржаветь: в январе он начал публиковать в «Круглом годе» серию очерков «Путешественник не по торговым делам» (17 очерков в 1860–1861 годах и еще 13 — в 1863–1865 годах). Писал (как Дюма в своих газетах) обо всем: детство, театры, гостиницы, злоупотребления в армии, кладбища, Гарибальди, бродяги, собаки, трактиры, проповедники...

«В проповеди был выведен некий воображаемый рабочий с его воображаемыми возражениями против христианской веры (должным образом опровергнутыми), который был личностью не только весьма неприятной, но и на редкость неправдоподобной — гораздо неправдоподобнее всего, что я видел в пантомиме. Природная независимость характера, которой якобы обладал этот ремесленник, была передана при помощи диалекта, какого я ни разу не встречал, а также посредством грубых интонаций и манер, никак не соответствующих его душевному складу, и вообще, я бы сказал, вся эта имитация так же не отвечала оригиналу, как сам он не походил на монгола. Подобным же образом выведен был примерный бедняк, который, как показалось мне, был самым самонадеянным и надутым из всех бедняков, получавших когда-либо вспомоществование, и словно напрашивался на то, чтобы пройти крайне необходимый ему курс лечения в каменоломне».

Он никогда специально не писал о животных, но если уж писал, то совершенно их очеловечивал, и они служили отличным материалом для развертывания его комического дара: «У меня было шапочное знакомство с одним ослом, который жил за Лондонским мостом, в Сэррей-сайд, среди твердынь Острова Джекоба и Докхеда. Этот осел, когда в его услугах не было особой нужды, шатался повсюду один. Я встречал его за милю от его местожительства, когда он слонялся без дела по улицам, и выражение лица в этих случаях у него было самое подлое. Он принадлежал к заведению

одной престарелой леди, торговавшей береговичками; в субботу вечером он обычно стоял около винной лавки с тележкой, полной доверху этими деликатесами, и всякий раз, когда покупатель подходил к тележке, начинал прядать ушами, явно радуясь, что того обсчитали. Его хозяйка иногда напивалась до бесчувствия. Именно эта ее слабость и была причиной того, что, когда я, лет пять тому назад, встретил его в последний раз, он находился в затруднительных обстоятельствах. Хозяйка забыла о нем, и, оставшись один с тележкой береговичков, он побрел куда глаза глядят. Какое-то время он, ублажая порочный свой вкус, шатался по своим излюбленным трюцобам, но потом, не приняв в соображение тележку, зашел в узкий проезд, откуда не мог уже выбраться. Полиция арестовала его, и поскольку до местного загона для отбившегося от стада скота было рукой подать, его отправили в это узилище. В этот критический момент его жизни я и повстречал его; он глядел таким закоренелым и убежденным негодяем, в самом прямом смысле слова, что ни один человек не мог бы его превзойти».

«Из своего окна в Ковент-Гардене я заметил на днях деревенского пса, явившегося на Ковент-Гарденский рынок с телегой, но оборвавшего привязь, конец которой все еще волочился за ним. Когда он слонялся по всем четырем углам, которые видны из моего окна, нехорошие лондонские собаки подошли к нему и наговорили ему всяких небылиц, но он им не поверил, и тогда совсем скверные лондонские собаки подошли к нему и позвали идти воровать на рынок, но он не пошел, потому что это было противно его принципам, и задумался он с огорчением о том, какие нравы царят в этом городе, и отошел он тихонько и лег в подворотне».

Мисс Куттс весной вновь пыталась примирить его с женой, предлагая «простые встречи в нейтральном месте», — он отказал: «Эти встречи каждый раз наносили мне тяжкие удары, я не могу больше подвергаться подобным испытаниям». К сентябрю более или менее хорошие отношения с Анджелой у него восстановились (увы, не настолько, чтобы продолжать дело «Урании».) Другим людям, предлагавшим «встречи в нейтральном месте», он отказывал резко. Знакомому, Альберту Смитсу: «Я не могу бывать в доме, где принимают младшую дочь миссис Хогарт». Он прекратил аренду дома на Тэвисток-сквер и жил теперь в квартирке над редакцией журнала, ежегодно на несколько месяцев снимая в Лондоне какой-нибудь дом, чтобы Кейт и в особенности Мэйми могли выходить в свет; каждое лето проходило в Гэдсхилле, где хозяйничала Джорджина.

Эдмунд Йейтс: «Жизнь гостей Гэдсхилла была просто

восхитительной. В девять часов мы завтракали, выкуривали сигару, просматривали газету и до часу, до ленча, бродили по саду... Все утро Диккенс работал... (Перед этим он купался или обливался холодной водой, несмотря на вечные простуды. — М. Ч.) После ленча (очень сытного, хотя сам хозяин ограничивался бутербродом с сыром и стаканом эля) гости собирались в зале — и обсуждали дальнейшие планы. Некоторые устраивали пешие прогулки, другие ездили, третьи бродили по окрестностям... Я, конечно, выбирал прогулку с Диккенсом; мы отправлялись в путь, взяв тех из гостей, кто отваживался на это испытание. Таких было немного, и они обычно не присоединялись к нам во второй раз, поскольку мы редко проходили меньше двенадцати миль, и при этом быстрым шагом...»

Генри Диккенс вспоминал «длительные прогулки во второй половине дня, когда его работа была окончена, по десять миль и больше, когда я и собаки были его единственными спутниками. Он редко выходил без собак... Он любил всех домашних животных. У нас был Турок, добродушный дог, Линда, сенбернар, привезенная щенком прямо из монастыря, ньюфаундленд Бамбл, дворняга Миссис Вышибала, ирландская ищейка Султан. Из множества кошек была одна чудесная по кличке Вильгельмина, которая всюду сопровождала нас, как собака... (Ошиблись мы, значит, предположив, что Диккенс ненавидел кошек, — делая их в романах символами зла и греха, он, очевидно, просто следовал фольклорной традиции. — М. Ч.) Был тяжеловоз для работ и жеребец с гривой, украшенной колокольчиками... Из птиц, кроме давно умершего ворона, были щегол и канарейка...»

За домом простирался большой луг; Диккенс позднее купил его для крикетных матчей, позволяя играть членам крикетного клуба из соседней деревни Хайем; под конец жизни стал устраивать там состязания в беге за денежные призы и даже небольшую пивную палатку разрешил там установить. Он был из тех редких людей, которые сами следуют (ну, почти во всем) собственным проповедям: писал, что народу нужен воскресный досуг — значит, обязан сам его организовать, даже если другие люди не будут поступать так же. (Участники соревнований — арендаторы, сезонные рабочие, солдаты — его не подводили и вели себя абсолютно прилично даже и с пивом.)

Мэйми с Джорджиной и отцом ладила, но Кейт бунтовала, с отцом, как уже говорилось, по его желанию два года почти не говорила, и, когда ей сделал предложение 32-летний брат Уилки Коллинза Чарлз, художник, приняла его сразу, несмотря на отсутствие сильной влюбленности со своей

стороны и резкое сопротивление отца. На свадьбу (17 июля) Диккенс все же пришел. Мэйми вспоминала, как после отъезда молодых он плакал, уткнувшись лицом в старое платье Кейт, и бормотал сквозь слезы, что дочь не ушла бы из дому, если бы не он.

Но он категорически запретил звать на свадьбу дочери ее мать. Добрый или злой человек? Да такой же, как мы, — разный... Умер Альфред, единственный из его братьев, который был порядочным и трудолюбивым человеком, оставил вдову с пятью малыми детьми — Диккенс перевез их в Гэдсхилл, потом снял им дом по соседству, потом переселил в Лондон, устроил мальчиков в школу и содержал их всех до конца жизни. Непутевого брата Фрэнка пристроил в «Круглый год». Содержал мать, которую давно уже не любил, и жену, которую люто ненавидел. Все время пытался помочь театральной карьере Марии и Фанни Тернан — увы, девушки не очень-то преуспевали... Он был безжалостен к сыновьям, кроме любимца Чарли, но когда одиннадцатилетний Генри выказал твердость характера и заявил, что ни в какую Булонь больше никогда не поедет, а хочет учиться в средней школе в Рочестере, — дал согласие. Вслед за братом взбунтовался тринадцатилетний Сидней — бросил школу в Булони и был принят в Военно-морскую академию. Раз уж им всем, как выяснилось, так сильно не нравилось в Булони, то и восьмилетнего Плорна туда отдавать не стали и он начал учиться в частной школе преподобного Соьера в Танбридж Уэллс.

В начале сентября 1860 года произошла ужасная (для биографов) вещь. На лугу (тогда еще не бывшем крикетным полем) Диккенс развел костер и с помощью Генри уничтожил абсолютно всю свою переписку, даже деловую (так погибла, например, почти вся бесценная документация «Урании»), не посоветовавшись с Форстером (пришедшим от этого поступка в ужас) и невзирая на мольбы Мэйми, пытавшейся выхватывать отдельные письма из огня. Он также потребовал от друзей и родни уничтожить его письма — и многие его послушались. В дальнейшем он немедленно уничтожал все письма, кроме деловых. В рождественской повести 1858 года «Одержимый» он описал человека, который уничтожает свою память: «Прошлое есть прошлое, — сказал Ученый. — Оно умирает, как умирают бессловесные твари. Кто сказал, что прошлое оставило след в моей жизни? Он бредит или лжет!» — и таким образом лишается души, описал холод и ужас, который пришел к этому человеку: «Я несу в себе яд, отравивший меня и способный отравить все человечество! Там, где прежде я испытывал участие, сострадание, жалость, я теперь обращаюсь в камень. Самое присутствие мое вредоносно, всюду, где я ни пройду, я сею

себялюбие и неблагодарность», — но сам не побоялся такой участи.

Никто не знает, почему он так поступил. Питер Акرويد считает, что недаром через три недели после костра Диккенс начал писать роман «Большие надежды»: «Он изгонял прошлое, переписывая его». Однако в романе нет почти ничего автобиографического. Кажется, он просто решил начать новую жизнь с чистого листа. Возможно, это было связано с каким-то переломом в отношениях с Эллен Тернан.

Итак, «Большие надежды» — вот он, вот наконец наш долгожданный роман номер один, с которого современному человеку, на наш взгляд, стоит начинать чтение Диккенса. Почему? Он небольшой, компактный, со строгим, ясным и от первой до последней строки захватывающим сюжетом, без единой побочной линии, с гораздо меньшим числом персонажей, чем обычно; написан он, как и «Копперфильд», от первого лица, а значит, легким, простым языком; и он весь пронизан наэлектризованной страстью, ранее Диккенсу несвойственной. В нем нет никаких диккенсовских чудищ, зато действуют абсолютно живые люди. Да, можно сказать, как Честертон, что это «не диккенсовский роман» и что люди, которым он нравится, не понимают и ненавидят очаровательную, волшебную «диккенсовщину» и Диккенса.

Но написал-то «Большие надежды» не какой-нибудь другой человек, а тот же Диккенс! Он не мог все время писать одинаково, подвешивая героев «в блаженной пустоте», как бы Честертону этого ни хотелось. В каждый роман он приносил что-то новое, а теперь новая жизнь — и Диккенс совсем уже новый; и именно этот Диккенс ближе и понятнее читателю нашего времени. И любителям «диккенсовщины» нечего бояться — это хотя и новый, но Диккенс, и приключений полно, и своеобразный его юмор никуда не делся — вот, пожалуйста, описание «Гамлета», поставленного второсортной труппой:

«Когда мы прибыли в Данию, король и королева этой державы уже сидели в креслах, водруженных на кухонный стол. Царственную чету окружала вся датская знать, а именно: родовитый юноша в замшевых сапогах какого-то необычайно рослого предка; убеленный сединами лорд с грязным лицом, который, по-видимому, вышел из низов, будучи уже в летах; и датское рыцарство в белых шелковых чулках и с гребнем в прическе, судя по всему — особа женского пола. Мой гениальный земляк стоял несколько в стороне, скрестив руки на груди, и мне показалось, что его кудри и высокое чело могли бы выглядеть много правдоподобнее.

По ходу действия выяснились кое-какие любопытные обстоятельства. Так, покойный король Дании, видимо, сильно кашлял в день своей кончины

и не только унес этот недуг с собой в могилу, но и принес обратно в мир живых. Далее, жезл августейшего духа был обернут неким потусторонним манускриптом, к которому он время от времени обращался, выказывая при этом изрядное беспокойство и то и дело теряя нужное место, совсем как обыкновенный смертный. Этим, вероятно, и был вызван раздавшийся с галерки совет: „Погляди на обороте!“, который его очень обидел... Офелия же теряла рассудок так медленно и под такую тягучую музыку, что, когда она наконец сняла свой белый кисейный шарф, сложила его и закопала в землю, какой-то раздражительный мужчина в первом ряду галерки, уже давно студивший нос о железный столбик, угрюмо проворчал: „Ну, слава богу, ребеночка уложили спать, теперь можно и поужинать!“ — замечание по меньшей мере неуместное.

Однако больше всего язвительных насмешек и шуток досталось моему злосчастному земляку. Всякий раз как этот нерешительный принц задавал вопрос или высказывал сомнение, зрители спешили ему на помощь. Так, например, в ответ на вопрос, „достоиней ли судьбы терпеть удары“, одни кричали во весь голос „да“, другие „нет“, третьи, не имевшие своего мнения, предлагали погадать на бобах, так что завязался целый диспут. Когда он спросил, „к чему таким тварям, как он, ползать между небом и землею“, раздались громкие одобрительные возгласы: „Правильно!“ Когда он появился со спущенным чулком (спадавшим, по обычаю, одной аккуратной складкой, каковой эффект, должно быть, достигается при помощи утюга), в публике зашел разговор о том, какие бледные у него икры и не потому ли это, что он так испугался духа. Как только он взял в руки флейту, — очень похожую на ту маленькую, черненькую, на которой только что играли в оркестре, а затем сунули кому-то в боковую дверь, — публика хором потребовала, чтобы он сыграл „Правь, Британия!“. Когда же он посоветовал актеру „не пилить воздуха этак вот руками“, сердитый мужчина на галерке сказал: „Сам хорош, хуже его размахался!“ Но самые тяжкие испытания ждали его на кладбище, представлявшем собою девственный лес, на одном конце которого помещалось нечто вроде прачечной с крестом на крыше, а на другом калитка. При виде мистера Уопсла, входящего в калитку в широчайшем черном плаще, кто-то громко предостерег могильщика: „Эй, друг, вон гробовщик идет, задаст он тебе, если не будешь работать как следует!“ Мне кажется, любому жителю цивилизованного государства следовало бы знать, что мистер Уопсл, пофилософствовав над черепом и положив его наземь, просто не мог не обтереть руки о белую салфетку, извлеченную из-за пазухи; однако даже этот невинный и в некотором роде обоснованный поступок не прошел ему

даром, а сопровождался выкриком: „Эй, официант!“». Боже, ну почему, почему Диккенс не написал романа о театре?!

О завязке романа Диккенс сообщил Макриди, что она «странная и очень интересная», — ни слова не прибавим к этому; читайте. А дальше, как в «Копперфильде», жил-был мальчик Пип (Филипп) — сирота; и, как в «Копперфильде», только с еще большим «марк-твенновским» блеском, описано его детство:

«Оттого, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись „А также Джорджиана, супруга вышереченного“ вызывала в моем детском воображении образ матери — хилой, веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле».

Живет Пип с сестрой — грубой, злой бабой, что «воспитала» его «своими руками»: «Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали „своими руками“. Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками».

Диккенс много раз пытался создать «положительного рабочего», и все время у него получалась какая-то назидательная тягомотина, но подкаблучник кузнец Джо Гарджери — действительно трогательный образ доброго и кристально честного человека; а ведь доброго человека так безумно трудно написать! Легче, если он необразован, наивен и малость глуповат, — и Диккенс, как позднее Твен в «Приключениях Гекльберри Финна», прибег к этому приему (диалог Пипа и Джо изрядно напоминает те разговоры, что водили между собой Гек Финн и негр Джим, точнее, конечно, второе напоминает первое):

«...В прошлое воскресенье в церкви, нечаянно перевернув

молитвенник вверх ногами, я заметил, что Джо, сидевший со мной рядом, не испытал от этого ни малейшего неудобства. Решив тут же выяснить, с самого ли начала мне придется начинать, когда я буду давать Джо уроки, я сказал:

— А ты прочти дальше, Джо.

— Дальше, Пип? — сказал Джо, внимательно вглядываясь в мое послание. — Раз, два, три. Да тут, Пип, целых три Д, и Ж, и О, и Д-Ж-О — Джо!

Я нагнулся к Джо и, водя пальцем по доске, прочел ему письмо с начала до конца.

— Поди ж ты! — сказал Джо, когда я кончил. — Ученый ты у нас, право ученый.

— Как ты напишешь „Гарджерри“, Джо? — спросил я скромно-покровительственным тоном.

— А я его не буду писать, — сказал Джо.

— Ну а ты представь себе, что пишешь.

— Этого никак не представишь, — сказал Джо. — А я, между прочим, чтение тоже очень уважаю.

— Разве, Джо?

— Очень уважаю. Дай мне хорошую книжку либо газету хорошую и посади у огонька, так мне больше ничего не нужно. — Он задумчиво потер себе колено и продолжал: — А уж как увидишь Д, и Ж, и О, да скажешь: „Вот оно Д-Ж-О, Джо“, — тогда читать и вовсе интересно.

Из этого я заключил, что образование Джо, так же как применение силы пара, находится еще в зачаточном состоянии.

— А ты разве не ходил в школу, когда был маленький, Джо?

— Нет, Пип.

— А почему ты не ходил в школу, когда был маленький?

— Почему? — переспросил Джо и, как всегда, когда впадал в задумчивость, стал медленно помешивать угли, просунув кочергу между прутьев решетки. — А вот послушай. Мой отец, Пип, был любитель выпить, проще сказать — пил горькую, а когда, бывало, напьется, то бил мою мать безо всякой жалости. Лучше бы он так молотом по наковальне бил, — так нет же, все ей доставалось, все ей, да еще мне. Ты, Пип, слушаешь меня, понимаешь, что я говорю?

— Да, Джо.

— По этой самой причине мы с матерью несколько раз от отца убегали. Вот мать наймет где-нибудь на работу и скажет, бывало: „Джо, теперь ты с божьей помощью и учиться пойдешь“, и отдаст меня в школу.

Только отец у меня был предобрый человек, и никак ему было невозможно жить без нас. Вот он узнает, где мы находимся, да и соберет народ, да такой шум поднимет перед домом, что хозяевам невтерпеж станет, они и говорят: „Уходите вы, подобру-поздорову“, и выгонят нас на улицу. Ну, он тогда ведет нас домой и бьет пуще прежнего. И понимаешь, Пип, — сказал Джо, переставая мешать угли и устремив на меня задумчивый взгляд, — ученью моему это здорово мешало.

— Еще бы, бедный Джо!

— Только ты помни, Пип, — сказал Джо, строго постучав кочергой по решетке, — каждому надо воздавать по справедливости, чтобы никому обидно не было, и я так скажу, что отец мой был предобрый человек, понял ты меня?

Я не понял, но промолчал.

— То-то и есть, — продолжал Джо. — Однако ж кому-то надо варить похлебку, не то похлебка не сварится, понятно, Пип?

Это я понял, и так и сказал.

— По этой самой причине отец слова против того не вымолвил, чтобы я шел работать; я и пошел работать, по той же части, что и он, — только он-то ни по какой части ничего не делал, — и работал я на совесть, это ты можешь мне поверить, Пип. Скоро я уже мог его содержать, и содержал до самых тех пор, пока его не хватил покалиптический удар. И было у меня такое желание, чтобы у него на могиле значилось, что хотя не без грехов он свой прожил век, читатель, помни, он был предобрый человек.

Джо произнес это двустипшие так выразительно и с такой явной гордостью, что я спросил, уж не сам ли он это сочинил.

— Сам, — ответил Джо. — Единым духом сочинил. Точно подкову одним ударом выковал. Со мной сроду такого не бывало — я даже себе не поверил, — сказать по правде, просто диву дался, как это у меня вышло. Так вот, я и говорю, Пип, было у меня такое желание, чтобы это вырезали у него на могильной плите; но стихи денег стоят, как их ни вырезай — крупными буквами или мелкими, — и дело не выгорело. Похороны и без того недешево обошлись, а те деньги, что остались, нужны были для матери. У нее здоровье сильно сдало, совсем была никуда. Она, бедная, ненамного его пережила, пришло время и ее косточкам успокоиться.

Голубые глаза Джо подернулись влагой, и он потер сначала один глаз, потом другой самым неподходящим для этого дела предметом — круглой шишкой на рукоятке кочерги.

— Остался я тогда один-одинешенек, — сказал Джо. — А потом познакомился с твоей сестрой. Имей в виду, Пип, — Джо посмотрел на

меня решительно и твердо, словно знал, что я с ним не соглашусь, — твоя сестра — видная женщина.

Я невольно отвел глаза и с сомнением покосился на огонь.

— Что бы там люди ни говорили, Пип, будь то среди родных или, к примеру сказать, в деревне, но твоя сестра, — и Джо закончил, отбивая каждый слог кочергой по решетке, — вид-на-я женщина».

Дальше с Пипом начинают происходить всякие головокружительные чудеса и приключения, о которых мы постараемся ничего не рассказывать — читайте; скажем только, что, повзрослев, переехав в Лондон и начав сорить деньгами и воображать себя джентльменом (как и почему это случилось — ничего мы вам не скажем!), он начинает относиться к простодушному Джо свысока — тут Диккенс взбирается на еще небывалые для себя высоты самоанализа и психологизма:

«Было ясно, что на следующий день мне нужно ехать в наш город; и в первом порыве раскаяния мне было столь же ясно, что я должен остановиться у Джо. Но после того как я заказал себе место на козлах на завтрашний дилижанс и съездил предупредить мистера Покета, второе из этих положений казалось мне уже не таким бесспорным, и я стал измышлять всяческие предлоги, чтобы переночевать в „Синем Кабане“. У Джо я только всех стесню; меня не ждут и не успеют приготовить мне постель; я буду слишком далеко от мисс Хэвишем, а она такая привередливая, ей это может не понравиться. Нет на свете обмана хуже, чем самообман, а я, конечно, плутовал сам с собой, выдумывая эти отговорки.

Любопытное дело! Не диво, если бы я, по незнанию, принял от кого-нибудь фальшивые полкроны; но как я мог посчитать за полноценные деньги монету, которую сам же чеканил? Услужливый незнакомец, предложив мне, безопасности ради, покрепче свернуть мои кредитные билеты, опускает билеты в карман и подсовывает мне завернутую в бумагу ореховую скорлупу; но чего стоит этот фокус по сравнению с моим? Я сам завертываю в бумагу ореховую скорлупу и подсовываю ее себе под видом кредитных билетов!

Окончательно решив, что остановлюсь в „Синем Кабане“, я стал терзаться сомнениями — взять или не взять с собой Мстителя (лакея. — М. Ч.). Меня очень соблазняло посмотреть, как этот дорогостоящий наемник будет чваниться своими высокими сапогами в воротах „Синего Кабана“; и просто дух захватывало при мысли, что можно как бы невзначай зайти с ним в лавку к мистеру Трэббу и пронзить непочтительную душу портновского мальчишки. С другой же стороны, была опасность, что

портновский мальчишка сумеет втереться к нему в дружбу и нараскажет ему чего не надо; или еще вздумает освистать его на потеху всей Торговой улице...»

Сперва Диккенс хотел издавать «Большие надежды» обычными и удобными для него самого ежемесячными выпусками, но потом решил отдать его в «Круглый год» (тираж которого вдруг резко упал из-за того, что читателям не понравился печатавшийся там роман писателя Левра), где требовались еженедельные выпуски (первый появился 1 декабря 1860 года) — так что небольшой размер романа, в котором мы видим плюс, был для автора частично вынужденным. За публикацию «Повести о двух городах» в США автор получил от газеты «Харперс уикли» тысячу фунтов, теперь американцы предложили 1250 — хорошая прибавка. В ноябре Диккенс съездил с Коллинзом в Девоншир — вместе писали очередную рождественскую повесть. В начале 1861 года он снял меблированный дом на Ганновер-террас — исключительно ради Мэйми, которая любила светскую жизнь и балы, — как говорили злые языки, даже слишком любила.

Чарли, ездивший по делам своей торговой фирмы в Китай, вернулся в феврале и собирался жениться на Бесси, дочери издателя Эванса, который после разрыва Диккенса с женой был «негодяем» и «клеветником». Диккенс ранее написал Кэтрин (через адвоката), что «категорически воспрещает» детям общаться с Эвансом, но Чарли был совершеннолетний. Более того, он намеревался поступить в только что основанную фирму сына Эванса, которая торговала бумагой, и войти с шурином в долю. Отец всем рассылал гневные письма, обвинял Кэтрин в «интригах» и на свадьбу сына (19 ноября) не явился, написав в тот день Бульвер-Литтону: «Само имя этой девицы мне ненавистно». (Бесси родила первенца осенью 1862 года. Жили они с Чарли счастливо и завели восемь детей.) Неумножающийся пыл его ненависти наводит на мысль, что Эллен Тернан все еще не «сдалась» — обычно, получив желаемое, люди все-таки смягчаются. К этой же мысли подводит и та любовь, которую он описал в «Больших надеждах» — отчаянная, отвергнутая, безнадежная. Впрочем, хотя большинство критиков убеждены, что характер героини основан на Эллен Тернан, Майкл Слейтер полагает, что Диккенс все же вспоминал свою юношескую страсть к Марии Биднелл. Как бы то ни было, еще никогда он так остро и болезненно о любви не писал.

«Мне стало больно, когда она опять заговорила так, словно знакомство наше кому-то угодно и мы всего лишь куклы в чьих-то руках; но встречи с Эстеллой никогда не давали мне ничего кроме боли. Как бы она ни

держалась со мной, я ничему не верил, ни на что не надеялся и все же продолжал любить ее — без веры и без надежды. К чему повторять это снова и снова?»

«Я не мог не видеть, что она кокетничает со мной, что она задумала меня обворовать и добилась бы своего, даже если бы это стоило ей какого-то труда. Но счастливее я от этого не был: не говоря уже о ее манере держаться так, точно нами распоряжаются другие, я чувствовал, что она играет моим сердцем просто потому, что ей так нравится, а не потому, что ей было бы трудно и больно разбить его и выбросить».

«И в доме миссис Брэндли и за его стенами я терпел все пытки, какие только могла выдумать для меня Эстелла. То, что она по старому знакомству держалась со мной проще — но отнюдь не более благосклонно, — чем с другими, еще больше растравляло мне душу. Она пользовалась мною, чтобы дразнить своих поклонников, но увы! — самая простота наших отношений помогала ей выказывать пренебрежение к моей любви. Будь я ее секретарем, лакеем, единокровным братом, бедным родственником, — будь я младшим братом ее жениха, — я и то не чувствовал бы, что, находясь так близко от нее, так, в сущности, далек от исполнения своих желаний. Мне разрешалось называть ее по имени, как и она меня называла, но это лишь усугубляло мои страдания; и если, как я готов допустить, это сводило с ума других ее вздыхателей, то меня и подавно».

«Пикники сменялись балами, поездки в оперу и в драму — концертами, вечерами, всевозможными развлечениями, во время которых я не отходил от нее и которые доставляли мне одни лишь горькие муки. Я не знал с нею ни минуты счастья, а сам днем и ночью только о том и думал, каким счастьем было бы не расставаться с нею до гроба».

США расширились, и каждый раз велись споры, быть новому штату рабовладельческим или свободным; приход к власти Линкольна, объявившего, что все новые штаты будут свободными, означал для южных штатов в дальнейшем проигрыш по всем важным вопросам; 20 декабря 1860 года Южная Каролина объявила об отделении, за ней — другие штаты; создалась рабовладельческая Конфедерация, и началась Гражданская война. Диккенс — де Сэржа, 1 февраля 1861 года: «Беру на себя смелость утверждать, что вооруженная борьба продлится недолго и вскоре уступит место какому-нибудь новому соглашению между Северными и Южными штатами».

Казалось бы, Диккенс должен стоять горой за северян, но ничего

подобного. Все англичане были за Юг, потому что южные штаты разрешали ввоз английских товаров, а северные занимались протекционизмом собственных. Кроме того, он полагал (и был, конечно, отчасти прав), что борьба за всеобщую отмену рабства была не главной причиной, но лишь предлогом для войны. Но какая разница, он же стоял за все новое и прогрессивное против «доброе старое», он раньше с такой ненавистью писал о южанах... Ну, вот как-то так. С возрастом взгляды порой меняются и обычно меняются в сторону консерватизма. Диккенс стал, если можно так выразиться, прогрессивнее и свободнее в своем творчестве, но в остальном он был таким же, как большинство людей.

Он вообще становился все сварливее и строже к людям — по-стариковски. Целый ряд его очерков в «Круглом годе» посвящен «хулиганам» — мелким правонарушителям: «Почему вообще оставлять на свободе завязанного Вора и Хулигана? Ведь он никогда не пользуется своей свободой для какой-либо иной цели, кроме насилия и грабежа; ведь по выходе из тюрьмы он ни одного дня не работал и никогда работать не будет. Как заведомый, завязанный Вор, он всегда заслуживает трех месяцев тюрьмы. Выйдя оттуда, он остается все тем же завязанным Вором, как и тогда, когда садился туда. Вот и отправьте его обратно в тюрьму. „Боже милосердный! — воскликнет Общество охраны дерзких Хулиганов. — Но ведь это равносильно приговору к пожизненному заключению!“ Именно этого я и добиваюсь».

Как-то он шел по улице и ему повстречалась компания орущих пьяных, среди которых была девушка; он пошел за ними и, увидав полисмена, потребовал их задержать. Мужчины разбежались, девушку схватили и, хотя полисмен хотел ее отпустить, Диккенс настоял, чтобы ее арестовали и судили; на суде он выступал свидетелем обвинения. Трудно представить, чтобы он так поступил лет пять-десять назад, когда начинал заниматься «Уранией».

В марте — апреле он шесть раз выступал с чтениями в Сент-Джеймс-Холле: именно тогда на одном из его выступлений побывал Лев Толстой (бывший в Лондоне 2–22 марта), но подойти познакомиться не осмелился (наши вообще очень перед Диккенсом благоговели). В конце апреля Диккенс в одиночестве (редкий для него случай) съездил в Дувр отдохнуть; к июню он закончил «Большие надежды».

Мы разрываемся между желанием бесконечно пересказывать, цитировать и комментировать эту прелестную, бриллиантовую вещь и желанием сохранить ее нетронутой для вас; все-таки второе будет правильнее. Итак, ни слова о сюжете; скажем лишь, что в романе вы

встретите совершенно потрясающие и при этом несколько не карикатурные характеры (Оруэлл, заявивший, что героев Диккенса можно изобразить на сигаретной пачке, явно забыл про «Большие надежды» и вообще про поздние диккенсовские работы); там будут описаны тончайшие — в пору Прусту — нюансы человеческих взаимоотношений, и даже характер грубой сестры, всех воспитывающей «своими руками», претерпит изменения, хотя, казалось бы, в таком одномерном персонаже это просто немислимо.

Теперь несколько важных слов о финале. Диккенс завершил книгу нетипично для себя, но добрый пошляк Бульвер-Литтон уломал его приделать «хеппи-энд», так что, если хотите видеть первоначальный авторский замысел, последнюю (LIX) главу ни в коем случае не читайте. Более того, мы возьмем на себя смелость (наглость) рекомендовать вам не читать три последние главы, а закончить главой LVI — и, если вы не гонитесь за тем, чтобы все точки над «i» были расставлены, получите абсолютный шедевр...

Диккенс говорил, что все время, пока он писал книгу, его мучили боли, а с последней точкой — прекратились, словно он освободился от чего-то. Летом он отдыхал в Гэдсхилле, купался, обливался водой, исхаживал окрестности, катался на лодке с приехавшими на каникулы сыновьями, но забот не убавлялось: умер муж сестры Летиции, и ее с детьми пришлось взять на обеспечение, умер импресарио Смит, и надо было искать другого; наконец, надо было готовиться к новому гастрольному туру: он решил читать еще и из «Копперфильда» и «Никльби».

28 октября Диккенс начал чтения в Норвиче и гастролировал до траура, объявленного в середине декабря в связи со смертью принца Альберта; 30 декабря возобновил выступления в Бирмингеме. Тем временем северяне блокировали морское побережье Конфедерации и в ноябре 1861 года захватили британский пароход «Трент» — едва не началась война между США и Великобританией. Диккенс возненавидел северян еще пуще и не называл иначе как «безумным и злодейским Севером». Де Сэржа, 16 марта 1862 года: «Всякий разумный человек при желании может убедиться в том, что Север ненавидит негров и что до тех пор, пока не стало выгодным притворяться, будто сочувствие неграм — причина войны, он ненавидел также и аболиционистов и поносил их на чем свет стоит. В остальном обе стороны сделаны из одного теста».

Январь 1862 года был суматошным: чтения в Челтенхеме, Плимуте, Торки, Эксетере, Ливерпуле; брат Фред угодил в долговую тюрьму, бросил жену, не платил ей ничего и сбежал за границу; сын Фред провалил

экзамены в военное училище в Уимблдоне (и был пристроен в фирму по торговле с Китаем, где раньше, до женитьбы, служил Чарли), брак Кейт из-за хронической болезни ее мужа и несходства характеров развалился, с Мэйми тоже не все было ладно: Кейт рассказывала Глэдис Стори, что ее сестра, «достойная сожаления», «берет свое счастье где может, и нескольких поездок в город ей для этого достаточно».

С февраля по апрель Диккенс читал в Лондоне, но очень часто куда-то пропадал на два-три дня. Клэр Томалин удалось раскопать из обмолвок в письмах и заметок в расходных книжках, что ездил он во Францию, где в деревне Кондетт на самой границе с Англией жила Эллен Тернан. Ее дом нашли: он был тогда расположен очень уединенно и окружен высоким забором, чтобы никто не мог заглянуть. Вероятно, именно в тот период Эллен стала возлюбленной Диккенса. Конфидентом этой пары был Уиллс: через него выплачивались деньги, пересылались подарки, его Диккенс просил позаботиться о «Пациентке», когда сам был в отъезде. Кто еще знал? Точно знал новый антрепренер, Джордж Долби, для которого Эллен была «Мадам»; из записей Глэдис Стори следует, что из детей в курсе всего были как минимум Кейт, Чарли и Генри. Наверняка знали Форстер и Джорджина...

О характере отношений между Диккенсом и Эллен с 1862 года не известно ничего. Пирсон смело пишет: «Он так настойчиво, так отчаянно добивался своего, что Эллен, наконец, все-таки уступила, но победа не принесла Диккенсу радости... Диккенс прекрасно знал, что она его не любит и горько раскаивается, что ее все время мучают угрызения совести».

Все это основано на словах писателя Томаса Райта, которому о раскаянии Эллен якобы сказал каноник, с которым та общалась в поздние годы: «Я слышал из ее собственных уст, что одна мысль о близости была ей ненавистна». Все время они были несчастны или нет, из-за чего, собственно, Эллен раскаивалась, любила или не любила, — никто не знает и вряд ли узнает. Когда книга Глэдис Стори готовилась к публикации в 1939 году, издатели отказывались ее брать: преступно было даже помыслить о том, что у кумира, почти святого, была любовница. В 1952 году исследователь Ада Нисбет, изучив переписку Диккенса с Уиллсом, пришла к выводу, что связь была, поскольку указывались места встреч, платились деньги и т. д.

Свечку, понятно, никто не держал, поэтому не все современные диккенсоведы верят рассказам Стори и согласны с выводами Нисбет. Клэр Томалин, написавшая целую книгу об Эллен^[26], убеждена, что Диккенс и Эллен были любовниками, Майкл Слейтер в этом не уверен, а Питер

Акройд настаивает на том, что он так и не посмел ее тронуть и связь была чисто платонической. Нам версия Нисбет — Томалин, подкрепленная поистине титаническими разысканиями, кажется более убедительной, и мы будем дальше ее придерживаться — хотя бы потому, что Диккенс был нормальный живой мужчина, еще не достигший пятидесяти лет, и вряд ли бы он на протяжении многих лет снимал уединенные дома для женщины, чтобы только прийти и поглазеть на нее, при том что раньше его устраивало, что она живет не одна.

Летом 1862 года он несколько раз примерно по неделе жил во Франции, отчасти в Париже с Джорджиной, отчасти, вероятно, с Эллен, ближе к концу лета писал Форстеру, что «невыразимо несчастен», Коллинзу — что у него «ужасные неприятности». Томалин предполагает, что Эллен забеременела. Глэдис Стори это подтверждает: Кейт сказала ей, что у Диккенса и Эллен был сын. Впрочем, еще раз оговоримся, что никто ничего не знает наверняка. Например, много лет считалось (и серьезные биографы так писали), что в июле 1862 года Диккенс беседовал с Достоевским в редакции «Круглого года». Источником была статья в журнале «Диккенсиана», ссылавшегося, в свою очередь, на некий казахский журнал, где было напечатано письмо Достоевского своему врачу Яновскому от 1878 года. Диккенсовед Майкл Холлингтон не обнаружил такого журнала и не нашел в архивах, посвященных Достоевскому, подтверждения существования такого письма. Скорее всего, это фальшивка, хотя и тут — как знать? Достоевский в 1862 году в Лондоне был и теоретически мог (через переводчика) с Диккенсом общаться...

В сентябре Джорджина жаловалась на недомогание, и он взял ее в Дувр, 16 октября в очередной раз отправился во Францию, но в Париже появился лишь через неделю и провел там с Джорджиной и Мэйми (а может быть, и с Эллен) два месяца, продолжая редактировать выпуски «Круглого года» и сочиняя рождественскую повесть «Чей-то багаж», одна из глав которой — история о том, как путешествующий по Франции пожилой англичанин удочерил незаконнорожденную сиротку.

Примитивно, конечно, все, что писатель пишет, прямо натягивать на его жизнь, но нельзя исключить, что Диккенс обдумывал вариант с усыновлением будущего ребенка Эллен как «сироты». (Процедура усыновления в те времена была проста, не то что нынче.) И даже наверняка обдумывал — а куда еще было ребенка девать? С Эллен оставить — раз уж он не захотел пройти через развод и жениться на ней (хотя разговоры на эту тему между любовниками просто не могли не вестись) — было нельзя, это превратило бы ее жизнь в ад. Отдать чужим людям на воспитание,

учитывая взгляды Диккенса, вроде бы немисливо, хотя не исключено, что и такой вариант обсуждался. Но самое напрашивающееся решение — взять к себе, под опеку Джорджины: она привычная... И он наверняка представлял, когда писал «Багаж», как все это могло бы быть... Девочка, он всегда хотел дочек...

«Увезить Бебель открыто и выслушивать комплименты и поздравления по случаю этого подвига было отнюдь не совместимо с его привычками и характером, и потому он весь следующий день придумывал, как вынести из дома оба свои чемодана, чтобы никто этого не заметил, и вообще во всех отношениях вел себя так, словно собирался бежать; впрочем, за одним исключением — он уплатил все те немногие долги, которые сделал в городе, и вместо словесного предупреждения написал мадам Букле письмо, в которое вложил достаточную сумму. Поезд должен был отойти в полночь, и в этом поезде англичанин хотел увезти Бебель... В полночь, при свете луны, мистер Англичанин пробирался по городу, как безобидный убийца, с Бебель вместо кинжала на груди... Все обошлось благополучно. Англичанин вошел в пустое отделение вагона, уложил Бебель рядом с собой на сиденье, как на кровать, и укрыл ее с ног до головы своим плащом».

Глава четырнадцатая

ТАЙНА, УНЕСЕННАЯ В МОГИЛУ

В декабре 1861 года Диккенс ненадолго вернулся в Англию, где вступил в Клуб призраков (только что основанная организация для изучения паранормальных явлений); Мэйми и Джорджина приехали с ним. В середине января 1863 года он отправился во Париж уже один и пробыл там целый месяц; как он написал Джозефу Оллифу, врачу из британского посольства в Париже, ухаживал «за больным другом». Томалин считает, что «больным другом» могла быть только рожаящая Эллен. Такого же мнения придерживается исследователь Роберт Гарнет^[27], и оба они считают — ибо никакого дальнейшего следа ребенка не обнаружилось, а Диккенс с его взглядами не мог снести младенца в богадельню, — что мальчик (так Кейт сказала Глэдис Стори) родился мертвым или, что более вероятно, умер через несколько месяцев. Почему нет записей о рождении и смерти? Парижские архивы сгорели в 1871 году. Да, но почему парижские? Ведь она могла родить в своем домике в Кондетт? Даже Томалин, изучившая жизнь Эллен от и до, не смогла доказать, что та рожала (если рожала) именно в Париже. Однако ни в Кондетт, ни в иных местах никаких следов ребенка не отыскалось.

Впрочем, можно предположить и иное: никакой беременности, никакого младенца не было, а в Париж Диккенс поехал просто потому, что обязался там читать (трижды) в пользу Британского благотворительного общества: фрагменты из «Домби и сына», «Пиквика» и «Копперфильда». Слушали его и русские. В. П. Боткин — А. А. Фету: «Был здесь Диккенс и устроил публичное чтение. Я ничего не слыхал подобного и был в таком восторге, что написал об этом маленькую статейку и послал к Каткову»^[28]. Тургенев — П. В. Анненкову: «Я присутствовал на трех чтениях Диккенса и пришел в совершенно телячий восторг. Перед этой гениальностью все наши чтецы — Писемский, Островский — превращаются в нечто менее мухи. Какая веселость, сила, грация и глубина. Этого передать невозможно»^[29]. Но и Тургенев подойти познакомиться не посмел — настолько фигура Диккенса тогда уже всех подавляла. А если ребенок все-таки был — что бы они все сказали, интересно, если бы знали, какую ужасную драму переживает тот, кто на сцене перед ними так прекрасно разыгрывал выдуманные драмы?

В конце февраля Диккенс уехал в Лондон — там предстояло 13 выступлений с марта по май. Шестнадцатилетний Сидни стал мичманом Королевского флота, десятилетнего Плорна определили в сельскохозяйственный колледж в Глостершире, их отец продолжал в перерывах между чтениями совершать краткие поездки во Францию «к больному другу», как он отмечал в записной книжке; в апреле значится «срочный вызов к больному другу», после чего поездки на время прекратились: видимо, тогда гипотетический ребенок и умер. Можно представить, как омрачились после этого отношения с Эллен, и без того непростые. Однако и это всего лишь логические домыслы: сын мог умереть сразу после рождения, а Эллен в апреле действительно заболела...

Лето Диккенс провел в Гэдсхилле, каждую неделю выступая с чтениями в Лондоне; корабль Сидни стоял в доках на ремонте, и юный мичман жил с семьей. Джорджина хворала, Мэйми «брала свое счастье где могла», Кейт гостила одна, без мужа. Грустное, наверное, было лето — и для Диккенса, и для Эллен. Или они испытывали облегчение от того, что все закончилось без шума и огласки? Не нужно поднимать еще одного мальчика (если то был мальчик), не нужно никому ничего объяснять, изворачиваться, лгать — лжи и без того было достаточно... И можно было жить дальше, как приличествует почтенному пожилому мужчине, главе семейства, писать друзьям спокойные письма о политике, о том о сем...

Де Сержа, 21 мая: «Церковь не должна отпугивать и терять наиболее вдумчивых и логически мыслящих людей, напротив, ей следует весьма деликатно и осторожно делать уступки, с тем чтобы удержать этих людей, а через их посредство сотни тысяч других... Я никак не возьму в толк, зачем все эти епископы и иже с ними говорят об откровении, если они считают, что откровений давным-давно не бывает. Ни одно открытие не делается без воли и помощи Божией... Мэйми замуж не вышла и (насколько мне известно) не собирается. Кейти со всей своей компанией последние четыре дня исступленно играет в крокет у меня под окном, доводя меня до умопомрачения... Один мой очень умный друг-немец, только что прибывший из Америки, считает, что на Севере удастся провести всеобщую мобилизацию и что война затянется на неопределенное время. Я говорю „нет“ и утверждаю, что, несмотря на безумие и злодеяния северян, война окончится скоро, так как они не смогут набрать солдат. Посмотрим. Чем больше они хвастают, тем меньше я в них верю...»

Франция всегда была опасным соседом (память об ужасных Наполеоновских войнах), а в 1863 году британцы были особенно

обеспокоены тем, как активизировался Луи Наполеон: полез в Мексику, назначил там императора, вмешивался в сирийские войны, делал попытки вмешаться и в Гражданскую войну в Америке — на стороне Юга... Знакомому, Уильяму Сторну, 1 августа: «Сильно опасаясь, как бы Франция не втянула нас в войну и всеобщую сумятицу. Авантюристу, сидящему на французском троне, остается только одно: отвлекать внимание своих подданных блеском театральной славы. Оказывать ему знаки почтения, как это делало английское правительство, я считаю политикой столь же слепой, сколь и низкой...» И все это время Диккенс продолжал вести двойную жизнь: Столпа Общества — и несчастного, сомневающегося любовника... Теперь уже ясно, что он действительно не знал, как уберечься от рождения детей, а значит, все могло повториться — «больной друг», забота о том, как спрятать концы в воду...

Для писателя единственное спасение от дурных мыслей — писать; в сентябре он временно бросил чтения (новый импресарио его не вполне устраивал) и начал работу над длиннейшим романом «Наш общий друг», набросками к которому еще в 1861 году делился с Форстером. Почему тогда не стал писать? Был занят гастрольями, да и здоровье сдавало. Уилсон: «С самого начала духовная, душевная и физическая жизнь Диккенса была подчинена суровому режиму. Его активный отдых был столь же изнурителен, как и работа; в ту пору средний класс, к которому он принадлежал от рождения, еще не сделал спорт предметом культа, однако в молодости Диккенс часто ездил верхом, позже много занимался греблей (вряд ли подходящее занятие для человека, который будет страдать от сердечной недостаточности), всегда любил дальние прогулки, и непременно быстрым шагом. Его темперамент, самолюбие и чувство собственного достоинства не позволяли ему и помыслить об усталости... к 1858 году напряженный образ жизни уже настолько запечатлелся во всем его облике, что он выглядел много старше своих лет».

Видимо, не чувствуя в себе сил гнать книгу еженедельными порциями, он не стал предназначать ее для «Круглого года», а договорился с Чепменом и Холлом, что они опубликуют ее в двадцать ежемесячных выпусков — с мая 1864 года по ноябрь 1865-го — и заплатят ему шесть тысяч фунтов.

Как ни странно, «Наш общий друг» — первый роман Диккенса, в котором действие полностью происходит в современности, — раньше он всегда отодвигал его хотя бы на несколько лет в прошлое. Это очень длинный роман с запутанным сюжетом, разветвляющимся на несколько совершенно разных линий, и читать его надо, хорошенько набравшись

терпения — иначе рискуешь заблудиться. Как и «Крошка Доррит», это роман о деньгах, о том, что деньги — тлен, мусор; но здесь мусор — прямая метафора. Несколько лет назад в «Домашнем чтении» рассказывалось о том, как человек скопил холм мусора в лондонском районе Холстон и мусор этот был оценен в сотни фунтов. С мусора и мусорщиков и начинается «Наш общий друг»; и как герои «Холодного дома» жили в «сердце тумана», так здесь все они существуют «в сердце мусора»:

«Пыльно-серый, чахлый вечер в лондонском Сити не способен внушать надежды. В запертых на замки товарных складах и конторах есть что-то мертвенное, а присущая нам, англичанам, боязнь ярких красок придает всему траурный вид. Колокольни и шпили церквей, стиснутых домами, — темные, закоптелые, как и само небо, которое того и гляди навалится на них, ничуть не разряжают сумрачности городского пейзажа; у солнечных часов, погруженных в густую тень на церковной стене, такой вид, точно они обанкротились и на веки вечные отказались от своих обязательств; жалкие привратники и метельщики сметают в канавы клочья газет и прочие жалкие отбросы, а отбросы человеческие, еще более жалкие, наклоняются над этим мусором, роются, шарят там в поисках чего-нибудь еще годного на продажу». «Вереница конных подвод въезжала и выезжала со двора целый день, от зари до зари, а груды мусора как будто нисколько не уменьшались в конце такого дня, хотя через несколько дней стало заметно, что они тают понемножку. Милорды, почтенные господа и члены попечительных советов, если у вас после многолетнего копания в мусоре и перетряхивания всякого дрязгу набралась целая гора претенциозных ошибок, то вам следует скинуть почетные ваши мундиры и приняться за уборку, пригласив на подмогу всю королевскую конницу и всю королевскую рать, иначе гора развалится и погребет вас заживо».

Мусорщик Гармон, угрюмый скряга, подобие Скруджа, несметно разбогател на муниципальных подрядах — и все люди, что крутятся подле него, тонут в безбрежных кучах мусора, реального и метафизического: кругом только мусор и мертвечина, мертвечина и мусор, разговоры о мусоре, разговоры о деньгах, черные капоры, костыли, клюки, горы нечистот, и так много персонажей и сюжетов, что долго не разберешься, кто тут главный герой и кто главный злодей. Есть тут, как в «Крошке Доррит», надутые и самовлюбленные нувориши и жулье, искренне считающие себя страстными патриотами:

«Большинство гостей было сродни хозяйскому серебру и насчитывало между собою несколько предметов с весом, ценившихся во столько-то и

столько-то фунтов. Кроме того, среди них находился один иностранец, которого мистер Подснеп пригласил после долгих дебатов с самим собой (полагая, что весь европейский материк состоит в заговоре)... и не только сам мистер Подснеп, но и все присутствующие проявляли забавную склонность разговаривать с этим иностранцем так, как будто он ребенок, и притом тугой на ухо.

— Как вам нравится Лондон? — осведомился мистер Подснеп со своего хозяйского места, словно потчuya тугоухого младенца лекарством — каким-нибудь порошком или микстурой. — Лондон, Londres, Лондон?

Иностранный гость был в восторге от Лондона.

— Не находите ли вы, что он очень велик? — с расстановкой продолжал мистер Подснеп.

Иностранный гость согласился, что Лондон очень велик.

— И очень богат?

Иностранный гость согласился, что он очень богат, без сомнения, *enormement riche*.

— Мы говорим по-другому, — пояснил мистер Подснеп снисходительным тоном. — Наши наречия не оканчиваются на „ман“, и произносим мы не так, как французы. Мы говорим: „богат“.

— Бо-га-атт, — повторил за ним иностранный гость.

— А как вам нравятся, сэр, — с достоинством продолжал мистер Подснеп, — те черты нашей британской конституции, которые поражают ваше внимание на улицах мировой столицы — Лондона, Londres, Лондона? <...>

— Мы, англичане, гордимся нашей конституцией, сэр. Конституция нам дана самим Провидением. Ни одна страна не пользуется таким покровительством свыше, как Англия.

— А как же други стран? — начал было гость, но тут мистер Подснеп опять его поправил.

— Мы не говорим „други“, мы говорим „другие“; буква „е“ у нас произносится, знаете ли (все еще благосклонно). И не „стран“, а „страны“.

— А други... а другие страны? — спросил гость. — Как же они?

— Они устраиваются как могут, — возразил мистер Подснеп, важно качая головой, — устраиваются как могут, должен вам заметить, к величайшему моему прискорбию.

— Провидение поступило довольно пристрастно, — с улыбкой заметил иностранный гость, — ведь расстояние между нашими странами совсем не так велико.

— Без сомнения, — согласился мистер Подснеп. — Но что делать.

Такова Судьба Страны. Этот остров благословен свыше, сэр; он составляет исключение среди других стран, как, например... ну, мало ли какие есть страны. Если бы тут присутствовали одни только англичане, — прибавил мистер Подснеп и, оглянувшись на своих компатриотов, продолжал торжественно развивать свою мысль насчет того, что „в характере англичанина скромность, независимость, чувство ответственности, невозмутимость сочетаются с отсутствием всего того, что могло бы вызвать краску на щеках молодой особы, и что такого сочетания мы напрасно будем искать у других народов земного шара“.

После этого коротенького резюме краска бросилась в лицо мистеру Подснепу при одной мысли об отдаленной возможности, что в какой бы то ни было стране может найтись гражданин, претендующий на все эти достоинства, и привычным взмахом правой руки он отбросил в небытие всю остальную Европу, а за нею и всю Азию, Африку и Америку».

Этот бессмысленный человеческий мусор сидит в тепле и болтает о патриотизме, а на улицах среди груд мусора погибает другой мусор, другие отбросы, никому не нужные: «Какой-нибудь один обездоленный, то целая кучка мужчин и женщин в лохмотьях, с детьми, жалась друг к другу, словно клубок червей, чтобы хоть немножко согреться, — без конца ждали и томились на ступеньках крыльца, пока облеченный общественным доверием чиновник старался взять их измором, чтобы отделаться от них». «Возводя очи горе, мы говорим, что все равны в смерти; а ведь мы могли бы опустить очи долу и применить эти слова к живым, которые находятся еще здесь, на земле. Быть может, это слишком сентиментально? Но как вы скажете, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов, неужели у нас не найдется места хотя бы для капельки чувства, когда мы приглядимся пристальнее к нашему народу?»

Когда-то Диккенса отругали за слишком мерзкого еврея Феджина — видимо, это сильно запало ему в душу, и он написал в «Нашем общем друге» другого старика-еврея, Райю, доброго, которого любят: «Сами они веруют по-своему и никому из нас не мешают верить по-своему. С нами они никогда не говорят о своей вере и о нашей не заводят никаких разговоров». И когда этот еврей все же совершает не совсем хороший поступок, он произносит программный монолог:

«Мне стало ясно, что я опозорил свою древнюю веру и свой древний народ. Я понял — понял впервые, что, безропотно подставляя шею под ярмо, я тем самым навязываю его и всем моим братьям. Ведь в христианских странах к евреям относятся не так, как к другим народам. Люди говорят: „Это плохой грек, но есть и хорошие греки. Это плохой

турок, но есть и хорошие турки“. А на евреев смотрят совсем по-иному. Плохих среди нас найти не трудно — среди какого народа их нет? Но христиане равняют самого плохого еврея с самым хорошим, самого презренного с самым достойным и говорят: „Все евреи одинаковы“. То, что мне приходилось делать здесь, — я делал только из благодарности за прошлое, не гонясь за наживой, и будь я христианином, никто бы не пострадал от этого, кроме меня самого. Но я еврей, и мои поступки пятнают любого другого еврея — кем бы он ни был, в какой бы стране он ни жил. Это правда — жестокая правда. И надо, чтобы каждый из нас считался с ней».

Но и этот бедный еврей — лишь мусор, отброс общества, так же как и очередная девочка-сиротка, маленькая старушка: «Я всегда любила взрослых, — продолжала она, — и всегда с ними водилась. Они такие умные. Сидят смирно. Не скачут, не прыгают. У меня уж давно решено: пока не выйду замуж, только с ними и буду знаться. А замуж, хочешь не хочешь, все равно придется выходить». Эта странная девочка, считающая себя принадлежащей к миру мертвых, — калека; и по всему роману раскиданы калеки, увечные, и один из калек, с деревянной ногой, — негодяй, каких поискать (раньше Диккенс инвалидов всегда жалел); а если кто-то из персонажей силен и здоров, то все равно связан с мусором и мертвечиной, как прекрасная девушка, отец которой вылавливает утопленников из Темзы, обирая их карманы, — опять человеческий мусор, мертвечина, бр-р!.. — и так трудно читателю продираться сквозь эти мусорные горы, выискивая жемчуг...

Не подумайте только, что «Наш общий друг» — не смешная книга: несмешных, за исключением разве что романа «Тяжелые времена» (хотя и там в начале есть уморительные фрагменты), у Диккенса не бывает. И книг без хороших людей у него тоже не бывает. Вот очаровательная пожилая пара, разбогатев благодаря завещанию мусорщика, решила употребить деньги на доброе дело — усыновить сиротку (тут Диккенс сам себе противоречит: из денег, даже проросших сквозь мусор, все-таки может выйти что-то хорошее):

«— Миссис Боффин желает усыновить мальчика, душа моя.

Миссис Милви заметно встревожилась, а потому ее супруг поспешил добавить:

— Сиротку, душа моя.

— Ах вот как! — произнесла миссис Милви, несколько успокоившись за собственных своих детей.

— Я подумал, Маргарита, что внук старой миссис Гуди, может быть,

подойдет им.

— Что ты, Фрэнк! Не думаю, чтобы он подошел.

— Нет?

— Конечно нет!

Миссис Боффин, которая сияла улыбками, очарованная живостью маленькой женщины и ее сочувствием, поняла, что тут следует вмешаться в разговор, и, выразив свою благодарность, спросила, почему же этот мальчик не подойдет?

— Мне кажется, — сказала миссис Милви, взглянув на его преподобие Фрэнка, — и мой муж, верно, согласится со мной, если подумает хорошенько, что вам трудно будет уберечь его от нюхательного табака. Его бабушка ужасно много нюхает и совсем засыпала внучка табаком.

— Но ведь бабушка не будет жить с ним, Маргарита, — заметил мистер Милви.

— Да, Фрэнк, но она повадится ходить к миссис Боффин, и чем лучше будут ее угощать, тем чаще она будет навещать. И с ней очень нелегко иметь дело. Надеюсь, вы не сочтете меня злопамятной, но я не могу забыть, что в прошлый сочельник она выпила у нас одиннадцать чашек чаю и при этом все время ворчала. И она неблагодарная, Фрэнк. Помнишь, как она собрала целую толпу под нашими окнами, поздно вечером, когда мы уже легли, и жаловалась, что ее обидели, показывая всем любопытным подаренную ей новую фланелевую юбку, будто бы слишком короткую.

— Это верно, — сказал мистер Милви. — Пожалуй, ее внук не годится, а вот маленький Гаррисон...

— Что ты, Фрэнк! — энергично запротестовала жена.

— Бабушки у него ведь нет, душа моя?

— Да, но не думаю, чтобы миссис Боффин понравился сиротка, который так страшно косит.

— Опять-таки верно, — сказал мистер Милви, совсем запутавшись. — Если бы их устроила девочка...

— Но, милый мой Фрэнк, миссис Боффин хочет мальчика.

— Опять-таки верно, — задумчиво сказал мистер Милви. — Том Бокер хороший мальчик.

— Сомневаюсь, милый Фрэнк, — после некоторого колебания начала миссис Милви, — захочет ли миссис Боффин взять сироту, которому уже исполнилось девятнадцать лет и который ездит на бочке, поливая улицы».

Опять об усыновлении: что, если малыш Эллен не умер ни в апреле, ни при рождении, а был все еще жив и находился где-то у кого-то, и Диккенс продолжал мечтать, как заберет его к себе? 13 сентября умерла его

мать; он был при ней в ее последние дни («Ее муки были ужасны», — писал он Уиллсу) и похоронил ее в Хайгейте. Осенью он возобновил свои таинственные поездки во Францию. В ноябре впервые после разрыва с Кэтрин разговаривал с Теккереем — тот заговорил первым (и вскоре, но ни в коем случае не вследствие этого, умер).

А 25 декабря в «Круглом годе» появилась рождественская повесть «Меблированные комнаты миссис Лиррипер», которая опять заставляет задуматься если не о судьбе ребенка Эллен, то о переживаниях Диккенса по этому поводу. Хозяйка меблированных комнат, добрая женщина, пускает пожить пару, которая как будто бы состоит в браке, хотя некоторые в этом сомневаются; молодая женщина беременна, ее «муж» уезжает «по делам» и, когда несчастной уже скоро рожать, присылает ужасное письмо: она покинута. У миссис Лиррипер живет отставной майор, который, возможно, вовсе и не майор, но человек хороший («всегда охотно заполняет бумаги для налоговых ведомостей и списков присяжных заседателей, а как-то раз схватил за шиворот молодого человека, уносившего из гостиной часы под полый своего пальто»), — и они вдвоем спасают бедняжку, бегущую топиться, а потом, когда та умирает, им ничего не остается, как взять ребенка (мальчика, Диккенс уже знал, что то был мальчик) и воспитывать его.

Интересно, что Диккенс, много писавший о плохих школах и плохих системах обучения (то сплошная религия, то «факты», то просто некомпетентность), но никогда не писавший о хороших; Диккенс, довольно-таки равнодушно относившийся к образованию собственных детей (кроме Чарли) и выбиравший для них не лучшие школы, а дешевые и чем-то удобные; Диккенс, который никогда не описывал, как кто-нибудь чему-нибудь учится (то ли считая это скучной темой, то ли не зная толком, как именно надо учить детей), здесь придумал и описал целую систему обучения малыша арифметике:

«Но вообразите мое восхищение, когда майор принялся выставлять вперед и называть вещи на столе одну за другой, и до того быстро — как фокусы показывают.

— Три кастрюли, — говорит, — щипцы для плойки, ручной колокольчик, вилка для поджаривания хлеба, терка для мускатного ореха, четыре крышки от кастрюль, коробка для пряностей, две рюмки для яиц и доска для рубки мяса... сколько всего?

И малыш сейчас же кричит в ответ:

— Пятнадцать: запишем пять, доска для мяса в уме, — а сам то в ладоши хлопает, то ножонки задирает, то на стуле пляшет.

Затем, душенька, они с майором принялись все с той же изумительной легкостью и точностью складывать столы и кресла с диванами, картины и каминные решетки — с утюгами, самих себя и меня — с кошкой и глазами мисс Уозенхем, и как только подведут итог, мой „розочка с брильянтами“ то в ладоши хлопает, то ножонки задирает, то на стуле пляшет.

А майор-то как гордится!

— Вот это голова, мадам! — тихо шепчет он мне, прикрыв рот рукой. Потом говорит громко: — Теперь перейдем к следующему элементарному правилу... которое называется...

— Питание! — кричит Джемми.

— Правильно, — говорит майор. — Мы имеем вилку для поджаривания хлеба, картофелину в натуральном виде, две крышки от кастрюль, одну рюмку для яиц, деревянную ложку и две спицы для жаренья мяса; из всего этого для коммерческих надобностей требуется вычесть: рашпер для килек, кувшинчик из-под пикулей, два лимона, одну перечницу, тараканью ловушку и ручку от буфетного ящика. Сколько останется?

— Вилка для поджариванья хлеба! — кричит Джемми.

— В числах сколько? — спрашивает майор.

— Единица! — кричит Джемми.

— Вот это мальчик, мадам! — тихо шепчет мне майор, прикрыв рот рукой...»

Примитивно, еще раз повторим, напрямую проецировать литературу на жизнь автора, но так и видится, как бедный автор мечтал, как горевал о маленьком мальчике, как он, возможно, пока тот был еще жив (а может, он и был жив до сих пор?), придумывал, как станет его воспитывать, учить арифметике... Да, но что же, тогда выходит, что он предпочел бы видеть Элен мертвой? Может, и так, — если она его все же не полюбила, если мучила... В «Нашем общем друге», как и в «Больших надеждах», Диккенс описал несчастную, мучительную любовь, но на сей раз эта любовь — злая и отдана человеку не то чтобы злему, но ставшему злым именно из-за любви. Пристойнейший человек, школьный учитель Брэдли — такой примерно, как в «Тяжелых временах» — «факты» и «все по полочкам», — внезапно, словно его ударили, влюбляется в девушку (у которой сложные отношения с другим поклонником):

«— Я могу показаться вам эгоистом, потому что начинаю с рассуждений о самом себе, — продолжал он. — Мне самому кажется, что я говорю совсем не то и совсем не так, как надо. Но сладить с собой я не в силах. Что поделаешь? Вы моя погибель.

Она вздрогнула — такая страсть была в этих последних словах и в движении рук, которым они сопровождалась.

— Да! Вы моя погибель... погибель... погибель! Я не знаю, что с собой делать, я перестаю доверять самому себе, я не владею собой, когда вижу вас или только думаю о вас. А мои мысли теперь непрестанно полны вами. Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи! Какой это был день для меня! Какой злосчастный, гибельный день!

Что-то похожее на жалость примешалось к чувству отвращения, которое он вызывал в ней, и она сказала:

— Мистер Хэдстон, мне очень жаль, но я никак не хотела причинить вам зло.

— Вот! — с отчаянием крикнул он. — Теперь получается, будто я в чем-то вас упрекаю, вместо того чтобы раскрыть перед вами душу! Сжальтесь надо мной! У меня все выходит не так, как нужно, когда дело касается вас!.. Нет, нет! Это произошло бы независимо от моей воли. Ведь не зависит же от моей воли то, что я сейчас здесь. Вы притягиваете меня к себе. Если бы я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда! Я пробился бы сквозь тюремные стены и пришел бы к вам! Если бы я был тяжело болен, вы подняли бы меня с одра болезни, я сделал бы шаг и упал к вашим ногам!

Дикая сила, звучавшая в словах этого человека, — сила, с которой спали все оковы, — была поистине страшна. Он замолчал и ухватился рукой за выступ кладбищенской ограды, точно собираясь выворотить камень.

— Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. Некоторые так никогда и не узнают этого. Пусть живут в мире с самими собой и благодарят судьбу. Но мне эти бездны открыли вы. Вы заставили меня познать их, и с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна, — он ударил себя в грудь, — не может успокоиться... Я люблю вас. Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди, мне неизвестно, а я вкладываю в них вот что: меня влечет к вам непреодолимая сила, она владеет всем моим существом, и противостоять ей нельзя. Вы можете послать меня в огонь и в воду, вы можете послать меня на виселицу, вы можете послать меня на любую смерть, вы можете послать меня на все, чего я до сих пор страшился, вы можете послать меня на любую опасность, на любое бесчестье. Мысли мои мешаются, я перестал быть самим собой, вот почему вы моя погибель».

Мы, как уже говорилось, абсолютно ничего не знаем об отношениях Диккенса и Эллен и о характере его страсти; быть может, она была именно

такова?

Мы можем что угодно предполагать об участии ребенка Эллен, но скорее всего его все-таки уже не было в живых, иначе бы Диккенс наконец придумал, что с ним делать; были, однако, живые сыновья, и они не оправдывали возложенных отцом надежд, и надо было их куда-то пристраивать. Фрэнсис, учившийся в Германии медицине, был признан бесперспективным, и его (уже совершеннолетнего) отправили в Индию, где он по протекции мисс Куттс устроился в конную полицию. Генри — самый успешный из детей Диккенса — полагал, что это не было правильным решением. «Фрэнк я всегда считал самым умным и начитанным из всех нас, несмотря на его вспыльчивость и странные причуды». Видимо, именно вспыльчивость и «причуды» побудили отца отослать сына подальше от соблазнов. В «Больших надеждах» Диккенс весьма убедительно описал, как хороший вроде бы парень, живя в Лондоне, вмиг становится расточителем и мотом; помня своего отца, он очень боялся такой участи для сыновей.

Пример был у него перед глазами. Альфред, два года назад не сдавший экзамены в армейское училище в Вулвиче и пристроенный в торговый дом в Сити, немедленно начал одеваться у лучших портных, записывая все на счет отца, и делать долги. Чарли хоть и не стал мотом, но тоже вечно был по уши в долгах и свою быстро растущую семью содержал с трудом. Как тяжело было бы растить еще одного сына, по возрасту годящегося во внуки, — но как, быть может, приятно...

Фрэнсис уехал в Индию в декабре 1863 года, рассчитывая встретить там своего брата Уолтера. Но не пришлось. 31 декабря Уолтер умер от аневризмы аорты. Он давно был болен, и индийский климат не шел ему на пользу; он как раз собирался домой в отпуск. С отцом они уже почти год были в ссоре: Уолтер занял крупную сумму, и отец отказался оплачивать долг и общаться с сыном. Известие о смерти пришло 7 февраля 1864 года, в день рождения Диккенса. Жене он не послал даже записки, она узнала потом через мисс Куттс. Уильям Хардмен, редактор «Морнинг пост», написал другу: «Если что-то могло уронить в моих глазах Чарлза Диккенса до самых низких глубин, то этот его поступок превзошел всякую меру. Как писателем я восхищаюсь им, как человека я его презираю».

Ну, не сообщил матери о смерти сына, подумаешь. Зато он очень пекся, например, о делах итальянских. Коллинзу, 24 января: «Что касается итальянского эксперимента (провозглашение в феврале 1861 года сардинского короля Виктора Эммануила II королем Италии. — М. Ч.), то де

ла Рю верит в него больше, чем Вы. Он и его банк тесно связаны с туринскими властями, и де ла Рю с давних пор предан Кавуру; однако он дал мне всевозможные заверения в том, что провинции сливаются друг с другом, а мелкие взаимно противоположные характеры неуклонно превращаются в один национальный характер (последнее можно только приветствовать). Разумеется, в стране, которая была до такой степени унижена и поработана, в начале борьбы неизбежны разочарования и разногласия, а времени прошло еще очень мало...»

О том, что Фрэнсису тоже может быть опасен климат Индии (не говоря уже о службе в полиции), как-то не задумались. Иногда складывается впечатление, что человеку при рождении отмерена определенная порция доброты и участия, и если он много тратит его на угнетенные классы, поработанные нации, друзей, знакомых, коллег и дальнюю родню — а Замечательный Человек обычно поступает именно так, — то самым ближним участия зачастую не хватает... Мы ведь совсем ничего не знаем о том, как, например, жилось Джорджине Хогарт, так ли уж безоблачно было ее существование, если допустить, что она любила зятя, а он ее любовь принимал (не пользовался, нет, если бы это было, кто-нибудь из биографов что-нибудь да раскопал бы), как принимает начальник вечную влюбленность преданной секретарши, но не отвечал на нее, — а теперь еще и любовницу завел у нее на глазах...

В марте Диккенс завершил первые три главы «Нашего общего друга», Чепмен и Холл начали массивную рекламную кампанию. Первый выпуск появился 30 апреля, 3 мая Диккенс писал Форстеру, что продажи великолепны (40 тысяч экземпляров) и «ничего не могло быть лучше», но скоро тиражи начали падать: читатели, похоже, запутались в мусоре и чересчур сложной интриге. Весь 1864 год Диккенс продолжал писать, и продолжались его тайные отлучки во Францию, исчезновения, когда по несколько дней никто не знал, где он находится, таинственные денежные чеки, неизвестно кому выписанные...

Публичных чтений не было, но он выступал в Газетном фонде, в Ассоциации корректоров, в Пенсионном обществе печатников (6 апреля): «Печатник служит верой и правдой не только тем, кто непосредственно связан с печатным делом, но и широкой публике... Разумеется, то, что выходит в свет благодаря его умению, его труду, выносливости и знаниям, — это не только его заслуга; но без него что бы представлял собою наш мир? Да во всех странах верховодили бы одни тираны и лжецы!.. Тираны и лжецы, о которых уже шла речь, — а в Европе немало и тиранов, и лжецов,

— с радостью уволили бы на пенсию всех печатников во всем мире и покончили бы с ними; но пусть друзья прогресса и просвещения уволят на пенсию тех печатников, которые уже не могут работать по старости или по болезни, а остальные в конечном счете сотрут тиранов и лжецов с лица земли... Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, из всех великих последствий удивительного развития техники на первом месте стоит книгопечатание, а печатник — единственный плод цивилизации, без которого не может существовать свободный человек...»

Страна праздновала трехсотлетие со дня рождения Шекспира: 23 апреля Диккенс с Коллинзом и Робертом Браунингом выступал в Стратфорде-на-Эйвоне, 11 мая — в лондонском театре «Адельфи». Продолжал давать в «Круглый год» «Путешественника не по торговым делам», писал статьи на любимую тему — досуг рабочих: нечего обзывать их пьяницами, они имеют право на досуге и пива выпить, и потанцевать, вот только «попечительство — проклятие и бич всех подобных начинаний, и надо внушать рабочим, что они должны учреждать клубы и управлять ими самостоятельно...». В июне съездили во Францию с Джорджиной и Мэйми, остаток лета Диккенс провел (не считая своих тайных отлучек) в Гэдсхилле, продолжая нагребать и разгребать поэтические кучи мусора и мертвечины, среди которых время от времени все-таки сияли алмазы. Гармон, тот самый скряга-мусорщик, с которого все началось, выгнал из дома четырнадцатилетнего сына Джона и в завещании оставил ему наследство при условии, что тот женится на незнакомой ему девице Белле Уилфер (это не та девушка, в которую влюблен учитель Брэдли, — у Диккенса в любом романе фигурируют как минимум три-четыре красивых молодых девушки), а если не женится, то наследство переходит к слуге Гармона Боффину — это тот самый Боффин, что с женой пытался усыновить младенчика.

Боффины выросли на мусорной куче как розы — это одна из самых прелестных комических пар у Диккенса. Вот Боффин, сам неграмотный, нанял жулика читать ему вслух что-нибудь умное и длинное и прослушал отрывок из книги о Римской империи:

«— Комод, — вздохнул мистер Боффин, запирая за Веггом ворота и глядя на луну. — Комод семьсот тридцать пять раз выступал в зверинце, и все в одной роли! Умопомрачение! Да мало того, еще целую сотню львов выпустили на него сразу в том же зверинце! Мало того, этот же Комод побивает всю сотню одним махом! Мало того, там еще этот Каракатица (вот уж по шерсти и кличка!) за семь месяцев сожрал на шесть миллионов всякой еды, считая на английские деньги! Хорошо Веггу читать, но, ей-

богу, даже такому старому хрычу, как я, страшно все это слушать! Пускай они там своего Комода удушили, — нам-то ведь от этого не легче!

В задумчивости шагая к „Приюту“, мистер Боффин прибавил, качая головой:

— Не думал я нынче утром, что в книжках бывают такие страсти. Ну, да уж делать нечего, придется терпеть, раз взялся за дело!»

«— Это правильно, я ничего не имею против, — сказал мистер Боффин, только давайте уговоримся наперед, чтобы вам было ясно, я ведь и сам не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь секретарь — кажется, вы сказали „секретарь“, не так ли?

— Да.

Мистер Боффин опять широко раскрыл глаза и, оглядев просителя с головы до ног, повторил:

— Странно! А вы уверены, что это так называется „секретарь“? Верно ли?

— Да, уверен.

— Секретарь, — повторил мистер Боффин, вдумываясь в это слово. — Чтобы мне понадобился секретарь или что-нибудь вроде, мало похоже, разве только если мне вдруг понадобится человек с луны. Мы с миссис Боффин еще не решили, будут ли у нас какие перемены в образе жизни. Миссис Боффин большая охотница до всякой моды, но у нас в „Приюте“ она уже все устроила по-модному и, может, не захочет ничего больше менять. Как бы оно ни было, сэр, если у вас дело не к спеху, то лучше бы вы зашли в „Приют“ недельки через две. Кроме всего прочего, считаю долгом прибавить, что у меня уже нанят литературный человек на деревянной ноге и расставаться с ним я не намерен».

Сиротку Боффины в конце концов усыновили — взяли у гордой старушки Бетти Хигден:

«— Незаконный, — ответила Бетти Хигден, понизив голос, — родители неизвестно кто, его нашли на улице. А вырастили в... — тут она вздрогнула с отвращением, — в доме.

— В доме призрения? — спросил секретарь. Суровое и твердое лицо миссис Хигден нахмурилось, и она угрюмо кивнула.

— Вы не любите о нем говорить?

— Не люблю! — отвечала старуха. — Не пойду туда ни за что, лучше убейте меня. Лучше бросьте этого славного мальчика под груженный фургон, прямо под конские копыта, только не забирайте его туда. А если мы все будем лежать при смерти, так уж лучше подожгите нас, пускай мы сгорим вместе с дымом и превратимся в кучу золы, только не уносите туда

никого из нас, хотя бы и мертвыми.

Удивительная твердость духа сохранилась в этой одинокой женщине после стольких лет тяжелой работы и тяжелой жизни, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов!»

Все это очень мило — но мусор продолжает липнуть к мусору, и бедных Боффинов осаждают человеческие отбросы — вот уж где разгулялась старая добрая «диккенсовщина»:

«Книги заказов алчут, а сами торговцы жаждут золотой пыли Золотого Мусорщика. Когда миссис Боффин с мисс Беллой выезжают из дому или мистер Боффин выбегает рысцой прогуляться, хозяин рыбной лавки кланяется ему с почтительностью, основанной на убеждении, а его подручные сначала вытирают пальцы о шерстяной фартук, а затем уже осмеливаются поднести их к козырьку. Кажется, будто разинувший рот лосось и золотистая кефаль в восторженном изумлении хлопают глазами, косясь на Боффинов с мраморной доски, и, верно, хлопали бы в ладоши, будь у них руки. Мясник, выйдя подышать свежим воздухом под сенью бараньих туш, не знает, как лучше выразить свое почтение проходящим мимо Боффинам, хотя это мужчина важный и преуспевающий. Слугам Боффинов преподносят подарки, и ласковые незнакомцы с фирменными карточками, повстречав этих слуг на улице, пробуют подкупить их. Например: „Любезный друг, если бы мистер Боффин удостоил меня заказом, я был бы не прочь“... сделать то-то и то-то, что и для вас будет отнюдь не лишено приятности.

Однако секретарю, который вскрывает и читает все письма, лучше других известно, как охотятся за человеком, отмеченным печатью известности. Сколько разновидностей зримого очами сора предлагается в обмен на золотую пыль Золотого Мусорщика! Пятьдесят семь церквей можно воздвигнуть на полукроны, сорок два церковных дома отремонтировать на полушиллинги, двадцать семь органов купить на полупенсы, тысячу двести младенцев воспитать на почтовые марки! Не то чтобы от мистера Боффина требовались именно полкроны, полшиллинга, полпенни или почтовые марки, зато совершенно ясно, что он и есть тот самый человек, который должен внести недостающую сумму. А благотворительные общества, брат наш во Христе! И чаще всего они в стесненных денежных обстоятельствах, однако тоже не жалеют денег на дорогую бумагу и типографские расходы!.. Но есть, кроме того, и отдельные попрошайки, и как же падает сердце у секретаря, когда ему приходится с ними возиться! А не возиться нельзя, потому что все они прилагают к письму документы (свои бумажонки они называют

документами, но по сравнению с настоящими документами это то же, что телячий фарш по сравнению с телятником), утрата коих будет для них гибелью. То есть они и теперь погибают, но, если им не вернут документов, погибнут уже окончательно. Среди этих просителей есть несколько штаб-офицерских дочерей, которые смолоду были приучены ко всякой роскоши (кроме умения грамотно писать) и в те времена, когда их отцы доблестно сражались на Пиренейском полуострове, никак не думали, что им придется обращаться с просьбой к людям, коих Провидение в своей неисповедимой мудрости наградило несчетным богатством и из числа коих они выбрали, для первой пробы в этом жанре, Никодимуса Боффина, эсквайра, узнав, что он известен своей несказанной добротой... Сродни этим попрошайки, имеющие друзей-советчиков. Они запивали водой холодный картофель при неверном и тусклом свете серной спички, сидя у себя дома (за квартиру давно не плачено, и безжалостная хозяйка грозит выгнать на улицу „как собаку“), но неожиданно зашел предприимчивый друг, сказал: „Пиши немедленно Никодимусу Боффину, эсквайру“, — и не пожелал слушать никаких возражений. Есть также и благородно-независимые попрошайки. Они сами, когда были богаты, считали золото грязью, да и теперь еще не преодолели этого единственного препятствия на пути к преуспеянию, но им не нужно золота от Никодимуса Боффина, эсквайра; свет может называть это гордостью, жалкой гордостью, если угодно, но они не возьмут ничего, даже если вы сами предложите; займы, сэр, дело другое — на четырнадцать недель, из расчета пяти процентов годовых, с тем чтобы пожертвовать эти деньги любому благотворительному учреждению, какое вам угодно будет назвать, — вот и все, что от вас требуется; а если же вы покупитесь и откажете им, рассчитывайте только на презрение этих рыцарей духа. Есть также пунктуально деловитые попрошайки. Они непременно покончат самоубийством во вторник днем, ровно в три четверти первого, если до этого времени не будет получен почтовый перевод от Никодимуса Боффина, эсквайра; если же он придет четверть второго, то нет нужды и посылать, поскольку проситель будет уже (оставив правдивую записку о такой жестокости) „холодным трупом“. Есть и зарвавшиеся попрошайки, свиньи за столом, но в ином смысле, несколько отличном от пословицы. Они готовы на все, лишь бы дорваться до благополучия. Цель перед ними, дорога отличная, но в самую последнюю минуту, оттого что им чего-нибудь не хватает — часов, скрипки, телескопа, электрической машины, — им придется все бросить, раз и навсегда, если только они не получат денежного эквивалента от Никодимуса Боффина, эсквайра. Гораздо менее вдаются в подробности те попрошайки, которые

хотят сорвать куш. Им обычно надо адресовать ответ на почтовую контору в провинции, под инициалами, сами же они запрашивают женским почерком, нельзя ли немедленно выслать одной особе, которая не смеет назвать себя Никодимусу Боффину, эсквайру, — а если бы назвала, то он содрогнулся бы, — двести фунтов ссуды из неожиданно полученных им богатств, употребив эту привилегию на пользу человечеству?

На такой трясине стоит новый дом, и секретарь ежедневно барахтается в ней, увязая по самую грудь. Не говоря уже обо всех изобретателях недействующих изобретений и обо всех маклаках, которые промышляют всеми видами маклачества, — их можно назвать аллигаторами этой трясины, и они всегда тут как тут, готовые утащить Золотого Мусорщика на дно».

Тем временем повзрослевший Джон Гармон — наследник мусорщика, еще один чистый цветок, что вырос на мусорной куче, — приехал в Лондон, на него напали, он объявлен погибшим; он решил, что так даже и лучше, надо присмотреться к этой Белле Уилфер, на которой его заставляют жениться, под вымышленным именем познакомился с ней (и именно он стал, неузнанный, служить секретарем у своего бывшего слуги Боффина). Белла ценит только деньги и, как считают диккенсоведы, это наиболее близкий образ к Эллен Тернан: «Своевольная, жизнерадостная, любящая по натуре, легкомысленная по неимению серьезной цели, капризная от привычки вечно порхать среди пустяков». «Непостоянное, шаловливое и ласковое существо, не знающее ни благородной цели, ни твердых правил, и оттого легкомысленное; поглощенное мелочными заботами, и оттого капризное, было все-таки обворожительно!» Может и так, — но любовь Джона к Белле Диккенс описать не сумел, да толком и не пытался — это совершеннейший литературный «мусор» в сравнении с тяжелой страстью учителя Брэдли. (Потом, естественно, Белла прозреет и Джона полюбит.)

Весь 1864 год Диккенс жаловался на здоровье, и неудивительно: он не соблюдал диет, изнурял себя работой и поездками, многовато для больного человека пил спиртного, от которого не видел медицинского вреда (и никто тогда не видел: пьяниц осуждали лишь за «плохое поведение»); у него бывали страшные головные боли, бессонница, бесконечные простуды (из-за любви к водным процедурам). Заботиться о своем здоровье он решительно не желал. В самом начале 1865 года, после длительной прогулки, он отморозил ногу, но не придавал этому значения и продолжал ходить до тех пор, пока нога не распухла так, что с февраля он не мог носить нормальную обувь и ему заказывали специальный ботинок вроде

валеночка. И, несмотря на это, всю весну — поездки во Францию к «большому другу», а поездки тех времен были далеко не так комфортабельны, как нынче...

Он не оставлял забот о семье Тернан: устроил Фанни, потерявшую работу в опере, в семью Троллоп — учительницей музыки для дочери Томаса Троллопа, брата Энтони. Фанни обнаружила литературные способности, написала роман, показала Диккенсу — он был в восторге и опубликовал его в «Круглом годе», но анонимно, и заплатил ей из собственных денег, так что никто в редакции ничего не знал; роман («Проблема тетушки Маргарет») был посвящен «Э. Л. Т.» — Эллен Лоулесс Тернан. В мае Альфреда, продолжавшего жить на широкую ногу и делать долги, отправили в Австралию — управлять овечьим ранчо в Новом Южном Уэльсе. Отец был во Франции, когда сын уезжал; они больше никогда не увидятся.

Одна из тайных поездок к Эллен все же стала явной: в начале июня 1865 года. Неизвестно, какого числа Диккенс прибыл во Францию, но возвращался он 9 июня вместе с Эллен и ее матерью; на путях велись ремонтные работы, и состав упал с моста, зацепились лишь несколько вагонов, была страшная паника; выведя из вагона своих спутниц, Диккенс спохватился, что оставил там рукопись «Общего друга», вернулся еще раз, потом, видя, что все бегает как перепуганные овцы и никто толком не руководит спасательными работами, взялся выносить раненых (отчаянно хромяя при этом). Диккенс — Томасу Миттону, 13 июня: «Сначала мне попался шатающийся, залитый кровью мужчина (думаю, что его выбросило из вагона), на голове его зияла такая ужасная рана, что страшно было смотреть. Я смыл с его лица кровь, дал ему воды и заставил выпить несколько глотков бренди. Когда я уложил его на траву, он прошептал: „Все кончено“ — и умер. Затем я наткнулся на женщину, лежащую у деревца. Кровь так и струилась ручьями по ее посеревшему лицу. Я спросил, в состоянии ли она глотнуть немного бренди, она лишь кивнула головой. После этого я продолжал поиски. Когда я вторично проходил мимо этого места, женщина уже была мертва. Потом ко мне подбежал мужчина, который давал вчера показания на следствии (по-моему, он даже не мог вспомнить, что произошло), и начал умолять помочь разыскать его жену. Позднее ее нашли мертвой.

Невозможно представить себе эту грудку искореженного металла и дерева, эти тела, придавленные и изуродованные обломками, эти стоны раненых, валяющихся в грязной воде. Я не хотел бы давать свидетельские показания, не хочу и писать об этом. Все равно ничего уже не изменишь. О

своем состоянии я предпочел бы не рассказывать. Сейчас я как-то сник».

Когда переписывали и пересчитывали спасшихся пассажиров, миссис и мисс Тернан пришлось назваться — так тайна была раскрыта, хотя и не для широкой публики. Неизвестно, как пережили катастрофу Эллен и ее мать. Уилсон: «Одно из немногих сохранившихся писем, где упоминается имя Эллен, написано Диккенсом несколькими днями позже, оно адресовано его слуге, Джону Томпсону: „Завтра утром отнесите мисс Тернан корзиночку фруктов, горшочек сметаны от Такера, цыпленка, пару голубей или другую мелкую дичь. Что-нибудь в этом же роде отнесите в среду и в пятницу утром — только пусть будет немного разнообразия“». Но на Диккенсе авария сильно сказалась: он нервничал теперь в любом транспорте, включая собственный экипаж, перед дальней дорогой изрядно выпивал «для храбрости» и старался выбирать поезда, которые ходят медленно. Кэтрин прислала ему письмо с соболезнованиями, он ей ответил: это было первое человеческое общение между ними после разрыва.

Летом в Гэдсхилле он продолжал бесконечного «Общего друга», приезжали гости и родня, делали что хотели, ели, гуляли и развлекались сами по себе, хозяин выходил к ним лишь изредка, но, видимо, они все же допекали его, так как он был по-детски рад подарку от нового друга, французского актера Шарля Фехтера (Диккенс частично финансировал его спектакли в Англии) — шале, небольшому сборному четырехкомнатному домику, упакованному в ящики: поставили фундамент через проезжую дорогу от большого дома и за пару дней выстроили дом; Диккенс сам его отделявал, устроил рабочий кабинет и велел прорыть туннель под дорогой, чтобы попадать в шале из сада беспрепятственно. В начале сентября он провел несколько дней в Париже и Булони: все еще хромотал, носил специальную обувь и едва мог ходить. Он только что свалил с плеч роман.

Учитель Брэдли, сжигаемый страстью, решился на убийство соперника (да не добил) — и мы опять видим потрясающее по силе описание мук преступника:

«Угрызения совести ему были неведомы, но преступнику, который держит этого мстителя в узде, все же не избежать другой медленной пытки: он непрестанно повторяет мысленно свое злодеяние и раз от разу тщится совершить его все лучше и лучше. В защитительных речах, в так называемых исповедях убийц, неотступная тень этой пытки лежит на каждом их лживом слове. Если все было так, как мне приписывают, мыслимо ли, чтобы я совершил такую-то и такую-то ошибку? Если все было так, как мне приписывают, неужели я упустил бы из виду эту явную улику, которую ложно выставляет против меня злонамеренный свидетель?»

Такая навязчивая идея, выискивающая одно за другим слабые места в содеянном, чтобы укрепить их, когда уже ничего изменить нельзя, усугубляет злодеяние тем, что оно совершается тысячу раз вместо одного. И эта же направленность мысли, точно дразня озлобленную, не знающую раскаяния натуру, карает преступника тягчайшей карой, непрестанно напоминая ему о том, что было.

Брэдли шел в Лондон в оковах своей ненависти и жажды мести и придумывал, как бы он мог утолить и то и другое — утолить лучше, чем это у него получилось. Орудие можно было найти более верное, место и час — более подходящие. Нанести человеку удар сзади, в темноте, на берегу реки — не так уж плохо, но следовало сразу лишить его возможности сопротивляться, а он повернулся и сам кинулся на своего противника. И вот, чтобы поскорее прекратить борьбу и покончить с этим, пока кто-нибудь не подоспел на помощь, пришлось второпях столкнуть его, еще живого, в реку. Случись все заново, он сделал бы по-другому. Скажем, окунул бы его с головой в воду и подержал там подольше. Скажем, нанес бы первый удар так, чтобы наверняка убить. Скажем, выстрелил бы в него. Скажем, удушил бы. Скажем, так, скажем, этак. Скажем как угодно, лишь бы избавиться от этих неотступных мыслей, потому что они ни к чему не приведут.

Учение в школе началось на следующий день. Школьники не заметили никакой или почти никакой перемены в учителе, так как выражение лица у него всегда было сосредоточенно хмурое. А он весь урок делал и переделывал свое черное дело. Стоя перед доской с куском мела в руке, он вспоминал то место и думал: если бы выше или ниже по реке, может, там глубже и берег круче? Ему хотелось нарисовать это мелом на доске. Он проделывал все сызнова, каждый раз стараясь сделать лучше, и за молитвой, и за устным счетом, и за опросом учеников — весь день, с первого до последнего урока».

Правдоподобие и сила воображения невероятные — некоторые даже думают, что у Диккенса имелся соперник и он сам обдумывал убийство (разумеется, не собираясь осуществлять это на практике). В конце концов Брэдли, терзаемый шантажистом, погибает вместе с ним, а хорошие люди женятся — вот тут, как считают литературоведы, Диккенс совершил ужасный просчет, сведший на нет весь «антиденежный» пафос романа. Одна из героинь, бедная девушка, выходит замуж за преуспевающего адвоката, а Джон Гармон женится на любимившей его Белле, делая вид, что он беден, и заставляя ее стряпать и прибираться, — а потом, убедившись, что перевоспитал жену, открывает ей, что они богаты, и они преспокойно

живут дальше, пользуясь деньгами мусорщика (добрых Боффинов, впрочем, тоже не обидели, но несколько «поставили на место»). Хорошо, когда у хороших людей есть деньги, откуда бы они ни взялись, — с этим не поспоришь, но для морали как-то даже и пошлово.

Публику роман утомил, и к последним выпускам тиражи снизились до 19 тысяч экземпляров — неслыханное унижение для Диккенса. Он получил, как причиталось по договору, около 12 тысяч фунтов, но Чепмен и Холл понесли значительные убытки. Не понравилось и критикам. Генри Джеймс дал уничтожающую оценку в «Нейшн»: «наихудшая из работ м-ра Диккенса», Джордж Стотт в «Контемпорари ревью» писал: «... сентиментальный пафос сей книги неестествен и неприятен»; оскорбленный и разочарованный автор нашел, что во всех отношениях лучше выступать с чтениями, чем писать романы, и поделился этой мыслью с Форстером. Правда, критик Энеас Свитленд из «Таймс» (обычно ругавшей Диккенса) похвалил: «Во всех этих 600 страницах нет ни одной лишней строки». На наш взгляд, как раз «лишние строки» и портят этот тонкий и умный, если не считать дурацкого финала, роман — он вышел очень перегруженным, и начинать с него ни в коем случае нельзя — поставим его в конец первого десятка.

Осенью трое из оставшихся в живых сыновей Диккенса были далеко: Фрэнсис в Индии, Альфред в Австралии, Сидней на корабле. Чарли жил в Лондоне, пытаясь управлять (совместно с шурином) фирмой по торговле бумагой — с невеликим успехом. Дома оставались Генри и Плорн. Диккенс считал, что шестнадцатилетний Генри, учившийся в тот период в частной школе в Уимблдоне, должен бросить ее и последовать за Фрэнсисом в Индию, правда, стать там не полицейским, а государственным чиновником, но тот вновь проявил упорство и в сентябре заявил отцу, что ни малейшего желания становиться чиновником в Индии он не имеет, а хочет учиться в Кембридже на адвоката. Диккенс, надо отдать ему должное, задумывался, когда видел, что кто-то из его сыновей действительно сильно чего-то хочет. Он написал директору школы, что может послать сына в университет лишь в том случае, если директор скажет, что у того достаточно способностей; директор отвечал утвердительно, и Генри оставили в школе еще на три года, чтобы он мог подготовиться к поступлению в Кембридж.

Отец его, как и прежде, был увлечен международными делами, потихоньку, как это и бывает с возрастом, «правел», писал де Сэржа (30 ноября): «Если американцы в скором времени не втянут нас в войну, то это будет не по их вине. Их чванство и бахвальство, их притязания на компенсацию, Ирландия и фении, Канада — все это внушает мне мрачные

предчувствия. Несмотря на утвердившуюся неприязнь к французскому узурпатору, я считаю, что его всегдашнее стремление вызвать раскол в Штатах было разумно, а что мы всегда поступали неразумно и несправедливо, норовя поступать по принципу „отдать хотел бы под надзор, не смею“».

На Ямайке, губернатором которой был англичанин Э. Эйр, восстали африканцы, захватили столицу, убив и ранив несколько десятков человек, в основном белых. Эйр подавил восстание, 400 мятежников были казнены без суда, сотни подвергнуты телесным наказаниям. В числе убитых солдатами Эйра был и белый британец Д. Гордон, это вызвало скандал, и Эйра арестовали за его убийство. Экономист Джон Стюарт Милль организовал Комитет Ямайки, куда вошли либеральные ученые — Дарвин, Хаксли, Уоллес, Лайель, Тиндаль, Спенсер: они ратовали за осуждение Эйра. Правительство отправило на Ямайку комиссию, та оправдала Эйра, но скандал продолжался, Карлейль организовал комитет в защиту Эйра, в нем оказались гуманитарии: Диккенс, Раскин, Теннисон. Из цитированного выше письма к де Сэржа: «Восстание на Ямайке тоже весьма многообещающая штука. Это возведенное в принцип сочувствие чернокожему — или туземцу, или самому дьяволу в дальних странах — и это возведенное в принцип равнодушие к нашим собственным соотечественникам в их бедственном положении среди кровопролития и жестокости приводит меня в ярость. Не далее как на днях в Манчестере состоялся митинг ослон, которые осудили губернатора Ямайки за то, как он подавлял восстание!» Ослами, стало быть, был весь цвет британской науки. Любопытно: во время Первой мировой войны Эйнштейн отмечал, что естественники и технари стоят за мир и добро, тогда как гуманитарии проявляют дикую кровожадность.

Северяне победили, рабству в Америке пришел конец — Диккенс злился, «сочувствие чернокожему» уже раздражало его, и он опять убеждал себя и друзей, что северяне на самом деле ненавидят негров, а южане так очень даже неплохо с ними обращались: он, видно, давно (или никогда) не перечитывал свои «Американские заметки». Тем не менее он стал подумывать о том, чтобы принять одно из многочисленных приглашений выступить с чтениями в Америке. Начинать новый роман он не хотел, в деньгах нуждался (он ведь содержал кучу всякой родни, включая брошенную семью своего брата Огастеса, да и сам привык жить широко — одна только светская жизнь Мэйми чего стоила), но сразу согласиться не мог: доктора сказали, что с такой больной ногой ехать нельзя. Современные медики считают, что у него была подагра, многие и тогда говорили ему это,

но он не соглашался и лечиться соответствующим образом отказывался — «само пройдет». Генри вспоминал, что в тот период у отца бывали «тяжелые капризы» и депрессия, заключающаяся в «смене периодов интенсивной раздражительности и тихой угнетенности». И мы по-прежнему ничего не знаем, как у него обстояли дела с Элен, — разлюбила ли, любила ли когда-нибудь, охотно ли принимала его или ценила только деньги и подарки?

Без нового романа можно было обойтись, но без рождественской повести никак нельзя; у самого Диккенса было не то состояние, чтобы написать что-нибудь стоящее, и он с Коллинзом и еще несколькими писателями выдал в «Круглый год» сборник никак не связанных друг с другом рассказов «Рецепты доктора Мериголда» — его перу там принадлежат лишь три рассказа. Первый — очаровательная болтовня, почти как у Флоры в «Больших надеждах»:

«Сейчас я уже человек в годах, сложения плотного, ношу плисовые штаны, кожаные гетры и жилетку с рукавами, только ее шнурки всегда на спине рвутся. Чини не чини — лопаются, как струны на скрипке. Вы небось бывали в театре и видели, как скрипач слушает свою скрипочку, а та словно шепчет ему по секрету, что не все у нее в порядке; ну, он начнет ее подкручивать, и тут — бац! — все струны пополам. Точь-в-точь как моя жилетка — то есть насколько жилетка может быть похожа на скрипочку. Я питаю склонность к белым шляпам и люблю шею обматывать шарфом свободно, так, чтобы нигде не терло. И больше люблю сидеть, чем стоять. Из украшений на мой вкус нет лучше перламутровых пуговиц. Ну, вот я и опять перед вами, как вылитый. По тому как доктор согласился взять чайный поднос, вы уже, наверное, сообразили, что отец мой тоже был коробейником. Да, оно так и есть. А поднос был очень красивый. Изображался на нем холм с извилистой дорожкой, а по ней шла в маленькую церковь крупная дама. И еще там два лебедя сбились с пути по тому же делу...»

В другом рассказе нашел отражение его новый интерес к призракам (мы ведь помним, что он стал членом соответствующего клуба):

«Убитый стоял рядом с судьей как раз напротив ложи присяжных. Когда я занял свое место, он устремил на мое лицо внимательнейший взгляд; казалось, он остался доволен и начал медленно закутываться в серое покрывало, которое до той поры висело у него на руке. Когда я произнес: „Виновен!“, покрывало съезжилось, затем все исчезло, и это место опустело.

На обычный вопрос судьи, может ли осужденный сказать что-нибудь в свое оправдание, прежде чем ему будет вынесен смертный приговор, убийца произнес несколько невнятных фраз, которые газеты, вышедшие на следующий день, описали как „бессвязное бормотанье, означавшее, по-видимому, что он подвергает сомнению беспристрастность суда, поскольку старшина присяжных был предубежден против него“. В действительности же он сделал следующее примечательное заявление:

— Ваша честь, я понял, что обречен, едва старшина присяжных вошел в ложу. Ваша честь, я знал, что он меня не пощадит, потому что накануне моего ареста он каким-то образом очутился ночью рядом с моей постелью, разбудил меня и накинул мне на шею петлю».

Рождество праздновали в Гэдсхилле пышно, с множеством гостей: из детей были Мэйми, Кейт с мужем, Генри, Плорн и Чарли, наконец прощенный за его брак, с женой и детьми (включая Чарльза Диккенса-самого младшего). Однако фирма Чарли (как и предсказывал его отец) обанкротилась. Личных долгов у него было более тысячи фунтов; если за сумму вдвое меньшую с Уолтером отец порвал отношения, то здесь покорно заплатил и, более того, взял Чарли в штат «Круглого года», уволив ради этого одного из лучших сотрудников, Генри Морли, который работал у Диккенса с 1851 года. Маловероятно, что он поступил бы так ради кого-то другого из сыновей, но первенцу прощалось все.

Нога по-прежнему болела, добавились острые боли в боку, в груди, одышка, а надо было как-то зарабатывать: издательская фирма «Чеппел» взяла на себя организацию гастролей по Англии, Ирландии и Шотландии с апреля по июнь. В феврале 1866 года врач Фрэнк Берд, брат друга Диккенса Томаса Берда, настоял на медицинском обследовании. Диккенс — Джорджине: «Выясняется, что у меня некоторое нарушение сердечной деятельности. Пошаливает сердце. Чтобы призвать его к порядку и заставить кровь бежать быстрее, мне прописали железо, хинин и дигиталис. Если в течение определенного времени это не даст результатов, то надо будет консультироваться с кем-нибудь еще. Конечно, я не настолько наивен, чтобы полагать, что за все мои труды не придется расплачиваться. С недавних пор я замечаю спад в моем оптимизме и жизнерадостности — иными словами, в моем обычном тоне». Доктора собрались на консилиум, но он не внес никакой утешительной поправки в диагноз Берда.

Однако уже 10 апреля в Челтенхеме состоялось первое из тридцати запланированных чтений. Руководил ими новый импресарио Джордж Долби, оставшийся без работы театральный режиссер, которого Марк Твен потом назовет «жизнерадостной гориллой»: энергичный молодой человек,

полный оптимизма и фонтанирующий идеями. Впоследствии Долби рассказывал^[30], что такого неприхотливого клиента, как Диккенс, у него никогда больше не было: не жаловался ни на здоровье, ни на неудобства и никогда ничего не требовал. Программа чтений состояла наполовину из рождественских историй, наполовину из фрагментов романов — «Пиквика», «Никльби», «Домби», «Чезлвита» и «Копперфильда», причем, как рассказывали очевидцы, декламируемый текст нередко отличался от первоисточника. Как обычно, был триумф: за все годы у Диккенса не было ни одного неудачного выступления. Он просто завораживал публику. Долби: «Нередко случалось, что его чтение прерывали громкие рыдания женской части аудитории (а иногда и мужской)». За триумф он платил болями в ноге, руках, сердце, в левом глазу, перевозбуждением, бессонницей и, как он признавался Форстеру, приступом тяжелой депрессии в конце каждого тура. Но он не считал это чрезмерной платой. Даже Фрэнк Берд считал, что выступления идут больному скорее на пользу, чем во вред.

В мае Джеймс Филдс, американский издатель, уже знакомый с Диккенсом, вновь предложил тур по Соединенным Штатам — Диккенс отклонил предложение, написав, что и так зарабатывает хорошо и не уверен, что в Америке ему заплатят больше. Это был явный намек, но, с другой стороны, возможно, Диккенсу и вправду не хотелось ехать, и не из-за здоровья — плевал он на свое здоровье, — а из-за разлуки с Эллен. Он больше не мог так часто ездить к ней во Францию и то ли с января, то ли с апреля 1866 года снял для нее дом в городке Слау в долине Темзы на юге Англии, рядом с железнодорожным вокзалом — чтобы сразу с поезда попадать к ней. Там, насколько известно, он впервые воспользовался вымышленным именем — Чарлз Трингем; этот джентльмен платил по счетам и навещал подругу, будучи никем не узнаваемым. Пирсон: «Эллен, разумеется, рассчитывала зажить в роскоши, которая ей раньше и не снилась, и в начале 1867 года — возможно, еще и потому, что она ждала от него ребенка, — Диккенс снял ей дом... где проводил несколько дней в неделю и где написал часть своей последней книги». Тут, как везде у Пирсона, много путаницы. Дом, о котором он говорит, был далеко не первым, снятым Диккенсом для Эллен, и никаких подтверждений тому, что она в 1866-м или 1867-м опять была беременна, более поздние исследователи не нашли.

Фанни Тернан написала еще один роман, и Диккенс его издал; она также женила на себе (в октябре 1866 года) своего работодателя Томаса

Троллопа и таким образом устроилась гораздо лучше, чем ее сестра. Интересно, что Фанни не была полностью посвящена в отношения сестры с Диккенсом, точнее, Диккенс так думал: когда Джордж Элиот, чрезвычайно заинтересовавшаяся его любовной историей (бог ведает, откуда она-то все узнала), принималась расспрашивать его о подробностях, он просил ее ни в коем случае не обсуждать это при Троллопах: «язычок Фанни гораздо острее змеиного жала». Элиот зачем-то (возможно, ища материал для романа) жаждала познакомиться с Эллен, несколько раз просила об этом, но тут Диккенс был непреклонен: «Она не поверит, что Вы видите ее такой же, какую вижу я, и так же думаете о ней... Ей, с ее нежнейшей душой, уже не сохранить после этого ту гордость и независимость, которые пронесли ее, совсем одну, через столько испытаний».

И все же он обсуждал Эллен с едва знакомой женщиной — а потом удивлялся и сердился, что о нем сплетничают! Помните, как в самом начале, в период любви к Марии Биднелл, он на десятках страниц клялся и божился, что ни сестра Фанни, ни приятельница Ли не были его наперсницами; может, все-таки были?

В октябре из Америки прибыло известие о смерти от туберкулеза брата Огастеса, давно бросившего в Англии одну семью и теперь оставившего в Штатах любовницу с неизвестно чьими детьми; Диккенс и тем стал выплачивать пособие в 50 фунтов в год — немного, но кто такие были для него эти люди? И дети опять огорчали: Кейт заболела «нервной лихорадкой» (так называли тогда чуть не все недиагностируемые заболевания, особенно у женщин), муж ее тоже был болен (туберкулез), и отношения между супругами не клеились; 28-летняя Мэйми потихоньку превращалась из эксцентричной девушки в эксцентричную старую деву (если деву, конечно). Уилсон: «В книге „Прародители и друзья“ Джон Лемон цитирует своего деда, близкого друга Диккенса, который в 1866 году писал своей жене о его дочерях: „Эти девицы, дорогая, времени даром не теряют... общество начинает их избегать“».

Осенью Диккенс работал над «Станцией Мегби», сборником рождественских историй для «Круглого года», — на сей раз объединенных железнодорожной тематикой: страшное столкновение поездов в тоннеле, загадочная смерть женщины на путях, призраки, предчувствия. Мучился вопросом, ехать или не ехать в Америку, — нельзя ли как-то протащить туда Эллен? Стал меньше и реже писать о политике, почти не бранился — а между тем все обсуждали новую реформу избирательного права. К де

Сэржа, 1 января 1867 года: «Что касается вопроса о реформе, то каждый честный человек в Англии должен знать и, вероятно, знает, что более разумная часть народных масс глубоко не удовлетворена системой представительства, но чрезвычайно скромно и терпеливо ожидает, пока большинство их собратьев не станет умнее... Вопиющая несправедливость, заключающаяся в том, что взяточников поносят перед собранием взяткодателей, крайне обострила свойственное народу чувство справедливости. И теперь он уже не хочет того, что принял бы раньше, а того, что он твердо решил получить, он рано или поздно добьется...»

Ему было 54 года, и он очень быстро старел; писатель Бланшард Джерольд, не видя его несколько месяцев, вспоминал: «...морщины углубились, волосы побелели, когда он подошел ко мне, я подумал, что ошибся и это не мог быть Диккенс: не было его всегдашней энергичной, легкой походки...» Эдмунд Йейтс: «Он выглядел измученным и потерял до некоторой степени ту дивную живость духа, которая всегда его отличала». Но успокаиваться он не собирался ни на минуту: «Что касается меня, то я всегда мечтал умереть, с божьей помощью, на своем посту... работать не покладая рук, никогда не быть довольным собой, постоянно ставить перед собой все новые и новые цели, вечно вынашивать новые замыслы и планы, искать, терзаться и снова искать, — разве не ясно, что так оно и должно быть! Ведь когда тебя гонит вперед какая-то непреодолимая сила, тут уж не остановиться до самого конца».

Глава пятнадцатая

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

В январе 1867 года Диккенс начал очередной четырехмесячный тур, который включал Ирландию и Уэльс. В Дублин он приехал через несколько дней после подавления восстания фениев (вооруженного крыла ирландских националистов), отношение к англичанам в городе было очень напряженное, Долби боялся, что его клиента могут и освистать, тем более что тот никогда не выказывал симпатии к ирландскому движению и ирландцам вообще. Диккенс — Джорджине, 17 марта: «Внешне здесь все спокойно... Однако город тайно наводнен войсками. Говорят, завтрашняя ночь будет критической, но, судя по огромным приготовлениям, я бы поставил по крайней мере сто против одного, что никаких беспорядков не будет.

Самая удивительная и — с точки зрения благоприятных условий для таких разрушительных действий, как, например, поджог домов в самых различных местах, — самая страшная новость, которую мне сообщили из авторитетных источников, заключается в том, что вся дублинская мужская прислуга — сплошь фении. Я совершенно уверен, что худшее, чего можно ожидать от истории с фениями, еще впереди...»

Он не ошибся: хотя разгромленное движение фениев в 1867 году почти умерло, в 1870–1880-х годах фении все более втягивались в террористическую деятельность. Но чтения прошли как обычно. Как же можно злиться, когда тебе читают такие волшебные слова, что забываешь все плохое и ежишься от удовольствия:

«И мало того что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно-бел, а палочки корицы — такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой!..»

В Америке, куда Диккенс все-таки поедет, ему суждено потерять записную книжку за 1867 год; ее потом нашли, и из нее мы знаем, что в марте он разрывался между посещениями Эллен в Слау и чтениями в Ирландии и Норидже, а в апреле у него был перерыв в чтениях между 12-м и 25-м числами, — почти три недели он провел с Эллен, которая была нездорова. (Записи краткие: «прогулка с Н[елли]», «долго ждал Н», «болезнь Н» и проч.) Может, и прав был Пирсон, предположив, что Эллен была опять беременна? Но если и так, то, видимо, все закончилось выкидышем.

Летом он жил в Гэдсхилле, готовясь к поездке в Штаты, Долби прикинул, что чистая выручка составит 15 тысяч 500 фунтов стерлингов (на самом деле Диккенс заработает 20 тысяч фунтов). Форстер, Уиллс и все родные пытались отговорить его от поездки, но искушение было слишком велико. Его зять (муж Кейт) не мог заработать на жизнь. Были нуждающиеся невестки и осиротевшие племянники и племянницы. Надо было обеспечивать Джорджину, Мэйми, Эллен, которая ради смертельно скучной и унижительной жизни посещаемой любовницы отказалась от попытки получить профессию и от общения с людьми. (В июне он перевез Эллен еще ближе к себе — в район Пекхем в юго-восточном Лондоне, в комфортабельный дом под названием Виндзор Лодж, и опять платил за все под именем Трингема и жил там под этим именем по несколько дней в неделю. Как его соседи не узнавали? Ну, телевидения все-таки не было, а портреты в газетах не всякий запоминает, да он давно уже и не позировал, а за последнее время сильно постарел — вполне могли не узнавать.)

13 июня он сообщил Филдсу, что едет и что Долби прибудет в Бостон заранее, в августе, чтобы все разузнать и подготовить; планировалось провести 80 чтений по всей стране. Готовясь к поездке, он также написал за лето грустную повесть «Объяснение Джорджа Сильвермена», применив крайне оригинальное начало, сделавшее бы честь любому постмодернисту:

«ГЛАВА ПЕРВАЯ

Случилось это так...

Однако сейчас, когда с пером в руке я гляжу на слова и не могу усмотреть в них никакого намека на то, что писать далее, мне приходит в голову, не слишком ли они внезапны и непонятны. И все же, если я решу их оставить, они могут послужить для того, чтобы показать, как трудно мне приступить к объяснению моего объяснения. Корявая фраза, и тем не менее лучше я написать не могу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Случилось это так...

Однако, перечитав эту строку и сравнив ее с моим первым вступлением, я замечаю, что повторил его без всяких изменений. Это тем более меня удивляет, что использовать эти слова я собирался в совсем иной связи. Намерением моим было отказаться от начала, которое первым пришло мне на ум, и, отдав предпочтение другому, совершенно иного характера, повести объяснение от более ранних дней моей жизни. Я предприму третью попытку, не уничтожая следов второй неудачи, ибо нет у меня желания скрывать слабости как головы моей, так и сердца».

Джорджа Сильвермена, ребенка, выросшего в крайней нищете, попечитель-священник определяет на ферму, там его не мучают, но и не любят, и он вырастает угрюмым волчонком; попечитель отдает его в школу, допекает благочестием и таскает на собрания своей общины:

«Прежде чем я вынужден был признать, что вне стен своей молельни эти братья и сестры были не только ничем не лучше остальных представителей рода человеческого, но даже, мягко выражаясь, не уступали в греховности любому грешнику, когда дело касалось обвешивания покупателей и загрязнения уст ложью, — повторяю, прежде чем я вынужден был признать все это, их витиеватые речи, их чудовищное самомнение, их вопиющее невежество, их стремление наделить верховного повелителя земли и неба собственной низостью, скарденностью и мелочностью поражали и пугали меня. Однако, поскольку они утверждали, что осенены благодатью и что лишь глаза, затуманенные своекорыстием, могут этого не заметить, я некоторое время переживал несказанные муки, без конца спрашивая себя, не тот ли своекорыстный дьявольский дух, который владел мною в детстве, мешает мне воздать им должное».

Джордж, все такой же сумрачный волчонок, отучился в Кембридже, он рукоположен, получил приход, влюбился в богатую девушку, на сей раз счастливо: «Быть может, она преувеличивала мои знания и полюбила меня за них; быть может, она чересчур высоко оценила мое желание служить ей, и полюбила меня за него; быть может, она слишком поддавалась тому шутивому сочувствию, которое не раз высказывала, сетуя, как мало у меня того, что слепой свет зовет мудростью, и полюбила меня за это; быть может — конечно, так! — она приняла отраженный блеск моих заимствованных познаний за яркое чистое сияние подлинных лучей; но, как бы то ни было, тогда она любила меня» — но, боясь показаться своекорыстным, уговорил ее полюбить другого и обвенчал пару; ему же осталось лишь кладбище — «приют, равно открытый для счастливых сердец, для раненых сердец и для разбитых сердец».

Еще они с Коллинзом написали на скорую руку рождественскую повесть «Проезд закрыт» для «Круглого года»; в августе Диккенс, по-прежнему хромя и передвигаясь с помощью палки, потащился с Долби в Ливерпуль, чтобы самолично посадить его на пароход в Америку и дать последние инструкции, главнейшая и наитайнейшая из которых заключалась в том, чтобы как-то разведать возможность приезда Эллен. В Ливерпуле нога его так распухла, что по возвращении в Лондон пришлось обращаться к выдающемуся хирургу Генри Томсону: тот диагностировал бурсит большого пальца стопы, осложненный рожей, и предписал носить эластичный чулок и тапочек вместо сапога или ботинка. Боль была такая, что Диккенс в дополнение к хересу и шампанскому на ночь стал принимать лауданум — убийственное сочетание даже для здорового. 9 августа он писал Долби: «Мадам посылает Вам привет и надеется встретит Вас, когда Вы вернетесь. Она очень надеется на положительный ответ и готова к переезду через Атлантику под Вашей опекой. К этому я всегда добавляю: „Если я поеду, моя дорогая, если поеду“».

Долби вернулся, так, увы, и не прояснив этот деликатный момент; в сентябре Долби, Форстер и Диккенс провели последнее совещание о том, ехать или нет, Форстер кричал, сердился, умолял, но Диккенс 30 сентября телеграфировал Филдсу, что готов ехать, и вновь послал Долби — договариваться уже конкретно. Филдсу, 1 октября: «М-р Долби имеет определенную щекотливую миссию от меня, которую он разъяснит Вам устно». Жене Филдса он написал, что не сможет остановиться в их доме, — видимо, предполагалось, что для него и Эллен будет снято какое-то жилье или же они порознь останутся в гостинице. Долби должен был прислать закодированную телеграмму, Диккенс нетерпеливо ждал, писал ему 16 октября: «Я скорее ожидаю „Нет“, чем „Да“... Я пытаюсь подготовиться к этому и держать себя в руках к тому моменту, когда мы встретимся».

Но все по-прежнему было неясно насчет Эллен, а пора уже ехать. В конце октября Диккенс несколько раз выступил с чтениями в Сент-Джеймс-Холле, 2 ноября дал прощальный банкет; среди писем, желающих ему удачной поездки, было одно и от Кэтрин. Он ответил вежливо: «Я был рад получить твое письмо и твои добрые пожелания. Прими и ты мои. Меня ждет тяжелая и напряженная работа, но в моей жизни это не ново; я не ропщу на судьбу и делаю свое дело. Искренне твой...» 9 ноября его в Ливерпуле провожали Джорджина, Мэйми, Кейт с мужем, Чарли, Уиллс, Коллинз, издатель Чеппелл и Эдмунд Йейтс: все они, возможно, думали, что могут не увидеть его больше. Эллен, разумеется, там не было — незадолго до отъезда он отослал ее (возможно, по ее настоянию) во

Флоренцию, где она могла чувствовать себя свободной и где ей не было бы так обидно, что ее не берут в Америку. Он оставил Уиллсу инструкции для того, чтобы общаться с нею: «Если она будет нуждаться в какой-либо помощи, то приедет к Вам, или если она изменит свой адрес, то Вы немедленно сообщите мне... На следующий день после моего прибытия я пошлю Вам короткую телеграмму в офис. Пожалуйста, скопируйте ее точно, поскольку там будет специальное значение для нее».

Десятидневное путешествие (в котором его сопровождал камердинер Джон Скотт) он в основном провел в каюте, страдая от морской болезни и нянча свою несчастную ногу; в Бостоне его встречали супруги Филдс, устроили в гостиницу, а на следующий день давали в его честь обед в своем доме. Энн Филдс записала в дневнике, что он «был необыкновенно забавен» и «заставлял всю компанию покатываться со смеху». Не очень-то легко, наверное, ему было так хохотать и всех развлекать — Филдсы деликатно, но решительно дали понять, что важной персоне находиться в Америке с молодой любовницей никак невозможно (вспомните историю, как уже в XX веке Горький приехал в Штаты со своей «гражданской женой» Андреевой и как их выгоняли из всех гостиниц, а газеты устроили им обструкцию), и Уиллс был вынужден переслать Эллен печальную телеграмму.

Впрочем, мы ведь ничего не знаем. Возможно, Эллен не так уж и страстно хотела в Америку и не была разочарована. Он регулярно писал ей через Уиллса («Прилагаю Вам письмо для моей дорогой девочки»); Уиллс оплачивал Виндзор Лодж и передавал Эллен чеки общей сложностью на 1500 фунтов за время отсутствия Диккенса — вполне достаточно, чтобы путешествовать и жить в свое удовольствие.

Диккенс был очень откровенен с Филдсами: посвятил их не только в историю с Эллен, но и, как вспоминала Энн Филдс, «часто беспокоился о том, что его дети не выказывают в жизни достаточной энергии, и даже дал нам понять, как глубоко он несчастен тем, что имеет столько детей от жены, которая всегда во всех отношениях была ему неподходящей». В ясную морозную погоду его ноге внезапно стало лучше, и он совершал с Джеймсом Филдсом десятимильные прогулки. Опять ходил осматривать тюрьмы, школы и психиатрические больницы; посетив (повторно) бостонский приют для слепых, он уже не нашел там девочки, о которой писал когда-то (она стала взрослой и вышла замуж), но распорядился, чтобы во всех подобных приютах Америки была за его счет напечатана специальным шрифтом «Лавка древностей».

В Бостоне он возобновил дружбу с Лонгфелло и Эмерсоном; первые шесть недель провел, курсируя между Бостоном и Нью-Йорком; журналисты опять писали о его невозможных жилетах, убийственной шубе и странных манерах. Большую проблему представляли спекулянты билетами: он не хотел допустить, чтобы на его выступления могли попасть только богатые, а между тем прошел слух, что он с этими спекулянтами в сговоре. Ничего за все время его гастролей сделать так и не удалось — ни со спекулянтами, ни со слухами. Другая газетная история также преследовала его: чикагская пресса сообщила (а все прочие газеты подхватили), что его недавно умерший брат Огастес оставил вдове в нищете, а Диккенс ее не содержит; при этом о законной семье Огастеса, которую Диккенс давно и полностью содержал, разумеется, не говорилось ни слова, а он был слишком щепетилен и горд, чтобы объясняться по этому поводу. Денег «вдове», однако, распорядился послать.

Первое чтение состоялось в Нью-Йорке 2 декабря — ажиотаж необыкновенный, за четыре дня Диккенс с Долби получили прибыль в тысячу фунтов. Но нью-йоркский промозглый климат Диккенсу никогда не шел на пользу: как и в прошлый приезд, он простудился и не оправился от тяжелого кашля до конца поездки. Бессонница усилилась после того, как он попробовал бороться с ней при помощи лауданума; теперь лауданум требовался ежевечерне. При всем этом Нью-Йорк произвел на него приятное впечатление. Уиллсу, 10 декабря: «Невозможно представить себе больший успех, нежели тот, который ожидал нас здесь вчера. Прием был великолепный, публика живая и восприимчивая. Я уверен, что с тех пор, как я начал читать, я еще ни разу не читал так хорошо, и общий восторг был безграничен. Теперь я могу сообщить Вам, что перед отъездом ко мне в редакцию пришло несколько писем об опасности, антидиккенсовских чувствах, антианглийских чувствах, нью-йоркском хулиганстве и невесть о чем еще. Поскольку я не мог не ехать, я решил ни слова никому не говорить. И не говорил до тех пор, пока вчера вечером не убедился в успехе... Нью-Йорк... выглядит так, словно в природе все перевернулось, и, вместо того чтобы стареть, с каждым днем молодеет».

Форстеру, 22 декабря: «Залы здесь первоклассные. Представьте себе залу на две тысячи человек, причем у каждого отдельное место и всем одинаково хорошо видно. Нигде — ни дома, ни за границей — я не видел таких замечательных полицейских, как в Нью-Йорке. Их поведение выше всякой похвалы. С другой стороны, правила движения на улицах грубо нарушаются людьми, для блага которых они предназначены. Однако многое, несомненно, улучшилось, а об общем положении вещей я не

тороплюсь составлять мнение. Добавим к этому, что в три часа ночи меня соблазнили посетить один из больших полицейских участков, где я так увлекся изучением жуткого альбома фотографий воров, что никак не мог от него оторваться».

В прошлый раз его взбесили американские газеты, помните «Чезлвита»: «„Нью-йоркская помойка“! — кричал один. — Утренний выпуск „Нью-йоркского клеветника“! „Нью-йоркский домашний шпион“! „Нью-йоркский добровольный доносчик“! „Нью-йоркский соглядатай“! „Нью-йоркский грабитель“! „Нью-йоркский ябедник“!» Теперь американская журналистика повзрослела, общий тон газет резко изменился, они стали гораздо солиднее, выдержаннее, ответственнее, а «Трибюн», «Нью-Йорк геральд», «Нью-Йорк таймс» и «Брайентс ивнинг пост» Диккенс нашел почти не уступающими английским газетам, хотя литературные их достоинства его не впечатлили.

Джорджине, 4 января: «Хотя в здешних газетах меня фамильярно называют „Диккенсом“, „Чарли“ и еще бог весть как, я не заметил ни малейшей фамильярности в поведении самих журналистов. В журналистских кругах царит непостижимый тон, который иностранцу весьма трудно понять. Когда Долби знакомит меня с кем-нибудь из газетчиков и я любезно говорю ему: „Весьма обязан вам за ваше внимание“, — он кажется чрезвычайно удивленным и имеет в высшей степени скромный и благопристойный вид. Я склонен полагать, что принятый в печати тон — уступка публике, которая любит лихость, но разобраться в этом очень трудно. До сих пор я усвоил лишь одно, а именно, что единственно надежная позиция — это полная независимость и право в любой момент продолжать, остановиться или вообще делать все, что тебе заблагорассудится».

Седьмая и восьмая недели прошли в Филадельфии и Бруклине (где Диккенс читал в церкви знаменитого протестантского проповедника Уордо Бичера). Форстеру, 14 января: «Я вижу большие перемены к лучшему в общественной жизни, но отнюдь не в политической. Англия, управляемая приходским советом Мэрилебон и грошовыми листками, и Англия, какую она станет после нескольких лет такого управления, — вот как я это понимаю. В общественной жизни бросается в глаза изменение нравов. Везде гораздо больше вежливости и воздержанности... С другой стороны, провинциальные чудачества все еще удивительно забавны...» (Перемен и впрямь было немного. Эндрю Джонсон, ставший президентом после убийства Линкольна, порвал связь с избравшей его партией и с такой

мягкостью относился к побежденным южанам, что можно было опасаться утраты всех приобретенных войной результатов. Он наложил вето на принятый конгрессом билль об условиях обратного допущения южных штатов в Союз.)

Дальше (девятая и одиннадцатая недели с перерывом на Вашингтон) — Балтимор, где обнаружилась совершенно великолепная тюрьма, в которой заключенные работали в мастерских и получали за это зарплату, — ничего подобного Диккенс еще нигде не видел. Но рабство, по его мнению, не выветрилось, а идея предоставить неграм избирательное право (после Гражданской войны в Конституцию была внесена 15-я поправка, которая гарантировала право голоса чернокожим мужчинам) казалась бессмыслицей. Форстеру, 30 января: «Замечательно видеть, как Призрак Рабства преследует город и как вялость, грязь, леность и заторможенность давят в нем на свободную жизнь, заставляя бесконечно бродить вокруг нее, но не жить ею... Печальная нелепость предоставления этим людям голосов, во всяком случае в настоящее время, очевидна, стоит только посмотреть на их беспрестанно моргающие глаза, хихиканье и трясущиеся головы (поскольку невозможно не видеть этого в этой стране), как становится очевидно, что предоставление избирательных прав — простой фокус, чтобы получить голоса».

Вообще-то любое предоставление избирательных прав кому бы то ни было — способ получать голоса; но то, что негры (или, к примеру, женщины) могли бы своими голосами осмысленно распорядиться, не казалось Диккенсу возможным. Нельзя сказать, что он стал таким уж расистом, нет, он описал Форстеру случай, когда в Нью-Йорке в зал, где он читал, вошли две женщины, отлично одетые, с едва уловимым темным оттенком кожи, и белый мужчина громко отказался сидеть рядом с «этими черномазыми» и потребовал поменять ему билет, а Долби ему очень жестко отказал; но то все-таки были элегантные женщины, а не существа с «беспрестанно моргающими глазами, хихиканьем и трясущимися головами»... В той самой образцовой тюрьме в Балтиморе «белые заключенные обедают в одной стороне комнаты, цветные заключенные в другой; и никому не приходит в голову смешать их. Это несомненный факт, что от многих цветных, собранных вместе, исходят не самые приятные запахи, и я был вынужден быстро ретироваться из их спального помещения». Завершил он письмо предположением, что «негры быстро вымрут в этой стране, так как невозможно представить, что они смогут когда-либо выстоять против активной, более сильной расы...». (Известно, что Диккенс читал Дарвина, хотя вряд ли понял и принял его по-

настоящему.)

В конце января 1868 года он выступал в Вашингтоне; к этому времени его здоровье совсем расстроилось, намеченные чтения в Чикаго и Сент-Луисе пришлось отменить и взять небольшой тайм-аут. (Денег к тому моменту заработали уже больше 10 тысяч фунтов.) Президент Эндрю Джонсон дважды приглашал его в Белый дом; визит состоялся 7 февраля, а в конце февраля Джонсон уволил военного министра без согласия сената, и палата представителей постановила начать судебное преследование против президента и процедуру импичмента: разумеется, это событие отвлекло американцев от всего остального, включая и выступления Диккенса. Пришлось опять прерваться — он лишь один раз выступил в Провиденсе, зато судил соревнование по спортивной ходьбе на 13 миль между Долби и американским издателем Джеймсом Огудом.

В марте были Сиракузы, Рочестер, Буффало, Олбани, Портленд и Мэн; все это время Диккенс страдал из-за вновь распухшей ноги и жаловался на непрекращающуюся простуду; каждую ночь его мучил многочасовой приступ кашля. Форстеру: «Я попробовал аллопатию, гомеопатию, холодное, теплое, сладкое, горькое, стимуляторы, наркотики — все с одним и тем же результатом. Ничто не помогает». К концу месяца он вновь стал прибегать к лаудануму — сон наладился, но по утрам тошнило. Форстеру, 31 марта: «Я почти уничтожен... если все это будет продолжаться до мая, думаю, мне придет конец...» Он был болен, взвинчен и совершенно перестал нормально питаться. 7 апреля описал в письме Мэйми свой странный рацион: «В семь утра, в постели, стакан сливок и две столовые ложки рома. В двенадцать — херес и печенье. В три (обеденное время) — пинта шампанского. Без пяти минут восемь вечера — взбитое яйцо со стаканом хереса. В промежутках крепкий бульон. В четверть одиннадцатого — суп и никакой выпивки. Я съедаю не более чем полфунта твердой пищи за целые сутки».

Тур закончился большим количеством чтений в Бостоне и Нью-Йорке; 18 апреля Диккенс должен был обратиться к нью-йоркской прессе на банкете, данном в его честь. Когда он одевался, нога была такой распухшей и так болела, что они с Долби решили, что никакую обувь надеть невозможно и придется ему идти на костылях, с закутанной ногой. Все же он смог подняться по лестнице и произнести речь, которую все хотели услышать: как в Штатах стало хорошо, как чудно его принимали, и обещал прилагать текст этой речи к каждому переизданию его книг об Америке. «Пусть нашу планету расколет землетрясение, сожжет комета, покроют ледники, заселят полярные лисы и медведи — все будет лучше, чем видеть,

как снова поднимутся друг против друга две великие нации, с такой отвагой сражавшиеся за свободу — каждая в назначенный ей час, каждая по-своему — и добившиеся победы!» 22 апреля он отплыл в Ливерпуль. За 20 недель он выступил 76 раз, израсходовав около 13 тысяч фунтов и получив более 20 тысяч чистого дохода.

1 мая Диккенс прибыл в Ливерпуль и таинственно исчез, появившись в Гэдсхилле лишь 9 мая: вероятно, всю неделю был у Эллен, так как известно, что она накануне вернулась из Флоренции. Он удивил всех, кто боялся, что он вернется полным инвалидом. Еще в море ему стало лучше, он выходил на палубу, и пассажиры даже просили его выступить, получив, впрочем, ответ, что лучше уж он набросится с ножом на капитана и его закуют в цепи. Он загорел, был румян и выглядел отлично. Форстеру: «Кейти, Мэйми и Джорджина ожидали катастрофы и были потрясены... Мой доктор обезумел, увидев меня после возвращения. „О господи! — сказал он. — Помолодел на семь лет!“».

Дома он обнаружил перемены: прошла наконец вторая парламентская реформа. Была она довольно противоречивой: 30 из 53 мандатов, отобранных у очередных «гнилых» местечек, достались графствам, остальные — городам; в итоге большие промышленные города по-прежнему давали ничтожное число депутатов — 34 из 560. Зато расширился избирательный ценз: если дом был обложен налогом в пользу бедных (а таких домов было много), право голоса получали все наниматели небольших квартир, которые его вносили (ранее они уплачивали налог через посредство домохозяина, и только он считался налогоплательщиком и избирателем). Правда, избиратель обязан был жить на одном месте в течение года — это сильно ограничивало сезонных рабочих и мобильную молодежь. И все же количество избирателей в городах возросло на 825 тысяч, то есть почти удвоилось. И первые же парламентские выборы 1868 года принесли крупный успех либеральной партии, во главе которой стоял Уильям Гладстон.

Все это было превосходно, и Диккенс радовался, писал знакомому австралийскому чиновнику Уильяму Расдену (немного опекавшему его сына Альфреда): «Множество людей, принадлежащих к среднему классу, которые прежде голосовали редко или не голосовали вообще, будут голосовать теперь, и большая часть новых избирателей будет в общем относиться к своим обязанностям более разумно и будет более серьезно стремиться направить их к общему благу, нежели самоуверенная публика, распеваящая „Правь, Британия“, „Наша славная старая англиканская

церковь“ и иже с ними», — но дома дела шли не очень гладко. Еще более эксцентричная, одинокая Мэйми, стареющая и болеющая Джорджина, Кейт на грани развода; шестнадцатилетний Плорн, окончивший сельскохозяйственный колледж, казался абсолютно ни к чему не пригодным, кроме просто физического труда: мог подковать лошадь, даже немного плотничал. Альфред, кажется, устроился на своем овечьем ранчо неплохо, и Плорна было решено отправить к нему. Чарли, работавший в «Круглом годе», справлялся плохо, вдобавок незаменимый верный Уиллс получил ранение на охоте, стал инвалидом и был вынужден временно оставить работу. Сидней, теперь чиновник в Королевском флоте, был блестящ, но повторял судьбу своего деда: делал одни долги за другими, несколько раз отец выручал его, затем прекратил и помощь, и общение.

Клэр Томалин: «Сидни был отброшен, как Уолтер, когда стал делать долги, и брат Фред, когда он стал слишком неприятным, и Кэтрин, когда она поступала против его желания. Как только Диккенс прочерчивал линию, он становился безжалостен... Почему Чарли все прощалось, а Уолтеру и Сиднею нет? Потому что Чарли был дитя его юности и его первого успеха, возможно. Но все его сыновья сбивали его с толку, их непригодность и отсутствие талантов пугали его: он рассматривал их как длинную цепочку собственных копий, каждая из которых вышла хуже предыдущей. Он негодовал на них за то, что они выросли в комфорте, когда он сам из бедности проложил себе дорогу, и потому он отталкивал их; и все же он был человеком, нежное сердце которого вновь и вновь проявляло себя в отношениях с бедными, нуждающимися, детьми других людей». Было, правда, среди сыновей одно исключение — Генри, умница, упорный ребенок и целеустремленный юноша. Но почему-то отец всегда относился к его успехам скептически.

Почти сразу после возвращения Диккенс начал готовиться к очередному — он сразу решил сделать его прощальным, сколько бы еще лет ни предстояло прожить, — гастрольному туру, который они с Долби запланировали на октябрь. Летом он принимал в Гэдсхилле Лонгфелло и прикупил еще 28 акров земли — хотел оставить детям и внукам (в первую очередь Чарли) как можно больше недвижимости. Руководил «Круглым годом» — тут его рука ничуть не ослабела, и тираж, упавший в его отсутствие, поднялся вновь. Сам, правда, писал редко: негодовать о политике уже устал, занимался больше частными вопросами. Джону Паркинсону, государственному чиновнику, часто сотрудничавшему в «Круглом годе», 4 июня: «В парламент внесен небольшой законопроект о предоставлении замужней женщине права распоряжаться своим

собственным заработком. Я очень хотел бы выступить — в разумных пределах — в защиту женского пола и упомянуть о лишениях, на которые теперешний запрет обрекает женщину, связанную с пьяным, распутным и расточительным мужем... мы отлично знаем, что этот законопроект не пройдет, но разве разумно и справедливо отказываться от возможности хотя бы частично исправить зло, проистекающее из нашего закона о браке и разводе? Допустим, то, что епископы, священники и дьяконы говорят нам о святости брака, нерасторжимости брачных уз и т. д. и т. д., правда. Допустим, все это направлено к общему благу, но разве не могли бы и не должны были бы мы в случае, подобном этому, помочь слабой и обиженной стороне?»

Здоровье его поправилось, нога влезала в сапог или ботинок (специально сшитый), и ходил он почти не хромя, но пошаливало сердце, периодически возникали невралгические боли в лице. Нервы его так и не пришли в порядок после железнодорожной катастрофы. К де Сэржа, 26 августа: «У меня до сих пор бывают внезапные приступы страха, даже когда я еду в двуколке, — беспричинные, но тем не менее совершенно непреодолимые. Прежде я с легкостью правил экипажем, запряженным парой лошадей, в самых многолюдных кварталах Лондона. Теперь я не могу спокойно ездить в экипаже по здешним сельским дорогам и сомневаюсь, смогу ли когда-нибудь ездить верхом... Единственную здешнюю новость Вы знаете не хуже меня, а именно, что страна гибнет, что церковь гибнет, и обе они так привыкли гибнуть, что будут превосходно жить дальше...»

В конце лета, готовясь к туру, Диккенс решил несколько изменить программу, включив в нее новые тексты, — впервые он подумал об этом еще в 1863 году, но тогда от этой мысли отказался. До сих пор он развлекал зрителей или заставлял их плакать; теперь он заставит их дрожать от ужаса.

«Ни разу не остановившись, ни на секунду не задумываясь, не поворачивая головы ни направо, ни налево, не поднимая глаз к небу и не опуская их к земле, но с беспощадной решимостью глядя прямо перед собой, стиснув зубы так крепко, что, казалось, напряженные челюсти прорвут кожу, грабитель неудержимо мчался вперед и не пробормотал ни слова, не ослабил ни одного мускула, пока не очутился у своей двери. Он бесшумно отпер дверь ключом, легко поднялся по лестнице и, войдя в свою комнату, дважды повернул ключ в замке и, придвинув к двери тяжелый стол, отдернул полог кровати.

Девушка лежала на ней полуодетая. Его приход разбудил ее, она

приподнялась торопливо, с испуганным видом.

— Вставай! — сказал мужчина.

— Ах, это ты, Билл! — сказала девушка, по-видимому, обрадованная его возвращением.

— Это я, — был ответ. — Вставай.

Горела свеча, но мужчина быстро выхватил ее из подсвечника и швырнул под каминную решетку. Заметив слабый свет загоревшегося дня, девушка встала, чтобы отдернуть занавеску.

— Не надо, — сказал Сайкс, преграждая ей дорогу рукой. — Света хватит для того, что я собираюсь сделать...»

Он репетировал эту сцену в Гэдсхилле на открытом воздухе и смертельно перепугал не только домашних, но и прохожих; Форстер, как обычно, возражал (он под старость возражал против всего, что хотел делать его друг), выражали неуверенность и другие друзья, но автор был непреклонен: он будет читать это, и пусть слушатели кричат от страха.

В конце сентября пришло время Плорну отправляться в Австралию. Диккенс, еще недавно совершенно больным и разбитым ездивший по двадцать раз в год к Эллен и вот-вот собиравшийся гастролировать, проводить сына в Портсмут не поехал — того повез Генри. Зато отец написал сыну действительно трогательное письмо: «Нет надобности говорить, что я нежно люблю тебя и что мне очень, очень тяжело с тобой расставаться. Но жизнь наполовину состоит из разлук, и эти горести должно терпеливо сносить. Меня утешает глубокая уверенность, что ты избрал наиболее подходящий для себя путь. Мне кажется, что свободная и бурная жизнь подходит тебе больше, чем какие-либо кабинетные или конторские занятия; а без этой подготовки ты не смог бы выбрать себе какое-либо другое подходящее дело.

До сих пор тебе всегда недоставало твердости, силы воли и постоянства. Вот почему я призываю тебя неуклонно стремиться к тому, чтобы как можно лучше выполнять любое дело. Я был моложе тебя, когда мне впервые пришлось зарабатывать на жизнь, и с тех пор я всегда неизменно следовал этому правилу, ни на минуту не ослабляя своей решимости.

Никогда никого не обманывай в сделках и никогда не обращай жестоко с людьми, которые от тебя зависят. Старайся поступать с другими так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой, и не падай духом, если они не всегда оправдывают твои ожидания... Ты, конечно, помнишь, что дома тебе никогда не докучали религиозными обрядами и пустыми

формальностями. Я всегда старался не утомлять своих детей подобными вещами до тех пор, пока они не достигнут того возраста, когда смогут составить себе собственное о них мнение. Тем яснее поймешь ты теперь, что я торжественно внушаю тебе истину и красоту христианской религии в том виде, в каком она исходит от самого Христа, а также что невозможно далеко уклониться от истинного пути, если смиренно, но усердно ей следовать. Еще одно лишь замечание по этому поводу. Чем глубже мы это чувствуем, тем меньше мы расположены об этом распространяться».

Из воспоминаний Генри: «Эдуард ушел, бедный, весь дрожа... Он был бледен, плакал и дрожал в железнодорожном вагоне после отъезда от станции, но недолго». Сам Генри, честолюбивый и умный, был только что принят в престижнейший кембриджский Колледж Троицы, где он мог выбрать юридическую, религиозную или естественно-научную специальность; он уехал 10 октября. Отец его в это время уже читал «Рождественскую песнь» в Ливерпуле: «Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана — такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки...»

Организационной стороной выступлений, как и раньше, ведала издательская фирма «Чеппелл»: раньше она платила Диккенсу по 50 фунтов за выступление, потом — 60, теперь, после баснословного американского успеха — 80 (и сама не оставалась внакладе). В октябре в Бирмингеме, где Диккенс выступал, ему в очередной раз предложили баллотироваться в палату общин, такое же предложение сделали в Эдинбурге, причем шотландцы брали все расходы на себя, — он отказался, сославшись на то, что в своей нынешней роли он не только полезнее стране, но и счастливее.

20 октября умер Фред Диккенс, расточитель, бросивший жену (которую опять-таки содержал Чарлз Диккенс), постоянно просивший займы и в 1865 году получивший категорический отказ; с тех пор братья не общались. Посторонним людям, в чьем доме умер брат, Диккенс писал: «Вы сможете представить, с какой нежностью пишу я вам эти слова, если узнаете, что в детстве он был моим любимцем, а когда подросток, стал моим учеником». Форстеру: «Это была жизнь, растраченная впустую, но Господь запрещает нам осуждать и это и многое другое, если зло не было намеренным и закоснелым».

В середине ноября он читал сцену убийства Нэнси в Сент-Джеймс-Холле (бесплатно, на пробу) перед аудиторией из ста званых гостей; большинство согласилось, что это будет нечто потрясающее. К Энн Филдс, 16 декабря: «На следующее утро Гарнесс (Филдс его знает, преподобный Уильям Гарнесс, старый друг Кемблов и миссис Сиддонс, он редактировал одно из изданий Шекспира) писал мне, что „впечатление было прямо-таки неожиданное и устрашающее“, и добавил: „Должен признаться, что у меня было почти непреодолимое желание дико закричать от ужаса и что если бы кто-нибудь крикнул первый, я бы, без сомнения, тоже не выдержал“. Он не знал, что в тот же самый вечер Пристли, известный женский врач, отвел меня в сторонку и сказал: „Мой дорогой Диккенс, можете быть уверены, что, если хотя бы одна из женщин завизжит, когда вы будете разделяться с Нэнси, в зале начнется повальная истерика“. Однако, смягчив эффект, я бы только все испортил, а мне так хотелось узнать, как это пройдет именно пятого января! (На этот день было назначено первое платное чтение убийства Нэнси. — М. Ч.) Не зная реакции зрителей, мы боимся объявлять о выступлениях в других местах, если не считать того, что я почел безопасным дать одно в Дублине. У мисс Келли, знаменитой актрисы, присутствовавшей на пробе, я спросил: „Как вы считаете, продолжать или нет?“ — „Конечно, продолжать! — ответила она. — Добившись таких результатов, нельзя отступить. Но, видите ли... — сказала она, медленно поводя своими огромными карими глазами и тщательно выговаривая каждое слово, — последние полвека публика с нетерпением ждала сенсации, и вот наконец она ее дождалась!“».

В чем, собственно, такая уж сенсация? Но вспомните, что тогда не было кино, не было никаких «ужастиков» и триллеров, закаливших наши нервы, и викторианская публика крайне редко могла увидеть на сцене «живого убийцу». Да, но те же люди преспокойно ходили на публичные казни и не хныкали? Ну, во-первых, не совсем те же самые: театральная публика и любители казней относились к разным кругам общества. Во-вторых, в разные времена нас изумляют разные вещи. Да и кто сказал, что нынешний «обыкновенный зритель» не пошел бы смотреть на казнь с наслаждением?

Долби, однако, возражал, дошло до скандала и, судя по воспоминаниям Долби, даже до сердитых слез; и все же отныне Диккенс решил всегда включать эту сцену в свою программу. Тут, правда, наступила пауза, связанная с политикой (отставка премьер-министра Дизраэли, выборы, первое премьерство Гладстона): в это время Диккенс, у которого почти совсем прошла нога, но усилилась бессонница, возобновил свои

ночные блуждания по Лондону. 5 января в том же Сент-Джеймс-Холле он впервые предстал убийцей Сайксом перед широкой аудиторией — женщины кричали и едва не падали в обморок. Затем последовали выступления в Ирландии и Шотландии, бесконечные поездки туда-сюда, Джорджина болела, Эллен хандрела; в феврале чрезмерное напряжение сказалось на здоровье Диккенса, он опять захромал, появились приступы головокружения, немела вся левая сторона тела, врачи перевезли его в Лондон и предписали полный покой — несколько чтений пришлось отменить, но вскоре больной уже стоял на ногах и поехал продолжать выступления в Эдинбург.

В марте он праздновал день рождения Эллен в Лондоне в присутствии Уиллса и продолжал выступления. В Честере 18 апреля у него произошло кровоизлияние в мозг — удар, как это тогда называли. Долби он сказал лишь, что провел очень плохую ночь, но на следующий день описал Фрэнку Берду все признаки болезни: головокружение, неуверенность в движениях всей левой стороны тела и невозможность поднять левую руку, а также пожаловался, что «наполовину мертв»; Джорджине он писал: «Моя левая сторона совсем не в порядке, и если я пытаюсь коснуться чего-либо левой рукой, я должен сперва хорошенько посмотреть, где это». Через день он, однако, поехал для следующего чтения в Болтон и всем объявил, что ему намного лучше. Фрэнк Берд догнал его в Престоне и, осмотрев, запретил выступать; больного отвезли в Лондон и проконсультировались с доктором Томасом Уотсоном, одним из крупнейших специалистов того времени, подтвердившим факт кровоизлияния и разделившим мнение Берда, что пациент находится на грани паралича левой стороны тела.

Форстер тоже все время болел, так что виделись редко; болеть начал и Коллинз, и Диккенс становился все более одинок. У Плорна в Австралии дела пошли плохо, с фермы он сбежал; отец в отчаянии писал Расдену: «Я всегда был готов к тому, что он ничего не сделает без крена в ту или иную сторону, ибо, хотя я и думаю, что он, в сущности, гораздо способнее своих братьев, он всегда был эксцентричным и своенравным юношей и его характер еще не выработался, хотя задатки характера у него есть. Я все еще надеюсь, что ему понравится жизнь в колониях». И в том же письме: «То, что Виктор Гюго называет „занавесом, за которым готовится великий последний акт французской революции“, в последнее время, однако, немного приподнимается. Похоже на то, что видны ноги довольно многочисленного хора, который готовится к выходу». В том, что касается французских дел, Диккенс был провидцем — близилась та самая революция, в пожарах которой исчезнут следы предполагаемого ребенка

Эллен.

В Гэдсхилле ему стало лучше, в мае приехали Джеймс и Энн Филдс, нашли его почти здоровым, пошли игры, шарады, Филдсы вспоминали, что он даже танцевал; водил Филдса по всем лондонским закоулкам, включая притоны курильщиков опиума — зачем ему это? Потом, наверное, узнаем... Два или три дня в неделю он проводил под именем Трингема с Эллен — надо думать, к тому времени уже все знакомые были в курсе его двойной жизни, но помалкивали, зная, как легко вызвать его гнев и ненависть.

12 мая он написал свое последнее завещание. Душеприказчиками назначались Джорджина Хогарт и Форстер. Имущество, включая авторские права, составляло 80 тысяч фунтов — около восьми миллионов по нынешним деньгам. Первым пунктом шла Эллен Тернан: она получала тысячу фунтов, свободную от налога на наследство. Немного, но исследователи предполагают, что он оставил ей еще при жизни другие крупные суммы; в частности, она получала прибыль от доходного дома, который он купил специально для нее. Джорджине он оставил восемь тысяч, свои личные вещи и рукописи. Мэйми получала тысячу фунтов единовременно и еще 300 фунтов в год пожизненно, если не выйдет замуж. Чарли — восемь тысяч, дом, библиотеку и долю в «Круглом годе»; Генри — тоже восемь тысяч; оба они обязывались содержать мать до конца ее жизни. Остальное имущество, включая авторские права, делилось поровну между остальными детьми — получалось примерно по шесть тысяч фунтов. Вся прислуга получала по 20 фунтов, Форстеру достались опубликованные рукописи и часть личных вещей. «И, наконец, я строго наказываю моим дорогим детям всегда помнить, сколь многим они обязаны вышеупомянутой Джорджине Хогарт, и отплатить ей за это преданной и благодарной любовью, ибо, как мне хорошо известно, она всю жизнь была им самоотверженным, деятельным и верным другом».

«Я категорически приказываю похоронить меня скромно, просто и тихо и не сообщать в печати о времени и месте моих похорон. Пусть за моим гробом следуют простые траурные кареты — не более трех — и никто из провожающих не вздумает нацепить траурный шарф, плащ, черный бант, траурную ленту или другую нелепицу в том же духе. Приказываю высечь мое имя на надгробной плите простым английским шрифтом, не добавляя к нему ни слова „мистер“, ни „эсквайр“^[31]. Я заклинаю моих друзей ни в коем случае не ставить мне памятника и не посвящать мне некрологов или воспоминаний. Достаточно, если моей стране напомнят обо мне мои книги, а друзьям — то, что нам пришлось

вместе пережить. Уповая на милость господню, я вверяю свою душу отцу и спасителю нашему Иисусу Христу и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не букве, но общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо узкие и превратные толкования».

Летом вышло новое издание «Путешественника не по торговым делам», включившее в себя 11 новых очерков помимо написанных в 1860 году. В одном из них, под названием «Бумажная закладка в книге жизни», Диккенс язвительно поведал о своем нездоровье и распространившихся вокруг этого слухах, сравнивая себя с одним из своих персонажей, мошенником Мердлом: «Сперва он умирал поочередно от всех существующих в мире болезней, не считая нескольких новых, мгновенно изобретенных для данного случая. Он с детства страдал тщательно скрываемой водянкой; он наследовал от деда целую каменоломню в печени; ему в течение восемнадцати лет каждое утро делали операцию; его важнейшие кровеносные сосуды лопались, как фейерверочные ракеты; у него было что-то с легкими; у него было что-то с сердцем; у него было что-то с мозгом... К одиннадцати часам теория чего-то с мозгом получила решительный перевес над всеми прочими, а к двенадцати выяснилось окончательно, что это был: Удар. Удар настолько понравился всем и удовлетворил самые взыскательные вкусы, что эта версия продержалась бы, верно, целый день, если бы в половине десятого Цвет Адвокатуры не рассказал в суде, как в действительности обстояло дело. По городу тотчас же пошла новая молва, и к часу дня на всех перекрестках уже шептались о самоубийстве. Однако Удар вовсе не был побежден; напротив, он приобретал все большую и большую популярность. Каждый извлекал из Удара свою мораль. Те, кто пытался разбогатеть и кому это не удалось, говорили: „Вот до чего доводит погоня за деньгами!“ Лентяи и бездельники оборачивали дело по-иному. „Вот что значит переутомлять себя работой“, — говорили они. „Работаешь, работаешь, работаешь — глядь, и доработался до Удара!“».

«Точно так же обстояло дело и со мной в то время, как я спокойно грелся на солнышке на своих кентских лужайках. Но пока я отдыхал, с каждым часом восстанавливая свои силы, со мною произошли еще более удивительные вещи. Я испытал на себе самом, что такое религиозное ханжество... Кто только не становился вдруг набожным за мой счет! Однажды мне самым категорическим образом заявили, что я язычник, причем это утверждение подкреплялось непререкаемым авторитетом некоего странствующего проповедника... Впрочем, из письма одного

приходского священника, о котором я до того никогда не слышал и которого никогда в глаза не видел, мне удалось почерпнуть еще более необычайные сведения, а именно: что в жизни своей я — вопреки моим собственным представлениям на этот счет — мало читал, мало размышлял и не задавался никакими вопросами; что я не стремился проповедовать в своих книгах христианскую мораль; что я никогда не пытался внушить хотя бы одному ребенку любовь к нашему спасителю; что мне никогда не приходилось навек расставаться и склонять голову над свежевырытыми могилами; наконец, что я прожил всю жизнь „в неизменной роскоши“, что нынешнее испытание для меня было необходимо, „да еще как!“, и что единственный способ обратить его мне на пользу — это прочесть прилагаемые к сему проповеди и стихи, сочиненные и изданные моим корреспондентом!

...Оставили на закладке свои записи, разумеется, в самой благочестивой форме, и мои давние знакомые — всевозможные просители. В этот критический момент они рады были предоставить мне новый удобный случай послать им денежный перевод. Не обязательно размерами в фунт стерлингов, на чем они настаивали раньше; чтобы снять тяжесть с моей души, достаточно и десяти шиллингов... Число этих неутомимых благодетелей рода человеческого, готовых всего за какие-нибудь пятьдесят фунтов пережить меня на много лет, было поразительно! Пробралась на закладку, которая должна была оставаться совершенно чистой, и реклама различных чудодейственных лекарств и машин. При этом особенно бросалось в глаза, что каждый из рекламирующих что-либо, будь то в духовной или чисто материальной области, знал меня как свои пять пальцев и видел меня насквозь. Я был как бы прозрачной, принадлежащей всем вещью, и каждый считал, что находится со мною в на редкость близких отношениях. Возможно, мои слова о том, что из всех записей на этой странной закладке наиболее искренним, наиболее скромным и наименее самонадеянным показалось мне письмо впавшего в самообман изобретателя таинственного способа „прожить четыреста или пятьсот лет“, будут сочтены преувеличением. В действительности это вовсе не так, я высказываю их с глубокой и искренней убежденностью. С этой убежденностью и с добродушной усмешкой, относящейся ко всему остальному, я переворачиваю закладку в Книге Жизни и продолжаю свои записи».

О да, он перевернул закладку: в начале августа продумал фабулу, а в октябре начал писать роман «Тайна Эдвина Друда». Многие считают, что он находился под влиянием успеха «Женщины в белом» и «Лунного камня» Коллинза и потому решил написать детектив; отмечают также прямое

влияние романа Роберта Литтона (сына Эдварда Бульвер-Литтона) «Исчезновение Джона Экланда».

«Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня — вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль — прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди... Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие — сам султан со свитой — выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны — их столько, что не счесть — в блистающих яркими красками пополах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане — где она быть никак не может — и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль — это предмет самый обыденный — всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати?..

Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся, наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатухе с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней — тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые, лежат еще трое: китаец, ласкар и худая изможденная женщина. Ласкар и китаец спят — а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида, трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит ее лицо.

— Еще одну? — спрашивает она жалобным хриплым шепотом. — Дать вам еще одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

— Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли».

Вот зачем Диккенс посещал опиумные притоны: зная его, можно предположить, что не только расспрашивал других, но и сам попробовал

курить (или ему хватало опытов с приемом лауданума). Возможно, чувствуя, что сил на длинный роман может не хватить, он сказал Чепмену, что сделает 12 ежемесячных выпусков вместо обычных двадцати; он также, желая поддержать Кейт, договорился, что обложку для книги сделает ее муж, хотя и не любил его как человека и не ценил его талант.

27 сентября он выступил на ежегодной зимней сессии Института Бирмингема и Средних графств со знаменитой речью: «Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна; моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна». Не во всякий народ, впрочем, он верил; ирландцы к таким народам не относились. Расдену, 24 октября: «Не далее как сегодня объявлено, что в Лондоне состоится большой митинг в пользу „амнистии“ фениев. Его многолюдность и значение, безусловно, до смешного преувеличены, но толпа, разумеется, будет достаточно велика, чтобы создать серьезное препятствие уличному движению. Я сильно сомневаюсь в том, что подобные демонстрации следует разрешать... Более того, должно настать время, когда эту разновидность угрозы и вызова придется насильственно устранить и когда неразумная терпимость неизбежно приведет к жертвам среди сравнительно невинных зрителей... Правительство устами мистера Гладстона только что смело высказалось по поводу желательности амнистии. (Тем лучше для него; в противном случае его бы, несомненно, выбросили за борт.) Однако кое-кто считает, что мистер Гладстон сам объявил бы амнистию, если бы осмелился, и что в основе политики правительства по отношению к Ирландии лежит слабость. И это чувство очень сильно среди тех, кто громче всех оплакивает Ирландию. Между тем наши газеты продолжают обсуждать ирландские дела так, как будто бы ирландцы разумный народ, — невероятное предположение, в которое я нисколько не верю».

13 декабря он подписал контракт на «Эдвина Друда», получив неслыханный аванс — 7500 фунтов; однако по его же настоянию в договор был внесен пункт о том, что, если автор не сможет завершить книгу, издатели получат компенсацию за понесенные убытки. На Рождество собрались с детьми и внуками (внуки пока были только от Чарли), из посторонних — один Коллинз; Диккенс писал Долби, что это было самое мучительное и тяжкое Рождество в его жизни: весь день лежал в постели, спустившись в гостиную лишь к вечеру. Однако в канун Нового года он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы поехать в Лондон и прочитать Форстеру две главы «Эдвина Друда». Мэйми пожелала провести зимний сезон в Лондоне — отец послушно снял на полгода дом на Гайд-парк-плейс, так что с января 1870 года он жил на четыре дома: в Гэдсхилле, в

своей квартирке над редакцией, удочери и у любовницы.

Его новый лечащий врач, Томас Уотсон, разрешил ему дать 12 прощальных выступлений в Лондоне — и никаких поездок; тем не менее 5 января он по приглашению своего любимого Института Бирмингема и Средних графств присутствовал на вручении наград и цитировал «Историю цивилизации в Англии» Бокля: «Пусть говорят что угодно о реформах, введенных правительством, и об улучшениях, каких можно ждать от законодательства. Но всякий осведомленный человек, взглянув на дело более широко, вскоре убедится, что такие надежды — не более как химеры. Он убедится, что почти всегда законодатели не помогают обществу, а задерживают его прогресс и что в тех исключительно редких случаях, когда их меры приводят к добру, это объясняется тем обстоятельством, что они, против обыкновения, прислушались к духу времени...» 11 января в Сент-Джеймс-Холле состоялось первое из «прощальных чтений»: они проходили раз в неделю в январе, феврале и марте, читал Диккенс в основном из «Копперфильда» и «Пиквика» и четырежды в роли Сайкса убивал несчастную Нэнси; как он сам говорил, после первого «убийства» его пульс подскочил до ста двенадцати ударов в минуту, а после третьего он потерял сознание.

23 января начала отказывать не только левая сторона тела: в письме Уиллсу Диккенс жаловался, что что-то случилось с большим пальцем правой руки и невозможно писать. 3 марта он праздновал с Эллен день ее рождения в ресторане — видно, ему было уже все равно, кто что о нем скажет. 9 марта по настоятельной просьбе королевы прибыл в Букингемский дворец: этикет требовал, чтобы он стоял в течение получаса, королева не могла не знать, какая это для него пытка, но поддержала его лишь тем, что сама осталась стоять, опираясь рукою на диванчик (ему не позволено было сделать и этого). 13 марта он давал заключительное выступление: толпы осаждали Сент-Джеймс-Холл. Читал свое любимое: «Рождественскую песнь» и эпизод из «Пиквика» — суд, помните?

«— Как ваше имя, сэр? — сердито спросил маленький судья.

— Натэниел, сэр.

— Дениэл... второе имя есть?

— Натэниел, сэр... то есть милорд.

— Натэниел-Дэниел или Дэниел-Натэниел?

— Нет, милорд, только Натэниел, Дэниела совсем нет.

— В таком случае, зачем же вы сказали Дэниел? — осведомился судья.

— Я не говорил, милорд, — отвечал мистер Уинкль.

— Вы сказали, сэр! — возразил судья, сурово нахмурившись. — Как

бы я мог записать Дэниел, если вы мне не говорили этого, сэр?»

Форстер был в аудитории и вспоминал потом, что его друг еще никогда не читал так хорошо, с такой деликатностью и тихой печалью. Долби стоял за кулисами, готовый подхватить Диккенса, если тот начнет падать; Чарли посадили в первый ряд, и он должен был немедленно выскочить на сцену, если отец хотя бы пошатнется. Но он не пошатнулся, он стоял прямо и читал, вот только слабеющий язык под конец изменил ему, и он не мог произнести имя мистера Пиквика, выговаривая то «Пексвик», то «Пиксник»; заплакали не только женщины. «С этой ярко освещенной сцены я исчезаю теперь навсегда и, взволнованный, благодарный, полный уважения и любви, прощаюсь с вами», — сказал он напоследок; по лицу его текли слезы.

23 марта Диккенс в последний раз встречался со своим кумиром Карлейлем, а 1 апреля вышел первый выпуск «Эдвина Друда»: 50 тысяч экземпляров были проданы за пять дней. «Таймс» комментировала: «Как он восхищал отцов, так он восхищает и детей, и это его последнее произведение обещает быть столь же прекрасным и столь же популярным, как великолепные „Посмертные записки Пиквикского клуба“, которые заложили фундамент его славы». Роман очаровал читателей — убийство, экзотика, опиум, гипноз, сочетание церкви и дьявольщины; Уилки Коллинз, впрочем, сказал позднее, что это было «последнее тяжкое усилие Диккенса, печальный плод стареющего мозга». Не согласимся.

«Эдвин Друд», как «Лавка древностей» или «Холодный дом», — роман с «атмосферой»: как в первых строках смешивается воедино башня собора и языческий кол, так и дальше собор и склепы близ него не несут в себе ничего божественного, ничего умиротворяющего — это антураж страшной сказки в духе Стивена Кинга.

Маленький сонный городок: «Все здесь в прошлом. Даже единственный в городе ростовщик давно уже не выдает ссуд и только тщетно выставляет для продажи невыкупленные залого, среди которых самое ценное — это несколько старых часов с бледными и мутными, словно раз навсегда запотевшими циферблатами да еще почерневшие и разболтанные серебряные щипчики для сахара и пять-шесть разрозненных томов, должно быть, очень мрачного содержания. Единственное, что здесь радует глаз, как свидетельство победоносной и буйной жизни, это клойстергэмские сады; их много, и они процветают; даже влачащий жалкое существование местный театр имеет у себя на задах крохотный садик; и когда Сатана по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он находит приют на этом мирном клочке земли — под сенью красных бобов

или на куче устричных раковин, смотря по сезону». «Тихий городок, словно бы неживой, весь пропитанный запахом сырости и плесени, исходящим от склепов в подземельях под собором; да и по всему городу то тут, то там виднеются следы древних монастырских могил; так что клойстергэмские ребятишки разводят садики на останках аббатов и аббатис и лепят пирожки из праха монахов и монахинь, а пахарь на ближнем поле оказывает государственным казначеям, епископам и архиепископам те же знаки внимания, какие людоед в детской сказке намеревался оказать своему незваному гостю — а именно: „Смолоть на муку его кости и хлеба себе напечь“».

В этом маленьком сонном городке — «со своим хриплым соборным колоколом, со своими хриплыми грачами, реющими в вышине над соборной башней, и с другими своими грачами, еще более хриплыми, но не столь заметными, восседающими в креслах внизу, в соборе» — живет соборный регент (дирижер хора) Джон Джаспер: днем он почтенный молодой человек, а по ночам мотается в Лондон курить опиум: «Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников?» (Интересно, что в литературе такие фигуры, как звонарь или регент, вроде бы имеющие прямое отношение к церкви, нередко представляют собой нечто дьявольское.) Джаспер — человек тяжелый и мрачный. «— Ты слышал пение в нашем соборе? Как ты его находишь?» — спрашивает он друга, Эдвина Друда.

«— Чудесным! Божественным!

— Мне оно по временам кажется почти дьявольским. Мой собственный голос, отдаваясь под сводами, словно насмехается надо мной, словно говорит мне: вот так и будет, и сегодня, и завтра, и до конца твоих дней — все одно и то же, одно и то же... Ни один монах, когда-то денно и ночью бормотавший молитвы в этом мрачном закутке, не испытывал, наверно, такой иссушающей скуки, как я. Он хоть мог отвести душу тем, что творил демонов из дерева или камня. А мне что остается? Творить их из собственного сердца?»

Такой же тяжелой, страшной любовью, как учитель Брэдли, Джаспер любит девушку, которая его до смерти боится, цепenea как кролик перед удавом, — обратите внимание на отрывистый, современный ритм сцены:

«— Не думай сейчас ни о чем, мой ангел, кроме жертв, которые я слагаю к твоим милым ногам — ах! я хотел бы пасть ниц перед тобой и, пресмыкаясь в грязи, целовать твои ноги! Поставить их себе на голову, как дикарь!.. Вот моя верность умершему. Растопчи ее!

Он делает жест, как будто швыряет наземь что-то драгоценное.

— Вот неискупимое преступление против моей любви к тебе. Отбрось его!

Он повторяет тот же жест.

— Вот полгода моих трудов во имя справедливой мести. Презри их!

Тот же жест.

— Вот мое зря потраченное прошлое и настоящее. Вот лютое одиночество моего сердца и моей души. Вот мой покой; вот мое отчаяние. Втопчи их в грязь; только возьми меня, даже если смертельно меня ненавидишь!

Эта неистовая страсть, теперь достигшая высшей точки, наводит на нее такой ужас, что чары, приковывавшие ее к месту, теряют силу. Она стремглав бросается к крыльцу. Но в ту же минуту он оказывается рядом с ней и говорит ей на ухо:

— Роза, я уже овладел собой. Смотри, я спокойно провожаю тебя к дому. Я буду ждать и надеяться. Я не нанесу удара слишком рано. Поддай мне знак, что слышишь меня.

Она чуть-чуть приподнимает руку.

— Никому ни слова об этом — или удар падет немедленно. Это так же верно, как то, что за днем следует ночь. Поддай знак, что слышишь меня.

Она опять чуть приподнимает руку.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя! Если теперь ты отвергнешь меня — но этого не будет, — ты от меня не избавишься. Я никому не позволю стать между нами. Я буду преследовать тебя до самой смерти».

Роман, хотя и распланированный только на 12 выпусков, обещал быть довольно толстым, исходя из огромного числа персонажей, не имеющих отношения к основному действию, — но Диккенсу уж очень хотелось высказать напоследок, что он думает о некоторых людях — таких, например, как филантроп Сластигрох: «Хоть, может быть, и не совсем достоверно то, что рассказывают про него некоторые скептики — будто он возгласил однажды, обращаясь к своим ближним: „Ах, будьте вы все прокляты, идите сюда и возлюбите друг друга!“ — все же его любовь к ближнему настолько припахивала порохом, что трудно было отличить ее от ненависти... Нужно прекратить войны, но сперва завоевать все прочие страны, обвинив их в том, что они чересчур любят войну... Нужно добиваться всеобщего согласия, но сперва истребить всех, кто не хочет или по совести не может с вами согласиться. Надо возлюбить ближнего как самого себя, но лишь после того, как вы его оклевете (с не меньшим

усердием, чем если бы вы его ненавидели), оболъете помоями и осыплете бранью».

5 апреля Диккенс выступал с речью на традиционном обеде печатников, потом — на банкете Королевской академии в честь своего только что умершего друга, художника Макклиза; ходил на званые обеды, помогал Мэйми с режиссурой в любительских спектаклях. (Между тем о ней уже начали совсем нехорошо говорить: пила, свободно общалась с мужчинами. Почему-то самых бестолковых своих детей — Чарли, Мэйми и «малыша» Плорна — Диккенс любил сильнее других.) 3 мая он был на завтраке у премьер-министра Гладстона, а 10-го у него возобновился воспалительный процесс в ноге, снова не мог ходить и носить нормальную обувь. Бессонница мучила так, что он уже давно не засыпал без лауданума. При этом он продолжал пить спиртное — бренди, херес, шампанское, — понемногу, но каждый день.

До него дошли слухи, что королева выразила намерение возвести его в рыцари, но он отказался: зачем? По-прежнему беспокоился о делах французских. Расдену, 20 мая: «По поводу будущего Франции я убежден, что французский гражданин никогда не простит, а Наполеон никогда не переживет *coup d'état*. Поэтому всякой хорошо осведомленной английской газете невероятно трудно его поддерживать, притворяясь, будто она не знает, на каком вулкане стоит его трон. „Таймсу“, который, с одной стороны, осведомлен о его планах, а с другой — о вечном беспокойстве его полиции (не говоря о сомнительной армии), приходится очень трудно. Мне кажется, что если слишком смело играть ему в руку, то при его падении возродится старый прискорбный национальный антагонизм. Я нисколько не сомневаюсь, что Его Императорство будет занесено ветром в песках Франции. Ни в одной стране мира, а тем более во Франции, нельзя по политическим мотивам хватать людей в их домах и без всяких мотивов убивать их на улице, не пробудив чудовищной Немезиды, быть может, не слишком осмотрительной в мелочах, но от того не менее устрашающей. Самый обыкновенный пес или человек, доведенный до бешеной ярости, гораздо опаснее, чем он же в нормальном трезвом состоянии». (Франко-прусская война начнется через два месяца и сметет Его Императорство.)

Сидней, в очередной раз влезший в долги, написал отцу умоляющее письмо. Просил о встрече — тут отец был непреклонен и писал Генри 20 мая (в тот же день, когда уговаривал Расдена в Австралии еще раз поувещевать бездельника Плорна): «Я боюсь, что Сидни уже зашел

слишком далеко. Я начинаю жалеть, что он не умер честным человеком». И принять сына вновь отказался.

22 мая в Лондоне Диккенс в последний раз виделся с Форстером, 25-го уехал в Гэдсхилл, чтобы отдохнуть от обедов и светских обязательств. Он оставался там до 2 июня, как ни в чем не бывало занимаясь хозяйственными делами, докладывал Форстеру, что закончено строительство музыкального салона, главная лестница позолочена, а новый садовник посыпал гравием дорожки и надеется преуспеть в выращивании дынь и огурцов. 2 июня он приехал в офис «Круглого года» — Долби застал его погруженным в дела, усталым, плачущим. Они позавтракали вместе, договорились, что Долби приедет в Гэдсхилл на следующей неделе посмотреть усовершенствования, и разошлись; вечером Диккенс был у знакомых, где ставился любительский спектакль, помогал с режиссурой, хотя Чарлз Коллинз вспоминал потом, что обнаружил его после спектакля лежащим в кресле и думающим, будто он находится у себя дома. Ночевал он в квартирке над офисом, сделал приписку к завещанию, передавая Чарли свою долю в газете; утром Чарли пришел к нему — он был поглощен «Эдвином Друдом» и даже не заметил присутствия сына. Вечером он вернулся в Гэдсхилл.

5 июня приехала Кейт, отец был очень уставшим после короткой дневной прогулки, но проговорил с дочерью до трех утра: по ее воспоминаниям (изложенным Глэдис Стори), она советовалась о том, чтобы стать актрисой, он ее отговаривал: «Ты слишком умна для этого», сказал, что ему жаль, что он не был хорошим отцом и обсуждал с ней «такие вещи, о каких никогда не говорил прежде» (возможно, отношения с женой и Эллен Тернан); выразил сомнение, что сможет закончить «Друда», потому что очень слаб. 6 июня поднялся в полвосьмого утра, пошел в шале работать над «Друдом», Кейт навестила его там, потом уехала в Лондон с Мэйми. Во второй половине дня он отправился в Рочестер — заказывать продукты (несколько ящиков виски, шампанского, сигар). 8 июня с утра получил по чеку 22 фунта, днем работал, написал несколько деловых писем, обещаясь быть в Лондоне назавтра. Он создал 23 главы «Эвина Друда» — больше их не будет (последняя выйдет из печати в сентябре).

Девушка, которой объяснялся в любви Джаспер, предназначена в жены Эдвину Друду — и вот этот бедный Друд исчезает. У него, кроме Джаспера (считающегося его лучшим другом), есть потенциальные враги, и одного из них, вспыльчивого юношу, даже обвиняют в убийстве (хотя тела никто не нашел). Дело закрывают, проходит время, и в городке появляется таинственный незнакомец, который обо всем расспрашивает, и страшная

ведьма — старуха из опиумного притона, делающая жуткие предсказания; она же терзает Джаспера, когда тот вновь приходит к ней. Но тут мы умолкаем. В сущности, мы не рассказали почти ничего. И Диккенс всего не расскажет. Убили Друда или нет? Если нет, как и куда он делся? Если да, Джаспер убил или кто-то еще? Кто такая эта старуха, как она связана с остальными персонажами? Кто этот незнакомец, что приехал и допытывается? Кому на ком было суждено жениться в финале, или ничего подобного бы не произошло? Читайте, читайте одновременно с друзьями, не торопитесь читать комментарии к роману, сами думайте, неспешно обсуждайте — ведь вы будете обсуждать не абы что, а одну из величайших литературных загадок XIX века...

Но вот и пришла пора нам составить окончательный список для чтения (перечитывания) романов Диккенса. Еще раз подчеркнем, что мы расставляем приоритеты не по принципу «лучше-хуже», а исходя из простоты восприятия современным читателем. Очень возможно, что вы с нами не согласитесь и составите свой вариант. А вот наши рекомендации: 1. «Большие надежды». 2. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим». 3. «Тайна Эдвина Друда». 4. «Крошка Доррит». 5. «Повесть о двух городах». 6. «Оливер Твист» 7. «Холодный дом». 8. «Домби и сын». 9. «Барнеби Радж» 10. «Наш общий друг». 11. «Мартин Чезлвит». 12. «Лавка древностей». 13. «Посмертные записки Пиквикского клуба». 14. «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (хотя «театральные» куски этого романа заслуживают быть прочитанными в самую первую очередь). 15. «Тяжелые времена».

Если вы нетерпеливый человек — нет, если вы нетерпеливый человек, то вообще не сможете читать Диккенса, — если вы не самый терпеливый человек и любите детективы, то, конечно, захотите начать с «Эдвина Друда». Ничего худого в этом нет, но можете несколько разочароваться, так как для нас, привыкших к современным детективам или хотя бы к Конан Дойлу и Агате Кристи, темп может показаться медленным (в этой медленности и кроется наслаждение, но к нему нужно привыкнуть), — так что все же рекомендуем начать именно с «Больших надежд» — это тоже своего рода детектив, а в последней части, можно сказать, триллер.

И еще два совета. Во-первых, не читайте Диккенса в метро, на бегу — постарайтесь обеспечить себе кресло, покой, плед, чай с бутербродами. Во-вторых, если есть такая возможность, попробуйте читать его одновременно с кем-то из близких: делитесь впечатлениями, попробуйте, вообразив себя человеком XIX века, прочесть самые смешные отрывки друг другу вслух,

обсуждайте, ругайте — так он у вас «пойдет» значительно лучше (испробовано на опыте).

8 июня Диккенс, встав после обеда, сказал, что собирается в Лондон, упал и потерял сознание. Была при нем одна Джорджина, так что все эти подробности биографы знают с ее слов. Он пролежал на диване весь вечер, ночь и следующий день, когда приехали Кейт, Мэйми, Чарли, Генри, Форстер и Эллен Тернан. Но Клэр Томалин высказывает иную версию. 8 июня Диккенс получал деньги по чеку; вероятно, сразу после этого он поехал к Эллен, где и упал в обморок. Эллен с помощью горничных и смотрителя находившейся напротив ее дома церкви погрузила Диккенса в извозчичью карету (своего экипажа у нее не было) и привезла его в Гэдсхилл. Это не просто логический домысел — Томалин получила письмо от Джорджа Дисона, правнука Четвуда Потанса, пастора той самой церкви, которому якобы обо всем рассказал тот самый смотритель. Кроме того, Джорджина сообщила адвокату, что в карманах покойного нашли шесть фунтов, а известно точно, что он утром получил 22 фунта. Куда же могли деваться остальные, если он не отдал их Эллен?

После шести вечера 8 июня обе версии объединяются в одну. Приехал доктор, ничем помочь не смог, сказал только, что больного надо согреть. Кейт и Мэйми, вызванные телеграммой, прибыли к полуночи и до утра прикладывали к ступням больного нагретые кирпичи. Утром 9 июня приехал Чарли и привез знаменитого лондонского специалиста Рассела Рейнолдса, тот созвал консилиум, все врачи подтвердили кровоизлияние в мозг — инсульт. Днем приехала Эллен. Вскоре после шести вечера 9 июня, как вспоминала Кейт, отец тяжело вздохнул и умер. Он так и не смог ни с кем попрощаться. На следующий день передовица «Таймс» призвала похоронить Диккенса в Вестминстерском аббатстве. Сам он, как мы могли видеть, этого категорически не хотел, Форстер, Джорджина и вся семья были против — все в точности как с Чарлзом Дарвином, и, как и в случае с Дарвином, общественное мнение победило. 14 июня прошли пышные общественные похороны.

Джорджина обосновалась в Лондоне, в доме на Глостер-террас, ей было 43 года, как Кэтрин в период разрыва, и она стала неофициальной вдовой. «Ничто никогда не заполнит пустоту, — написала она Энн Филдс, — и в жизни никогда больше не будет никакого интереса для меня». Дети Диккенса больше не нуждались в ее заботе, но она чувствовала себя ответственной за 33-летнюю Мэйми, которая все больше пила и приходила и уходила, когда ей вздумается, и за Генри, который навещал ее на

каникулах. Кэтрин Диккенс (Анджела Бердетт-Куттс поехала с визитом соблезнования к ней, а не в Гэдсхилл к Джорджине, как все остальные) сказала своей невестке Бесси, жене Чарли, что она уже 12 лет вдова и продолжает чувствовать себя самым близким Диккенсу человеком. Она попросила, чтобы ее дочери и сестра навестили ее, и говорила с Джорджиной впервые за 12 лет. После этого Кейт бывала у матери постоянно, Джорджина и Мэйми — периодически. Чарли со своей семьей остался в Гэдсхилле, и там с ним подолгу жила мать; он, однако, был вынужден продать дом в 1879 году из-за долгов. Джорджина и Эллен поддерживали отношения, встречались, переписывались.

Потом они жили каждый по-своему и уходили из жизни. Сидни умер в 1872 году на корабле и был похоронен в море. Форстер, вскоре после смерти друга опубликовавший свою деликатную и полную недомолвок «Жизнь Чарлза Диккенса», скончался в 1876 году. А в 1879-м умерла Кэтрин; в тот год был издан первый том сохранившихся писем Диккенса, собранных и отредактированных Джорджиной и Мэйми. Джорджина написала введение к письмам каждого года, ни словом не упоминая о разделении между Диккенсом и Кэтрин и вообще о каких-либо «скелетах в шкафу». Фрэнсис по протекции знакомого Джорджины уехал из Индии в Канаду, где продолжал служить в конной полиции; он был хорошим полицейским и умер в 1886 году.

Мэйми Диккенс умерла незамужней в 1896 году: чем она занималась и как и с кем жила после смерти отца, остается почти неизвестным. Джорджина жаловалась, что жить с ней невыносимо, и ближе к концу жизни Мэйми переехала в Манчестер, где жила и умерла в доме священника Харгривза (к которому Джорджина и Кейт относились очень неодобрительно, полагая, что он потворствует пьянству Мэйми). В 1886 году она написала воспоминания об отце.

Чарлз Диккенс-младший написал введения для многих посмертных перепечаток книг своего отца; в 1893-м он закрыл «Круглый год» и умер от лейкемии в 1896 году в один день с Мэйми. Плорн в Австралии преуспел, женился на богатой (детей не было), открыл фондовое агентство, был избран членом горсовета и даже стал под конец правительственным инспектором, хотя продолжал делать долги; умер в 1902 году. Альфред тоже остался в Австралии, более или менее успешно занимался сельским хозяйством, женился, овдовел, снова женился, оставил двоих детей; в начале 1890-х он совершал поездки по Австралии с лекциями о жизни и деятельности своего отца, а с 1910 года читал эти лекции в Европе и Америке. Он умер в 1912 году.

Эллен Тернан весной 1871 года приехала в Оксфорд, убавила себе 14 лет (она была худенькая и молодо выглядела) — это как раз примерно тот срок, что она пробыла возлюбленной Диккенса, — и в 1876-м вышла замуж за преподобного Джорджа Уортона Робинсона, на 12 лет моложе ее; у них было двое детей, она организовывала школьные концерты, работала в благотворительных фондах, часто читала на публике что-нибудь из Диккенса и скончалась в 1914 году; ее дети были впоследствии страшно шокированы, узнав, кто она такая и сколько ей было лет.

Джорджина умерла в 1917 году в возрасте 91 года — о ней заботился Генри. Теперь их осталось двое — самых упорных и самых интеллектуальных детей Диккенса.

Муж Кейт Чарлз Коллинз умер от рака в 1873 году, брак их был несчастлив, и она не очень горевала. Она упорно занималась живописью, у нее было несколько поклонников, и через полгода вдовства она вышла по любви за довольно известного художника Карло Перуджини; сама она утвердилась как художник, и ее картины были приняты Королевской академией. В 1923 году она попросила Глэдис Стори, свою знакомую с 1910 года, записать ее воспоминания о родителях и об Эллен Тернан. В 1929-м она умерла, не оставив детей. Генри окончил кембриджский Колледж Троицы с отличием, получил степень бакалавра математики, но стал процветающим адвокатом, получил приставку «сэр», удачно женился, имел преуспевающих детей и умер в 1933 году; почти до последнего дня он работал. Вот куда пошли в основном «приличные» семейные гены...

Среди детей Генри был адмирал, сэр Джеральд Чарлз Диккенс, среди внуков — Седрик Чарлз Диккенс, писатель, управляющий литературным наследием Диккенса, среди правнуков — актер Джеральд Диккенс и писатель Люсинда Хаксли.

...Промозгло, серо, дождик, еще лучше — зима, метель; пушистый плед строго обязателен; и «городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана — такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой»; и там, в сердце тумана, жил-был писатель, который всю жизнь ругал правительство и парламент последними словами, а его носили на руках и похоронили в Вестминстерском аббатстве; и «туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки...»; и там, в сердце тумана, жил-был писатель,

который взял да и уговорил одного богача устроить приют для несчастных женщин; и «небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом — и ну дымить, кто во что горазд!»; и там, в сердце тумана, жил-был писатель, который посылал на фронт не лозунги, а сушилки для бинтов; и «газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары»; и там, в сердце тумана, жил-был писатель, по мановению пера которого закрывались плохие школы и открывались хорошие больницы (Честертон: «Нетрудно понять, почему побеждает прекраснодушный реформатор. Он побеждает, потому что поддерживает в нас несокрушимую веру, что игра стоит свеч, победа стоит борьбы, люди — освобождения»); и «мало того что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно-бел, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой!..».

У нас давно уже сосет под ложечкой; мы протягиваем руку за очередным бутербродом и жмуримся, ощущая наслаждение всем позвоночником, как велел Набоков. Мы тихо млеем. Нас тянет туда, в сердце тумана, в цитадель уюта, в старую добрую Англию. Мы задремываем, и нам чудится, что мы уже там, в сердце тумана, в странной стране, где живут такие писатели и где их носят на руках...

ИЛЛЮСТРАЦІИ



Элизабет и Джон Диккенс, родители писателя



Дом в Портсмуте, где родился Чарлз Диккенс



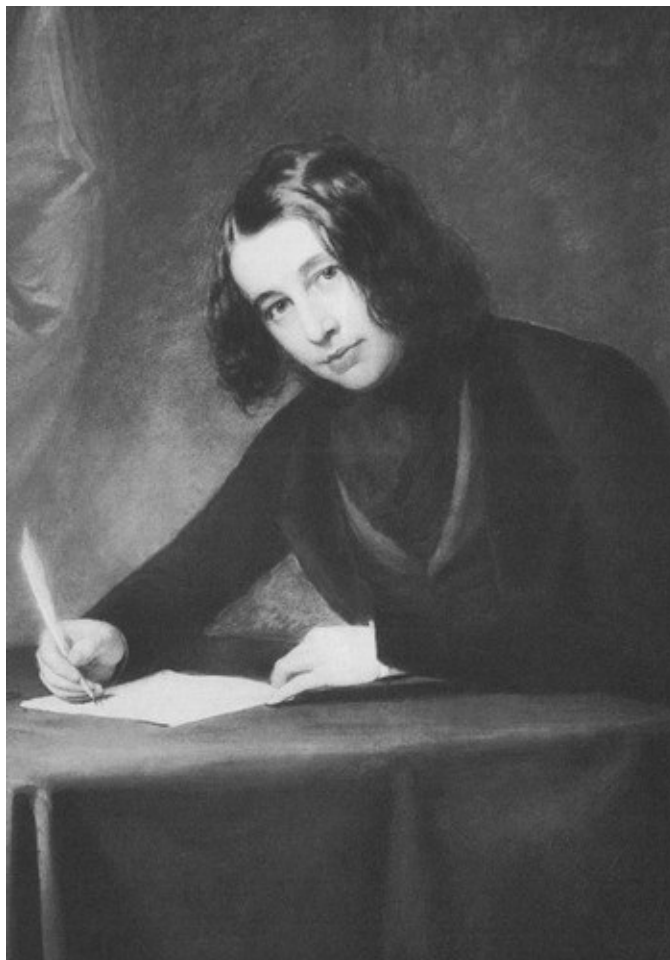
Фанни, сестра Чарлза



Мария Биднелл (?), первая любовь писателя



Чарлз Диккенс в молодости. Художник Д. Маклиз. 1839 г.



Чарлз Диккенс. Художник Ф. Александер. 1842 г.



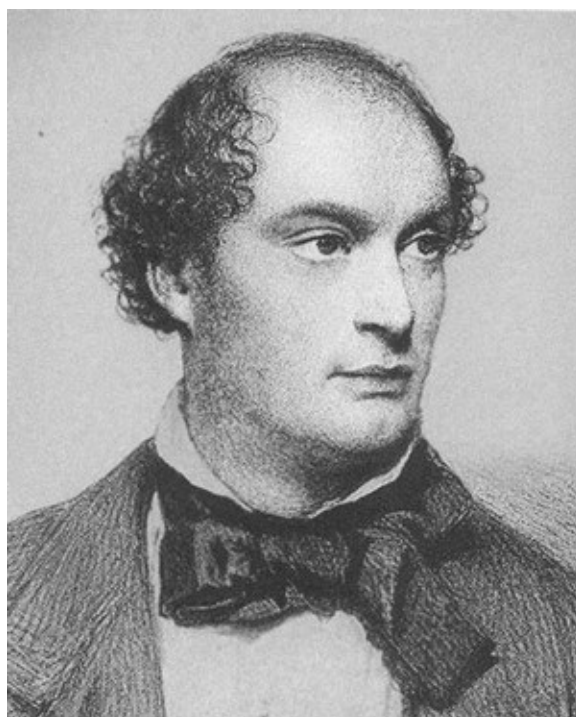
Кэтрин Диккенс (урожденная Хогарт), жена писателя. Художник Д. Маклиз. 1846 г.



Мэри Хогарт (?), свояченица Диккенса. Начало 1830-х (?) гг.



Писатель и актер Уильям Макриди



*Художник Даниэль Маклиз, тесно друживший с Диккенсом.
Литография. 1857 г.*



Поэт Джеймс Генри Ли Хант. Художник Б. Р. Хейдон. 1820-е (?) гг.



Джон Форстер, друг и биограф писателя. Гравюра. XIX в.



Дом в Лондоне, в котором жил Диккенс. В настоящее время — музей писателя



Одна из комнат в лондонском доме с подлинной обстановкой



Кэтрин Диккенс в 1852 году



Чарлз Диккенс в 1852 году



Элизабет Гаскелл. Художник Г. Ричмонд. 1851 г.



Уилки Коллинз. 1850 г.



Джорджина Хогарт, свояченица Диккенса



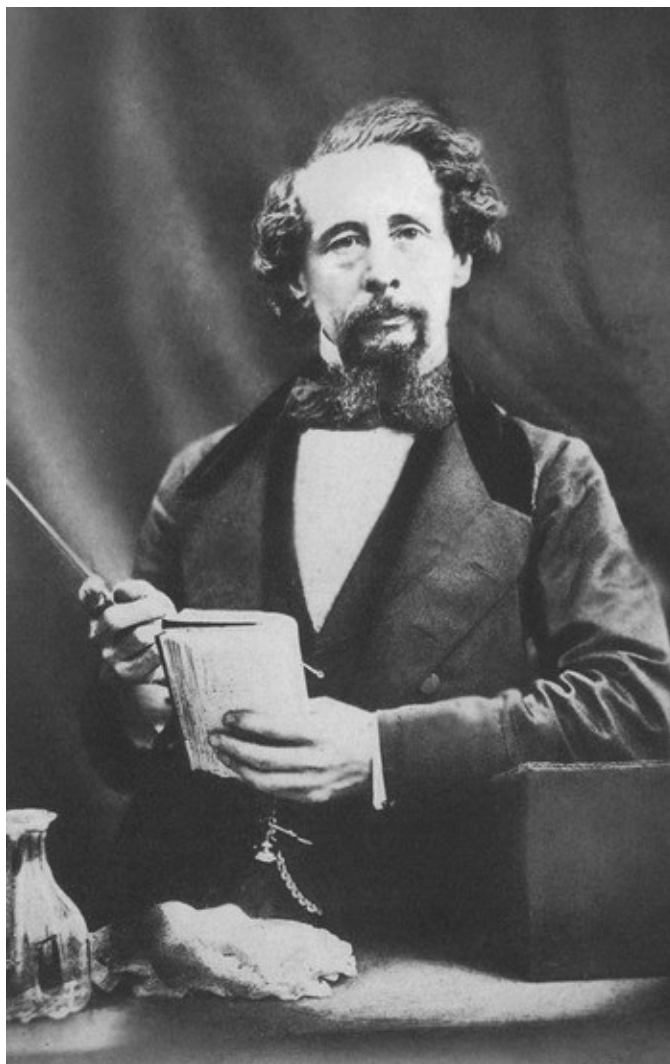
Чарлз Диккенс. Художник А. Шеффер. 1856 г.



Элен Тернан. 1867 г.



Леди Анджела Бердетт-Куттс



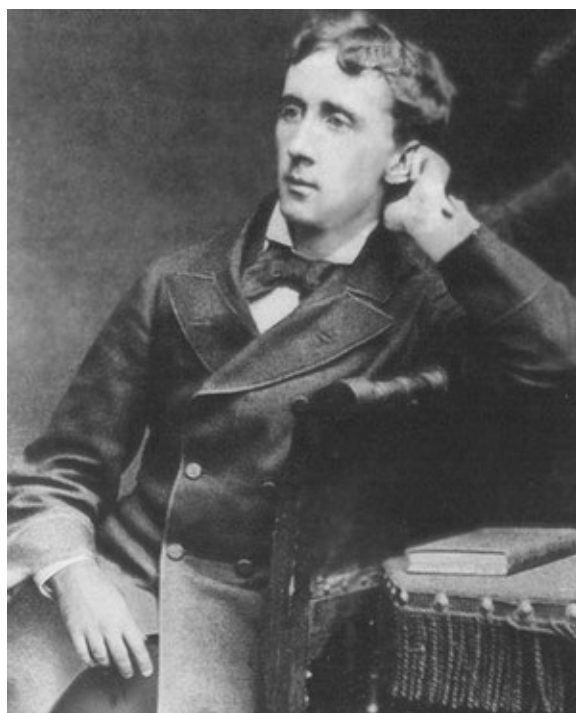
Диккенс на одном из публичных выступлений. 1860-е гг.



С дочерьми Кейти и Мэйми. 1860-е гг.



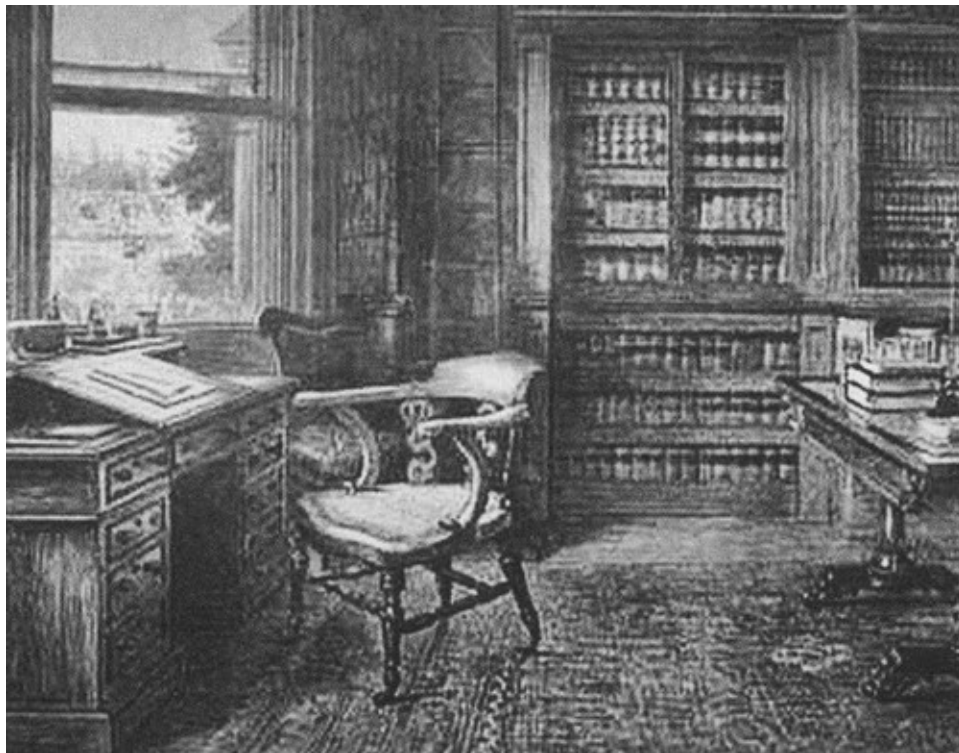
Кэтрин Перуджини (урожденная Диккенс), дочь писателя



Генри Филдинг Диккенс, сын писателя



Дом в графстве Кент, в котором Диккенс провел последние 13 лет своей жизни



Картина «Пустое кресло». Изображен рабочий кабинет в Гэдсхилле, покинутый своим владельцем. Художник Л. Филдс. 1870 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЧАРЛЗА ДИККЕНСА

1812, 7 февраля — в Лэндпорте, в семье Джона и Элизабет Диккенс, родился сын Чарлз.

24 июня — Джон Диккенс с семьей переезжает в Лондон.

1813 — семья переезжает в Саутси.

1817, август — Диккенсы переезжают в Чатем.

1820, сентябрь — Чарлз начинает учиться в частной школе Уильяма Джайлза.

1823, лето — Диккенсы переезжают в Лондон, там учеба Чарлза прерывается.

1824, 7 февраля — Чарлза устраивают работать на фабрику по производству ваксы.

20 февраля — Джона Диккенса заключают в долговую тюрьму Маршалси; с ним поселяется вся его семья, кроме Чарлза и его старшей сестры Фанни.

28 мая — получив наследство, Джон Диккенс выходит из тюрьмы.

Июнь — после конфликта с руководством фабрики отец Диккенса забирает сына с работы.

Сентябрь — поступает в частную школу «Веллингтонская домашняя академия».

1827, февраль — из-за финансовых затруднений прекращает учебу.

Май — поступает клерком в адвокатскую фирму «Эллис и Блэкмор».

1828, ноябрь — переходит в адвокатскую фирму Моллоя.

1830, май — влюбляется в дочь банковского служащего Марию Биднелл.

1832, февраль — решает стать профессиональным актером; директор театра Ковент-Гарден назначает день для прослушивания, но Диккенс пропускает его из-за болезни.

Март — становится стенографистом-репортером газеты «Тру сан» и начинает посещать заседания палаты общин.

Сентябрь — поступает репортером в газету «Парламентское зеркало».

1833, май — разрыв с Марией Биднелл.

Август — поступает парламентским репортером в газету «Морнинг кроникл».

Октябрь — пишет первый (опубликованный) рассказ «Обед на Поплар-Уок».

Декабрь — «Обед на Поплар-Уок» опубликован в газете «Мансли мэгэзин».

1834, август — печатавшийся до этого анонимно, впервые подписывается псевдонимом — Боз.

Сентябрь — знакомится с издателем Джоном Макроуном.

1835, январь — начинает работать репортером в газете «Ивнинг кроникл». В доме Джорджа Хогарта знакомится с его дочерьми и делает предложение одной из них — Кэтрин.

Ноябрь — подписывает соглашение с Макроуном на издание сборника «Очерки Боза».

1836, февраль — два тома «Очерков Боза» выходят из печати. Получает от издателей Чепмена и Холла предложение написать текст к серии гравюр художника Сеймура. Из этого получается книга «Посмертные записки Пиквикского клуба».

31 марта — издан первый выпуск «Пиквикского клуба».

2 апреля — женитьба на Кэтрин Хогарт. Вскоре вместе с супругами поселяется младшая сестра Кэтрин Мэри, в которую Диккенс предположительно был влюблен.

Май — заключает договор с Макроуном на роман «Габриель Вардон, лондонский слесарь» (впоследствии переименованный в «Барнеби Радж»).

Июнь — публикует первый политический памфлет «Воскресенье в трех его аспектах».

22 августа — подписывает с издателем Ричардом Бентли договор на роман «Приключения Оливера Твиста».

4 ноября — принимает на себя обязанности редактора газеты «Альманах Бентли».

6 декабря — в театре Сент-Джеймс идет премьера оперы композитора Хулла «Деревенские кокетки», либретто к которой написал Диккенс. Он знакомится с одним из рецензентов, Джоном Форстером, который становится его другом на всю жизнь, литературным агентом, душеприказчиком и первым биографом.

1837, 6 января — рождение сына Чарлза.

1 февраля — начало публикации «Оливера Твиста».

29 апреля — в газете «Чемберс джорнал» раскрывается тайна псевдонима «Боз»; отныне Диккенс подписывается собственным именем (наряду с псевдонимом).

7 мая — скоропостижно скончалась Мэри Хогарт.

Июнь — Форстер знакомит Диккенса с актером Макриди, который становится одним из его ближайших друзей.

1838, январь — с художником Хэблотом Брауном едет в Йоркшир, где осматривает школы для детей бедняков, — материал для романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

6 марта — рождение дочери Мэри (Мэйми).

1 апреля — публикует первый ежемесячный выпуск «Николаса Никльби».

Июнь — избран членом престижного клуба «Атенеум».

Октябрь — поездка с Хэблотом Брауном в Средние графства, Северный Уэльс, Бирмингем и Манчестер.

1839, февраль — уходит из «Альманаха Бентли».

Июль — становится другом самой богатой женщины Англии — филантропки Анджелы Бердетт-Куттс.

Лето — задумывает периодическое издание «Часы мистера Хамфри».

29 октября — рождение дочери Кэтрин.

1840, 1 апреля — выходит первый номер журнала «Часы мистера Хамфри». Он не имеет успеха, и с четвертого номера Диккенс начинает публиковать в нем роман «Лавка древностей».

Октябрь — начинает работать над романом «Барнеби Радж».

1841, январь — начало публикации романа «Барнеби Радж».

9 февраля — рождение сына Уолтера.

3 апреля — с женой, Форстером и художником Маклизом отправляется в путешествие и посещает Ричмонд, Бирмингем, Стратфорд-на-Эйвоне и Личфилд.

Май — получает предложение от избирателей Рединга баллотироваться в палату общин и отклоняет его.

22 июня — приезжает в Эдинбург по приглашению муниципалитета, также получает предложение баллотироваться и отклоняет его.

6 сентября — приняв приглашение писателя Вашингтона Ирвинга приехать в США, подписывает соглашение с Чепменом и Холлом о выплате ежемесячной субсидии в счет гонорара за будущий роман и книгу о путешествии по Америке.

1842, 4 января — вместе с женой отплывает из Ливерпуля в США.

5 февраля — на банкете в Бостоне поднимает вопрос о необходимости международной конвенции об авторском праве.

Середина февраля — встречается в Нью-Йорке с Ирвингом, который поддерживает его предложение о международном авторском праве.

Март — в Вашингтоне Диккенса принимает президент. Диккенс

посещает Ричмонд, Балтимор, Гаррисбург, Питсбург, Цинциннати, Сент-Луис.

Апрель — поездка по Канаде.

Июнь — возвращается в Англию. Его свояченица Джорджина Хогарт поселяется в его семье и занимается воспитанием его детей.

Октябрь — заканчивает книгу «Американские заметки», совершает путешествие по Корнуоллу и начинает писать роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».

1843, январь — начинается публикация романа «Мартин Чезлвит».

Октябрь — пишет свою первую рождественскую повесть — «Рождественская песнь в прозе». Отныне в конце каждого года Диккенс публикует рождественскую повесть, в более поздние годы — в соавторстве с Уилки Коллинзом и другими писателями.

1844, 15 января — рождение сына Фрэнсиса.

Январь — выступление в Институте механики в Ливерпуле. Знакомится с двадцатилетней Кристианой Уэллер и влюбляется в нее, но безответно.

Июнь — разрыв отношений с издателями Чепменом и Холлом. Издателями Диккенса становятся Брэдбери и Эванс.

Июль — уезжает с семьей в Италию (до июня 1845 года).

Декабрь — первая поездка во Францию.

1845, лето — занимается проектом либеральной газеты «Дейли Ньюс».

21 сентября — премьера поставленного Диккенсом любительского спектакля по пьесе Б. Джонсона.

28 октября — рождение сына Альфреда.

1846, 21 января — выходит первый номер «Дейли Ньюс».

9 февраля — передает Форстеру свой пост редактора «Дейли Ньюс».

Июнь — пишет для своих детей жизнеописание Христа — «Жизнь Господа нашего». Уезжает с семьей в Швейцарию (до ноября) и начинает работу над романом «Домби и сын».

Октябрь — начало публикации романа «Домби и сын».

Ноябрь — 1847, март — вторая поездка в Париж.

1847, 18 апреля — рождение сына Сиднея.

Март — с Анджелой Бердетт-Куттс организовывает приют для женщин «Урания».

Июль — пьеса «Всяк в своем нраве» ставится в нескольких городах, сборы идут в пользу писателя Ли Ханта.

Декабрь — поездка по Шотландии.

1848, 15 января — рождение сына Генри Филдинга.
15 мая — премьера поставленной Диккенсом комедии «Виндзорские насмешницы».
2 сентября — смерть сестры Фанни.
1849, январь — начало работы над романом «Дэвид Копперфильд».
Май — начало публикации романа «Дэвид Копперфильд».
1850, январь — учреждает еженедельную газету «Домашнее чтение» и становится ее редактором.
30 марта — выходит первый номер «Домашнего чтения».
Июль — поездка в Париж.
10 августа — рождение дочери Доры.
Ноябрь — Диккенс и Э. Бульвер-Литтон основывают Гильдию литературы и искусств для защиты интересов пожилых и неимущих писателей и художников. Средства частично собираются от постановки Диккенсом любительских спектаклей.
1851, январь — май — ставит пьесу Бульвер-Литтона «Не так плохи, как кажемся». Знакомство с Уилки Коллинзом.
25 января — в «Домашнем чтении» начинает печататься «История Англии для детей».
31 марта — смерть отца Диккенса.
14 апреля — смерть дочери Доры.
16 мая — премьера пьесы «Не так плохи, как кажемся».
Лето — гастроли с пьесой.
Осень — с Анджелой Бердетт-Куттс начинает заниматься проектом расчистки трущоб и строительства многоквартирных домов; проект реализуется в 1862 году.
1852 — работа над романом «Холодный дом».
1 марта — выходит первый выпуск «Холодного дома».
13 марта — рождение сына Эдварда (Плорна).
Сентябрь — ноябрь — поездка с семьей в Булонь.
1853, 6 января — выступает с речью в Бирмингеме на банкете в честь Гильдии литературы и искусства.
Июнь — сентябрь — с семьей живет в Булони.
Октябрь — декабрь — с Уилки Коллинзом и Огастесом Эггом путешествует по Швейцарии и Италии.
27 декабря — в Бирмингеме впервые публично выступил с чтением «Рождественской песни».
1854, январь — начало работы над романом «Тяжелые времена». Поездка в Престон для сбора материала.

1 апреля — начало публикации романа «Тяжелые времена».

Июнь — октябрь — семья живет в Булони.

Сентябрь — эпидемия холеры в Лондоне.

Октябрь — статья Диккенса «К рабочим людям». Это самая радикальная из его бесчисленных статей на общественно-политические темы.

Ноябрь — Диккенс, Анджела Бердетт-Куттс и инженер Уильям Джейкс организуют отправку на фронт сушильных шкафов для перевязочных материалов.

Декабрь — выступает в Рединге, Шерборне и Брэдфорде с чтением «Рождественской песни».

1855, 10 февраля — получает письмо от своей первой возлюбленной Марии Биднелл, предположительно надеется на возобновление отношений, но, встретившись с ней, резко прекращает общение.

Февраль — поездка в Париж с Коллинзом.

Апрель — май — вступает в Ассоциацию административных реформ, организованную С. Морли и О. Лэйардом, и начинает кампанию в печати, поддерживающую идеи реформы. Начало работы над романом «Ничья ошибка», позднее переименованным в «Крошку Доррит».

27 июня — выступает с речью на собрании Ассоциации административных реформ.

4 октября — выступает с чтением «Рождественской песни» в пользу педагогического института в Фолкстоне.

13 октября — уезжает с семьей во Францию. Там заключает договор на издание всех своих произведений во французском переводе.

Декабрь — публикуется первый ежемесячный выпуск «Крошки Доррит».

18 декабря — выступает в Питерборо и Шеффилде с чтением «Рождественской песни» в пользу школы для рабочих.

1856, март — окончание Крымской войны.

14 марта — покупает дом в Рочестере — Гэдсхилл, в котором мечтал жить еще ребенком.

Май — возвращается в Лондон. С Коллинзом пишет пьесу «Замерзшая пучина» о гибели арктической экспедиции Франклина.

Июнь — август — живет с семьей в Булони.

1857, 6 января — в доме у Диккенса идет премьера «Замерзшей пучины».

Июль — ставит в Лондоне «Замерзшую пучину» в пользу фонда помощи семье покойного писателя Джеролда.

Лето — переезд в Гэдсхилл. Диккенс планирует проводить там каждое лето.

31 июля — читает в Манчестере «Рождественскую песнь». Сбор идет в фонд помощи семье Джеролда.

21, 22 августа — в Манчестере играется «Замерзшая пучина» и фарс. Женские роли играют молодые профессиональные актрисы — Мария и Эллен Тернан. Диккенс влюбляется в восемнадцатилетнюю Эллен.

Сентябрь — признается Форстеру и другим знакомым, что разлюбил жену и полюбил другую женщину.

Конец сентября — октябрь — вместе с Коллинзом совершает путешествие по Корнуоллу, где встречается с Эллен Тернан. Считая, что он не может больше писать, решает заняться платным публичным чтением своих произведений.

Декабрь — читает свои произведения в Ковентри и Чатеме.

1858, январь — чтения в Бристолле.

29 апреля — выступает в Лондоне с первым из шестнадцати платных публичных чтений.

Май — Диккенс расстается с женой, и она вместе со старшим сыном Чарли покидает его дом. Он мог бы осуществить развод, но не делает этого, не желая брать на себя вину. Другим детям Диккенса запрещается встречаться с матерью в присутствии ее родни, а также со всеми, кто встал на ее сторону.

12 июня — вопреки совету Форстера публикует в «Домашнем чтении» письмо, в котором разъясняет читателям причины, побудившие его расстаться с женой. Просит своего друга, редактора журнала «Панч» Марка Лемона, опубликовать это письмо и, когда тот отказывается, порывает с ним. Разрывает отношения со всеми, кто становится на сторону его жены. С Анджелой Бердетт-Куттс отношения сохраняются, но она прекращает финансировать «Уранию», и через два года приют закрывается.

2 августа — начинает выступления в Англии, Шотландии и Ирландии.

13 ноября — триумфальное завершение гастрольного тура.

Ноябрь — начало работы над романом о Великой французской революции «Повесть о двух городах».

Декабрь — поссорившись с Брэдбери и Эвансом из-за их негативного отношения к его разрыву с женой, выкупает у них «Домашнее чтение» и основывает на его базе ежедневную газету «Круглый год». Его издателями вновь становятся Чепмен и Холл.

1859, 30 апреля — выходит первый номер «Круглого года». Газета еще более успешна, чем «Домашнее чтение».

10 октября — начинает новый гастрольный тур по городам Англии, Шотландии, Ирландии.

1860, 28 января — в газете «Круглый год» начинается публикация серии очерков «Путешественник не по торговым делам».

17 июля — младшая дочь Диккенса Кэтрин (Кейт) выходит замуж за художника Чарлза Коллинза, брата Уилки Коллинза, и уезжает из Гэдсхилла.

Сентябрь — сжигает всю свою переписку, включая деловую, и требует от своих корреспондентов сделать то же.

Октябрь — приступает к созданию романа «Большие надежды».

Ноябрь — поездка в Девоншир и Корнуолл с Коллинзом.

1 декабря — в «Круглом годе» начинается публикация «Больших надежд».

1861, 14 марта — 18 апреля — шесть раз выступает в лондонском Сент-Джеймс-Холле с чтением своих работ.

Лето — в Гэдсхилле готовит новую программу для выступлений.

1862 — в течение года периодически уезжает во Францию, где в снятом им доме живет Эллен Тернан.

Лето — (предположительно) узнает о беременности Эллен.

28 октября — 1863, 29 марта — большой гастрольный тур по Англии.

19 ноября — сын Чарли вопреки воле отца женится на дочери издателя Эванса.

Декабрь — Диккенс становится членом только что основанного «Клуба призраков»; публикация рождественской повести «Чей-то багаж», содержащей эпизод с удочерением незаконнорожденного ребенка; возможно, Диккенс предполагает официально усыновить ребенка, рожденного Эллен.

1863, январь — в Париже читает «Рождественскую песнь» и другие произведения в пользу Британского благотворительного фонда. Эллен (предположительно) рождает в Париже сына, сразу же или через три месяца умершего.

Март — май — проводит 13 чтений в Лондоне.

Сентябрь — начало работы над романом «Наш общий друг».

13 сентября — смерть матери Диккенса.

25 декабря — в «Круглом годе» печатается рождественская повесть «Меблированные комнаты миссис Лиррипер», также посвященная усыновлению незаконнорожденного ребенка.

31 декабря — смерть в Индии сына Уолтера.

1864 — в течение года продолжают поездки во Францию к Эллен.

30 апреля — выходит первый ежемесячный выпуск «Нашего общего друга».

11 мая — в театре «Адельфи» Диккенс председательствует и произносит речь на собрании, посвященном 300-летию со дня рождения Шекспира.

Лето — живет в Гэдсхилле.

Декабрь — резкое ухудшение здоровья.

1865, 9 июня — в Степлхерсте происходит крушение поезда, на котором Диккенс с Эллен Тернан и ее матерью возвращается в Лондон после пребывания во Франции.

Июль — август — живет в Париже вместе с Джорджиной Хогарт и (предположительно) Эллен Тернан.

1866, январь (или апрель) — снимает для Эллен дом в Слау, недалеко от Лондона. Появляется там под именем Чарлза Трингема.

1867, январь — выступает с чтениями по городам Англии и Ирландии.

Лето — живет в Гэдсхилле. Готовится к предстоящей поездке в Америку. Снимает для Эллен дом в Лондоне. Пишет повесть «Объяснение Джорджа Силвермена».

Начало ноября — несколько раз выступает с чтениями в Сент-Джеймс-Холле.

9 ноября — отплывает в Америку.

1867, ноябрь — 1868, май — триумфальная (в том числе в материальном отношении) гастрольная поездка по городам США.

1868 — периодически живет и работает в лондонском доме Эллен Тернан под именем Чарлза Трингема.

Лето — заключив договор на серию чтений, готовит новую программу. Драматизирует сцену убийства Нэнси из «Оливера Твиста». *Октябрь* — отклоняет предложения граждан Бирмингема и Эдинбурга баллотироваться в палату общин.

14 ноября — в Сент-Джеймс-Холле читает сцену убийства Нэнси небольшой аудитории знакомых.

Ноябрь — декабрь — выступает с чтениями (до апреля следующего года).

1869, 5 января — первое публичное исполнение сцены убийства Нэнси в Сент-Джеймс-Холле.

Апрель — состояние здоровья не позволяет Диккенсу продолжать чтения по городам Англии. Его привозят в Лондон, затем в Гэдсхилл, он составляет завещание.

27 сентября — несмотря на тяжелое состояние здоровья, выступает с

речью на ежегодной зимней сессии Института Бирмингема и Средних графств.

Октябрь — начинает писать роман «Тайна Эдвина Друда».

1870, январь — решает начать новую («прощальную») серию чтений. Она проходит с 11 января по 13 марта.

1 апреля — начинается публикация ежемесячных выпусков «Тайны Эдвина Друда».

30 апреля — в Королевской академии выступает с речью, посвященной литературе. Это последнее публичное выступление Диккенса.

22 мая — последняя встреча с Форстером.

30 мая — возвращается из Лондона в Гэдсхилл, где продолжает работу над «Тайной Эдвина Друда».

8 июня — с утра до середины дня Диккенс работал. После обеда потерял сознание. По одной из версий, это произошло в Гэдсхилле в присутствии Джорджины Хогарт, по другой — в лондонском доме Эллен Тернан, которая перевезла его в Гэдсхилл.

9 июня — не приходя в сознание, Диккенс скончался от кровоизлияния в мозг.

14 июня — похороны Диккенса в Вестминстерском аббатстве (вопреки его собственной воле и желанию семьи).

ЛИТЕРАТУРА

Диккенс Ч. Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: Художественная литература, 1957–1960.

Dickens Ch. Selected Letters of Charles Dickens. Edited by David Paroissian. London: Macmillan, 1985.

Dickens Ch. The Letters of Charles Dickens. Pilgrim Edition: 12 v. /General editors Madeline House, Graham Storey, Kathleen Tillotson. Oxford: Clarendon Press, 1965–2002.

Dickens Ch. The Life of Our Lord. Westminster John Knox Press, 1981.

Анненская А. Н. Ч. Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк. СПб., 1892.

Оруэлл Дж. Чарлз Диккенс: Эссе. Статьи. Рецензии. Пермь, 1992.

Пирсон Х. Диккенс. М.: Молодая гвардия, 1963.

Тайна Чарлза Диккенса: Библиографические разыскания /Сост. Е. Ю. Гениева, Б. М. Парчевская. М.: Книжная палата, 1990.

Уилсон Э. Чарлз Диккенс. СПб.: Вита Нова, 2013.

Честертон Г. Чарлз Диккенс. М.: Радуга, 1982.

Ackroyd P. Dickens. U. K.: Random House, 1990.

Brown I. Dickens in His Time. London: Thomas Nelson, 1963.

Dolby G. Charles Dickens as I Knew Him. London, 1900.

Dickens H. Memories of My Father. Haskell House Pub Ltd., 1928.

Dickens M. Charles Dickens By His Eldest Daughter. London: Cassell & Co, 1885.

Douglas-Fairhurst R. Becoming Dickens. The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

Forster J. The Life of Charles Dickens. New York: Dutton, 1980.

Hartley J. Charles Dickens and the House of Fallen Women. London: Methuen, 2008.

Isba A. Dickens's Women: His Life And Loves. Continuum, 2011.

Johnson E. Charles Dickens: His Tragedy and Triumph. London: Victor Gollancz, 1953.

Kaplan F. Dickens: A Biography. London: Hodder and Stoughton, 1988.

MacKenzie N., MacKenzie J. Dickens: A Life. New York: Oxford

University Press, 1979.

Nayder L. A Life of Catherine Hogarth. Cornell university Press, 2011.

Nisbet A. Dickens & Ellen Ternan. Berkeley: University of California Press, 1952.

Picken E. C. Reminiscences of Charles Dickens //Englishwoman's Domestic Magazine, 1871.

Slater M. Dickens. Stein and Day, 1970.

Slater M. The Great Charles Dickens Scandal. Yale University Press, 2012.

Storey G. Dickens and Daughter. Haskell House Pub Ltd, 1939.

Tomalin C. The Invisible Woman, The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens. New York: Knopf, 1991.

Tomalin C. Charles Dickens: A Life. Penguin Books; Reprint edition, 2012.

Watts A. S. The Life and Times of Charles Dickens. London: Studio Editions, 1991.

Wilson A. The World of Charles Dickens. London: Martin Secker and Warburg, 1970.

notes

Примечания

Честертон Г. Чарлз Диккенс. М.: Радуга, 1982.

Оруэлл Дж. Чарлз Диккенс: Эссе. Статьи. Рецензии. Пермь, 1992.

Пирсон Х. Диккенс. М.: Молодая гвардия, 1963.

Здесь и далее тексты Диккенса (если не указано иное) цитируются по:
Собрание сочинений: В 30 т. М.: Гослитиздат, 1957–1963.

Forster J. The Life of Charles Dickens. New York: Dutton, 1980.

Уилсон Э. Мир Чарлза Диккенса. М.: Прогресс, 1975.

Dickens H. Memories of My Father. Haskell House Pub Ltd., 1928.

В честь Мозеса Примроза — героя романа Оливера Голдсмита «Векфилдский священник».

Kaplan F. Dickens: A Biography. London: Hodder and Stoughton, 1988.

Tomalin C. Charles Dickens. Penguin Books, 2012.

Nayder L. A Life of Catherine Hogarth. Cornell university Press, 2011.

Подавляющее большинство из немногих сохранившихся писем Диккенса невесте датируется биографами лишь предположительно.

Ackroyd P. Dickens. U. K.: Random House, 1990.

Dickens M. Charles Dickens By His Eldest Daughter. London: Cassell & Co, 1885.

Picken E. C. Reminiscences of Charles Dickens // Englishwoman's Domestic Magazine. 1871.

Здесь и далее в этой главе, если не указано иное, цит. по: *Диккенс Ч. Американские заметки // Собрание сочинений: В 30 т. М.: Художественная литература, 1957–1960. Т. 9.*

Основателем унитариянства в Англии считают Джона Биддла (1615–1662). Активным участником унитариянского движения был знаменитый химик Джозеф Пристли (1733–1804). Он был вынужден в 1794 году эмигрировать в США, где два года спустя в штате Пенсильвания организовал первую унитариянскую церковь.

Томас Гуд (1799–1845) — английский поэт, юморист и сатирик.

Далее в этой главе, если не указано иное, цит. по: *Диккенс Ч. Картины Италии // Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: Художественная литература, 1957–1963. Т. 9.*

Публикация состоялась, когда умер последний из детей Диккенса.

Hartley J. Charles Dickens and the House of Fallen Women. London: Methuen, 2008.

Глава Временного правительства в Париже.

Диккенс Ч. Давид Копперфильд: В 2 т. / Пер. с англ. А. Бекетовой.
Рига: Латгосиздат, 1949.

Isba A. Dickens's Women: His Life and Loves. Continuum, 2011.

См.: *Storey G. Dickens and Daughter*. Haskell House Pub Ltd., 1939.

Tomalin C. The Invisible Woman: The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens. New York: Knopf, 1991.

Garnett R. Charles Dickens in Love. Pegasus, 2012.

Статья Боткина «Публичные чтения Диккенса в Париже» была напечатана в «Московских ведомостях» в 1863 году (№ 25).

Диккенс публиковал фрагменты из «Записок охотника» И. С. Тургенева в «Домашнем чтении» в 1855 году.

Dolby G. Charles Dickens as I knew him. London, 1900.

Эсквайр — в раннем Средневековье звание оруженосца рыцаря, в XIX веке — звание некоторых правительственных чиновников. В настоящее время практически вышло из употребления.